ГЮСТАВ ФЛОБЕР

ГЮСТАВ ФЛОБЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРЕХ ТОМАХ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1984

ГЮСТАВ ФЛОБЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ III

ЛЕГЕНДА О СВ. ЮЛИАНЕ МИЛОСТИВОМ

ПРОСТАЯ ДУША

ИРОДИАДА

БУВАР И ПЕКЮШЕ

ЛЕКСИКОН ПРОПИСНЫХ ИСТИН

Переводы с французского

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1984

И (Фр)
Ф 73

Примечания С. Ошерова

Оформление художника
Ю. Алексеевой

Ф 4703000000-150 / 028 (01)-84 подписное

© Примечания, оформление.
Издательство «Художественная литература», 1984 г.

ЛЕГЕНДА О СВ. ЮЛИАНЕ МИЛОСТИВОМ

Перевод
И. С. Тургенева

I

Отец и мать Юлиана обитали в замке, построенном посреди лесов, на склоне холма.

Четыре угловые башни заканчивались остроконечными крышами, покрытыми чешуей из свинцовых блях; а стены упирались в темя скал, круто спускавшихся до самого дна глубоких расселин.

Камни, которыми вымощен был обширный двор, были так же гладки и чисты, как церковные плиты. Длинные желобы, изображавшие драконов с опущенной вниз пастью, извергали дождевую воду; она стекала ручьями в цистерну; а на подоконниках во всех этажах красовались базилики или гелиотропы в расписанных глиняных горшках.

Вторая каменная ограда заключала в себе сперва фруктовый сад; потом палисадник, в котором искусные сочетания цветов изображали вензеля; затем шпалеры виноградных лоз с беседками для отдыха и прохлаждения; наконец, особо отведенное место, где пажи забавлялись игрою в мяч. С другой стороны находились псарни, конюшни, пекарня, давильня для винограда и амбары. Зеленое пастбище расстилалось вокруг, огороженное, в свою очередь, крепким терновым тыном.

Мир так давно не нарушался в том замке, что опускная решетка ворот оставалась постоянно поднятою; рвы заросли травой, ласточки вили гнезда в трещинах бойниц — и часовой, весь день прогуливавшийся по валу, уходил в сторожку, лишь только солнце начинало слишком печь, и засыпал в ней сном праведника.

Внутри замка повсюду блестели железные оковки; шитые обои оберегали комнаты от холода; шкафы были битком набиты бельем, в погребах громоздились бочки с ценными винами, а дубовые сундуки ломились под тяжестью мешков с серебром.

В оружейной зале между знаменами и выделанными мордами хищных зверей висели оружия всех времен и народов, начиная с праща амалекитян и дротика гараман-

тийцев и кончая короткой, широкой шпагой сарацин и кольчугою норманнов. На главном вертеле в очаге кухни мог удобно жариться целый бык — а капелла пышностью не уступала королевской молельне. В одном углу двора, в стороне, находилась даже римская баня; но добрый господин не пользовался ею, не желая придерживаться языческих обычаев.

Постоянно закутанный в лисью шубу, он прогуливался по замку, творил суд и расправу над своими вассалами, решал споры соседей. Зимою он засматривался на хлопья падавшего снега или заставлял читать себе сказки. Как только наступали первые ясные дни, он отправлялся на своем лошаке по узким тропинкам вдоль зеленевших нив, разговаривал с крестьянами, давал им наставления и советы. После многих приключений он взял себе в супруги девицу из высокого рода.

Она была очень бела телом, немного горда и не смешлива. Верх ее высокого головного убора касался притолки, когда она проходила через дверь, шлейф ее суконного платья влачился на три шага позади ее. В ее домашнем быту соблюдался строгий, монастырский порядок. Каждое утро она распределяла работы между своими служанками, присматривала за вареньями и благовонными мазями, пряла пряжу или вышивала напрестольные пелены.

Она так усердно молилась богу, что он внял наконец ее мольбам и даровал ей сына.

На той великой радости добрый господин задал пир, который длился четыре дня и три ночи при свете факелов, при звуках арф. Все полы были усыпаны зелеными листьями. Самые дорогие пряности, куры величиною с барана подавались гостям. Ради забавы из большого пирога выскочил карлик. Ковшей наконец не хватило — так что пришлось пить из турьих рогов и шлемов.

Родильница не присутствовала при этих празднествах. Она лежала в постели — спокойно и мирно. Однажды она проснулась и увидела в лунном луче, падавшем из окна, как бы движущуюся тень. То был старец в грубой волосяной рясе, с четками на чреслах, с котомкой за плечами — в полном одеянии отшельника. Он подошел к ее постели — сказал, не разжимая губ:

— Радуйся, о мать! Твой сын будет святой!

Она хотела вскрикнуть — но, скользнув по верхней черте лунного луча, старец тихо поднялся на воздух и исчез. Застольные песни раздавались громче прежнего. Она услыхала голоса ангелов — и голова ее упала на подушку,

над которой, на задней стене кровати, виднелась кость святого мученика в богатой оправе из карбункулов.

На другой день все спрошенные слуги объявили, что не видали никакого отшельника.

Наяву ли то случилось или во сне — но то было, конечно, откровение свыше. Она никому не сказала об этом, боясь, как бы ее не упрекнули в гордости.

К утру гости разошлись — и отец Юлиана, проводив последнего из них, стоял у башенных ворот, как вдруг пред ним предстал в тумане нищий. То был цыган с заплетенной бородой, с серебряными запястьями на обеих руках; его зрачки сверкали. С вдохновенным видом произнес он несвязные слова:

— А! А! Твой сын! Много крови, много славы, постоянно счастлив, родня императору!

И, пагнувшись, чтобы поднять подаяние, он исчез в траве, сгинул!

Добрый господин посмотрел направо, налево, позвал людей громким голосом... Никого! Ветер свистал; утренний туман рассеивался.

Он приписал это видение слабости головы своей, утомленной недостатком сна. «Если я расскажу об этом,— думал он,— надо мной будут смеяться». Однако величие и блеск судеб, ожидающих его сына, ослепляли его, хотя обещание и не было вполне ясно — и он даже сомневался, точно ли он всё это слышал?

Супруги скрывали друг от друга свою тайну; но оба они любили дитя одинаковой любовью — и, считая его отмеченным самим богом, всячески радели и заботились о нем.

Постелька его была набита самым тонким пухом; над ней постоянно горела лампада в виде голубя; три мамки укачивали его — и, крепко запеленанный, розовенький, голубоглазый, в парчовой мантии и чепчике, разубранном жемчужинами, он походил на младенца Иисуса.

Зубы прорезались у него так легко, что он ни разу от них не плакал.

Когда ему исполнилось семь лет, мать научила его петь — а отец, дабы внушить ему мужество, посадил его на широкобедренного коня. Дитя улыбалось от радости и скоро научилось всему, что принадлежит ратной верховой езде.

Старый, очень ученый монах, нарочно выписанный из Калабрии, обучил его Священному писанию, арабской цифири, латинским буквам и рисованию миниатюр на пергаменте. Они занимались вдвоем, на самом верху башни,

вдалеке от суеты и шума. После обеда они сходили в сад — и, степенно гуляя, изучали цветы.

Иногда в глубине долины появлялась вереница вьючных животных, погоняемых пешеходом в восточной одежде. Господин, распознав в нем купца, посылал за ним слугу. Чужестранец доверчиво сворачивал с пути и, введенный в приемную, выкладывал из своих сундуков бархаты и шелка, серебряные и золотые вещи, благовония, диковинные предметы неизвестного употребления — и уходил под конец с полным карманом, не потерпев насилия.

В другое время толпа богомольцев-паломников просила пристанища. Их мокрые одежды дымились у очага; а насытившись, они рассказывали о своих путешествиях, о блуждании кораблей по бурным морям, о долгих странствиях пешком по раскаленным пескам пустыни, о свирепости язычников, о сирийских пещерах, о священных яслях и гробнице Христовой. Потом они дарили раковины с своих плащей молодому наследнику — и удалялись с миром.

Часто также господин угощал своих старых боевых товарищей. За чарой вина они вспоминали о войнах, в которых они участвовали, об осадах крепостей, о тяжких ударах военных машин и таранов, о необычайных, громадных ранах. Юлиан вскрикивал, слушая их рассказы. Тогда отец его не сомневался в том, что впоследствии он будет завоевателем. Но перед скончаньем дня, выходя от вечерни, шаг за шагом мимо преклоненных нищих, Юлиан с таким скромным, благородным видом подавал милостыню из своего кошеля, что мать его, с своей стороны, также не сомневалась в том, что увидит его со временем архиепископом.

В капелле он всегда помещался подле родителей — и как бы ни была длинна служба, он все время стоял на коленях у аналоя, без шапки, со сложенными на молитву руками.

Однажды, подняв во время обедни голову, он заметил маленькую белую мышь, вышедшую из скважины стены. Она побегала немножко по первой ступени алтаря,— и, протрусив раза два, три — направо, налево, снова скрылась в скважине.

В следующее воскресенье мысль, что он опять ее увидит,— смущала его. Она, однако, вернулась... и каждое воскресенье он ждал ее; она его раздражала, он начал ее ненавидеть — и решился наконец избавиться от нее.

Заперев двери и накрошив на ступенях алтаря объедки хлеба, он стал около скважины с тросточкой в руке. Спу-

стя долгое время показалась наконец мордочка, а затем и вся мышка. Он легонько ударил ее тросточкой — и оцепенел от изумления при виде маленького, недвижного тельца. Капля крови запятнала плиту. Он поспешно вытер ее рукавом, выбросил мышь — и никому не сказал об этом ни слова.

Разнородные пичужки клевали зерна в саду. Юлиану пришло в голову наполнить горохом пустой ствол тростника — и, заслышав щебетание на дереве, он тихонько подкрадывался, направлял свою трубку — надувал щеки... и пичужки сыпались ему на плечи в таком изобилии, что он невольно смеялся, довольный своей выдумкой.

Однажды утром, возвращаясь с валу, он увидел на гребне стены голубя, толстого красноногого голубя; он красовался и двигал зобом на солнце. Юлиан остановился, чтобы посмотреть на него,— и так как стена в этом месте несколько обрушилась и расселась, то ему случайно попал под руку осколок камня. Он поднял руку — и камень полетел прямо в птицу, которая так и покатилась в ров, как чурбанчик.

Проворнее молодого пса кинулся он за нею, царапаясь о терновник,— и начал всюду шарить.

Голубь с перешибленными крыльями трепетал еще, повиснув на ветвях ясеня.

Упорство жизни раздражило дитя. Он принялся душить голубя — и судороги издыхавшей птицы заставляли прыгать его сердце. Он испытывал дикое, мятежное наслаждение. При последнем содрогании голубя он вдруг почувствовал, что силы его покидают... Он едва не упал в обморок.

Вечером за ужином отец объявил ему, что в его годы следует учиться звериной ловле,— и принес старую, кругом исписанную тетрадь, заключавшую в вопросах и ответах перечень всех охотничьих забав.

Составитель этой тетради обучал в ней ученика искусству натаскивать собак и вынашивать ястребов, показывал, как следует ставить западни, как узнавать оленя по его помету, лисицу и волка — по их следам; какой лучший способ распознавать тропы зверей, как их выгонять из лесу, где находятся их пристанища; какие бывают благоприятные ветры и погоды; а затем следовало исчисление всех охотничьих криков и поговорок, холканий и порсканий.

Когда Юлиан выучил все это наизусть, тогда отец отобрал для него знатную стаю собак.

В эту стаю поступило, во-первых: двадцать пять варварийских борзых кобелей; они были резвее серн, но по горячности своей иногда неудержимы; затем семнадцать пар бретонских краснопегих гончих, чутких, добычливых, горластых, с стальною грудью; потом — сорок брусбартов, мохнатых, не хуже медведей; их спускали на кабанов, когда те внезапно садились на зад и грозили клыками. Татарские псы, величиной почти с осла, огненного цвета, широкие, жилистые, с прямыми, как стрелы, ногами,— предназначались для охоты за зубрами. Черная шерсть испанок лоснилась, как атлас; заливчатое тявкание «тальботов» не уступало серебристому лаю английских «биглей». На отдельном дворе рычали, потрясая цепями и ворочая кровавыми зрачками, восемь аланских догов; то были страшные животные, которые впивались в брюхо всадникам и не боялись самого льва.

Всех этих псов кормили пшеничным хлебом; лакали они из каменных корыт — и клички у них были звонкие.

Но соколиный двор, пожалуй, превосходил еще псарню. Добрый господин за дорогую цену добыл себе кавказских беркутов, вавилонских сероголовых подорликов, немецких ястребов и дербников да белых кречетов, пойманных на утесах, по берегам холодных морей, в странах отдаленных.

Все эти ловчие птицы жили под навесом, крытым соломою,— а под насестью, к которой они были привязаны по ранжиру роста, перед каждой из них находился клочок дерна. От времени до времени, чтобы дать птицам размяться и встряхнуться, их спускали на этот дерн.

Всевозможные западни были заготовлены в изобилии: и тенета, и крюки, и железные ловушки, и подвижные зеркальца для ловли жаворонков.

Легавых собак часто водили в поле — и они тотчас же находили дичь и делали стойку. Тогда охотники осторожно приближались к ним, растягивали над их неподвижными телами огромную сеть — и условным знаком приказывали им лаять. Перепелы вылетали из травы — и приглашенные, вместе с мужьями, соседние дамы, дети, служанки, все бросались на птиц, запутанных в петлях сети, и без труда овладевали ими.

В другой раз били в барабан, чтобы выгнать из острова зайцев; лисицы падали в ямы — или внезапно соскочившая пружина западни хватала волка за ногу.

Но Юлиан пренебрегал этими безопасными хитростя-

ми. Он любил охотиться вдали от всех, один на своем коне и с любимой своей птицей. Обыкновенно то был скифский кречет, белый как снег. На его кожаном клобучке развевался султанчик; золотые бубенчики бряцали на его синеватых лапах. Конь скакал; луга расстилались и проносились мимо — а кречет крепко держался на руке своего господина. Юлиан, развязав путы, вдруг спускал его. Прямо, как стрела, взвивалась вверх смелая птица... Только две неровные точки виднелись в вышине... Они двигались, соединялись, затем исчезали в лазури. Кречет скоро спускался, разрывая добычу,— и, трепеща крыльями, садился снова на рукавицу к хозяину.

Юлиан ловил таким образом цаплей, луней, галок и коршунов.

Он любил трубить в охотничий рог, идя следом за своими псами, которые мчались по скатам холмов, перепрыгивали ручьи, вбегали в лес; и когда олень начинал стонать, терзаемый их зубами, он живо сваливал его одним быстрым ударом — и любовался яростью псов, пожиравших рассеченные куски его туши на дымившейся шкуре.

В туманные дни он забирался в болото — и подстерегал диких гусей, уток или выдру.

С самой зари три копюха дожидались его у крыльца; а старый монах, высунувшись из слухового окна, напрасно делал ему знаки и звал его к себе. Юлиан не оборачивался. Он уходил и в жар, и в дождь, и в бурю; пил пригоршней ключевую воду, ел на ходу дикие яблоки и ягоды, отдыхал под дубом, если уставал; и возвращался уже ночью, поздно, весь в грязи и в крови, с колючками в волосах, весь пропитанный запахом дичи. Когда мать целовала его, он холодно принимал ее ласки — и, казалось, размышлял о чем-то важном и далеком.

Он убивал медведей ножом, быков топором, кабанов рогатиной — и однажды, имея при себе одну только палку, долго оборонялся от стаи волков, глодавших трупы под виселицей.

В одно зимнее утро, еще до восхода солнца, выехал он в полном вооружении, с самострелом на плече и с пуком стрел в колчане, приделанном к седельной луке.

Земля гудела под ровной поступью его датского жеребца; за хвостом коня бежали две лохматые собаки. Ветер дул неистово; плащ Юлиана покрылся зернами инея. Небосклон стал проясняться с одной стороны — и сквозь беловатые утренние сумерки он увидел кроликов, прыгавших у своих норок. Обе собаки тотчас кинулись на кроли-

ков и, быстро их хватая, ломали пополам их спинные хребты.

Скоро затем въехал он в лес. На конце одинокой ветки, весь окоченелый от холода, спал глухарь-тетерев, подвернув голову под крыло. Юлиан отсек ему мечом наотмашь обе лапы — и, не подобрав его, продолжал свой путь.

Три часа спустя очутился он на вершине горы столь высокой, что небо над нею казалось почти черным. Перед ним, подобный длинной стене, свешивался утес над бездной; на крайнем его конце два диких козла смотрели вниз, понурив головы. Не имея стрел, ибо конь его остался позади, он вздумал спуститься к ним. Задерживая дыхание, чуть не ползком, босой, он подкрался сзади к первому козлу — и вонзил ему кинжал между ребрами. Второй, обезумев от ужаса, прыгнул в бездну. Юлиан кинулся было, чтобы ударить и его, но, поскользнувшись, упал на труп первого с распростертыми руками и перевесившимся через край бездны лицом.

Возвратившись в поле, он пошел вдоль ив, разросшихся по берегу большой реки. Низко летевшие журавли проносились от времени до времени над его головою — и он убивал их бичом, ни разу не давая промаха.

Между тем в воздухе потеплело, иней растаял, пары заколыхались широкими пеленами — и показалось солнце. Под его лучами засверкала вдали свинцовая гладь как бы застывшего озера. По самой середине этого озера видпелось незнакомое Юлиану животное — черномордый бобр. Несмотря на расстояние, стрела Юлиана вонзилась в него — и он досадовал, что не мог унести с собою шкуру убитого зверя.

Затем он вошел в аллею высоких деревьев, образовавших верхушками своими как бы подобие триумфальной арки. Она вела в большой лес. Из чащи выскочила дикая коза, на перекрестке показалась лань, из норы вышел барсук, павлин распустил свой хвост на зеленой мураве — и когда он их всех умертвил, появились другие дикие козы, другие лани, другие барсуки, другие павлины; а там дрозды, сойки, хорьки, лисицы, ежи, рыси—бесчисленное множество животных, все больше, больше с каждым шагом. Они кружились около него, трепеща всем телом,— и взоры их, на него устремленные, были кротки и полны смиренной мольбы. Но Юлиан не уставал убивать. Он то натягивал самострел, то обнажал меч, то колол ножом, ни о чем не думая, ничего не помня и не понимая... Он охотился в какой-то неведомой стране, неизвестно с каких пор —

бессознательно, почти бесчувственно. Все совершалось с тою легкостью, какую испытываешь во сне.

Необычайное зрелище остановило его. Стадо оленей наполнило долину, имевшую вид цирка; тесно скученные, один возле другого, они отогревались дыханием своим, которое дымилось в тумане.

Надежда на истребление — громадное, небывалое — до того обрадовала Юлиана, что на несколько мгновений у него дыхание сперлось. Он слез с коня, засучил рукава и принялся стрелять.

При свисте первой стрелы все олени разом повернули головы, в их сплошной массе образовались как бы впадины; раздались жалобные голоса — и все стадо заколыхалось.

Края цирка были слишком высоки и круты; олени не могли их перескочить: они метались по дну долины, ища спасения. Юлиан целился, стрелял, целился снова... стрелы сыпались, как дождь. Олени, обезумев, дрались, лягались, карабкались друг на друга — и тела их со спутанными рогами воздвигались широким холмом, который то и дело обрушивался, передвигался. Наконец, сваленные на песок, с пеной у ноздрей, с вылезшими кишками, они испустили дыхание — и волнообразное колыхание их боков и черёв, постепенно ослабевая, затихло. Затем все стало неподвижно.

Наступила ночь — и за лесом, сквозь разрезы ветвей, виднелось небо, красное, как кровавая пелена.

Юлиан прислонился к дереву. Выпуча глаза, смотрел он на необъятную бойню, не постигая, как он это мог один совершить.

Но вдруг на другой стороне долины показались олень, лань и с ними их детеныш — теленок.

Олень был весь черный, огромного росту, с шестнадцатью отростками на рогах и белой бородою; лань, бледно-желтая, цвету осеннего листа, щипала траву, а пятнистый детеныш, не останавливая ее, на ходу сосал ее вымя.

Снова натянулась и завыла тетива самострела... Теленок тотчас был убит. Тогда мать, подняв глаза к небу, затосковала громким, раздирающим, человеческим голосом. Юлиан, в бешенстве, выстрелом прямо в грудь повалил ее на землю.

Старый олень все это видел и прыгнул к нему навстречу. Юлиан пустил в него свою последнюю стрелу. Она вонзилась ему в лоб и осталась на месте. Старый олень словно не почувствовал ее; перешагнув через трупы, он все

приближался и, казалось, готовился ринуться на Юлиана и вскинуть его на рога. Юлиан в невыразимом страхе попятился назад. Но дивное животное остановилось — и, сверкая глазами, торжественно, как патриах, как судия, между тем как вдали звякал колокол,— трижды провозгласило:

— Проклят! проклят! проклят! Придет день — и ты, свирепый человек, умертвишь отца и мать!

Олень опустился на колени, закрыл тихо вежды — и испустил дух.

Юлиан остолбенел. Он почувствовал внезапную крайнюю усталость, необычайная печаль, отвращение, тоска овладели им. Закрыв лицо руками, он долго плакал.

Коня он потерял, собаки покинули его, пустыня, окружавшая его, казалось, угрожала ему несказанными бедами.

Объятый страхом, он побежал через поле по первой попавшейся ему тропинке — и почти немедленно очутился у ворот своего замка.

Всю ночь он не спал. При колеблющемся мерцании висячей лампады он постоянно видел старого черного оленя. Предвещание умиравшего зверя преследовало Юлиана; он всячески пытался отогнать эту мысль: «Нет! нет! нет! Я не могу их убить!» А потом он думал: «Если бы я захотел, однако!» И он боялся, что дьявол введет его в искушение и впушит ему нечестивое желание.

Целых три месяца мать его в глубокой скорби молилась у изголовья его постели, а отец беспрерывно бродил по коридорам. Он призвал самых знаменитых лекарей; те прописали Юлиану множество различных снадобий. Недуг Юлиана, говорили они, причинился ему либо от зловредного ветра, либо от любовного желания. Но молодой человек на все вопросы отрицательно качал головою.

Силы понемногу вернулись к нему — и старый монах, и добрый господин стали водить его для прогулки по двору, поддерживая его под руки.

Оправившись совершенно, он продолжал упорно отказываться от охоты.

Отец, желая развлечь его, подарил ему большую сарацинскую шпагу. Она висела на верху столба среди других доспехов — и, чтобы достать ее, понадобилась лестница.

Юлиан влез на нее, но тяжелая шпага выскользнула у него из пальцев — и, падая, так близко коснулась доброго господина, что разрезала его епанчу. Юлиан вообразил, что убил отца,— и лишился чувств.

С тех пор он боялся оружия. Один вид железа застав-

лял его бледнеть. Подобная слабость приводила в отчаяние его семью.

Наконец старый монах именем бога, чести и предков приказал ему возвратиться к своим дворянским обязанностям.

Конюхи его отца ежедневно забавляли его метанием дротиков. Юлиан скоро достиг совершенства в этом искусстве. Он улучал дротиком в горлышко бутылок, отбивал зубцы флюгеров, а на сто шагов попадал в гвоздья дверей.

Однажды, летним вечером, в самый час сумерек, когда все предметы становятся неясными, Юлиан стоял под виноградной лозой в саду и увидал далеко-далеко два белых крыла, которые вздымались и порхали над шпалерником. Он не сомневался в том, что зто были крылья аиста,— и метнул свой дротик.

Раздался пронзительный крик. То была его мать. Длинные концы ее шлыка были пригвождены к стене.

Юлиан убежал из замка — и более уже не возвращался.

II

Юлиан нанялся в проходившую шайку искателей приключений, с тем условием, чтобы они увели его далеко — и чтобы жизнь его подвергалась опасностям.

Он узнал и голод, и жажду, и недуг горячки, и все безобразия нечистоты; он приучился к грохоту битв, к виду умиравших людей. Кожа его заскорузла от ветра, члены отвердели от соприкосновения ратных доспехов, он весь закалился; а так как он отличался храбростью, силой, воздержаньем, смышленостью, то ему нетрудно было достигнуть начальства над отдельным отрядом.

Вступая в битву, он широким взмахом меча увлекал за собою солдат своих. Ночью взбирался он по узловатой веревке на стены крепостей; вихорь раскачивал его, висящего на воздухе; искры греческого огня сыпались ему на латы, между тем как из бойниц струились ручьи горячей смолы и расплавленного олова. Нередко брошенный камень раздроблял его щит; мосты, обремененные людьми, проваливались под ним. Однажды, действуя своей тяжелой палицей, разделался он с дюжиной всадников. На поединках побеждал он всех своих противников; много раз считали его мертвым.

Но божья милость всегда сохраняла его целым и невредимым, ибо он оказывал покровительство духовным

особам, сиротам, вдовам, а особенно старикам. Когда ему случалось видеть впереди себя старика, он всякий раз окликал его, желая взглянуть ему в лицо — и как бы опасаясь убить его по ошибке.

Беглые рабы, взбунтовавшиеся крестьяне, неимущие, незаконнорожденные, всякого рода смельчаки и голыши стекались под его знамена — и он составил себе значительное войско. Оно росло, он стал известен; все владетели старались вступить с ним в союз.

Он служил поочередно у английского короля, у французского дофина, у иерусалимских меченосцев, у парфянского «Сурёны-царя», у абиссинского «нэгуса», у калькуттского императора. Он воевал с скандинавами, покрытыми рыбьей чешуей, с неграми, вооруженными круглыми щитами из бегемотовой кожи и ехавшими верхом на красных ослах; с златокожими индусами, размахивавшими над своими венцеобразными тиарами — длинными, как зеркала сверкавшими, саблями. Он побеждал троглодитов и людоедов. Он прошел войною столь знойные края, что от действия солнечного жара волосы людей сами собою вспыхивали, как факелы,— а другие края столь холодные, что руки отделялись от плеч и падали на землю; он прошел еще страну, где царили такие туманы, что воины подвигались вперед, окруженные со всех сторон призраками.

Республики в затруднительных случаях обращались к нему за советом. При переговорах с послами он добивался неожиданно выгодных условий. Если какой-либо монарх вел себя слишком дурно, он внезапно являлся к нему и увещевал его. Он освобождал народы и избавлял королев, заключенных в башни. Не кто другой — а именно Юлиан убил медиоланскую змею-каракатицу и обербирбахского дракона.

Аквитанский император, восторжествовав над испанскими мусульманами, взял себе в наложницы сестру кордуанского халифа и прижил с нею дочь, которую он воспитал в христианском законе; но халиф, показывая вид, что желает обратиться в истинную веру, явился к нему якобы в гости в сопровождении многочисленной свиты; умертвил весь его гарнизон, а его самого посадил в подземную тюрьму и вообще обращался с ним весьма жестоко, дабы вынудить у него признание, где он скрыл свои сокровища.

Юлиан поспешил на помощь к императору, уничтожил войско неверных, убил халифа, отрубил ему голову и перекинул ее, как мяч, за крепостной вал. Затем он вывел

из тюрьмы императора — и посадил его на престол в присутствии всего двора.

Император, в награду за такую услугу, поднес ему в корзине много денег: Юлиан не захотел взять их. Тогда, полагая, что он хочет больше, император предложил ему три четверти всех своих богатств — и снова получил отказ. Тогда он попросил разделить с ним царство: Юлиан поблагодарил — и не согласился. Император даже заплакал с досады, не зная, каким образом доказать ему благодарность; но вдруг он ударил себя по́ лбу и шепнул словечко на ухо одному придворному.

Полы занавеса на дверях раздвинулись — и появилась молодая девица.

Ее большие черные очи светились тихим и мягким, лампадным светом; прелестная улыбка слегка раскрывала ее уста. Ее длинные волосы цеплялись за алмазы, украшавшие ее полураскрытое платье, а под прозрачной туникой понятным, но тайным намеком сказывалась сладостная юность ее девического тела. Вся она была нежненькая, пухленькая, тоненькая.

Ослепленный ее появленьем, Юлиан почувствовал очарование любви; оно было тем сильнее, что доселе он вел жизнь весьма целомудренную.

Он женился на дочери императора — и взял за нею замок, доставшийся ей от матери. По окончании свадебного пира новобрачные распростились с императором, обменявшись с ним нескончаемыми заявлениями доброжелательства и дружбы.

Беломраморный дворец, в котором Юлиан поселился с своей супругой, построенный на мавританский лад, возвышался на мысу вблизи морского залива, среди апельсинной рощи. Террасы, усаженные цветами, спускались до самого прибрежья, где розовые раковины хрустели под ногами прохожих. Позади замка расстилался веером лес, небо над ним было постоянно лазурного цвета; деревья поочередно склонялись то под наплывом ветра, бежавшего с гор, окаймлявших небосклон, то под веяньем свежего морского дыханья. Полутемные комнаты дворца освещались вделанными в стены украшениями из золота и драгоценных камней. Высокие колонки, тонкие, как тростник, подпирали своды куполов, разубранных выпуклой резьбой, представлявшей подобие пещерных сталактитов; фонтаны били в залах, мозаика выстилала дворы; всюду виднелись прорезные перегородки, тысячи других архитектурных изощрений и затей — и всюду царствовала такая

тишина, что слышался шелест женской перевязи или дальний отзвук вздоха.

Юлиан более не воевал. Он отдыхал, окруженный мирным народом,— и каждый вечер проходила мимо него толпа, преклоняя колено и лобызая его руку, по восточному обычаю.

Одетый в пурпур, сидел он, облокотившись, у окна — и вспоминал свои прежние охоты. Ему хотелось бы преследовать по пустыням серн и страусов, караулить леопарда, скрываясь в бамбуковой чаще, посещать леса, наполненные носорогами, взбираться на вершину недоступнейших гор, чтобы оттуда вернее метить в пролетавших орлов, и на льдинах холодных морей бороться с белыми медведями.

Иногда во сне видел он себя праотцем Адамом — среди зверей,— и, простерши руку, он их всех умерщвлял; или же они проходили мимо, одни за другими, попарно, по росту, начиная со слонов и львов и кончая горностаями и утками,— как в тот день, когда их принял Ноев ковчег. Окутанный мраком глубокой пещеры, Юлиан бросал в них свои неизменные копья; но тогда являлись другие звери — и так без конца... И он просыпался, свирепо вращая глазами.

Союзные с ним принцы приглашали его на охоту, но он всегда отказывался, в той надежде, что подобной эпитимией он отвратит от себя несчастье свое; ему казалось, что от умерщвления животных зависела судьба его родителей. Он скорбел, что не мог увидаться с ними,— а та, другая его присуха — его охотничья страсть — становилась нестерпимой.

Жена, чтобы развлечь его, призывала фигляров и танцовщиц. В открытых носилках прогуливалась она с ним по полям — или, лежа в челне и прислонясь к его краю, они смотрели вдвоем на рыб, игравших в светлой, как небо, воде. Иногда бросала она ему цветы в лицо — а не то, прикорнув к его ногам, наигрывала песни на трехструнной лютне; затем, положив скрещенные руки ему на плечо, говорила робким голосом: «Что с вами, мой дорогой господин?»

Он не отвечал или разражался рыданьями; наконец однажды он признался в ужасной мысли, которая его преследовала.

Она стала оспаривать его — и ее доводы были рассудительны и толковы. Его отец и мать, вероятно, умерли. Если он когда-нибудь их увидит — то какими судьбами, с какой стати совершит он такой гнусный поступок. Стало быть,

его страх не имел основания — и он должен снова начать охотиться.

Юлиан с улыбкой слушал ее — и все-таки не решался удовлетворить свою страсть.

В один августовский вечер они оба находились в спальне. Она только что легла, а он стал было на колени, чтобы молиться,— как вдруг услышал вдали тявкание лисицы, затем легкие шаги под окном — и ему померещились в тени как бы очертания зверей. Соблазн был слишком велик. Он отцепил колчан со стены. Она изумилась.

— Я повинуюсь твоим советам,— сказал он.— К восходу солнца я буду дома.

Однако она страшилась какого-нибудь пагубного приключения. Он успокоил ее — и ушел, дивясь переменчивости ее настроения.

Скоро после того вошел в спальню паж и доложил, что двое неизвестных, за отсутствием господина, желают тотчас же видеть госпожу.

И затем в комнату вошли старик и старуха, сгорбленные, запыленные, в холщовой одежде. Каждый из них опирался о палку.

Приободрившись, они объявили, что принесли Юлиану вести об его родителях.

Госпожа выпрямилась на постели, готовясь их выслушать.

Но, обменявшись взглядами между собою, они спросили, помнит ли он родителей и говорит ли о них иногда.

— О да! — сказала она.

— Ну так ведь это мы! — И они оба сели, так как они запыхались и изнемогали от усталости.

Ничто не доказывало молодой женщине, что супруг ее был точно их сын. Тогда, чтобы убедить ее, они описали особые знаки, которые он имел на теле.

Она соскочила с постели, позвала пажа — и им подали кушать. Хотя они очень были голодны, однако почти ничего не могли есть, а она, стоя в стороне, замечала, как дрожали их костлявые руки, когда они брались за кубки.

Они закидали ее тысячами вопросов об Юлиане; она на всё отвечала, но скрыла, однако, ту зловещую мысль Юлиана, которая их касалась.

Они стали рассказывать, как, видя, что сын их не возвращается, они покинули свой замок и пустились в путь-дорогу, чтобы отыскать его; как бродили вот уже несколько лет, руководствуясь неясными указаниями, не теряя надежды. Им столько пришлось выплатить денег за пере-

правы через реки, да в гостиницах, да на королевские пошлины, а также на удовлетворение воров и грабителей, что кошелек их опустел и теперь они принуждены просить милостыню. Но они уверяли, что это не беда, так как ведь они теперь скоро обнимут сына. Они радовались его счастью, что вот, дескать, какую он добыл себе миленькую жену; не могли на нее довольно налюбоваться — и всё ее целовали.

Пышность покоя очень их изумляла, и старик, осмотрев стены, спросил: отчего тут находится герб аквитанского императора?

Она отвечала:

— Это отец мой.

Тогда он вздрогнул, вспомнив предсказание цыгана, а старухе пришло на ум то, что сказал ей отшельник. «Конечно,— думала она,— слава сына ее только заря — предвестница небесной лучезарной славы»,— и оба они пребывали в каком-то блаженном оцепенении, под лучами канделябра, освещавшего стол.

Они, должно быть, очень были красивы собою в молодости. Мать сохранила еще все свои волосы; их тонкие пряди, подобные снегу, спускались вдоль ее щек, а отец по высокому росту и длинной бороде походил на церковную статую.

Жена Юлиана убедила их не дожидаться его. Она сама уложила их в свою постель, закрыла окно — и они заснули. День уже наступал; за оконной решеткой начинали щебетать ранние птички.

А Юлиан, минуя парк, шагал сильной поступью по лесу, наслаждаясь мягкостью травы и благорастворением воздуха.

Длинные тени деревьев тянулись по моховым кочкам. Лунный свет пестрил лесные поляны белыми пятнами. Юлиан нерешительно подвигался вперед. То ему чудился отблеск стоячей воды; то он не знал: что́ это перед ним, трава или поверхность неподвижного болота. Всюду царила глубокая тишина — и не видел он ни одного из зверей, недавно бродивших вокруг его замка.

Лес стал гуще; темнота усилилась. Теплый порывистый ветер приносил с собою запах, от которого кружится и слабеет голова. Ноги Юлиана погружались в груды сухих листьев. Он прислонился к дубу, чтобы перевести дух.

Вдруг из-за спины его выскочила темная масса... то был кабан. Юлиан не успел схватить свой лук — и это огорчило его, точно несчастье с ним случилось.

Затем, выйдя из леса, заметил он волка, пробиравшегося вдоль плетня. Он пустил в него стрелу. Волк остановился, повернул голову, глянул на него — и продолжал свой путь. Он трусил рысцой все в одном и том же расстоянии от Юлиана. По временам он останавливался, но, лишь только Юлиан в него прицеливался, он снова пускался наутек. Юлиан прошел таким образом длинную-длинную равнину, затем песчаные холмы и очутился на плоскогории; оно господствовало над значительным пространством окрестного края. Могильные плиты были рассеяны там между разрушенными склепами,— он спотыкался о мертвые кости; кое-где жалобно торчали покосившиеся, источенные червями деревянные кресты.

Но вот какие-то образы зашевелились в неверной тени могил — и из нее вышли гиены, взъерошенные, испуганные. Стуча когтями по плитам, подошли они к Юлиану, протяжно зевая и обнажая свои десны.

Он выхватил меч. Все они разом бросились прочь от него по всем направлениям — и, продолжая скакать своим торопливым и хромым галопом, исчезли вдали в клубах пыли.

Час спустя встретил он в овраге бешеного быка; он склонил рога и скреб ногою землю; Юлиан направил свое копье ему в подгрудок: оно разлетелось вздребезги—точно это животное было из меди. Он закрыл глаза, ожидая смерти... Когда он их открыл — бык уже исчез.

Тогда он упал духом: он ощутил унижение стыда. Высшая власть разрушала его силу. Он снова вошел в лес, чтобы только поскорей вернуться домой.

Заглохлый лес весь зарос лианами. Он начал было рубить их мечом, но вдруг между ног его скользнула куница, барс перепрыгнул ему через плечо, и змея спиралью поползла вверх по стволу ясеня. В ветвях его сидела чудовищная ворона и смотрела на Юлиана; а там и тут на деревьях появилось множество широких лучистых искр, точно свод небесный высыпал на лес все свои звезды. То были зеницы зверей, диких кошек, белок, филинов, попугаев, обезьян.

Юлиан пустил в них свои стрелы. Оперенные стрелы садились на листья, словно белые бабочки. Он начал швырять в них камнями. Камни, никого не задевая, падали обратно на землю. Тогда он разразился проклятиями, готов был самого себя изувечить, задыхался от бешенства, произносил неистовые слова!

И все животные, за которыми он некогда охотился,

появились теперь и образовали вокруг него тесный круг. Одни сидели на задних лапах, другие вздымались во весь рост. Он стоял среди их, помертвев от ужаса; он не в силах был пошевельнуться. Напрягши наконец последнюю волю свою, он ступил шаг вперед. Сидевшие на деревьях животные разверзли крылья, находившиеся на земле расправили свои члены — и все последовали за ним.

Гиены выступали впереди его, волк и кабан позади; справа, поматывая огромной головою, шел бык, а слева змея волнообразно ползла по траве — между тем как барс, выгибая спину, подвигался вперед огромными мягкими, неслышными шагами. Юлиан шел так тихо, как только возможно, чтобы не раздражать зверей,— и видел, как из чащи появлялись дикобразы, ехидны, чекалки, медведи.

Юлиан побежал — и они побежали.

Змея шипела, вонючие звери испускали слюну, кабан тер ему пятки своими клыками, волк ерзал по его ладони мохнатой мордой; обезьяны, кривляясь, щипали его; куница свертывалась в клубок у его ног; медведь паотмашь сбил ему лапой шляпу с головы; а барс презрительно уронил стрелу, которую держал в пасти. Чувствовалась злая насмешка в ухватках зверей,— и, искоса поглядывая на него своими прищуренными зрачками, они, казалось, обдумывали план мести. Оглушенный жужжанием насекомых, ошеломленный ударами птичьих хвостов, задыхаясь ото всех этих испарений и дыханий, Юлиан шел с закрытыми глазами, простирая руки вперед, как слепой, не имея даже силы молить о пощаде. Вдруг крик петуха пронесся в воздухе; другие петухи откликнулись. Наступало утро— и он узнал над верхушками апельсинных деревьев конек кровли на своем дворце.

Затем на окраине поля увидел он в трех шагах от себя красных куропаток, перепархивавших по жнивью. Он расстегнул застежку воротника — и бросил на них свой плащ. Когда он его приподнял, то увидел только одну куропатку, давно уже издохшую, сгнившую.

Этот обман раздражал его более, чем все остальные. Жажда бойни, резни снова овладела им — и за неимением зверей он готов был убивать людей. Он быстро пробежал все три террасы своего дворца, кулаком вышиб дверь — но на лестнице воспоминание о милой жене смягчило его сердце. Она, вероятно, спит; он обрадует ее своим появлением.

Сбросив сандалии, тихо повернул он ручку замка и вошел в спальню. Расписные стекла в свинцовой оправе за-

темняли бледноватый цвет зари. Юлиан запутался в платье, лежавшем на полу; немного далее он натолкнулся на стол, уставленный посудою. «Знать, она ужинала»,— подумал он, подвигаясь к кровати, скрытой в самой темной глубине комнаты. Остановившись у края кровати, он, чтобы поцеловать жену, нагнулся к подушке, на которой рядышком покоились две головы. Он почувствовал на губах своих прикосновение бороды.

Он отскочил, полагая, что сходит с ума. Однако он снова вернулся к кровати — и пальцы его ощупью коснулись длинных волос. А! Это жена! Чтобы удостовериться в своей прежней ошибке, он медленно провел рукою по подушке... Что это? Борода! Борода мужчины! Мужчина лежал возле его жены!

В исступленном, безграничном гневе он накинулся с кинжалом на эту чету... С пеной во рту, топая ногами, рыча, как дикий зверь, он наносил удары... потом затих. Оба спавших, тотчас же пораженные в самое сердце, и не шелохнулись. Он внимательно прислушивался к их почти одинаковому хрипенью — и по мере того, как оно ослабевало, другой голос вдали как бы продолжал этот страшный звук. Сначала едва внятный, голос этот, жалобный, завывающий, приблизился, вздулся, залился каким-то жестоким, беспощадным стенанием — и Юлиан, окаменев от ужаса, узнал в нем предсмертный рык старого черного оленя!

Он повернулся наконец — и ему представился в дверях призрак его жены со свечой в руке.

Шум совершаемого убийства привлек ее. Одним взглядом поняла она все — и в перепуге страха бросилась бежать, уронив на пол свечу.

Он поднял эту свечу. Отец и мать его лежали перед ним на спине с прободенной грудью — и их величественно-кроткие лица, казалось, хранили вечную тайну. Кровавые брызги, кровавые лужи виднелись по их белым телам, по простыне, одеялу, по полу — даже вдоль висевшего в алькове Христа из слоновой кости краснела кровь. Алый отблеск оконного стекла, в которое в это мгновенье ударило солнце, освещал эти красные пятна и разбрасывал еще много других по всей комнате. Юлиан подошел к обоим мертвецам, убеждая себя, силясь верить, что это невозможно, что он ошибся, что бывают же такие удивительные сходства! Он слегка наклонился, чтобы как можно ближе рассмотреть старика,— и увидел под не вполне закрытым веком потухший зрачок, прожегший его как бы

огнем. Затем он обошел постель и приблизился к стороне, где лежал другой труп... Белые волосы прикрывали часть лица. Юлиан отстранил их пальцами, поднял голову матери — и долго смотрел на нее, поддерживая эту голову самым концом окоченевшей руки,— в другой он держал свечу и светил себе ею. Кровь сочилась с тюфяка и капля за каплей с слабым стуком падала на пол.

Под вечер он явился к жене — и каким-то чужим, не своим голосом велел ей, во-первых, не отвечать ему, не подходить к нему, даже не глядеть на него, а во-вторых, под страхом проклятья, исполнить все его приказания, которые должны быть ненарушимы.

Похороны следовало устроить согласно письменному предписанию, оставленному им на аналое в комнате покойников. Юлиан завещал жене свой замок, своих вассалов, все имущество свое — не удержав за собою даже той одежды, которая была на нем, ни даже сандалий, которые жена должна была найти на верху лестницы. Ставши невольной причиной его преступления, она исполнила божью волю — и должна молиться за упокой его души, так как с этого дня он уже больше не существует.

Покойников с пышностью похоронили в монастырской церкви, отстоявшей на три перехода от замка. Монах, со спущенным на лицо капюшоном, следовал издали за похоронной процессией; никто не дерзал заговорить с ним.

В продолжение всей обедни лежал он ничком у главного входа, с распростертыми крестообразно руками, не подпимая головы из праха.

После погребения он отправился по дороге, ведшей в горы. Он несколько раз оборачивался и наконец исчез.

III

Юлиан странствовал по миру, питаясь подаянием. На проезжих дорогах протягивал он руку всадникам, с коленопреклонением подходил к жнецам — или же неподвижно стоял у решеток дворов,— и лицо его было так печально, что никто не отказывал ему в милостыне.

Побуждаемый самоуничижением, рассказывал он свою страшную повесть. Тогда все осеняли себя крестом и отдалялись от него. Когда же он возвращался в деревню, в которой ему уже раз пришлось побывать, его встречали угрозами, запирали перед ним двери, швыряли в него каменьями. Самые милосердые ставили ковш воды на край окна — и закрывали ставни, чтобы его не видеть.

Отринутый всеми, он стал избегать людей и питался кореньями, падалицей и ракушками, которые собирал на плоских песчаных берегах.

Иногда с высоты косогора он внезапно видел перед собою массу скученных крыш города, каменные колокольни, мосты, башни, скрещенные темные улицы, откуда доносился до него непрерывный гам. Потребность принять участие в жизни других людей побуждала его спуститься в город. Но грубое выражение лиц, шум станков, безучастность речей леденили его сердце. В праздничные дни, когда колокольный благовест соборов с самой зари радостно настраивал народ, он смотрел на жителей, выходивших из своих домов, на хоровые пляски посреди площадей, на фонтаны браги, струившиеся по перекресткам, на дворцы принцев, украшенные обоями и коврами; а когда наступал вечер, заглядывал украдкой в окна нижних этажей: там, за длинными семейными столами, сидели деды, держа маленьких внуков на коленях. Рыданья душили его — и он снова уходил в поле.

С невольным порывом любовных чувств следил он взором за пасшимися по лугам жеребятами, за пташками, сидевшими в своих гнездах, за златокрылыми насекомыми, отдыхавшими на цветах. Но все животные при его приближении либо убегали прочь, либо пугливо прятались, либо торопливо улетали.

Он снова стал искать уединенных мест; но ветер приносил его слуху как бы предсмертный хрип; роса, падая на землю, напоминала ему другие, более тяжелые капли; солнце каждый вечер окрашивало кровью облака — и каждую ночь, во сне, повторялось ужасное отцеубийство.

Он сшил себе власяницу, усеянную железными остриями; на коленях всползал до часовен, стоявших на вершинах холмов; но безжалостное воспоминание омрачало пышность священных храмов, терзало его даже посреди суровых истязаний и добровольных мук покаяния.

Он не роптал на бога за то, что он присудил ему совершить тот поступок — и однако, приходил в отчаяние при мысли, что он мог его совершить.

Его собственная особа внушала ему такое отвращение, что в надежде избавиться от нее он подвергал себя опасностям. Он спасал разбитых параличом из пламени пожаров, путников со дна глубоких пропастей. Пропасть извергала его обратно, пламя щадило его.

Время не утишило его страданий; они сделались невыносимыми: он решился умереть.

Однажды, стоя на краю колодца, он нагнулся, чтобы глазом измерить глубину воды,— и увидел перед собою исхудалого старика с белой бородою — старика такого жалкого и горького, что он не мог удержаться от слез. Тот тоже заплакал. Не узнавая себя, Юлиан смутно припоминал лицо, похожее на это. Вдруг он вскрикнул: «Да ведь это отец!» После того он уже более не помышлял о самоубийстве.

Влача за собою тяжелое бремя своего воспоминания, он прошел много стран — и добрел наконец до одной реки, переправа через которую считалась опасной вследствие быстроты течения и вязкой тины, покрывавшей оба берега на значительное расстояние. Давно уже никто не отваживался переезжать эту реку.

Старая лодка с загрязшей кормой выдвигала нос свой из камышей. Юлиан, осмотрев ее, нашел пару весел — и ему пришла в голову мысль посвятить жизнь свою на служение другим.

Он начал с того, что устроил на одном берегу нечто вроде насыпи, по которой можно было спускаться до самого фарватера. Он обломал себе ногти, выворачивая огромные камни; он перетаскивал их, опирая их о свой живот. Ноги его скользили по тине, вязли в ней — и несколько раз он был близок к погибели.

Затем он исправил лодку, пользуясь корабельными обломками, и соорудил себе шалаш из глины и древесных стволов. Лишь только узнали о возобновлении переправы, появились и путники. Они призывали Юлиана с другого берега, махая значками. Он тотчас, живо вскакивал в лодку. Очень она была грузна — а ее еще переполняли всякой поклажей и тяжестями, не считая вьючных животных, которые брыкались от страха и тем еще более ее загромождали. Юлиан ничего не просил за свой труд; некоторые давали ему остатки припасов, которые вынимали из котомок своих, или же изношенную, ненужную более одежду. Люди грубые бранились и богохульствовали; Юлиан с кротостью выговаривал им. Они отвечали ему ругательством; он довольствовался тем, что благословлял их.

Маленький столик, скамья, ворох сухих листьев вместо ложа, несколько глиняных чашек — вот в чем состояла вся его утварь. Два отверстия в стене служили заместо окон. С одной стороны тянулись бесплодные равнины, усеянные мелкими лужами белесоватого цвета; с другой — большая река катила свои мутно-зеленые волны; весной сырая земля издавала запах гнили; летом беспокойный ветер подни-

мал вихри пыли. Всюду проникала эта пыль, грязнила воду, скрипела под зубами. Немного позже появились целые тучи комаров — и жужжание и жáление не прекращались ни днем, ни ночью; а там наступали жестокие морозы, придававшие мертвенную жестокость камня всем предметам и возбуждавшие в людях неистовую потребность есть мясо.

По целым месяцам Юлиан никого не видел. Часто он закрывал глаза, стараясь перенестись памятью в свою молодость. Двор большого замка возникал перед ним, с борзыми собаками на крыльце, со множеством слуг в оружейном зале, а в виноградной беседке появлялся белокурый отрок рядом с стариком, покрытым меховой одеждой, и с дамой в высоком шлыке. Но вдруг все исчезало, и Юлиан видел только те два трупа. Тогда он бросался ничком на свое ложе, повторял, рыдая: «Ах, бедный отец! бедная мать! бедная мать!» — и засыпал, преследуемый и во сне этими могильными виденьями.

Однажды ночью он спал... И вдруг ему почудилось, что кто-то звал его. Он приник ухом... но один лишь рев сердитых волн наполнял его слух.

Однако тот же голос повторил: «Юлиан!» Он доносился с того берега, что́, по ширине реки, показалось Юлиану удивительным.

В третий раз кто-то крикнул: «Юлиан!» Громкий голос звенел, словно колокол церковный.

Засветив фонарь, Юлиан вышел из шалаша. Бешеная буря потрясала ночной воздух. Мгла была глубокая; местами белизна скакавших волн разрывала черный занавес этой мглы.

После минутного колебания Юлиан отвязал канат. Река тотчас же стихла; лодка быстро скользнула по ней и причалила к тому берегу, где стоял человек, ожидая.

Он был закутан в рваную холстину, лицо походило на гипсовую маску, а глаза горели ярче угольев. Приблизив к нему свой фонарь, Юлиан увидел, что отвратительная проказа покрывала все его тело; однако во всей его осанке сказывалось как бы царственное величие. Лишь только этот человек вошел в лодку, она необычайно погрузилась в воду, подавленная его тяжестью; но сильный толчок снова привел ее в равновесие — и Юлиан принялся грести.

С каждым взмахом весел прибой волн поднимал нос лодки. Вода, чернее чернил, бешено мчалась вдоль обоих бортов, она расступалась пропастью, вздымалась горами — и лодка то прыгала по ним, то спускалась в самую глубь

водных расселин, где кружилась, как щепка под ударами вихря.

Юлиан наклонялся вперед, выдвигал упруго руки — и, крепко упираясь в дно ногами, откидывался назад, перегибая и перекашивая стан, чтобы придать себе больше силы. Град хлестал по его пальцам; дождь заливался ему за спину; яростный ветер душил его, захватывая его дыхание. Он опустил руки в изнеможении. Тогда лодку понесло по течению. Но, понимая, что здесь дело шло о чем-то очень важном, о приказании, которого нельзя было ослушаться, он снова взялся за весла, и щелкание уключин снова послышалось сквозь рев бури.

Его фонарик светил перед ним на носу лодки. Птицы, кружась и налетая, то и дело скрывали от него этот слабый свет. Но Юлиан постоянно видел зрачки прокаженного, который стоял на корме неподвижно, как столб... И это продолжалось так... много, много времени.

Когда они вошли в шалаш, Юлиан запер дверь — и вдруг увидел своего спутника уже сидевшего на скамье. Подобие савана, прикрывавшее его, спустилось до лядвей; худые плечи, грудь и руки исчезали под чешуйками гноевых прыщей. Огромные морщины бороздили его лоб. Вместо носа у него, как у скелета, была дыра, а из синеватых губ отделялось зловонное, как туман густое, дыхание.

— Я голоден,— сказал он.

Юлиан подал ему, что́ имел — кусок старого сала и корку черного хлеба.

Когда тот все это сожрал,— на столе, на ковше, на ручке ножа показались те же пятна, которыми его тело было покрыто.

Затем он сказал:

— Я жажду!

Юлиан достал свою кружку, и когда он ее взял в руки — из нее распространился вдруг такой запах, что душа его разверзлась, ноздри расширились! То было вино... Какая находка! Но прокаженный простер руку — и залпом выпил всю кружку.

Тогда он сказал:

— Мне холодно!

Юлиан зажег свечой кучу хвороста среди шалаша.

Прокаженный стал греться. Но, сидя на корточках, он дрожал всем телом, он, видимо, ослабевал; глаза его перестали блестеть, сукровица потекла из ран — и почти угасшим голосом он прошептал:

— На твою постель!

Юлиан осторожно помог ему добраться до нее — и даже накрыл его парусом своей лодки.

Прокаженный стонал. Приподнятые губы выказывали ряд темных зубов; учащенный хрип потрясал его грудь — и при каждом вдыхании живот его подводило до спинных позвонков.

Затем он закрыл веки.

— Точно лед в моих костях! Ложись возле меня.

И Юлиан, отвернув парус, лег на сухие листья, рядом с ним, бок о бок.

Но прокаженный повернул голову.

— Разденься, дабы я почувствовал теплоту твоего тела.

Юлиан снял свою одежду; затем нагой, как в день своего рождения, снова лег он на постель — и почувствовал прикосновение кожи прокаженного к бедру своему: она была холодней змеиной кожи и шероховата, как пила.

Юлиан пытался ободрить его, но тот отвечал задыхаясь:

— Ах, я умираю! Приблизься! Отогрей меня, не руками, а всем существом твоим!

Юлиан совсем лег на него — ртом ко рту, грудью к груди.

Тогда прокаженный сжал Юлиана в своих объятьях, и глаза его вдруг засветились ярким светом звезды, волосы растянулись, как солнечные лучи, дыхание из поздрей стало свежей и сладостней благовония розы; из очага поднялось облачко ладана, и волны реки запели дивную песнь. Восторг неизъяснимый, нечеловеческая радость, как бы спустившись с небесной вышины, затопили душу обомлевшего от блаженства Юлиана, а тот, кто все еще держал его в объятиях, вырастал, вырастал, касаясь руками и ногами обеих стен шалаша. Крыша взвилась, звездный свод раскинулся кругом, и Юлиан поднялся в лазурь, лицом к лицу с нашим господом Иисусом Христом, уносившим его в небо.

Такова легенда о св. Юлиане Милостивом; так, по крайней мере, она изображена на старинном расписном окне в одной из церквей моей родины.

ПРОСТАЯ ДУША

Перевод
Е. Любимовой

I

В течение пятидесяти лет жительницы Пон-л'Эвек завидовали г-же Обен, хозяйке Фелисите.

За сто франков в год Фелисите готовила и убирала комнатах, шила, стирала, гладила; она умела запрягать ло шадь, откармливать птицу, сбивать масло и была предан своей хозяйке, кстати сказать, довольно неприятной особе

Муж г-жи Обен, красавчик, но бедняк, умер в начал 1809 года, оставив ей двух малышей и много долгов. Тогд она продала свое недвижимое имущество, кроме фермы Туке и фермы в Жефосе, которые приносили не больш пяти тысяч франков дохода, и переехала из дома на Сен Мелен в другой, не требовавший стольких расходов, с дав них пор принадлежавший семейству Обен и стоявший з рынком.

Этот дом, крытый черепицей, находился между проез дом и переулком, выходившим к реке. Полы в доме был неровные, так что все спотыкались. Тесная прихожая от деляла кухню от «зала», где г-жа Обен проводила весь день, сидя в соломенном кресле у окна. Вдоль выкрашен ной белой краской стены выстроились восемь стульев крас ного дерева. На стареньком фортепьяно, под барометром высилась пирамида из коробок и картонок. Два гобелена пастушками висели по бокам камина из желтого мрамора в стиле Людовика XV. На самом видном месте находились часы, изображавшие храм Весты; во всем доме чувство вался легкий запах плесени, так как полы были ниже уровня сада.

На втором этаже вы прежде всего попадали в огром ную, оклеенную обоями с бледными цветочками комнату «барыни», где висел портрет «барина» в щегольском ко стюме. Она сообщалась с комнатой поменьше,— там стоя ли две детские кроватки без матрацев. За этой комнатой находилась всегда запертая гостиная, заставленная ме

белью в чехлах. Оттуда коридор вел в кабинет; полки, с трех сторон окружавшие письменный стол черного дерева, были завалены книгами и бумагами. Два панно на шарнирах, с рисунками пером, пейзажами, написанными гуашью, и гравюрами Одрана, напоминали о лучших временах и о былой роскоши. На третьем этаже окошко, выходившее в луга, освещало комнату Фелисите.

Фелисите вставала на рассвете, чтобы не пропустить ранней обедни, и работала до вечера без передышки; после ужина, когда посуда была уже убрана, а дверь заперта накрепко, она засыпáла головешку золой и с четками в руках садилась у очага подремать. Так упорно, как она, не торговался никто. Что же касается чистоты, то блеск ее кастрюль приводил в отчаяние других служанок. Она была экономна, ела медленно, подбирая пальцем крошки хлеба со стола; этого хлеба в двенадцать фунтов весом, который она пекла только для себя, ей хватало на двадцать дней.

Круглый год она носила ситцевый платок, сколотый сзади булавкой, чепец, под который она подбирала волосы, серые чулки, красную юбку, а поверх кофты надевала фартук с нагрудником, как у сиделки.

У нее было худое лицо и пронзительный голос. Когда Фелисите исполнилось двадцать пять лет, ей давали сорок. После пятидесяти годы уже не накладывали на нее своего отпечатка; всегда молчаливая, державшаяся прямо, с неторопливыми движениями, она напоминала деревянную статую и делала все как автомат.

II

В ее жизни, как у всех, была любовь.

Ее отец, каменщик, сорвался с лесов и разбился. Потом умерла мать, сестры разошлись кто куда, а ее взял к себе фермер и заставил ее, еще совсем маленькую девочку, пасти коров. Она мерзла в своих лохмотьях; припав к земле, пила воду из луж; ее колотили ни за что ни про что и в конце концов прогнали за кражу тридцати су, которых она не брала. Она поступила на другую ферму птичницей, и знакомые завидовали ей, потому что хозяева относились к ней хорошо.

Однажды, августовским вечером (ей было тогда восемнадцать лет), знакомые взяли ее с собой на вечеринку в Кольвиль. Ее сразу же оглушили, ошеломили пиликанье деревенских скрипачей, фонарики на деревьях, пестрые

костюмы, кружева, золотые крестики, толпа танцующих, подпрыгивавших в такт. Она скромно стояла в сторонке, и вдруг к ней подошел нарядно одетый молодой человек, который до этого курил трубку, облокотившись на дышло повозки, и пригласил ее на танец. Он угостил ее сидром, кофе, лепешками, купил ей косынку и, решив, что она все поняла, предложил проводить ее. На краю овсяного поля он повалил ее. Она перепугалась и стала кричать. Он ушел.

Как-то вечером, решив обогнать медленно двигавшийся по дороге в Бомон большой воз с сеном, она задела платьем колесо; и тут она узнала Теодора.

Он подошел к ней как ни в чем не бывало и сказал, что она должна ему все простить, потому что он тогда «козырнул не по чину».

Она не знала, что ответить, и хотела убежать.

Но он заговорил об урожае, назвал именитых местных жителей; его отец переехал из Кольвиля на ферму в Эко, так что они теперь соседи.

— А-а! — протянула она.

Он прибавил, что его семья хочет, чтобы он обзавелся своим хозяйством. Правда, его с этим не торопят, и он намерен выбрать себе жену по вкусу. Она потупилась. Он спросил, не собирается ли она замуж. Она улыбнулась и сказала, что нехорошо насмехаться над ней.

— Да я и не думаю!

Левой рукой он обнял ее; она не вырвалась и продолжала идти; они замедлили шаг. Дул легкий ветерок, сияли звезды, впереди покачивался огромный воз с сеном; четверка лошадей тащилась, поднимая пыль. Потом лошади сами свернули направо. Он снова обнял ее. Она скрылась во мраке.

Неделю спустя Теодор уговорил ее прийти к нему на свидание.

Они встречались в глубине дворов, за стеной, под одиноким деревом. Она не была наивна, как барышни,— животные просветили ее,— рассудок и врожденная порядочность удержали ее от падения. Ее сопротивление распалило Теодора, и, чтобы утолить свою страсть (а быть может, это у него было искренне), он предложил ей выйти за него замуж. Она боялась поверить ему. Он дал ей страшную клятву.

Вскоре он принес ей печальную весть: в прошлом году родители наняли за него рекрута, но теперь его со дня на день могут призвать; мысль о военной службе приводила

его в ужас. Эта трусость служила для Фелисите доказательством его любви к ней, и она еще сильнее полюбила его. Ночью она удирала к нему на свидание, и Теодор мучил ее своими опасениями и своей настойчивостью.

В конце концов он объявил ей, что сам пойдет в префектуру узнать, как обстоят дела, и в следующее воскресенье, между одиннадцатью и двенадцатью ночи, все ей расскажет.

В назначенный час она побежала к своему возлюбленному.

Вместо Теодора ее поджидал один из его приятелей.

Он объявил, что больше ей не придется встречаться с Теодором. Чтобы избавиться от воинской повинности, он женился на богатой старухе — на г-же Леусе из Тука.

Ее охватило отчаяние. Она повалилась на землю, кричала, призывала Бога и, одна-одинешенька, проплакала в поле до самой зари. Потом она вернулась на ферму и объявила, что хочет уйти; в конце месяца она взяла расчет, завязала все свои пожитки в платок и пошла в Пон-л'Эвек.

У трактира она разговорилась с дамой во вдовьем чепце, которая как раз подыскивала себе кухарку. Девушка мало смыслила в этом деле, но она выказала такую готовность и такую нетребовательность, что г-жа Обен в конце концов объявила:

— Ну хорошо, я вас беру!

Через четверть часа Фелисите водворилась у нее.

Первое время ее приводили в трепет царившие здесь «стиль дома» и память о «барине». Ей казалось, что Поль, которому было семь лет, и Виргиния, которой только что исполнилось четыре, сделаны из драгоценного материала; она таскала их на спине, как лошадь, но г-жа Обен запретила ей беспрестанно целовать их, и это глубоко ее огорчило. И все же Фелисите считала себя счастливицей. Ее скорбь потонула в этой тихой заводи.

По четвергам собирались друзья дома поиграть в бостон. Перед их приходом Фелисите приготовляла карты и грелки. Гости являлись ровно в восемь и расходились около одиннадцати.

По понедельникам каждое утро старьевщик, живший в проулке, раскладывал на земле железный лом. Затем городок наполнялся гулом голосов, к которому примешивались ржанье лошадей, блеянье ягнят, хрюканье свиней и сухой стук колес. Около полудня, когда базар был в полном разгаре, на пороге появлялся высокий, старый крестьянин с крючковатым носом, в фуражке, сдвинутой на

затылок,— это был жефосский фермер Робелен. Немного погодя появлялся тукский фермер Льебар, приземистый, краснолицый толстяк в серой куртке и в сапогах со шпорами.

Оба предлагали кур или сыру. Фелисите всякий раз выводила их на чистую воду, и, преисполнившись уважения к ней, они удалялись.

Издавна г-жу Обен навещал ее дядя, маркиз де Греманвиль, дотла разорившийся и живший в Фалезе, на последнем клочке, оставшемся от его владений. Он всегда являлся к завтраку с мерзким пуделем, который пачкал лапами мебель. Маркиз изо всех сил старался сохранить аристократические замашки и даже приподнимал шляпу каждый раз, когда говорил: «Мой покойный отец», но привычка брала верх, и он пил стакан за стаканом и отпускал двусмысленные шутки. Фелисите деликатно выпроваживала его:

— Да будет вам, господин де Греманвиль! До свидания!

И запирала за ним двери.

Зато она охотно отворяла двери г-ну Буре, старому поверенному. Его белый галстук и лысина, жабо, широкий коричневый сюртук, манера нюхать табак, изгибая руку,— весь его облик вызывал у нее смущение, какое мы испытываем при виде людей необыкновенных.

Он вел все дела «барыни» и, заперевшись в кабинете «барыни», сидел у нее часами; он больше всего на свете боялся уронить себя, питал безграничное уважение к судейским и был уверен, что знает латынь.

Чтобы приохотить детей к занятиям, он подарил им географию в картинках. На картинках были изображены разные части света, людоеды с перьями на голове, обезьяна, похищающая девушку, бедуины в пустыне, охота с гарпуном на кита и т. д.

Поль объяснил Фелисите, что́ нарисовано на картинках. Этим и ограничилось ее образование.

Учил детей Гюйо — бедняк, служивший в мэрии, отличавшийся красивым почерком и точивший перочинный нож о сапог.

В хорошую погоду семья Обен рано утром отправлялась на ферму в Жефос.

Двор фермы полого спускался вниз, дом стоял в глубине, море издали казалось серым пятном.

Фелисите доставала из корзины холодное мясо, и все завтракали в комнате рядом с кладовой, где стояло мо-

локо. Это была единственная комната, уцелевшая от прежней дачи. Ветер трепал отставшие обои. Г-жа Обен, подавленная воспоминаниями, опускала голову; дети не смели проронить ни звука.

— Ну, играйте, играйте! — говорила она.

Они убегали.

Поль забирался на гумпо, ловил птиц, бросал камешки в лужи, колотил палкой по огромным винным бочкам — так он изображал барабанный бой.

Виргиния кормила кроликов и, мелькая кружевными панталончиками, собирала васильки.

В один из осенних вечеров они возвращались домой лугами.

Молодой месяц освещал часть неба; над излучинами Тука, точно шарф, колыхался туман. Быки, лежавшие на траве, спокойно глядели на четырех прохожих. На третьем лугу быки встали и окружили их.

— Не бойтесь! — сказала Фелисите.

Бормоча что-то вроде заклинания, она погладила по спине того быка, который подошел особенно близко; бык отскочил, другие последовали его примеру. Но на следующем лугу послышался страшный рев. Это ревел бык, которого они не заметили в тумане. Он ринулся на женщин. Г-жа Обен бросилась бежать.

— Нет, нет, не надо так быстро!

Все-таки они ускорили шаг; сзади громко сопел бык, и его сопение все приближалось. Копыта, как удары молота, били по земле, и вот он пустился вскачь! Фелисите обернулась; она припялась обеими руками вырывать дерн вместе с землей и швырять быку в глаза. Бык нагнул морду и, потрясая рогами, дрожа от ярости, злобно заревел. Г-жа Обен, в отчаянии, тщетно пыталась перелезть с двумя малышами через высокую изгородь на краю выгона. Фелисите все отступала, продолжая засыпать быку глаза землей.

— Скорей! Скорей! — кричала она.

Г-жа Обен столкнула сперва Виргинию, потом Поля в канаву, сбежала сама, начала карабкаться по противоположному склону и наконец, с огромным трудом, вылезла наверх.

Бык, брызгая слюной в лицо Фелисите, прижал ее к частоколу; еще секунда — и он забодал бы ее. Но она успела проскользнуть между кольями, и громадный бык в недоумении остановился.

В Поп-л'Эвеке об этом событии говорили много лет.

Фелисите, однако, не возгордилась; ей даже в голову не приходило, что она совершила подвиг.

Все ее мысли занимала Виргипия: от испуга Виргиния заболела нервным расстройством, и доктор, г-н Пупар, прописал ей морские купанья в Трувиле.

В те времена туда мало кто ездил. Г-жа Обеп навела справки, посоветовалась с Буре и начала собираться в дорогу так, как если бы ей предстояло далекое путешествие.

Накануне отъезда на тележке Льебара были увезены чемоданы. На следующий день Льебар привел двух лошадей, на одной из которых было дамское седло с бархатной спинкой, а на другой — некое подобие сиденья из свернутого плаща. Г-жа Обен уселась на этот плащ, сзади Льебара. Фелисите взяла к себе Виргинию, а Поль сел верхом па осла, которого им дал г-н Лешаптуа с условием, чтобы за ослом был отличный уход.

Дорога была ужасная — восемь километров они ехали два часа. Лошади то вязли в грязи по самые бабки и, вскидывая задом, выкарабкивались, то спотыкались, попадая в выбоины, то перепрыгивали через рытвины. Кобыла Льебара внезапно останавливалась. Он терпеливо ждал, когда она двинется, и рассказывал о владельцах имений, расположенных при дороге, выводя из своих рассказов мораль. Когда же они проезжали в Туке мимо дома, на окнах которого стояли горшки с настурциями, он, поведя плечами, сказал:

— Тут живет некая госпожа Леусе. Нет чтобы взять молодого парня...

Фелисите не расслышала конец фразы; лошади пустились рысью, осел поскакал; они обогнули забор и увидели двух мальчуганов; чтобы не попасть в навозную жижу, они ступили прямо на порог дома.

Увидав хозяйку, старуха Льебар проявила бурную радость. Она подала завтрак, состоявший из филе, рубцов, кровяной колбасы, фрикасе из цыпленка, пенистого сидра, фруктового торта и слив в водке, и все это приправлялось комплиментами «барыне», которая «отлично выглядит», «барышне», которая стала «красавицей», и г-ну Полю, который стал «совсем молодцом», причем не были забыты и покойные дедушка с бабушкой, которых Льебары знали, так как служили у нескольких поколений семьи Обен. Ферма казалась такой же старой, как сами Льебары. Потолочные балки прогнили, стены почернели от копоти, пол был серым от пыли. В дубовом поставце хранились всевозможные орудия и разная утварь: кувшины,

тарелки, оловянные миски, капканы для волков, ножницы для стрижки овец; огромных размеров клизма насмешила детей. На всех трех дворах фермы под каждым деревом росли грибы, а на сучьях виднелись пучки омелы. Несколько пучков сбросил на землю ветер. Они снова принялись и гнулись под тяжестью ягод. Неровные соломенные крыши, напоминавшие коричневый бархат, выдерживали самую сильную бурю. Но каретник разваливался; г-жа Обен обещала принять меры и приказала седлать.

До Трувиля они добирались еще полчаса. Караванчик спешился, чтобы перевалить Экор — утес, нависавший над лодками; через несколько минут они уже входили во двор «Золотого ягненка» — стоявшей в конце набережной гостиницы старухи Давид.

Виргиния сразу почувствовала себя лучше — так благотворно подействовали на нее перемена климата и морские купанья. У нее не было купального костюма, и она плавала в рубашке; няня переодевала ее в домике таможенного надсмотрщика, которым пользовались купальщики.

После полудня они, взяв с собой осла, уходили за Черные скалы, по направлению к Энеквилю. Вначале тропинка поднималась по холмистой долине, похожей на лужайку в парке, потом тянулась по плоскогорью, где пастбища сменялись пашнями. Вдоль дороги, среди разросшегося колючего кустарника, возвышался остролист; кое-где сучья сухого дерева вычерчивали зигзаги в голубом воздухе.

Отдыхали почти всегда на лугу между Довилем слева и Гавром справа, прямо против моря. Оно сверкало на солнце, гладкое, как зеркало, и такое спокойное, что его рокот был еле слышен; чирикали невидимые воробьи, и все это накрывал необозримый небесный свод. Г-жа Обен шила, подле нее Виргиния что-нибудь плела из камышинок, Фелисите набирала целые охапки лаванды, Поль скучал и просился домой.

Иногда, переплыв на лодке Тук, собирали ракушки. После отлива на берегу оставались морские ежи, водоросли, медузы; дети бегали, силясь поймать хлопья пены, уносимые ветром. Сонные волны накатывали на песок и растекались по всему берегу; берег простирался, насколько хватал глаз, но со стороны суши границей служили ему дюны «Болота» — широкого луга, похожего на ипподром. Когда они возвращались этой дорогой, перед ними с каждым мгновением рос на склоне холма Трувиль, и все

его дома, одни — побольше, другие — поменьше, казалось, весело разбегались кто куда.

В чересчур жаркие дни они не выходили из дому. Ослепительно яркое солнце протягивало световые полосы между планками жалюзи. Из селения не доносилось ни звука. Внизу, на тротуаре,— ни души. Разлитая повсюду тишина усиливала ощущение покоя. Вдалеке стучали молотками конопатчики, заделывавшие подводную часть судов, резкий морской ветер доносил запах смолы.

Любимым их развлечением было смотреть, как возвращаются баркасы. Обогнув буи, баркасы начинали лавировать. Паруса спускались на две трети; парус фокмачты надувался, как шар, и баркасы, скользя среди плеска волн, двигались вперед, доходили до середины гавани, и здесь внезапно падали якоря. Немного погодя суда причаливали. Моряки бросали через борт трепещущую рыбу; их ожидала вереница повозок, женщины в ситцевых чепцах хватали корзины, обнимали мужей.

Как-то одна из них разговорилась с Фелисите, и немного погодя, сияя от радости, Фелисите вошла в комнату. Она встретила сестру; Настази Барет, жена Леру, появилась у них с грудным ребенком, правой рукой ведя еще одного, а слева, подбоченившись, шел третий — маленький юнга в надетой набекрень матросской шапочке.

Через четверть часа г-жа Обен выпроводила ее.

Настази с детьми вечно попадалась ей на глаза то на пороге кухни, то во время прогулок. Муж не показывался.

Фелисите привязалась к ним. Она купила им одеяло, белье, печку; они беззастенчиво эксплуатировали ее. Эта слабость Фелисите злила г-жу Обен; к тому же ее коробила развязность племянника Фелисите, который называл Поля на «ты», и так как Виргиния начала кашлять, а погода испортилась, то г-жа Обен вернулась в Пон-л'Эвек.

Г-н Буре помог ей выбрать коллеж. Лучшим считался канский. Туда-то и поместили Поля; Поль со всеми простился весело: его радовало, что он будет жить с товарищами.

Г-жа Обен решилась на разлуку с сыном в силу необходимости. Виргиния все реже и реже вспоминала о нем. Фелисите скучала без его беготни. Но у нее появилось новое занятие: начиная с Рождества, она стала каждый день водить девочку на уроки Закона божия.

III

Преклонив колени перед дверьми храма, она проходила под его высоким сводом, между двумя рядами стульев, расставляла скамейку г-жи Обен, садилась и осматривалась по сторонам.

Места на клиросах заполняли справа мальчики, слева — девочки; у аналоя стоял священник; на одном из витражей абсиды Святой Дух парил над Девой Марией; на другом витраже она стояла на коленях перед младенцем Иисусом, а за надпрестольной сенью находилось деревянное изваяние архангела Михаила, поражающего дракона.

Сперва священник вкратце излагал Священную историю. Фелисите казалось, что она видит рай, потоп, Вавилонскую башню, пылающие города, гибнущие народы, низвергнутых идолов; ослепительные эти видения вызвали у нее благоговение перед всевышним и страх перед его гневом. Она плакала, когда слушала о страстях Христовых. За что они распяли его, его, так любившего детей, насыщавшего толпы, исцелявшего слепых и, по милосердию своему, пожелавшего родиться в бедной семье, в грязном хлеву? Посевы, жатва, орудия виноградарей — все эти обыденные события и предметы, о которых говорится в Евангелии, были ей близки, а присутствие Бога освятило их, и она еще сильнее полюбила ягнят благодаря своей любви к Агнцу, и голубей как образ Святого Духа.

О Святом Духе у Фелисите было смутное представление: ведь он был не только птицей, но и огнем, а подчас и дуновением. Быть может, от него исходит свет, блуждающий ночью по краю болот, его дыхание гонит тучи, его голос вносит гармонию в колокольный звон; она пребывала в экстазе, наслаждаясь прохладой, исходившей от стен храма, и покоем, царившим в нем.

В догматах она ничего не понимала и даже не старалась понять. Священник объяснял, дети отвечали ему уроки, и в конце концов она начинала дремать, но просыпалась, когда дети, уходя, стучали деревянными башмаками по каменным плитам.

Вот так, слушая рассказы священника, она познакомилась с Законом божиим — в молодости ее религиозным воспитанием не занимался никто; теперь она стала во всем подражать Виргинии: вместе с нею она постилась, исповедовалась. На празднике Тела Христова они вместе украшали престол.

Перед первым причастием Виргинии она очень волно-

валась. Она беспокоилась из-за ботинок, четок, молитвенника, перчаток. С каким трепетом помогала она матери одевать девочку!

Она изнывала в течение всей обедни. Г-н Буре заслонял от нее один клирос; но как раз напротив Фелисите стояла напоминавшая заснеженное поле толпа девушек в белых венках поверх опущенных вуалей; Фелисите издали узнала свою дорогую малышку по ее тоненькой шейке и по ее сосредоточенности. Зазвонил колокольчик. Головы склонились, водворилась тишина. Под органные громы певчие вместе с толпой молящихся запели *Agnus Dei*;[1] потом началось шествие мальчиков, а вслед за ними поднялись и девочки. Скрестив руки, они шаг за шагом продвигались к ярко освещенному алтарю, преклоняли колени на первой ступеньке, одна за другой принимали причастие и в том же порядке возвращались на свои места. Когда пришла очередь Виргинии, Фелисите нагнулась, чтобы видеть ее; вследствие живости воображения, которую рождает настоящая любовь, ей почудилось, что она сама превратилась в этого ребенка; лицо его стало ее лицом, его платьице было надето на нее, его сердце билось в ее груди; в тот миг, когда Виргиния открыла рот и закрыла глаза, Фелисите едва не упала в обморок.

На другой день, рано утром, она вошла в один из приделов, чтобы священник причастил и ее. Она приняла причастие с благоговением, но вчерашнего восторга не испытала.

Г-жа Обен хотела сделать из своей дочери всесторонне образованную девушку, а так как Гюйо не мог обучать ее ни английскому, ни музыке, то г-жа Обен решила поместить ее в пансион урсулинок в Гонфлере.

Дочка покорилась. Фелисите вздыхала — она считала барыню бесчувственной. Потом она подумала, что, быть может, хозяйка и права: ведь она, Фелисите, ничего в этих делах не смыслит.

И вот однажды у дверей дома остановилась старая повозка, из повозки вышла монахиня, приехавшая за барышней. Фелисите уложила вещи на империале, дала наставления кучеру и сунула под сиденье шесть банок с вареньем, с десяток груш и букет фиалок.

В последнюю минуту Виргиния разразилась неудержимыми рыданиями; она обнимала мать, а та целовала ее в лоб, повторяя:

---

[1] Агнец божий *(лат.)*.

— Ну, довольно, довольно!

Подножка поднялась, повозка сдвинулась с места.

Г-жа Обен упала в обморок; вечером ее друзья — семейство Лормо, г-жа Лешантуа, «эти самые» барышни Рошфей, г-н де Гупвиль и Буре — явились утешать ее.

Поначалу разлука с дочерью была для нее большим горем. Но три раза в неделю она получала от нее письма, в остальные дни сама писала ей, гуляла в саду, немножко читала и так убивала время.

По утрам Фелисите по привычке входила в комнату Виргинии и смотрела на стены. Она скучала, потому что не могла уже причесывать девочку, завязывать ей шнурки на башмачках, укладывать ее в постель, не могла постоянно видеть ее хорошенькое личико, держать ее за руку, когда они уходили из дому вместе. Делать ей было нечего, и она попробовала плести кружева. Но для этого у нее были слишком грубые пальцы — они рвали нитки; она отупела, потеряла сон; по ее словам, ей было «тошно жить на свете».

Чтобы «рассеяться», она попросила разрешения приглашать к себе своего племянника Виктора.

Он приходил по воскресеньям после обедни, краснощекий, с голой грудью; пахло от него полями. Она ставила для него прибор. Они завтракали, сидя друг против друга; сама она, в целях экономии, ела немного, но его кормила как на убой, и в конце концов он засыпáл. С первым ударом колокола, звонившего к вечерне, она будила его, чистила ему брюки, завязывала галстук и уходила в церковь, опираясь на его руку с материнской гордостью.

Родители всякий раз наказывали ему что-нибудь вытянуть у нее — пакет сахарного песку, мыла, водки, а то и денег. Он приносил ей для починки свое тряпье, и она бралась за дело, радуясь, что это заставит его лишний раз прийти к ней.

В августе отец взял его с собой в каботажное плавание.

Это было во время каникул. Приезд детей утешил Фелисите. Но Поль стал капризным, а Виргиния выросла, так что ей уже нельзя было говорить «ты», и между ними возникла стена, они стали стесняться друг друга.

Виктор побывал сперва в Морле, потом в Дюнкерке, потом в Брайтоне; возвращаясь из плаваний, он всегда привозил ей подарки.

В первый раз она получила шкатулку из ракушек, во второй раз — кофейную чашку, в третий — большую пря-

ничную фигурку. Он похорошел, сильно вырос, у него уже пробивались усы, глаза у него были добрые и честные, он носил кожаную фуражку, по-лоцмански заломив ее на затылок. Виктор забавлял ее своими рассказами; он пересыпáл их морскими терминами.

В понедельник, 14 июля 1819 года (она запомнила это число), Виктор объявил ей, что его берут в дальнее плавание и что послезавтра ночью он уезжает на пакетботе из Гонфлера на свою шхуну, которая вскоре должна отчалить из Гавра. Проплавает он, наверно, года два.

Перспектива столь долгой разлуки привела Фелисите в отчаяние; чтобы попрощаться с ним, в среду вечером, после того, как барыня пообедала, она надела башмаки на деревянной подошве и отмахала четыре мили, отделявшие Пон-л'Эвек от Гонфлера.

Когда она взошла на кальварий, то, вместо того, чтобы повернуть налево, повернула направо и, заблудившись среди верфей, пошла назад; люди, к которым она обращалась, советовали ей поспешить. Ушибаясь о якорные цепи, она обогнула док, переполненный судами; потом начался спуск, световые полосы скрещивались; увидев в небе лошадей, она решила, что сходит с ума.

На краю набережной ржали другие лошади: вид моря испугал их. Лошадей поднимали на блоках и спускали на корабль, где между бочонками сидра, корзинами сыра, мешками зерна толклись пассажиры; слышалось кудахтанье кур, ругался капитан; юнга, облокотившийся на якорный ворот, ни на что не обращал внимания. Фелисите, хоть и не узнала его, все же крикнула: «Виктор!»; юнга поднял голову; она бросилась к нему, но тут внезапно убрали трап.

Пакетбот, который тянули с песнями женщины, вышел из гавани. Корпус его скрипел под напором тяжелых волн. Парус повернулся — уже никого нельзя было различить; на море, посеребренном лунным светом, пакетбот казался черным пятном, которое все уплывало, таяло и, наконец, исчезло.

Когда Фелисите проходила мимо кальвария, ей захотелось поручить Богу того, кто был ей дороже всех на свете, и она долго молилась стоя; по ее лицу текли слезы, взгляд был обращен к небу. Город спал, но таможенники бодрствовали; вода беспрерывно струилась сквозь отверстия шлюза, и шум ее напоминал шум водопада. Пробило два.

Монастырская приемная была открыта только днем.

Опоздание Фелисите, разумеется, рассердило бы г-жу Обен, и она, подавив в себе желание обнять другого ребенка, вернулась домой. Служанки в гостинице только-только проснулись, когда она вошла в Пон-л'Эвек.

Бедному парнишке придется носиться по волнам много месяцев! Его прежние путешествия не пугали Фелисите. Из Англии и Бретани люди возвращаются; но Америка, колонии, острова — все это терялось где-то в неведомом мире, на краю света.

С тех пор Фелисите думала только о племяннике. В солнечные дни она терзалась мыслью, что его мучит жажда; когда бушевала гроза, она боялась, что его убьет молнией. Слушая, как в трубе воет ветер и срывает черепицу, она видела, как зта буря носит его по морю, а он, покрытый пеленой пены, лежа на спине, держится за верхушку сломанной мачты; или — тут она вспоминала географию в картинках — его пожирали дикари, тащили в лес обезьяны, он умирал на безлюдном берегу. Но о своей тревоге она никому не говорила.

А г-жа Обен тревожилась за дочь.

Монахини считали, что она добрая, но слабенькая девочка. Малейшее волнение вызывало у нее нервный припадок. Ей пришлось перестать учиться музыке.

Мать требовала, чтобы ей писали из монастыря регулярно. Однажды утром почтальон не пришел; она взволновалась и начала ходить по залу, от кресла к окну. Это возмутительно! Четыре дня нет известий!

Чтобы утешить ее, Фелисите привела в пример себя.

— А я, барыня, полгода не получаю писем.

— От кого зто?

— Да... от моего племянника! — кротко ответила служанка.

— Ах, от вашего племянника!

Пожав плечами, г-жа Обен опять заходила по комнате, как бы говоря: «А я и не знала!.. Да и что мне за дело до вашего племянника! Юнга, нищий, велика важность! А вот моя дочь... Подумать только!..»

Фелисите, с ранних лет привыкшая к черствости, все же обиделась на барыню, но потом забыла обиду.

Ей казалось, что потерять голову из-за малютки вполне естественно.

Оба ребенка были ей одинаково дороги; их связывала нить ее любви, и ждала их одна судьба.

Аптекарь объявил ей, что судно Виктора прибыло в Гавану. Сообщение об этом он прочитал в газете.

Гаванские сигары парисовали в воображении Фелисите страну, где люди только и делают, что курят; Виктор разгуливает среди негров в облаках табачного дыма. А можно «в случае необходимости» вернуться оттуда по земле? И далеко ли это от Пон-л'Эвека? За разъяснениями она обратилась к г-ну Буре.

Он вытащил атлас и пустился в объяснения касательно долгот; глядя на остолбеневшую Фелисите, он улыбался снисходительной улыбкой педанта. Наконец, указав карандашом на едва заметную черную точку в овальном пятне, он сказал: «Вот».

Фелисите склонилась над картой; от переплетения разноцветных линий у нее зарябило в глазах: она ничего не понимала, и, когда Буре полюбопытствовал, что́ ее смущает, она попросила показать ей дом, где живет Виктор. Буре всплеснул руками, чихнул и разразился неудержимым хохотом; такое простодушие привело его в восторг; но Фелисите не поняла, чему он смеется; быть может, она надеялась даже увидеть портрет своего племянника — до того она была неразвита.

Через две недели, в базарный день, Льебар, как обычно, вошел в кухню и протянул ей письмо от зятя. Оба они были неграмотные, и Фелисите обратилась за помощью к хозяйке.

Г-жа Обен, считавшая петли, положила вязанье подле себя, распечатала письмо и, бросив на Фелисите сочувственный взгляд, тихо произнесла:

— Вам сообщают... о несчастье. Ваш племянник...

Он умер. Больше в письме ничего о нем не говорилось.

Фелисите упала на стул, прислонилась головой к переборке и закрыла внезапно покрасневшие веки. Голова у нее свесилась на грудь, руки опустились, глаза уставились в одну точку; время от времени она повторяла:

— Бедный мальчуган! Бедный мальчуган!

Льебар смотрел на нее и вздыхал. У г-жи Обен чуть вздрагивали плечи.

Она предложила Фелисите навестить сестру в Трувиле.

Фелисите жестом ответила, что это ни к чему.

Наступило молчание. Добряк Льебар рассудил за благо удалиться.

Тогда Фелисите сказала:

— Им это все равно!

И снова поникла головой; время от времени она машинально перебирала длинные спицы на рабочем столике.

По двору прошли женщины, неся шест, на котором висело белье; с белья канала вода.

Увидав их из окна, Фелисите вспомнила о своей стирке; вчера она замочила белье, а сегодня его надо было пронолоскать; она вышла из комнаты.

Ее мостки и бочка были на берегу Тука. Она бросила на берег кучу рубашек, засучила рукава и взяла валёк; ее сильные удары были слышны в ближайших садах. Луга были нустынны, ветер волновал реку; вдали высокие травы извивались от его норывов, как волосы утопленников, плывущих в воде. Фелисите скрывала свое горе и крепилась до вечера, по у себя в комнате, лежа ничком на постели, уткнувшись лицом в подушку и сжав кулаками виски, она дала ему волю.

Много позже сам канитан рассказал ей о нодробностях гибели Виктора.

У Виктора была желтая лихорадка; в больнице ему выпустили слишком много крови. Его держали четыре врача. Смерть наступила мгновенно, и главный врач сказал:

— Так! Еще один!

Родители обращались с ним жестоко. Фелисите предночла больше с ними не встречаться; они тоже пе подавали о себе вестей — то ли потому, что забыли ее, то ли из черствости, свойственной людям, живущим в нищете.

Виргиния слабела.

Удушье, кашель, вечный озноб, пятна на щеках — все это были признаки серьезного заболевания. Г-н Пунар посоветовал отвезти Виргинию в Прованс. Г-жа Обен согласилась; она немедленно забрала бы девочку домой, если бы не климат Пон-л'Эвека.

Она сговорилась с одним извозчиком, и тот каждый вторник отвозил ее в монастырь. Сад стоял на горе, откуда открывался вид на Сену. Виргиния под руку с матерью ходила но опавшим виноградным листьям. Порою солнце выглядывало из-за туч, и она щурилась, глядя на паруса вдали и на линию горизонта, тянувшуюся от Тапкарвильского замка до Гаврских маяков. Потом они отдыхали в обвитой зеленью беседке. Мать достала бочонок отменной малаги, и Виргиния, которую смешила мысль, что она опьянеет, отпивала два глотка, не больше.

Силы ее восстанавливались. Осень прошла спокойно. Фелисите подбадривала г-жу Обен. Но как-то вечером она ушла недалеко по делам, а, вернувшись домой, увидала у дверей кабриолет г-на Пупара; сам он стоял в прихожей. Г-жа Обен завязывала ленты шляпы.

— Дайте мне грелку, кошелек и перчатки. Скорее!

Виргиния заболела воспалением легких и, может быть, безнадежно.

— Пока еще нет,— заметил врач.

Под кружившимися хлопьями снега г-жа Обен и доктор сели в экипаж. Стемнело. Было очень холодно.

Фелисите побежала в церковь поставить свечку. Потом бросилась за кабриолетом, через час догнала его, ухватившись за шпуры, легко вспрыгнула сзади, но тут у нее мелькнула мысль: «А двор-то не заперт! Ну как заберутся воры?» И она соскочила.

На следующий день, на заре, Фелисите отправилась к доктору. Из монастыря он вернулся, но уехал в деревню. Потом Фелисите ждала письма в трактире. А ранним утром села в дилижанс, шедший из Лизье.

Монастырь стоял в конце переулка, круто поднимавшегося в гору. Дойдя до середины переулка, Фелисите услышала странные звуки: то был похоронный звон. «Это звонят по ком-то другом»,— подумала Фелисите и яростно застучала в дверь.

Зашаркали чьи-то стоптанные туфли, дверь приотворилась, вышла монахиня.

Добрая женщина с грустным видом сказала, что Виргиния «только что отошла». Колокол св. Леонара зазвонил еще громче.

Фелисите поднялась на третий этаж.

Виргиния лежала на спине, руки у нее были сложены на груди, рот открыт, голова запрокинута, а над ней склонялся черный крест между неподвижных занавесей, не таких белых, как ее лицо. Г-жа Обен, обхватив руками изножие кровати, тихо всхлипывала. Аббатисса стояла справа. Три свечи на комоде бросали красные отблески, окна побелели от тумана. Монахини увели г-жу Обен.

Две ночи Фелисите не отходила от покойницы. Она повторяла одни и те же молитвы, кропила простыни святой водой, снова садилась и все смотрела на умершую. После первой своей бессонной ночи она заметила, что лицо покойницы пожелтело, губы посинели, нос заострился, глаза ввалились. Фелисите несколько раз поцеловала их; она была бы не так уж удивлена, если бы Виргиния их открыла — таким людям, как Фелисите, все сверхъестественное кажется простым. Фелисите обрядила покойницу, завернула ее в саван, положила в гроб, надела венчик, расплела косы. Косы у Виргинии были белокурые и необыкновенно длинные для ее возраста. Фелисите отрезала боль-

шую прядь и часть ее спрятала у себя на груди с тем, чтобы уж так там ее и оставить.

Согласно воле г-жи Обен, тело повезли в Пон-л'Эвек, а г-жа Обен ехала за катафалком в закрытой карете.

После отпевания пришлось еще три четверти часа добираться до кладбища. Поль, рыдая, шел впереди, Сзади шагал г-н Буре, за ним — местная знать, женщины в черных накидках и Фелисите. Она думала о своем племяннике, которому она не могла воздать таких почестей, и скорбь ее росла, как будто его хоронили вместе с Виргинией.

Г-жа Обен была в полном отчаянии.

Первое время она роптала на Бога; она убеждала себя, что Бог совершил несправедливость, отняв у нее дочь,— ведь она никому не делала зла, совесть ее так чиста! Да нет! Она должна была увезти девочку на юг. Другие доктора спасли бы ее! Теперь г-жа Обен винила себя, ей хотелось поскорей умереть, чтобы соединиться с дочерью, во сне она стонала от душевной боли. Особенно часто преследовал ее один сон. Муж, одетый матросом, возвращался из далекого путешествия и со слезами говорил ей, что ему приказано взять к себе Виргинию. И они обдумывали, где бы ее спрятать.

Однажды г-жа Обен пришла из сада потрясенная до глубины души. Ей только что (она показывала, где) явились муж и дочь; они ничего не делали, они только смотрели на нее.

В течение нескольких месяцев она, безучастная ко всему на свете, не выходила из своей комнаты. Фелисите кротко уговаривала ее поберечь себя для сына — и не только для него, но и в память «о ней».

— «О ней»? — словно пробуждаясь, переспрашивала г-жа Обен.— Ах да!.. Да!.. Вы ее не забываете!

Г-жа Обен намекала на то, что ей было строго-настрого запрещено посещать кладбище.

Фелисите ходила туда ежедневно.

Ровно в четыре часа она выходила из дому, шла по улице, поднималась на холм, отворяла калитку и направлялась к могиле Виргинии. Над могильной плитой возвышалась колонка из розового мрамора, цепи вокруг плиты ограждали цветник. Под цветами не видно было клумбочек. Фелисите поливала цветы, насыпáла свежего песку; чтобы удобнее было разрыхлять землю, она становилась на колени. Когда г-же Обен наконец позволили пойти на кладбище, ей там стало легче, для нее это было отрадой.

А потом потянулись годы, ничем не отличавшиеся один от другого; событиями являлись большие праздники: Пасха, Успение, День всех святых. Запоминались даты происшествий в доме. В 1825 году два маляра покрасили прихожую; в 1827 году часть крыши обвалилась и чуть-чуть не раздавила кого-то во дворе. Летом 1828 года барыня раздавала благословенный хлеб. Буре успел за это время таинственно исчезнуть, старые знакомые — Гюйо, Льебар, г-жа Лешантуа, Робелен, дядюшка Греманвиль, давно уже разбитый параличом,— один за другим уходили из жизни.

Однажды ночью кондуктор мальпоста привез в Пон-л'Эвек известие об Июльской революции. Несколько дней спустя был назначен новый супрефект — барон де Ларсоньер, который прежде был консулом в Америке; его семья состояла из жены, свояченицы и трех ее дочерей, уже не слишком юных. Девиц часто видели в саду; на них были легкие блузы; они держали у себя в доме негра и попугая. Они нанесли визит г-же Обен — г-жа Обен поспешила отдать его. Как только они появлялись вдали, Фелисите бежала предупредить г-жу Обен. Но вывести ее из оцепенения могло только одно: письма сына.

Он ровно ничего не делал и не выходил из кабаков. Она платила за него долги, он делал новые; вздохи г-жи Обен, вязавшей у окна, долетали до Фелисите, которая сидела в кухне за прялкой.

Гуляя по винограднику, г-жа Обен и Фелисите все говорили о Виргинии, спрашивали друг друга, что́ бы ей понравилось, что́ бы она сказала в том или ином случае.

Все ее вещички помещались в стенном шкафу в комнате с двумя кроватками. Г-жа Обен старалась заглядывать туда как можно реже. В один из летних дней она решилась — из шкафа вылетела моль.

Платья Виргинии висели под полкой, где находились три куклы, серсо, посуда и тазик. Г-жа Обен и Фелисите вынули юбки, чулки, платки и, прежде чем привести их в порядок, разложили на кроватках. При ярком свете солнца на них отчетливо выступали пятна, выделялись складки, образовавшиеся от тех положений, какие особенно часто принимала Виргиния, и вид у вещей был грустный. Комнату заливал теплый голубой свет, трещал дрозд, все словно наслаждалось полным покоем. Г-жа Обен и Фелисите нашли пушистую плюшевую шапочку коричневого цвета; вся она была изъедена молью. Фелисите спросила, не отдаст ли ей барыня эту шапочку. Они посмотрели

друг на друга, и глаза их наполнились слезами; хозяйка протянула руки — служанка бросилась в ее объятия; они крепко обнялись, их горе излилось в поцелуе, и поцелуй уравнял их.

Это произошло впервые — г-жа Обен отличалась сдержанностью. Фелисите была так признательна барыне, словно та облагодетельствовала ее. С этой минуты она начала боготворить свою барыню, она была по-собачьи предана ей. Ее сердце еще шире раскрылось для добра.

Заслышав на улице барабанный бой выступавшего в поход полка, она выходила с кувшином сидра за порог и поила солдат. Она ухаживала за больными холерой. Она заботилась о поляках; один из них даже объявил, что хочет на ней жениться. Но они поссорились: как-то утром, вернувшись от *Angelus'a*, она обнаружила, что он забрался на кухню и преспокойно ест винегрет, им же самим и приготовленный.

Поляков сменил папаша Кольмиш — старик, о котором ходили слухи, что он участвовал в зверствах 93-го года. Он жил на берегу реки, в развалившемся свином хлеву. Мальчишки подглядывали за ним в щели и бросали в него камни — камни падали на убогую его постель, где он лежал, сотрясаясь от кашля; у него были длинные волосы, всегда воспаленные веки и огромная, больше его головы, опухоль на руке. Фелисите раздобыла ему белья, вычистила его конуру; она мечтала поместить его в пекарне — так, чтобы он не мешал барыне. Когда у него обнаружился рак, она каждый день мыла его, иногда приносила ему лепешек, укладывала его на охапке соломы на солнце; несчастный старик, брызгая слюной и весь дрожа, слабым голосом благодарил ее; он боялся потерять ее и, видя, что она уходит, протягивал к ней руки. Когда он умер, она заказала заупокойную мессу.

В этот день на ее долю выпало счастье: во время обеда явился негр г-жи де Ларсоньер; он принес клетку с попугаем; клетка была с жердочкой, цепочкой и висячим замочком. В письме баронесса извещала г-жу Обен, что ее муж назначен префектом и вечером они уезжают; баронесса просила ее взять себе эту птицу на память и в знак ее уважения к ней.

Попугай давно уже занимал воображение Фелисите: ведь его привезли из Америки, а это слово напоминало ей Виктора, и она спрашивала о попугае у негра. Как-то она даже сказала:

— Вот бы обрадовалась барыня, если б у нее была такая птица!

Негр передал эти слова своей хозяйке; хозяйка не могла взять попугая с собой, и таким образом она от него избавилась.

IV

Его звали Лулу. У него было зеленое тельце, розовые кончики крыльев, голубой лобик и золотистая шейка.

У него была скверная привычка кусать жердочку; он вырывал у себя перья, разбрасывал помет, разбрызгивал воду из корытца; г-же Обен он надоел, и она отдала его Фелисите.

Фелисите принялась учить его, и вскоре он уже кричал: «Милый мальчик! Ваш слуга, сударь! Здравствуйте, Мари!» Его поместили у дверей; многие удивлялись, что он не откликается на имя Жако,— ведь всех попугаев зовут Жако. Его называли индюком, бревном — все эти прозвища были для Фелисите что нож в сердце. Из какого-то странного упрямства Лулу всегда молчал, когда на него глядели.

В то же время он любил общество; по воскресеньям, когда «эти самые» барышни Рошфей, г-н де Гупвиль и новые завсегдатаи — аптекарь Онфруа, г-н Варен и капитан Матьё — играли в карты, он бил крыльями по стеклам и так бесновался и неистовствовал, что люди переставали слышать друг друга.

Наружность Буре явно казалась ему очень смешной. При виде его он начинал хохотать, хохотать без удержу. Взрывы его смеха раскатывались по двору, их подхватывало эхо, соседи бросались к окнам и тоже хохотали; чтобы попугай не видел его, г-н Буре крался вдоль стены, прикрывая лицо шляпой, пробирался к реке и входил через садовую калитку; на птицу он поглядывал не слишком ласково.

Лулу получил щелчок от мальчишки из мясной лавки за то, что сунул голову в его корзину; с тех пор он всякий раз старался ущипнуть его сквозь рубашку. Фабю грозился свернуть ему шею, хотя он не был жесток, несмотря на татуировку на руках и густые бакенбарды. Напротив, попугай ему скорее нравился, и он даже хотел, потехи ради, научить его ругаться. Фелисите это намерение привело в ужас, и она поместила попугая на кухне. Цепочка была с него снята, и он свободно разгуливал по дому.

Спускаясь по лестнице, он опирался своим кривым клювом на края ступенек, поднимал сначала правую лап-

ку, потом левую,— Фелисите боялась, как бы от такой гимнастики у него не закружилась голова. Потом он вдруг заболел, не мог ни есть, ни говорить. Оказалось, что под языком у него нарост, как это иногда бывает у кур. Фелисите сковырнула опухоль, и он выздоровел. Однажды г-н Пупар нечаянно пустил ему в клюв клуб дыма; в другой раз г-жа Лормо раздразнила его кончиком зонта, и он вцепился в ручку; в конце концов он пропал.

Фелисите вынесла его на травку, чтобы он подышал свежим воздухом, и на минутку отлучилась; когда же она вернулась, попугая и след простыл! Она искала его в кустах, на берегу, на крышах, не слушая хозяйку, кричавшую ей:

— Осторожнее! Вы с ума сошли!

Фелисите обшарила все сады Пон-л'Эвека, останавливала прохожих:

— Вы не видали моего попугая?

Тем, кто не знал попугая, она описывала его. Вдруг ей показалось, что за мельницами, у холма, летает что-то зеленое. Но попугая там не было! Разносчик уверял, что сию секунду видел его на Сен-Мелен, в лавке старухи Симон. Фелисите побежала туда. Там не поняли, о чем она толкует. Наконец она вернулась домой, изорвав ботинки, изнемогая от усталости, в смертельной тоске; сидя на скамейке рядом с барыней, она рассказывала ей о своих приключениях, как вдруг что-то легкое опустилось на ее плечо: Лулу! Да где же он пропадал? Обозревал окрестности?

Фелисите с трудом оправилась от потрясения — вернее сказать, так никогда и не оправилась.

Вскоре захолодало, и она схватила ангину, а еще немного спустя у нее заболели уши. Через три года она оглохла и стала говорить громко даже в церкви. Если бы о ее грехах знала вся епархия, это не запятнало бы ее и никого бы не смутило, но священник рассудил за благо исповедовать ее в особом приделе.

От шума в ушах у нее зашел ум за разум. Хозяйка часто говорила ей:

— Боже мой, до чего же вы глупы!

Она отвечала:

— Да, барыня,— и начинала что-то искать.

И без того тесный круг ее представлений сузился; колокольный звон, мычание быков уже не существовали для нее. Все двигались для нее молча, как призраки. Она слышала теперь только голос попугая.

Словно для того, чтобы позабавить ее, он изображал стук веретена, пронзительные крики рыботорговца, визг пилы столяра, жившего напротив; когда же раздавался звонок, попугай кричал, подражая г-же Обен:

— Фелисите! Дверь! Дверь!

Они разговаривали друг с другом — он без конца повторял три фразы своего репертуара, она отвечала столь же бессвязно, но в свои слова вкладывала всю душу. Она была так одинока, что Лулу стал для нее чем-то вроде сына, чем-то вроде возлюбленного. Он влезал к ней на пальцы, кусал ей губы, цеплялся за косынку; она наклонялась к нему, покачивая головой, как это делают кормилицы, и крылья ее чепца и крылья птицы трепетали одновременно.

Когда собирались тучи и гремел гром, попугай кричал, быть может, вспоминая ливни в родных лесах. Журчание воды приводило его в экстаз: он метался, как сумасшедший, взлетал к потолку, все опрокидывал и выпархивал через окно в сад, чтобы побарахтаться в лужах, но вскоре возвращался, садился на кампинную решетку, подпрыгивая, сушил перья и поднимал то хвост, то клюв.

В лютую зиму 1837 года Фелисите, чтобы уберечь попугая от холода, поместила его у камина, но как-то утром нашла его мертвым: он лежал в клетке, голова у него свесилась на грудку, когти вцепились в железные прутья. Скорее всего, он умер от прилива крови. Она подумала, что его отравили петрушкой; несмотря на отсутствие улик, подозрения ее пали на Фабю.

Она так плакала, что хозяйка наконец сказала ей:

— Да будет вам! Велите сделать из него чучело.

Фелисите посоветовалась с аптекарем, любившим попугая.

Аптекарь написал в Гавр. Некий Фелаше согласился. Но так как дилижанс иногда терял свою поклажу, Фелисите решила сама отнести птицу в Гонфлер.

По обеим сторонам дороги тянулись голые яблони. Канавы затянуло льдом. Во дворах ферм лаяли собаки. Спрятав руки под плащом, в маленьких черных сабо, с корзинкой в руках, Фелисите быстрым шагом шла по середине шоссе.

Она прошла через лес, миновала О-Шен и наконец добралась до Сен-Гатьена.

Позади нее, в облаке пыли, вихрем мчался мальпост; он катил под гору, и это увеличивало его скорость. Увидев не сворачивавшую с дороги женщину, кондуктор вы-

сунулся из экипажа, кучер закричал, но он не в силах был сдержать четверку лошадей, и они понеслись еще быстрее; передняя пара задела Фелисите; кучер дернул вожжами, лошади шарахнулись к самому краю дороги, разъяренный кучер поднял руку, со всего размаха стегнул ее наискось своим длинным кнутом, и Фелисите упала навзничь.

Когда она пришла в себя, первым ее движением было открыть корзинку. К счастью, Лулу не пострадал. Правая щека у нее горела; она схватилась за щеку — рука стала красной. Из щеки текла кровь.

Фелисите села на груду камней, приложила к лицу платок, потом съела краюшку хлеба, которую на всякий случай сунула в корзинку, и, заглядевшись на птицу, забыла о своей ране.

Взойдя на вершину Экемовиля, она увидала огни Гонфлера, мириадами звезд мерцавшие в ночи; вдали расстилалось окутанное туманом море. От слабости она не могла дальше идти; печальное детство, обманутая первая любовь, отъезд племянника, смерть Виргинии — все это нахлынуло на нее, как волны прибоя; слезы, подступив к горлу, душили ее.

Она решила переговорить с капитаном корабля; она дала ему адрес, но умолчала о том, что́ посылает.

Фелаше долго держал у себя попугая. Всякий раз он обещал выслать его на следующей неделе; спустя полгода он сообщил, что ящик отправлен, и больше не подавал о себе вестей. Можно было предположить, что Лулу не вернется никогда. «Наверно, его украли»,— думала Фелисите.

Наконец попугай прибыл, да еще в каком великолепном виде! Он сидел на ветке, прикрепленной к подставке из красного дерева, подняв одну лапку, склонив голову набок и кусая орех, который чучельник из любви к роскоши позолотил.

Фелисите спрятала птицу у себя в комнате.

Ее комната, куда она пускала немногих, напоминала и молельню и базар — столько здесь накопилось предметов культа и всякой всячины.

Шкаф был так велик, что из-за него плохо отворялась дверь. Одно окно выходило в сад, напротив него другое, круглое,— во двор; на столе, подле складной кровати, стоял кувшин с водой, лежали два гребешка и кусок голубого мыла на облупившейся тарелке. На стенах висели четки, медали, изображения Пречистой девы, кропильни-

ца из кокосового ореха; на комоде, покрытом сукном, точно престол, нашлось место и для подаренной Виктором шкатулки из ракушек, и для лейки, и для мяча, и для тетради по чистописанию, и для географии в картинках, и для башмачков, а на гвозде у зеркала Фелисите повесила за ленты плюшевую шапочку. В этой своей страсти к реликвиям Фелисите дошла до того, что хранила сюртук барина. Все старье, уже не нужное г-же Обен, она тащила к себе в комнату. И на краю ее комода стояли искусственные цветы, на раме окошка висел портрет графа д'Артуа.

Лулу был прикреплен к дощечке и помещен на выступе камина. Просыпаясь, Фелисите каждое утро видела его при свете зари и уже совершенно спокойно, без грусти, вспоминала минувшее, вспоминала во всех подробностях самые незначительные происшествия.

Ни с кем не общаясь, она жила в каком-то оцепенении, точно сомнамбула. Оживлялась она только во время процессий, которые устраивались ради праздника Тела Христова. Она шла к соседям собирать свечи и коврики для украшения престола, воздвигавшегося на улице.

В церкви она не отрываясь смотрела на Святого Духа и заметила, что он немножко похож на попугая. Сходство это показалось ей разительным на эпинальском образке Крещения. Это был живой портрет Лулу с его пурпурными крылышками и изумрудным тельцем.

Купив образок, она повесила его там, где прежде был граф д'Артуа ,— так ей были видны и образок и Лулу. Теперь она их уже не разделяла: попугай благодаря сходству со Святым Духом стал для нее священным, а Святой Дух — живее и понятнее. Бог-отец не мог сделать своим посланцем голубя — ведь голуби не умеют говорить,— вернее всего, он избрал предка Лулу. И Фелисите молилась, глядя на образок, но время от времени посматривала на Лулу.

Она было хотела постричься. Г-жа Обен отсоветовала ей.

Наконец произошло важное событие: Поль женился.

Где он только не служил: и клерком у нотариуса, и по торговой части, и в таможне, и податным инспектором, потом начал хлопотать о месте в лесном ведомстве, как вдруг, в тридцать шесть лет, по наитию свыше, нашел свое призвание: косвенные налоги, и тут он обнаружил незаурядные способности, так что контролер выдал за него дочь и обещал оказать протекцию.

Поль остепенился и привез жену к матери.

Молодая жена издевалась над обычаями Пон-л'Эвека, строила из себя принцессу, обижала Фелисите. Когда она уехала, г-жа Обен вздохнула легко.

На следующей неделе пришло известие о смерти г-на Буре: он умер в гостинице, в Нижней Бретани. Слухи о самоубийстве подтвердились; возникли сомнения в его честности. Г-жа Обен поверила свои счета и вскоре обнаружила ряд злоупотреблений: растрату арендных платежей, тайную продажу леса, поддельные расписки и т. д. Этого мало, у Буре оказался незаконнорожденный ребенок; Буре «находился в связи с некой особой из Дозюле».

Г-жа Обен не вынесла этих подлостей. В марте 1853 года у нее начала болеть грудь, язык словно покрылся копотью, пиявки не помогали от удушья, и на девятый вечер она скончалась семидесяти двух лет от роду.

В гробу она казалась моложе благодаря темным волосам, обрамлявшим ее мертвенно-бледное, изрытое оспой лицо. В обращении с людьми она была отталкивающе высокомерна, и пожалели о ней лишь немногочисленные друзья.

Фелисите оплакивала ее так, как хозяев не оплакивают. У нее не вмещалась в голове мысль, что барыня умерла раньше нее,— это казалось ей противоестественным, недопустимым, чудовищным.

Через десять дней (столько надо было ехать от Безансона) явились наследники. Споха перерыла ящики, часть мебели взяла себе, остальное продала; потом они уехали.

Кресло барыни, ее столик, ее грелка, восемь стульев — все исчезло! Места, где висели гравюры, вырисовывались на переборках желтыми четырехугольниками. Наследники увезли с собой две кроватки, а в степном шкафу из вещей Виргинии не осталось ничего! Фелисите обошла дом, не помня себя от горя.

На другой день на двери появилось объявление; аптекарь прокричал Фелисите в ухо, что дом продается.

Фелисите пошатнулась и села.

Особенно тяжело ей было расставаться с комнатой, такой удобной для бедного Лулу! Не отводя от него тоскующих глаз, она взывала к Святому Духу; она стала молиться, как язычница, стоя на коленях перед попугаем. Порой солнце, проникавшее в окошко, било прямо в его стеклянный глаз, в нем вспыхивал яркий, блестящий луч, и это приводило Фелисите в восторг.

По завещанию хозяйки Фелисите получала пенсию —

триста восемьдесят франков в год. Огород снабжал ее овощами. Одежды ей должно было хватить до конца ее дней; освещение ей ничего не стоило — едва начинало смеркаться, она ложилась спать.

Фелисите почти не выходила из дому, чтобы не видеть магазин торговца случайными вещами, где было выставлено кое-что из старой мебели. После падения она стала приволакивать ногу, силы ей изменяли, и тетушка Симон, состарившаяся в своей лавке, каждое утро приходила наколоть ей дров и накачать воды.

Фелисите плохо видела. Ставни у нее не отворялись. Прошло много лет. И никто так и не снял и не купил дом.

Боясь, как бы ее не выгнали, Фелисите не заговаривала о ремонте. Крыша прохудилась; зимой изголовье Фелисите не просыхало. После Пасхи у нее началось кровохарканье.

Тетушка Симон позвала доктора. Фелисите хотелось знать, что с ней. Но она была так глуха, что разобрала только два слова: «Воспаление легких». Эти слова были ей знакомы, и она кротко заметила:

— А-а, как у барыни!

Она не видела ничего противоестественного в том, что ей предстоит последовать за хозяйкой.

Близился день, когда воздвигались престолы.

Один неизменно воздвигался у подножия холма, другой — перед почтой, третий — в средней части улицы. Из-за этого пре́стола начались было раздоры, но в конце концов прихожанки избрали двор г-жи Обен.

Удушье и лихорадка все сильнее мучили Фелисите. Она горевала, что не может принять участие в украшении престола. Если б она могла хоть что-нибудь возложить на него! И тут она подумала о попугае. Соседки воспротивились,— они находили, что это неприлично. Но священник согласился и этим осчастливил Фелисите; она обратилась к нему с просьбой после ее смерти взять Лулу — единственное ее сокровище.

Со вторника до субботы, кануна праздника Тела Христова, Фелисите кашляла почти не переставая. В субботу вечером лицо у нее сморщилось, губы слиплись, началась рвота, а на рассвете она почувствовала себя так плохо, что послала за священником.

При соборовании присутствовали три сердобольные женщины. Потом Фелисите сказала, что ей нужно поговорить с Фабю.

Фабю нарядился для праздника; в этой мрачной обстановке ему было не по себе.

— Простите меня,— делая усилие, чтобы протянуть ему руку, сказала Фелисите,— я думала, что это вы его убили!

Что за чушь! Такого человека, как он, подозревать в убийстве! Фабю был до того возмущен, что чуть было не устроил скандала.

— Вы же видите, что она выжила из ума!

Фелисите начала заговариваться. Сердобольные женщины ушли. Симон завтракала.

Немного погодя она поднесла Лулу к Фелисите:

— Ну, проститесь с ним!

Хотя это был не труп, но черви пожирали его: одно крыло у Лулу было сломано, из живота вылезала пакля. Но теперь Фелисите ничего этого уже не видела; она поцеловала Лулу в лоб и прижала к щеке. Симон взяла его, чтобы возложить на престол.

V

От лугов пахло летом; жужжали мухи; на солнце сверкала река; черепица накалилась. Тетушка Симон опять пришла к Фелисите и задремала.

Ее разбудил колокольный звон — вечерня отошла. Фелисите перестала бредить. Она думала о процессии и так и видела ее, как будто сама принимала в ней участие.

По тротуарам шли школьники, певчие и пожарные, а посреди улицы, впереди всех, шествовали привратник с алебардой, пономарь с большим крестом, учитель, надзиравший за мальчиками, и монахиня, волновавшаяся за своих девочек; три самые маленькие девочки, кудрявые, как ангелочки, подбрасывали лепестки роз; регент дирижировал, размахивая руками, двое служек с кадилами на каждом шагу оборачивались к чаше со святыми дарами; чашу нес облаченный в красивую ризу священник под балдахином пунцового бархата, который несли четыре члена церковного совета. За ними, между белыми домами, текла волна народа. Наконец процессия приблизилась к подножию холма.

На висках у Фелисите выступил холодный пот. Симон, вытерев Фелисите полотенцем, подумала, что когда-нибудь настанет и ее черед.

Шум толпы нарастал, достиг наивысшей силы, потом удалился.

От ружейной пальбы задрожали стекла. Это почтарп приветствовали святые дары. Фелисите повела глазами и еле слышно спросила:

— Ему хорошо?

Она беспокоилась о попугае.

Началась агония. Участившиеся хрипы вздымали грудь. В углах рта показалась пена. Фелисите дрожала всем телом.

Но вот загудели валторны, послышались звонкие детские голоса, низкие голоса мужчин. Время от времени музыка и пение смолкали, и тогда можно было различить только шум шагов — приглушенный, оттого что люди ступали по цветам, напоминавший топот стада на пастбище.

Во дворе появилось духовенство. Тетушка Симон влезла на стул, чтобы смотреть в окошко, и оказалась прямо над престолом.

Престол был увит гирляндами зелени, украшен английскими кружевами. Посредине стояла маленькая рака с мощами, по углам — два апельсинных деревца, а кругом — серебряные подсвечники и фарфоровые вазы, из которых тянулись подсолнечники, лилии, пионы, наперстянка, букеты гортензий. Эта покатая пестрая горка, достигавшая уровня второго этажа, спускалась на ковер, разостланный на мощеном дворе. Обращали на себя внимание редкие вещи: позолоченная сахарница с короной из фиалок, сверкавшие на мху подвески из алансонских камней, две китайские ширмы с пейзажами. Лулу был засыпан розами — виднелся лишь его голубой лобик, похожий на пластинку из ляпис-лазури.

Члены церковного совета, певчие, дети выстроились по трем сторонам двора. Священник медленно поднялся по ступенькам и поставил на кружево большую золотую, искрившуюся дароносицу. Все опустились на колени. Стало очень тихо. Кадила высоко взлетали на своих цепочках.

В комнату Фелисите поднялось голубое облако. Ноздри Фелисите расширились; она вдыхала это облако с мистическим упоением, потом закрыла глаза. Губы ее сложились в улыбку. Сердце билось все медленнее, все невнятнее, все слабее — так иссякает фонтан, так замирает эхо. И когда Фелисите испускала последний вздох, ей казалось, что в разверстых небесах огромный попугай парит над ее головой.

ИРОДИАДА

Перевод
И. С. Тургенева

I

Махэрусская цитадель возвышалась — на восток от Мертвого моря — на базальтовой скале, имевшей вид конуса. Четыре глубоких долины ее окружали: две с боков, одна впереди, четвертая сзади. Куча домов теснилась у ее подошвы, охваченная круглым каменным валом, который то вздымался, то ниспадал, следуя неровностям почвы; извилистая дорога, высеченная в скале, соединяла город с крепостью. Стены той крепости, вышиною в сто двадцать локтей, изобиловали уступами, углами, бойницами; башни высились там и сям, составляя как бы звенья каменного венца, воздвигнутого над бездной.

Внутри цитадели находился дворец, украшенный портиками, с плоской крышей в виде террасы. Перила из смоковичного дерева замыкали ее со всех сторон; длинные мачты, на которые натягивался велариум, стояли вокруг, над перилами.

Однажды, до восхода солнца, тетрарх Ирод Антипа появился на вершине дворца — и, облокотясь о перила, принялся глядеть.

Прямо перед ним лежавшие горы начинали показывать свои гребни, между тем как вся их масса, до самого дна ущелий, пребывала еще в тени. Туманы бродили... Они вдруг разорвались — и ясно выступили очертания Мертвого моря. Заря уже зажигалась позади Махэру́са; уже начинали разливаться ее красноватые отражения. Понемногу осветила она прибрежные пески, холмы, пустыню; а там, дальше к небосклону, зарумянились и Иудейские горы с своими серыми, шероховатыми покатостями. Посередине — Энгадди протянулось черною чертою; Эврон в углублении закруглился куполом, Эсколь показал свои гранатовые рощи, Сорэк — свои виноградники, Газер — поля, усеянные кунгутом; кубышкообразная громадная Антониева башня тяжело повисла над Иерусали-

мом. Тетрарх отвел от нее свои взоры и стал созерцать иерихонские пальмы; вспомнил он тут остальные города своей Галилеи: Капернаум, Аэндор, Назарет — и Тивериаду, куда он, может быть, никогда не возвратится. Иордан струился перед ним по безжизненной пустыне. Внезапно вся побелевшая, она слепила глаза, подобно снеговой скатерти. Мертвое море становилось похожим на большой лазоревый камень — и на северной его оконечности, со стороны Иемена, Антипа открыл именно то, что он боялся найти: разбросанные палатки темно-бурого цвета виднелись там; люди, с копьями в руках, двигались промеж лошадей, а потухавшие огоньки блистали искрами, низко — на самом уровне земли.

То было войско аравийского царя, с дочерью которого Антипа развелся для того, чтобы взять за себя Иродиаду, жену одного из своих братьев. Брат этот жил в Италии, без всякого притязания на власть.

Антипа ожидал помощи от римлян; и так как Вителлий, сирийский правитель, медлил прибытием, беспокойство терзало тетрарха. «Агриппа,— думал он,— наверное, повредил мне у императора». Филипп, третий его брат, владелец Ватанеи, тайно вооружился. Иудеев возмущали идолопоклонические обычаи тетрарха; других его подданных тяготило его правление. Вот он и колебался между двумя решениями: либо смягчить аравитян, либо заключить союз с парфянами; и, под предлогом именинного празднества, он в тот самый день пригласил на великий пир главных начальников своих войск, приставов по имениям и важнейших лиц Галилеи.

Остро напряженным взором пробежал он все дороги. Они были пусты. Орлы летали над его головою. Вдоль крепостного вала солдаты спали, прислонившись к стене. Во дворце ничего не шевелилось.

Внезапно отдаленный голос, как бы выходивший из недр земли, заставил побледнеть тетрарха. Он нагнулся, чтобы вернее прислушаться. Но голос умолк. Потом он опять раздался... и, хлопнув несколько раз в ладоши, Ирод закричал: «Маннáи! Маннаи!»

Появился человек, обнаженный до пояса, подобно банщику. Он был очень высокого роста, стар, страшно худ; на ляжке у него висел большой нож в бронзовых ножнах — и так как его волосы, захваченные гребнем, были все вздеты кверху, то лоб его казался длины необычайной. Странная сонливость заволакивала его бесцветные глаза. Но зубы его блестели — и ноги легко и твердо ступали по

плитам. Гибкость обезьяны сказывалась во всем его теле, бесстрастная неподвижность мумии — на лице.

— Где он? — спросил тетрарх.

— Все там же! — отвечал Маннаи, указывая позади себя большим пальцем правой руки.

— Мне почудился его голос! — и Антипа, вздохнув глубоко до дна груди, осведомился об Иоаканаме — о том человеке, которого латпияне называют святым Иоанном Крестителем.

— Приходили ли вновь те два человека, которые месяц тому назад были, по снисхождению, допущены в его тюрьму,— и стала ли известна причина их посещения?

Маннаи отвечал:

— Они обменялись с ним таинственными словами, ни дать ни взять ночные воры на перекрестках дорог. Потом они отправились в верхнюю Галилею, объявив, что скоро вернутся с великою вестью.

Антипа наклонил голову; потом, с выражением ужаса на лице:

— Береги его! береги! — воскликнул он,— и никого не допускай до него! Запри крепко дверь! Прикрой яму! Никто не должен даже подозревать, что он еще жив!

Еще не получив этих приказаний, Маннаи уже исполнял их, ибо Иоаканам был иудей, и Маннаи, как все самаритяне, ненавидел иудеев.

Гаризинский их храм, храм самаритян, предназначенный Моисеем быть средоточием Израиля, не существовал со времен короля Гиркана: а потому иерусалимский храм наполнял душу Маннаи тою яростью оскорбления, которую возбуждает торжествующая несправедливость. Маннаи однажды тайно взобрался в иерусалимский храм с другими товарищами для того, чтобы осквернить алтарь возложением на священное место мертвых костей. Его спасло проворство ног; сообщникам его отрубили головы.

И вот он увидел ненавистный храм вдали, в разрезе двух холмов. Поднявшееся солнце ярко освещало беломраморные стены и золотые плиты крыши. Храм являлся лучезарной горой, чем-то сверхъестественным; все кругом было подавлено его великолепием, его гордыней.

Маннаи протянул руку в направлении Сиона — и, выпрямив стан, сжав кулаки, закинув лицо, произнес анафему. Он был уверен, что клятвенные слова имеют действительную силу!

Антипа равнодушно выслушал его возглас. Самаритянин продолжал:

— От времени до времени он волнуется, он хочет бежать; он надеется на освобождение. Иногда у него вид спокойный, как у большого зверя; а не то он вдруг начнет ходить взад и вперед впотьмах, беспрестанно повторяя: «Что нужды! Дабы он возвеличился, нужно мне умалиться!»

Антипа и Маннаи обменялись взорами. Но долгие размышления уже утомили тетрарха.

Все эти горы вокруг него, подобные уступам больших окаменелых волн, черные расселины на склоне крутых скатов, громадность синего неба, сильный дневной свет, глубина пропастей — все его смущало; и безнадежное уныние овладевало им при зрелище пустыни, почва которой, искаженная допотопными переворотами, являла вид обрушенных цирков и дворцов. Горячий ветер приносил вместе с запахом серы как бы испарения богом проклятых городов, зарытых глубоко, ниже берегов Мертвого моря, под тяжелыми его водами. Эти следы бессмертного гнева пугали ум тетрарха; и он пребывал недвижим, опершись обоими локтями на перила и сжимая виски руками. Кто-то слегка тронул его. Он обернулся: перед ним стояла Иродиада.

Легкий пурпурный хитон облекал ее всю до самых сандалий. Торопливо покинув свои покои, она не успела надеть ни ожерелья, ни серег; густая косьма черных волос падала ей на плечо, прильнув концом к груди, в промежутке сосцов. Вздернутые ноздри трепетали; радость торжества озаряла лицо. Громким голосом взывая к тетрарху:

— Цезарь нас любит! — промолвила она.— Агриппа посажен в тюрьму.

— Кто тебе сказал?

— Уж я знаю! Он в тюрьме,— продолжала она,— за то, что пожелал Каию [1] быть императором.

Этот Агриппа, живя их подаянием, стремился добыть себе царский титул, которого и они домогались. Но теперь его уже нечего страшиться! Тюрьмы Тиверия отпираются не легко, и самая жизнь в них не всегда надежна!

Антипа понял ее, и хотя она была сестра этого самого Агриппы, жестокий смысл ее последних слов не возмутил его; напротив, он ее оправдывал. К тому же все эти убийства проистекали из самой силы вещей; они были как бы необходимостью в тогдашних царских домах. В доме Ирода их уже не считали... так их было много.

---

[1] Кай Калигула, наследник Тиверия.

Затем она рассказала тетрарху все свои старания; упомянула о подкупе клиентов, о вскрытых письмах, о лазутчиках, приставленных ко всем дверям; рассказала, как ей удалось переманить главного доносчика Эвтихия — все, все сообщила она. «Я ничего не жалела! Для тебя чего я не сделала? Не отреклась ли я от собственного сына?»

После развода она оставила этого ребенка в Риме, надеясь иметь других детей от тетрарха. До того дня она никогда не упоминала об этом. И он спрашивал себя: откуда в ней этот внезапный прилив нежности — и что он значит?

Между тем прислужники натянули велариум, принесли и положили на пол широкие подушки. Иродиада опустилась на одну из них и заплакала, обернувшись спиною к мужу. Но вот она провела ладонью по векам... Она решила, что не будет думать о прошлом, что она теперь счастлива! И она принялась напоминать тетрарху долгие их беседы там, в далеком Риме, в атриуме дворца; встречи их под портиками бань, прогулки по «Священной улице» [1] и вечера, проведенные в просторных виллах, при рокоте водоемов, под цветочными арками, в виду римской Кампаньи. Она взглядывала на него, как в былые дни, и с кошачьими движениями всего тела ластилась к его груди. Он оттолкнул ее.

Та любовь, которую она старалась оживить, была теперь так от него далеко! Причиной всех его бедствий была эта любовь. По ее милости война продолжалась вот уже скоро девять лет; по ее милости тетрарх состарился. Облеченная в темную тогу с лиловой каймой, его спина горбилась; седина мелькала в бороде, и лучи солнца, проникавшие сквозь ткань натянутого покрова, озаряли живым светом его угрюмый, сморщенный лоб. На лбу Иродиады тоже виднелись складки, и, сидя друг против друга, они менялись враждебными, суровыми взглядами.

Меж тем горные дороги оживлялись. Пастухи погоняли быков острием дротиков, дети тащили за собой ослов, конюхи вели вьючных лошадей. Те, которые спускались с высот, лежащих за Махэрусом, исчезали постепенно за стенами замка; другие поднимались вдоль ущелий, ведших к Махэрусу,— и, войдя в город, складывали свою ношу по дворам домов. То были поставщики тетрарха и слуги гостей, высланные вперед своими господами. Но вот налево, на самом конце террасы, появился ессей, босой, в

[1] «Via Sacra» — главная улица древнего Рима.

белой одежде, с видом стоика. Маннаи тотчас бросился к нему навстречу, обнажив и высоко подняв свой нож.

— Убей его! — кричала Иродиада.

— Стой! — промолвил тетрарх.

Маннаи остановился; тот тоже.

Потом оба отступили, пятясь друг от друга и не покидая друг друга взглядом; и оба исчезли — каждый по другой лестнице.

— Я знаю его! — сказала Иродиада,— его имя Фануил; он старался свидеться с Иоаканамом, так как ты настолько слаб, что сохраняешь его в живых.

Антипа возразил, что из Иоаканама можно было извлечь пользу. Его постоянные нападки на Иерусалим привлекали к ним обоим остальных евреев.

— Нет! — воскликнула она.— Евреи покоряются всем своим властителям. Они не в состоянии создать себе родину. А того, кто тревожит народ, возбуждая в нем надежды, сохранившиеся со времен Гегемиаса,— того должно уничтожить. Вот самая верная политика.

— Нам не к спеху! — уверял тетрарх.— Иоаканам — опасен! Вот выдумала!!!

И он смеялся притворно.

— Молчи! — крикнула она.

И она снова рассказала то унижение, которому подверглась она в день своей поездки в Галаад для сбора бальзама. На берегу реки какие-то нагие люди надевали свои одежды. Тут же, на вершине холма, стоял человек и говорил. Он был препоясан по чреслам верблюжьей кожей — и его голова походила на голову льва.— Как только он увидел меня,— продолжала Иродиада,— он изрыгнул на меня все проклятия пророков. Его зеницы пылали, голос завывал; он поднимал руки к небу, как бы желая достать оттуда громовые стрелы. Бежать было невозможно; колесница моя до самых ступиц завязла в песке... И я поневоле медленно удалялась, закрываясь мантией,— и вся кровь моя стыла от оскорблений, которые сыпались на меня, как дождевой ливень!

Иоаканам не давал жить Иродиаде! Когда его схватили и связали веревками — солдатам дан был приказ зарезать его, если б он вздумал сопротивляться. Но тут он, как нарочно, явился смиренником. В его тюрьму напустили змей — змеи околели.

Неудача ее козней выводила из себя Иродиаду. Зачем он нападал на нее? Что его побуждало? Его речи, обращенные к толпе, распространялись повсюду, их повторя-

ли,— она слышала их везде,— они наполняли воздух. Она не была лишена мужества — но эта сила, более язвительная, чем лезвие мечей, сила, которую невозможно было схватить, наводила на нее нечто вроде оцепенения. Иродиада расхаживала взад и вперед по террасе, вся помертвелая от гнева, не находя слов, чтобы выразить все, что душило ее.

Она думала также о том, что тетрарх, уступая общему мнению, мог, пожалуй, развестись с нею. Тогда все погибло! С самых младых ногтей она питала мечту о великом царстве. Только для того, чтобы осуществить эту мечту, решилась она оставить своего первого мужа и соединиться с ним, с этим человеком, который ее обманывает.

— Хорошую я нашла подпору, нечего сказать, войдя в твою семью!

— Моя семья не хуже твоей,— спокойно отвечал тетрарх.

В жилах Иродиады внезапно закипела кровь ее прадедов, первосвященников и царей!

— Твой дед подметал храм в Аскалоне! Другие твои родичи были пастухами, разбойниками, поводырями караванов! Сволочь, платившая дань Иуде со времен царя Давида! Все мои предки били твоих предков! Первые из Маккавеев выгнали вас из Геброна; Гиркан принудил вас обрезаться!

И, дав волю чувству презрения, презрения патрицианки к плебею, рода Якова к роду Эдома, Иродиада начала осыпать Антипу упреками за его равнодушие к оскорблениям, за его уступчивость перед предателями, фарисеями, за его трусость перед народом, который его ненавидел.

— Ты такой же, как они,— признайся! И ты сожалеешь о том, что оставил аравийскую девку, ту, что пляшет вокруг камней! Возьми же ее опять! Ступай и живи в ее холщовой палатке! Пожирай ее хлеб, испеченный под золою! Глотай кислое молоко ее овец! Лобызай ее синие щеки — и оставь меня!

Но тетрарх уже не слушал ее. Он устремил глаза на плоскую крышу соседнего дома, где внезапно увидел молодую девушку; рядом с нею старуха держала зонтик с тростниковой ручкой, длинный, как рыбачье удилище. Посредине ковра стоял раскрытый дорожный короб; пояса, спутанные ткани, разноцветные покровы, золотые подвески в беспорядке свешивались через его края. От времени до времени молодая девушка наклонялась к этим предметам, встряхивала их на воздухе. Она была одета римлян-

кой — в тонкую тунику и в пеплум с застежками из изумруда; синие перевязки удерживали ее косу, вероятно, очень тяжелую: девушка изредка трогала ее сзади рукою. Тень от зонтика колебалась над нею, скрывая ее до половины. Раза два удалось Антипе заметить ее гибкую шею, угол глаза, часть небольшого рта. Но он мог видеть весь ее стан от бедр до затылка. Он видел, как он склонялся и выпрямлялся — легко и упруго. Он караулил возврат этого стройного движения — и дыхание его становилось усиленным, огоньки зажигались в глазах. Иродиада наблюдала за ним.

— Кто это? — спросил он наконец.

Она отвечала, что не знает... и, внезапно утихнув, удалилась.

Тетрарха ожидали под портиком галилеяне: заведовавший письменной частью, главный пристав над пастбищами, управляющий соляными копями и еврей из Иерусалима, начальник его конницы. Все приветствовали его дружным восклицанием... Но он обратился к внутренним покоям.

Фануил возник перед ним на повороте коридора.

— Опять ты! Ты, конечно, пришел сюда ради Иоаканама?

— И ради тебя! Мне нужно сообщить тебе важное известие...

И, не покидая более Антипу, он проник вслед за ним в темную храмину.

Свет падал в нее сквозь решетчатое отверстие, расстилаясь во всю длину карниза. Стены были выкрашены красно-лиловой, почти черной краской. У задней стены возвышалось ложе из черного дерева с тесьмами из бычачьей кожи. Золотой щит блистал, как солнце, над изголовьем.

Антипа перешел всю храмину и бросился на ложе. Фануил, стоя, поднял руку с внушительным и вдохновенным видом.

— Всевышний посылает иногда одного из чад своих... Иоаканам — такое его чадо. Если ты будешь притеснять его,— тебя постигнет кара.

— *Он* преследует меня,— воскликнул тетрарх.— Он потребовал от меня невозможного! С тех пор он всячески меня поносит. Сначала я кротко с ним обращался... Но он послал из Махэруса людей, которые возмущают моих подданных. Он нападает на меня... Я защищаюсь.

— Иоаканам слишком ретив в гневе, точно,— возразил Фануил.— Но как бы то ни было, его надо освободить!

— Диких зверей не выпускают на волю,— сказал тетрарх.

— Не тревожься более! — отвечал Фануил.— Он пойдет к аравитянам, к галлам, к скифам. Делу, к которому он призван, суждено достигнуть пределов земли.

Антипа казался погруженным в некое видение.

— Его власть велика! Я, против собственной волп, люблю его.

— Так освободи его!

Тетрарх покачал головою. Он боялся Иродиады, Маннаи... он страшился неизвестного будущего!

Фануил попытался убедить его. Залогом правдивости слов своих он представлял постоянную покорность ессеев царям. Эти люди, бедные, недоступные страху пытки и казней, покрытые льняной одеждой, умевшие читать в книге звездного неба, внушали невольное уважение. Антипа вспомнил слово, сказанное Фануилом в начале разговора.

— Какое важное известие хотел ты сообщить мне?

Но вдруг появился негр. Все его тело побелело от пыли. Он хрипел от усталости и мог только произнести:

— Вителлий!

— Как? Он сюда идет?

— Я видел его... Через три часа он здесь!

Занавесы коридоров заколыхались, как бы вздутые ветром; шум наполнил весь замок, топот и грохот бежавших людей, перетаскиваемых мёбелей, лязг и звон серебряных сосудов... а с вышины башен зычно гремели трубы, призывавшие разбредшихся рабов.

II

Толпы народа покрывали крепостные валы, когда Вителлий вошел во двор замка. Он опирался об руку своего толмача; следом за ним подвигались большпе носилки, обитые красной тканью, украшенные зеркалами и помпонами. Вителлий был одет в тогу с широкою пурпуровою каймою, в консульские полусапожки; ликторы окружали его особу.

Они вонзили в землю перед дверью двенадцать пуков прутьев, перевитых ремпем, с топором посередине... и

все зрители тайно вострепетали перед величием римского народа.

Носилки, которыми орудовали восемь человек, остановились... Юноша, с толстым животом, с лицом угреватым, с жемчужными кольцами на пальцах, вышел оттуда. Ему тотчас предложили кубок с вином и душистыми пряностями. Он выпил и потребовал еще. Между тем тетрарх упал на колени перед проконсулом, сокрушаясь о том, что не был раньше уведомлен о великой милости его прибытия. А то бы он, тетрарх, отдал приказ, чтобы по всем дорогам было припасено то, что подобает Вителлиям. Они происходили от богини Вителлии; дорога, ведшая от Яникула к морю, носила их имя; квестурам, консульствам не было счету в их роде! Что же до самого Люция, ставшего теперь гостем тетрарха, то все ему были обязаны благодарностью, как победителю строптивых клитов и отцу того юного Авла, который, прибыв сюда, казалось, возвращается в свое владение — так как Восток всегда считался родиной богов! — Все эти гиперболы были высказаны тетрархом по-латыни— Вителлий принимал их холодно и спокойно.

Он отвечал наконец, что одного Великого Ирода достаточно для славы целого народа. Афиняне почтили его заведованием олимпийских игр. Он построил храмы в честь Августа и отличался всегда терпением, смышленостью, воинской доблестью и постоянной верностью цезарям. Между колоннами с бронзовыми капителями появилась Иродиада. Она шествовала с видом императрицы, окруженная женщинами и евнухами; они несли золотые подносы, на которых курились благовония.

Проконсул шагнул три раза ей навстречу. Приветствовав его легким наклонением головы:

— Какое счастье,— воскликнула она,— что Агриппа, враг Тиверия, вперед не может вредить более!

Вителлий ничего не знал об этом событии. Иродиада показалась ему опасной... и так как Антипа начал клясться богами, что сделает все для императора:

— Да,— прибавил проконсул,— даже во вред другим.

(Вителлию некогда удалось добыть заложников от парфянского царя; но император не обратил внимания на эту заслугу — ибо Антипа, присутствовавший при совещании, немедленно, чтобы выставить себя, первый послал об этом весть. Этот поступок тетрарха породил глубокую ненависть в Вителлии; оттого он и мешкал привести обещанную помощь.)

Тетрарх смутился и не знал, что сказать; но Авл промолвил со смехом:

— Не бойся! *Я* твой покровитель!

Проконсул притворился, что не слышал слов, сказанных его сыном. Счастье отца зависело от осквернения сына; и этот Авл, этот цветок, возросший на грязи Капреи, доставлял ему такие значительные выгоды, что он окружал его самыми предупредительными заботами, хоть и не доверял ему: цветок этот был ядовит.

Под воротами поднялся громкий шум. Появился целый ряд белых мулов, на которых восседали люди в священнической одежде. То были саддукеи и фарисеи, которых одна и та же честолюбивая мысль приводила в Махэрус. Саддукеи желали получить право жертвоприношения, а фарисеи — удержать это право за собою. Лица этих людей были мрачны, особенно лица фарисеев, прирожденных врагов тетрарха и Рима. Они путались в полах своих хламид среди теснившейся толпы — и тиары их колебались на их головах, подвязанные узкими лентами, на которых были начертаны письменные знаки.

Почти в то же время прибыли солдаты римского авангарда. Они вложили щиты свои в мешки, чтобы сохранить их от пыли,— а за ними шел Маркелл, наместник проконсула, вместе с мытарями, державшими под мышками деревянные таблицы.

Антипа представил проконсулу главных своих приближенных: Толмаия, Карфера, Сехона, Аммониаса из Александрии, который закупал для него асфальт, Наамана, начальника его легкой пехоты, вавилонца Ясима.

Вителлий уже прежде заметил Маннаи.

— А этот кто?

Тетрарх объяснил ему знаком, что это был палач. Потом он представил Вителлию саддукеев.

Ионафан, человек малого роста, весьма развязный в своих движениях и говоривший по-эллински, начал умолять проконсула посетить его в Иерусалиме. Тот отвечал, что, вероятно, туда прибудет.

Элеазар, человек с крючковатым носом и длинной бородою, стал требовать от имени фарисеев плащ первосвященника, задержанный в Антониевой башне гражданской властью.

Затем галилеяне подали донос на Понтия Пилата. Пользуясь тем предлогом, что некий безумец отыскивал золотые сосуды Давида в пещере близ Самарии, он повелел убить нескольких жителей. Все они говорили в одно

и то же время — Маннаи громче и настойчивее других. Вителлий уверял их, что виновные будут наказаны.

Внезапно бранные слова и крики раздались перед одним из портиков, где солдаты повесили свои щиты. Они сняли с них чехлы — и фигура цезаря, изображенная на пупе каждого щита, возбудила негодование иудеев, считавших это идолопоклонством. Антипа начал их усовещивать речью — а Вителлий, сидевший под колоннадой на высоком кресле, дивился их неразумной ярости. «Да,— думал он,— Тиверий был прав, что сослал четыре сотни таких иудеев в Сардинию. Но здесь они были у себя дома — они были сильны...» Вителлий приказал унести щиты.

Но тут они все окружили проконсула, испрашивая — кто отмены какой-либо несправедливости, кто — особых привилегий, кто — просто милостыни. Они рвали свои одежды, продирались вперед; чтобы удержать их, рабы били их палками — направо, налево. Ближайшие к дверям стали спускаться по дороге — но другие поднимались по ней и снова надвигали их на проконсула. Два течения образовалось в этой массе людей, которая грузно колебалась, стесненная оградою стен.

Вителлий спросил, какая была причина такого многочисленного собрания? Антипа ответил, что все эти люди пришли на праздник его именин,— и указал на некоторых слуг своих. Свесившись с бойниц, втаскивали они на веревках огромные корзины, полные мясами, плодами, овощами. Он указал еще на антилоп, аистов, широких рыб лазоревого цвета, на виноградные гроздья, дыни, тыквы, гранаты, нагроможденные в виде пирамид. Авл не выдержал. Он устремился в кухню, увлеченный тем обжорством, которому, много лет спустя, было суждено удивить целый мир [1].

Проходя мимо погреба, он увидал кастрюли, подобные двойным латам. Вителлий также подошел посмотреть на них — и потребовал, чтобы ему отперли подземные комнаты замка.

Они были высечены в скале — в виде высоких подвалов со сводами, которые подпирались столбами. В первой комнате находился склад старого, уже негодного оружия. Но вторая была битком набита пиками; тесно и дружно торчали их острия, охваченные пучками перьев. Стены

---

[1] Этот Авл Вителлий был, как известно, императором после Отона, в 69 году по Р. Х.

третьей комнаты казались обтянутыми множеством циновок; до того густо были насажены кругом тонкие стрелы, стоймя, друг возле дружки. Лезвия мечей покрывали стены четвертой комнаты. Посреди пятой — длинные линии шлемов с их гребнями уподоблялись легиону красных змей. В шестой комнате находились одни колчаны, в седьмой — одни ножные латы (кнемиды), в восьмой — налокотники, в остальных — вилы, крюки, лестницы, канаты; тут были даже шесты для катапульт, даже бубенчики для верблюжьих нагрудников... И так как гора шла, расширяясь книзу, вся пробуравленная изнутри, как пчелиный улей, то под одним рядом комнат расстилался другой, а еще глубже — третий.

Вителлий, Финеас, его толмач, и Сизе́нна, начальник мытарей, проходили все эти комнаты при свете факелов, несомых тремя евнухами. Смутно виднелись в тени безобразные предметы, изобретенные варварами: палицы, усеянные гвоздями, отравленные дротики, клещи, подобные челюстям крокодилов... Тетрарх обладал в Махэрусе военными снарядами, достаточными для вооружения сорока тысяч солдат. Он собрал все эти снаряды в предвидении опасного союза противников; но проконсул мог подумать или даже сказать, что это все было наготовлено с целью воевать против римлян; и тетрарх старался представить оправдания, извинения.

Не все оружия ему принадлежали. Многие служили защитой от разбойников. Кроме того, нужно было сражаться с аравитянами. Иное досталось ему от отца. И, вместо того чтобы идти позади проконсула, тетрарх бежал вперед утопленными шагами. Он вдруг прислонился к стене, растягивая тогу растопыренными локтями. Но верхняя часть двери виднелась над его головою. Вителлий заметил эту дверь — и захотел узнать, что скрывается за нею.

Вавилонец мог один отворить ее.

— Позвать вавилонца!

Его подождали.

Отец этого вавилонца прибыл с берегов Эвфрата с пятьюстами всадников. Он предложил Великому Ироду свои услуги для защиты восточных окраин. После разделения царства Ясим остался жить у Филиппа,— а теперь служит Антипе.

Он явился наконец, с луком на плече, с бичом в руке. Разноцветные бечевки тесно стягивали его кривые ноги. Туника в виде поддевки не покрывала его обнаженных

толстых рук; меховая шапка бросала черную тень на хмурое лицо и на бороду, завитую в колечки.

Сначала он притворился, что не понимает толмача. Но Вителлий глянул на Антипу... и тот немедленно повторил его повеление. Тогда Ясим приложился обеими руками к двери; скользнув, она вошла в стену.

Струею теплого воздуха пахнуло из мрака. Широкий коридор, спускаясь винтообразно, вел вглубь. Все отправились по этому коридору и достигли порога пещеры, более просторной, чем все другие подземелья.

На противоположном конце этой пещеры зияло отверстие арки, выходившей на самую кручь бездны, которая с той стороны защищала крепость. Дикая жимолость, цепляясь за свод арки, колебала на прозрачном воздухе свои цветочные гроздья, озаренные живым светом дня; по дну пещеры журчала узкая струйка ключевой воды.

Около сотни белых лошадей находилось там; они ели ячмень, насыпанный на доску, поднятую в уровень с их мордами. Гривы их были окрашены в синюю краску; копыта — обернуты в плетеные мягкие мешочки; челки между ушами вздымались хохолком в виде париков. Своими длинными хвостами они тихонько похлопывали себя по берцам. Проконсул онемел от удивления.

То были дивные животные, гибкие, как змеи, легкие, как птицы. Они мчались, не отставая от стрелы, пущенной всадником, сбивали с ног людей, грызли их зубом, мигом высвобождались из нагроможденных камней и скал, прыгали через пропасти, а среди ровного поля неслись как бешеные, без устали, от зари до зари. Стоило сказать одно слово — и они тотчас останавливались как вкопанные. Как только Ясим вошел в пещеру, они все побежали к нему, как овцы к пастуху,— и, вытягивая тонкие шеи, тревожно глядели на него своими детскими глазами. По привычке он крикнул на них диким, гортанным криком; этот звук их развеселил — и они стали вздыматься на дыбы, прыгать... Жажда простора, жажда скачки в них загорелась.

Антипа, боясь, как бы проконсул не взял их себе, запер их в этом месте, особо предназначенном для животных в случае осады.

— Нехорошая конюшня,— сказал проконсул.— Ты рискуешь потерять их. Запиши их в инвентарь, Сизенна.

Мытарь достал дощечку из-за пояса, перечел лошадей и записал их. Агенты фискальных обществ подкупали пра-

вителей, чтобы удобнее грабить провинции. И этот Сизенна, с своей лисьей мордочкой и вечно мигавшими глазками, разнюхивал все и всюду.

Наконец все возвратились на двор замка. Бронзовые круглые доски, затычки вроде плоских вьюшек, прикрывали разбросанные там и сям цистерны. Проконсул заметил одну из этих досок, которая была шире других и глуше звенела под каблуком. Он поочередно постукал по всем — и вдруг затопал ногами, заревел неистово:

— Нашел! нашел! Вот они, Иродовы сокровища!

Отыскать эти сокровища — эта мысль как гвоздь засела в голове каждого римлянина.

Тетрарх поклялся, что никаких сокровищ тут не было.

— Так что же тут такое?

— Ничего... человек один... узник.

— Покажи его! — сказал Вителлий.

Тетрарх не повиновался. Иудеи узнали бы его тайну.

Его явное нежелание открыть эту доску раздражило Вителлия.

— Выбить ее! — закричал он ликторам.

Маннаи догадался, в чем было дело. Увидав принесенный топор, он подумал, что хотят обезглавить Иоаканама; и при первом ударе лезвия о бронзовую плиту он всунул между нею и каменьями мостовой длинный крюк; затем, вытянув и напрягши свои худые, жилистые руки, осторожно приподнял плиту... Она отвалилась. Все изумились силе старика. Под этой бронзовой крышкой, подбитой деревом, показался трап. Маннаи ударил по нему кулаком — и он распался на две створчатые половинки. Открылась яма, черная, глубокая дыра, в которую вонзалась узкая круглая лестница без перил; и те, которые нагнулись над отверстием, увидали там, глубоко на дне, что-то смутное и ужасное.

Человек лежал там на земле. Его длинные волосы перепутались с шерстью звериной шкуры, облекавшей его члены. Он поднялся. Его лоб коснулся поперечной железной решетки, крепко вделанной в стены ямы... От времени до времени он отходил прочь и исчезал во тьме подземелья.

Острые верхушки тиар, рукоятки мечей сверкали на солнце; тяжелый зной раскалил плиты мостовой — и голуби, слетая с карнизов, кружили над двором. То был обычный час, когда Маннаи кормил их зерном. Он присел на корточки перед тетрархом, который стоял недвижно возле Вителлия. Галилеяне, священники, солдаты составляли

сзади широкий круг — все молчали в немотствующем ожидании.

Сперва послышался глубокий вздох, похожий на хриплое, протяжное рычание.

Иродиада услышала этот вздох на другом конце дворца. Охваченная неотразимым влечением, она прошла сквозь всю толпу, и, положив руку на плечо Маннаи, наклонив вперед все тело, она принялась слушать.

Голос заговорил:

«Горе вам, фарисеи и саддукеи, исчадье змей, меха надутые, кимвалы звенящие!»

Все узнали Иоаканама... все повторяли его имя.

Много еще подбежало народу.

«Горе тебе, народ, горе вам, иудейские изменники, пьяницы эфраимские, горе вам, живущим в тучных долинах, вам, чьи путаются ноги, отягченные винищем!..»

«Да расточатся они, как вода иссякающая, как истлевающий червь, как недоносок женщины, которому не суждено увидеть солнце!..»

«О Моав, тебе придется скрываться в ветвях кипариса, подобно воробью, в тьме пещер, подобно тушканчику! Как ореховая шелуха, раздробятся ворота крепостей, и рухнут стены, и воспылают города! Бич всевышнего разить не перестанет! В твоей же крови вываляет он твои члены, словно шерсть в чану красильщика! Он истолчет тебя, как зерно в ступе; как новая борона терзает грудь земли — так он тебя истерзает; по горам и долам разбросает он клочья твоего мяса!..»

— О каком завоевателе говорит он? — спрашивали себя слушатели.— Не о Вителлии ли? Одни римляне могли совершить такие истребления!

И жалобы возникали кругом, раздавались стенания.

— Довольно! довольно! вели ему замолчать!

Но Иоаканам продолжал еще громче:

«Хватаясь за трупы своих матерей, малые дети будут ползти по горячему пеплу! Ночью, под страхом и на авось меча, люди пойдут искать посреди развалин огрызки хлеба! На площадях городских, там, где некогда беседовали старцы, чекалки станут оспаривать друг у друга мертвые кости! Глотая слезы, юные девы будут играть на лютнях перед пирующими иноземцами, и самые храбрые сыны твои, о Моав! — преклонят хребты под непосильными ношами!»

Столпившийся народ безмолвно слушал эти заклинания — и перед его духовными очами возникали дни изгна-

ния, бедствия и напасти прошедших времен. Точно такие речи гремели в устах древних пророков. Иоаканам посылал свои возгласы один за другим, с расстановкой — словно наносил удары.

И вдруг его голос стал тихим, сладкозвучным, певучим. Он предвещал скорое освобождение, царство справедливости, милости, благополучия. Небеса засияют непреходным сиянием, в пещере дракона родится младенец, золото заступит место глины, пустыня расцветет пышнее розы! То, что теперь сто́ит шестьдесят гиккасов, не будет стоить больше обола. Молочные источники заструятся из недра скал — все люди, довольные, пресыщенные, будут опочивать в тени виноградных лоз!..

«Когда же придешь ты, кого я ожидаю? Уже теперь все народы преклоняют колени — и царствию твоему не будет конца, о сын Давида!»

Тетрарх откинулся назад. Существование Давидова сына оскорбляло его как угроза.

Иоаканам начал поносить его за его владычество (нет другого владыки, кроме предвечного!) — за его сады, его статуи, его театры, за его утварь из слоновой кости... Он поносил его как безбожного Ахава!

Антипа схватился за грудь и, перервав шнурок, на котором висела его печать, швырнул ее в яму — и приказал ему молчать.

Но голос отвечал:

«Я буду кричать, как рычит медведь, как онагр кричит, как женщины в муках родов! За кровосмешение твое тебя уже постигло наказание! Бог покарал тебя бесплодием мула!»

Быстрый смех промчался в толпе, подобный плесканию волн.

Вителлий упорствовал, не хотел уйти. Толмач, с бесстрастным видом, передавал на языке римлян все оскорбления, которые Иоаканам изрекал на своем языке,— и таким образом тетрарх и Иродиада принуждены были выслушивать их два раза сряду.

Тетрарх задыхался от бешенства; она глядела на дно ямы, вся помертвелая, с раскрытыми губами.

Ужасный человек закинул назад голову — и, ухватившись за железные прутья решетки, прижал к ней свое волосатое лицо, походившее с виду на спутанный куст, в котором сверкали два угля.

«А, это ты, Иезавель! Скрып твоих сандалий завладел его сердцем! Ты ржала от похоти, как кобылица! Ты поста-

вила ложе свое на вершине горы и там совершала свои жертвы!.. Но господь сорвет с тебя твои серьги, твои пурпуровые одежды, твои льняные покровы! Он сорвет запястья с рук твоих и кольца с ног твоих, и те подвески, те золотые серпы, которые дрожат и блещут на челе твоем, и серебряные твои зеркала, и вееры из страусовых перьев, и те перламутровые высокие подошвы, на которые ты ставишь свои ноги, и краску ногтей твоих, и все ухищрения неги твоей! Все он отнимет насильно, жестоко — и не хватит каменьев, чтобы побить тебя всю, кровосмесительница!»

Иродиада огляпулась кругом, как бы ища защиты. Фарисеи с притворным сожалением опускали взоры, саддукеи отворачивали головы, боясь оскорбить проконсула. Антипа казался мертвым человеком.

А голос все рос, все возвышался. Он перекатывался отрывисто, как внезапно разразившийся гром,— и эхо гор повторяло молниеносные звуки, которыми он так и поражал Махэрус!

«Пресмыкайся в пыли, дщерь Вавилона! Мели муку! Сбрось твой пояс, сними твою обувь, засучи край твоей одежды, перейди через реки... Ничто не спасет тебя! Стыд твой будет открыт, позор твой увидят все люди! Твои же рыдания сокрушат твои зубы! Всевышнему мерзит вонь твоих преступлений! Проклятая, проклятая! Околевай, как псица!»

Но тут трап закрылся, крышка захлопнулась... Маннаи готов был задушить Иоаканама.

Иродиада исчезла; фарисеи были возмущены. Стоя посреди их, Антипа старался оправдаться.

— Конечно,— заметил Элеазар,— следует заключать брак с овдовевшей женой своего брата; но Иродиада не была вдовою — и, сверх того, у ней жив ребенок; а в этом-то и состоит вся мерзость греха.

— Неправда! Заблуждение! — возражал саддукей Ионафан.— Закон осуждает подобные браки, но не отвергает их вовсе.

— Как вы ни толкуйте, вы все несправедливы ко мне,— твердил Антипа.— Разве Авессалом не сочетался с женами своего отца, Иуда со своей невесткой, Аммон с своей сестрою, Лот с дочерьми своими?

В это мгновение появился Авл, который уже успел выспаться. Узнав, о чем шла речь, он одобрил тетрарха. «Стоило стесняться из-за подобных пустяков!» И он мно-

го смеялся — и укоризнам священников и ярости Иоаканама.

Иродиада, с высоты крыльца, обратилась к нему:

— Ты напрасно так говоришь, о господин! Он приказывает народу не платить даней.

— Правда это? — тотчас спросил мытарь. Все отвечали утвердительно. Тетрарх с своей стороны подкреплял их слова доказательствами.

Вителлию пришло в голову, что узник мог убежать, и так как поведение Антипы ему казалось сомнительным, то он повелел поставить стражу у всех дверей, вдоль стен, на дворе.

Затем — он отправился в свои покои. Выборные от священников пошли за ним. Не касаясь вопроса о жертвоприношении, они излагали свои жалобы. Они наскучили ему... он велел им удалиться.

Уходя от проконсула, Ионафан увидел возле одной из бойниц Антипу. Он разговаривал с человеком длинноволосым, одетым в белый хитон, с ессеем... Ионафан в душе пожалел о том, что поддержал тетрарха.

Одна мысль утешала Антипу,— Иоаканам уже не зависел от него более, римляне взялись его караулить... Какое облегчение! Фануил расхаживал в это время по брустверу. Он позвал его — и, указав на солдат:

— Они сильнее меня,— сказал тетрарх.— Я не могу теперь его освободить... Это не моя вина!

Меж тем двор опустел. Рабы отдыхали. На красном поле неба, зажженного вечерней зарей, малейшие отвесные предметы выделялись черными чертами. Антипа мог различить соляные копи по ту сторону Мертвого моря; аравийских палаток не было видно более. «Вероятно, они откочевали?» Луна всплывала — и в сердце его спустилось успокоение.

Фануил, как человек, подавленный горем, пребывал недвижим, уронив на грудь подбородок. Он высказал наконец то, что хранил на душе.

С самого начала месяца он наблюдал и изучал небо. Созвездие Персея находилось в зените, Агала́ едва показывался, Альголь блестел слабым блеском, Мира-Коэти совсем исчез; и Фануил заключал из всего этого, что нынешней же ночью, в Махэрусе, должен покончить жизнь важный человек.

Но кто? Вителлия окружила его стража; Иоаканам не будет казнен...

«Уж не я ли тот человек? — думалось тетрарху.— Быть

может, аравитяне возвратятся? А не то — проконсул откроет мои сношения с парфянами? Иерусалимские клевреты сопровождали священников — под одеждами они скрывали кинжалы...» Тетрарх не сомневался в мудрости и познаниях Фануила.

Не прибегнуть ли к Иродиаде? Спору нет — он ее ненавидит... но она придаст ему мужества. К тому же не были еще порваны все нити чар, которыми она некогда его опутала.

Когда он вошел в ее комнату, в порфировой вазе курился киннамон; и всюду были разбросаны стклянки с духами, благовонные порошки, ткани, подобные облакам, вышитые кисеи легче перьев.

Тетрарх слова не проронил — ни о предсказании Фануила, ни о страхе, который внушали ему аравитяне и евреи. Он упомянул только о римлянах. Вителлий не сообщил ему ни одного из своих военных планов. Он подозревал, что Вителлий друг Кая, которого посещает Агринна. Он боялся, что его, тетрарха, сошлют в ссылку — а может быть, и зарежут.

Иродиада, с презрительною снисходительностью, старалась его успокоить. Видя, что слова ее мало действуют, она вынула из небольшого ящичка медаль странной формы, украшенную головою Тиверия в профиль. Ликторы должны были побледнеть при виде этой медали; все обличители — умолкнуть.

Благодарный, растроганный Антина спросил, каким образом она достала эту медаль?

— Мне ее дали,— отвечала она.

Вдруг из-под занавеса двери выдвинулась обнаженная до плеча рука, рука молодая, прекрасная, словно выточенная Поликлетом из слоновой кости. Несколько неловко, но красиво двигалась эта рука по воздуху, вправо и влево, ища, стараясь захватить тунику, оставленную на небольшой скамье, возле стены.

Старуха прислужница тихонько подала эту тунику за дверь, приподняв занавес.

Тетрарху что-то внезапно вспомнилось... но что именно — он не мог сказать.

— Эта рабыня тебе принадлежит? — спросил он наконец.

— Какое тебе дело! — отвечала Иродиада.

III

Гости наполняли залу, где совершалось пиршество. Она распадалась на три придела, подобно базилике; их разделяли колонны из алгуминного дерева с бронзовыми капителями, с изваянными украшениями. Две галереи с прорезным полом опирались на эти колонны — а третья, вся из золотой филиграни, округлялась на конце залы, прямо напротив громадной арки входа.

Пылавшие канделябры на столах, поставленных во всю длину залы, возвышались огненными кустами между чашами из крашеной глины, медными блюдами, тисненными грудами снега, кучами винограда. Эти красные пятна света постепенно сливались в отдалении, подавленные вышиною потолка; лучистые точки сверкали в трибунах, между древесными ветвями, подобно ночным звездочкам.

Сквозь отверстие входа виднелись факелы, зажженные на террасах домов. Антипа задавал пир друзьям своим, народу, всякому, кто желал быть гостем.

Рабы, обутые в войлочные сандалии, кружили быстрее псов, с подносами на руках. На золотой трибуне третьей галереи на особо устроенном помосте из жимолостных досок стоял проконсульский стол. Вавилонские ковры, подвешенные к потолку, образовали кругом нечто вроде павильона.

Три ложа из слоновой кости, одно на почетном месте, два по бокам, окружали стол. На них возлежали: проконсул налево, возле двери, Авл направо, тетрарх посередине.

На нем был тяжелый черный плащ, весь расшитый разноцветными накладками; румяна покрывали его щеки, борода раскинулась веером, венец из драгоценных камней сжимал волосы, посыпанные пудрой лазоревого цвета. Вителлий сохранил свою пурпуровую перевязь; косвенно пересекала она его льняную тогу. Авл велел повязать себе за спину рукава своей лиловой шелковой ризы, исполосованной серебряными галунами; в три ряда поднимались его завитые кудри — и сапфирное ожерелье блистало на его груди, белой и тучной, как грудь женщины. Подле него, на циновке, скрестив ноги, сидел чрезвычайно красивый ребенок, который постоянно улыбался. Авл увидел его в кухне — и не мог уже с ним расстаться. Не будучи в состоянии запомнить его халдейское имя, он назвал его просто Азиатом (*Asiaticus*). От времени до времени Авл

опускался навзничь на свое ложе — и тогда его голые ноги, высоко поднятые, царили надо всем собранием.

С той же стороны находились священники и офицеры Антипы, иерусалимские жители, главные лица греческих городов; а со стороны проконсула и пониже его — Маркелл с мытарями, собирателями податей, друзья тетрарха, важные особы из Каны, Птолемаиды, Иерихона; дальше сидели, уже без чинов, горцы с Ливанона, старые воины Ирода Великого, двенадцать фракийцев, идумейские пастухи, султан Пальмиры, эзиугаверские моряки. Перед каждым гостем лежала лепешка из мягкого теста, о которую он утирал пальцы,— и жадные руки беспрестанно протягивались, как пигарговы шеи, за оливками, фисташками, миндалинами. Все лица, увенчанные цветами, сияли веселием.

Фарисеи отказались от этих венков, как от римского нечестья. Они содрогнулись, когда их окропили смесью галбана и ладана; жидкость эта употреблялась только для священных обрядов храма.

Авл натер ею свои мышки — и Антипа обещал прислать ему целый корабль, нагруженный этим составом, вместе с тремя корзинами той настоящей мастики, которая возбуждала в Клеопатре желание присвоить себе Палестину.

Один из начальников тивериадского гарнизона, только что прибывший в Махэрус, поместился позади тетрарха и, казалось, сообщал ему вести о событиях необыкновенных. Но все его внимание было поглощено проконсулом, а также и тем, что́ говорилось на соседних столах. Там толковали об Иоаканаме и о подобных ему людях. Приводились разные факты:

— Симеон из Гитто́я, например, омывал грехи огнем. Некий Иисус...

— Этот хуже всех,— заметил Элеазар.— Презренный обманщик!

Позади тетрарха вдруг поднялся человек, бледный, белый, как кайма его собственной хламиды. Он сошел с помоста — и, обратившись к фарисеям:

— Вы лжете! — воскликнул он.— Иисус творит чудеса!

Антипа пожелал увидеть этого Иисуса.

— Зачем ты не привел его? Сообщи о нем, что знаешь.

Тогда тот рассказал, как он, Яков, имея дочь больную, отправился в Капернаум для того, чтобы умолить учителя излечить ее. И учитель отвечал ему: «Ступай домой; твоя дочь здорова». И он, Яков, возвратясь, нашел дочь свою

на пороге дома... Она покинула свое ложе, когда «гномон» дворца показывал третий час, самый тот час, когда он приступил к Иисусу.

Но фарисеи представили возражения.

— Конечно,— говорили они,— существуют известные действия, травы, одаренные чародейною силою. В самом Махэрусе иногда можно было найти траву «Баарас», которая делает человека неуязвимым. Но вылечить больного, не видев и не коснувшись его... какая нелепость! Одно разве: Иисус призывает в помощь демонов?

И друзья Антипы, начальствующие люди между галилеянами, повторяли, качая головами:

— Да, демонов... это несомненно!

Яков, стоя между их столом и столом священников, сохранял тот же вид, надменный — и кроткий.

— Говори же, говори,— приставали они к нему,— доказывай его могущество!

Он нагнулся, приподнял плечи — и чуть слышным голосом, медленно, как испуганный человек:

— Вы разве не знаете, что он мессия? — сказал он.

Все священники переглянулись, а Вителлий потребовал объяснения этого слова. Толмач, прежде чем ответить, помолчал с минуту.

— Евреи называют этим именем,— объяснил он наконец,— освободителя, который наградит их обладанием всех благ земных и владычеством над остальными народами. Иные утверждают даже, что следует ожидать двух мессий. Один будет побежден Гогом и Магогом, северными демонами; но другой истребит князя зла; и вот уже несколько столетий, как они ежечасно его ожидают.

Между тем священники поговорили между собою — и Элеазар попросил слова.

— Во-первых,— так начал он,— мессия будет сын Давида, а не плотника. Во-вторых: он утвердит закон, а этот назареянин его разрушает.— Главное же возражение Элеазара состояло в том, что мессии должен предшествовать Илия пророк.

— Но он уже пришел, Илия! — вскричал Яков.

— Илия! Илия! — повторила толпа до самого конца залы.

И воображению всех немедленно представилась целая картина: старец под тучею вранов, небесный огонь, падающий на алтарь, идолопоклонические жрецы, низвергнутые в бурный поток... Женщины в трибунах вспоминали о сарептской вдовице.

Но Яков продолжал настойчиво утверждать, что он его видел! И весь народ его видел!

— Его имя! имя!

Тогда он закричал изо всех сил:

— Иоаканам!

Антипа опрокинулся назад, словно что ударило его прямо в грудь. Саддукеи ринулись на Якова. Среди шума и гама Элеазар разглагольствовал, возвышая голос, силясь привлечь к себе внимание.

Когда наконец тишина восстановилась, он закутался в свой плащ и, как судья, стал ставить вопросы:

— Ведь пророк Илия умер?

Смятенный ропот перервал его. Многие были убеждены, что Илия только исчез, а не умер. Элеазар вспылил... однако продолжал свой допрос:

— Ты полагаешь, что он воскрес?

— А почему же нет? — отвечал Яков.

Саддукеи пожимали плечами, а Ионафан, вытараща глаза, усиленно старался смеяться, словно шут какой. Что могло, дескать, быть глупее притязания бренного тела на вечную жизнь? И он продекламировал, ради проконсула, стих современного поэта:

Nec crescit, nec post mortem durare videtur [1].

Но в эту минуту увидали Авла, склонившегося на край триклиниума: с испариной на лбу, с лицом позеленевшим, он прижимал оба кулака к желудку.

Саддукеи притворились перепуганными. (На другой же день право жертвоприношения было им даровано.) Антипа являл все признаки отчаяния; один Вителлий пребывал безучастным, хоть он и ощущал в душе жестокую тревогу: вместе с сыном он терял всю свою карьеру.

Авла стошнило... Но как только его рвота кончилась, он опять захотел есть.

— Подайте мне скоблепого мрамора, наксосского сланцу, морской воды, чего-нибудь, скорей! Или вот что: не взять ли мне ванну?

Он принялся грызть снежные комья. Затем, после недолгого колебанья — за что ему приняться: за коммагенский ли паштет, за розовых ли дроздов, он решился взять тыквы на меду. «Азиат» с благоговением созерцал Авла: этот дар неустанного пожирания изобличал, по его поня-

---

[1] Ни расти, ни существовать после смерти не может.

тию, существо необычайное, принадлежащее высшей природе!

Авлу подали бычачьих почек, жареную белку, соловьев, рубленого мяса, завернутого в виноградные листья. А между тем священники продолжали спорить о воскресении мертвых. Аммониас, ученик платоника Филона, находил подобные толки нелепыми и высказывал свое мнение тут же сидевшим грекам, которые смеялись над оракуламп. Маркелл и Яков подошли друг к другу. Маркелл рассказывал о блаженстве, которое он испытал, приняв веру персидского бога Митры, а Яков убеждал его последовать Христу. Пальмовые и тамарисовые, сафетские и библосские вина текли ручьями из амфор в кувшины, из кувшинов в чаши, из чаш в гортани. Поднялся говор болтовни, начались сердечные излияния. Ясим, хоть и еврей, не скрывал более своего обожания планет; купец из Афаки изумлял кочевников подробным описанием чудес гиерополисского храма — и те спрашивали у него, что́ стоило путешествие туда? Зато другие крепко держались за свои прирожденные поверья. Полуслепой германец пел гимн во славу того скандинавского мыса, где боги являют в лучах свои лики; а люди из Сихема отказывались от жареных голубей — из уважения к священной горлице Азима.

Многие беседовали, стоя посреди залы, и от пара дыханья и дыма светильников в воздухе образовалось нечто вроде тумана. Фануил проскользнул вдоль стены. Оп только что снова произвел наблюдения над небесными созвездиями; но не подвигался в направлении тетрарха, страшась выпачкаться в масло, что для ессеев было великим осквернением.

Вдруг послышались удары в ворота замка. Народ узнал о заключении Иоакапама. Люди с факелами в руках карабкались вдоль тропинок; темные массы кишели в оврагах — и от времени до времени поднимались протяжные вопли:

— Иоаканам! Иоаканам!

— Он всему помехой,— сказал Ионафан.

— Не будет доходов, деньги переведутся, если ему позволят продолжать,— толковали фарисеи.

И отовсюду неслись упреки, жалобы.

— Защити нас, тетрарх! Пора покончить с этим человеком! Ты отступаешься от веры! Ты безбожник, как все Иродово племя!

— Меньше, чем вы! — возразил тетрарх...— Мой отец соорудил ваш храм!

Тогда фарисеи, сыновья изгнанников, сторонники Маттафии, начали упрекать тетрарха в преступлениях его семейства.

У иных из этих людей черепа были заостренные, взъерошенные бороды, слабые и как бы злые руки; у других — курносые рожи, круглые, выпученные глаза: они смотрели бульдогами. Человек двенадцать писцов и иерейских слуг, кормившихся остатками жертвоприношений, подбежало к самому помосту, обнажив ножи,— они грозили Антипе, который продолжал держать им речь, между тем как саддукеи неохотно и слабо заступались за него. Он увидел Маннаи и знаком повелел ему удалиться. Вителлий являл вид равнодушный, как бы давая знать, что все это до него не касается.

Оставшиеся на триклинниуме фарисеи пришли вдруг в неистовую ярость: они разбили вдребезги стоявшие перед ними блюда. Им подали любимое кушанье Мецената — жареного дикого осла под соусом, а они гнушались этим мясом, как нечистым.

Авл глумился над ними, напоминая им ту ослиную голову, которую, по слухам, они считали святыней. Много других обидных слов высказал он по поводу их отвращения к свинине. Вероятно, они потому так ненавидели это животное, что оно убило их Вакха; и они, все, конечно, были пьяницы, так как в их храме была найдена виноградная лоза, вычеканенная из золота.

Священники не понимали его слов. Финеас, родом галилеянин, отказался перевести их. Тогда Авл разгневался безмерно, тем более что «Азиат», перепугавшись, исчез. Обед не нравился Авлу: кушанья были грубые, недостаточно приправленные. Он, однако, успокоился при виде блюда из хвостов сирийских баранов, настоящих комков жирного сала.

Все эти иудеи, их поступки и нравы казались Вителлию гнусными. Их бог уж не тот ли Молох, думалось ему, алтари которого ему попадались по дорогам? Принесенные в жертву малые дети пришли ему на память, вместе с тем сказанием о неведомом некоем человеке, которого будто бы тайно откармливали эти иудеи. Его латинское сердце с негодованием отвращалось от их нетерпимости, от их иконоборной ярости, от их звериного упорства. Проконсул собирался уже удалиться... Но Авл не хотел встать с места.

Спустив свою хламиду до самых бедр, он лежал, распростертый перед целой грудой мяс и яств. Он до того был

пресыщен, что уже ничего есть не мог,— но не в силах был оторваться от всей этой благодати.

Возбуждение толпы все росло. Возникали мечты о независимости, вспоминалась древняя слава Израиля. Не подверглись ли все завоеватели небесной каре? Антигон, Красс, Вар...

— Негодяи! — воскликнул вдруг проконсул.

Он понимал по-сирийски — и держал при себе толмача только для того, чтобы дать себе время приготовить ответы.

Антипа поспешно достал медаль императора — и сам, с трепетом на нее взирая, показывал ее толпе со стороны лицевого изображения.

Но тут внезапно раскрылись створчатые двери золотой трибуны — и при ярком блеске свечей, окруженная рабами, гирляндами из анемон, появилась Иродиада. Ассирийская митра, прикрепленная подбородником, спускалась ей на лоб. Перекрученные кудри рассыпались вдоль пурпурного пеплума, прорезанного во всю длину рукавов. Каменные чудовища, подобные тем, что находились в Аргосе, над сокровищницей Атридов, вздымались по обеим сторонам дверей, и, стоя между ними, она уподоблялась Цибеле, сопровождаемой ее двумя львами. С вышины балюстрады, которая царила над тем местом, где находился Антипа, она, держа в руке плоский кубок, громко закричала:

— Да здравствует цезарь!

Вителлий, Антипа и священники тотчас подхватили этот крик. Но в это мгновение с конца залы пробежал гулкий говор изумления, удивления... Молодая девушка вошла в залу.

Под голубоватым вуалем, который закрывал ей голову и грудь, можно было различить полукруглые линии ее бровей, ее халкедоновые серьги, белизну ее кожи. Схваченный на талье золотым поясом, четырехугольный кусок шелковой ткани переливчатого цвета лежал на ее плечах; черные шальвары были усеяны изображениями мандрагор, и, небрежно и лениво постукивая своими маленькими туфлями из пуха райской птицы, она тихо подвигалась вперед.

На самом верху помоста она сняла свой вуаль. Она походила на Иродиаду в молодости. Потом она стала танцевать.

Она переставляла ноги одну перед другою, под лад флейты и пары кротал. Ее округленные руки призывали кого-то, который все убегал от нее. Легче бабочки пресле-

довала она его, словно Психея, в которой зажглось любопытство, словно тень души, осужденной скитаться... и, казалось, то и дело готовилась улететь.

Похоронные звуки «гингры» заменили кроталы. Безнадежное уныние заступило место резвой надежды. Каждое движение девушки выражало тоску — и вся она замирала в таком томлении, что невозможно было сказать, плачет ли она о покинувшем ее боге или изнывает под его лаской. Полузакрыв ресницы, она крутила свой стан, волнообразно колыхала свои бедра, вздрагивала грудями — а лицо оставалось неподвижным. Зато ноги не останавливались.

Вителлий сравнивал ее с пантомимом Мнестером. Авла рвало по-прежнему. Тетрарх — словно во сне — терялся в мечтаниях. Он уже не думал об Иродиаде. Ему показалось, что она подошла к саддукеям. Но то видение удалилось.

Это не было видение. Иродиада — вдали от Махэруса — отдала в науку Саломею, свою дочь, в той надежде, что она понравится тетрарху. Ее расчет оказывался верным. Теперь она уже не сомневалась в этом.

Но вот пляска снова изменилась. То был неистовый порыв любви, жаждущей удовлетворения. Саломея плясала, как пляшут индийские жрицы, как нубиянки, живущие близ катаракт Нила, как лидийские вакханки. Она круто склонялась во все стороны, подобно цветку, поражаемому ударами сильного ветра. Блестящие подвески прыгали в ее ушах, ткань на ее плечах играла переливами; от ее рук, ног, от ее одежд отделялись невидимые искры, которые зажигали сердца людей. Арфа запела где-то — и толпа отозвалась руконлесканиями на ее томительные звуки. Не сгибая колен и раздвигая ноги, Саломея нагнулась так низко, что подбородок ее касался пола,— и кочевники, привыкшие к воздержанию, римские воины, искушенные в забавах разврата, скупые мытари, старые, зачерствелые в диспутах жрецы — все, расширив ноздри, трепетали под наитием неги.

Затем она принялась кружить около стола Антипы с бешеной быстротою... и он, голосом, прерывавшимся от сладострастных рыданий, говорил ей: «Ко мне! Приди!..» Но она все кружилась, тимпаны звенели буйно, с дребезгом — так и казалось, что вот-вот разлетятся они. Народ ревел — а тетрарх кричал все громче и громче: «Ко мне! Приди ко мне! Я дам тебе Капернаум, долину Тивериады, все мои крепости, половину моего царства!»

Она вдруг упала на обе руки, пятками кверху, про-

шлась таким образом вдоль помоста, подобно большому жуку,— и внезапно остановилась.

Ее затылок и хребет составляли прямой угол. Темные шальвары, покрывавшие ее ноги, спустились через ее плеча — и окружили дугообразно ее лицо, на локоть от полу. Губы у ней были крашеные, брови чернее чернил, глаза грозные, страшные... Крохотные капельки на ее лбу казались матовым испарением на белом мраморе.

Она ничего не говорила. Она глядела на тетрарха — и он глядел на нее.

Кто-то щелкнул пальцами на трибуне. Саломея быстро взбежала туда, появилась снова — и, немного картавя, детским голоском произнесла:

— Я хочу, чтобы ты дал мне на блюде голову... голову...— Она позабыла имя — но тотчас же прибавила с улыбкой: — голову Иоаканама.

Тетрарх, словно раздавленный, опустился на ложе.

Данное слово связывало его... Народ ждал...

«Но, быть может,— подумал Антипа,— это и есть та предсказанная смерть... и она, обрушившись на другого, пощадит меня! Если Иоаканам точно Илия — он сумеет ее избегнуть; если же нет — убийство не представляет важности».

Маннаи стоял возле него... и понял его мысль. Он уже удалялся; но Вителлий позвал его обратно и сообщил ему пароль. Римские солдаты стерегли ту яму.

Всем точно полегчало. Через минуту все будет кончено. Но Маннаи, верно, замешкался...

Он возвратился... На нем лица не было. Сорок лет он исполнял должность палача. Он утопил Аристовула, задушил Александра, заживо сжег Маттафию, обезглавил Зосиму, Паппаса, Иосифа и Антипатера... И он не дерзал убить Иоаканама! Зубы его стучали... все тело тряслось.

Он увидел перед самой ямой — великого ангела самаритян; покрытый по всему телу глазами, ангел потрясал огромным мечом, красным и зубчатым, как пламя молнии. Маннаи привел с собою двух солдат, свидетелей чуда.

Но солдаты объявили, что не видели ничего, кроме еврейского воина, который бросился было на них — и которого они тут же уничтожили.

Обуянная несказанным гневом, Иродиада изрыгнула целый поток площадной, кровожадной брани. Она переломала себе ногти о решетку трибуны — и два изваянных льва, казалось, кусали ее плечи и рычали так же, как она. Антипа закричал не хуже ее. Священники, солдаты, фа-

рисеи — все требовали отмщения; а прочие негодовали на замедление, причиненное их удовольствию.

Маннаи вышел, закрыв лицо руками.

Гостям время показалось еще продолжительнее... Становилось скучно.

Вдруг шум шагов раздался по переходам... Тоска ожидания стала невыносимой.

И вот — вошла голова. Маннаи держал ее за волосы напряженной рукой, гордясь рукоплесканиями толпы.

Он положил ее на блюдо — и подал Саломее. Она проворно взобралась на трибуну — и, несколько мгновений спустя, голова была снова принесена той самой старухой, которую тетрарх заметил сперва на платформе одного дома, а потом в комнате Иродиады.

Он отклонился в сторону, чтобы не видеть этой головы. Вителлий бросил на нее равнодушный взгляд.

Маннаи спустился с помоста — показал ее римским начальникам, а затем всем гостям, сидевшим с той стороны.

Они рассматривали ее внимательно.

Острое лезвие меча, скользнув сверху вниз, захватило часть челюсти. Судорога стянула углы рта, уже занекшаяся кровь пестрила бороду. Закрытые веки были бледно-прозрачны, как раковины, а кругом светочи проливали свой лучистый свет.

Голова достигла стола священников. Один фарисей с любопытством перевернул ее; но Маннаи, поставив ее снова стоймя, поднес ее Авлу, которого это разбудило.

Сквозь узкое отверстие ресниц мертвые зеницы Иоаканама и потухшие зеницы Авла, казалось, что-то сказали друг другу. Потом Маннаи представил голову Антипе; и слезы потекли по щекам тетрарха.

Факелы погасли. Гости удалились — и в зале остались только Антипа и Фануил. Стиснув виски руками, тетрарх все смотрел на отрубленную голову; а Фануил, стоя неподвижно посреди пустой залы и протянув руки, шептал молитвы.

В самое мгновение солнечного восхода два человека, некогда отправленных Иоаканамом, появились с столь давно ожидаемым ответом.

Они сообщили этот ответ Фануилу, который тотчас восторженно умплился духом.

Он им показал ужасный предмет на блюде, между остатками пира.

Один из двух людей сказал ему:

— Утешься! Он сошел к мертвым, чтобы известить их о пришествии Христа.

Ессей теперь только понял те слова Иоаканама: «Дабы он возвеличился, нужно мне умалиться!»

И все трое, взявши голову Иоаканама, направились в сторону Галилеи.

Так как она была очень тяжела — они несли ее поочередно.

БУВАР И ПЕКЮШЕ

Перевод
М. В. Вахтеровой

I

Стояла жара — тридцать три градуса, и на бульваре Бурдон не было ни души.

Внизу, замкнутый двумя шлюзами, тянулся ровной линией канал Сен-Мартен с темною, как чернила, водою.

Посредине стояла баржа, груженная лесом, а на берегу громоздились бочки, сложенные в два ряда.

По ту сторону канала, между строений, разделявших дровяные склады, виднелась лазурь широкого чистого неба; в солнечном сиянии белые фасады домов, шиферные крыши, гранитные набережные ослепительно сверкали. Где-то далеко в теплом воздухе разносился смутный гул; все словно замерло в праздничном бездействии, в томительной печали летнего дня.

На бульваре появились два человека.

Один шел от площади Бастилии, другой — от Ботанического сада. Первый, высокого роста, в полотняном костюме, шагал, сдвинув шляпу на затылок, расстегнув жилет и держа галстук в руке. Другой, ростом пониже, в наглухо застегнутом коричневом сюртуке, семенил мелкими шажками, понурив голову и нахлобучив на лоб картуз с острым козырьком.

Дойдя до середины бульвара, они уселись, оба разом, на одну и ту же скамью. Вытирая лоб, оба они сняли головные уборы и положили рядом с собой; низенький прочел на подкладке шляпы своего соседа надпись «Бувар», а тот, заглянув в картуз незнакомца, разобрал слово «Пекюше».

— Вот занятно,— сказал он,— нам обоим пришло в голову написать на шляпе свою фамилию.

— Ну да, ведь мой картуз могли бы обменять у нас в конторе.

— И у меня, я тоже служу в конторе.

Тут они присмотрелись друг к другу.

Приятная внешность Бувара сразу очаровала Пекюше. Голубые глаза из-под полуопущенных век озаряли улыбкой его румяное лицо. Просторные панталоны топорщились внизу, на касторовых штиблетах, и обтягивали живот, вздувая рубашку у пояса, а светлые волосы в легких завитках придавали его физиономии что-то ребячливое. Он постоянно что-то насвистывал, выпятив губы.

Бувара поразила серьезная мина Пекюше.

Черные пряди волос так гладко облегали его высокий череп, что их можно было принять за парик. Лицо из-за длинного висячего носа было как будто постоянно обращено к вам в профиль. Ноги в узких люстриновых брюках казались несоразмерно короткими в сравнении с туловищем; говорил Пекюше низким глухим голосом.

У него вырвалось восклицание:

— Как хорошо сейчас в деревне!

Но Бувар возразил, что за городом невыносимо от кабацкого шума и гама. Пекюше согласился, но все-таки пожаловался, что начинает тяготиться столичной жизнью. Бувар испытывал то же.

Они обводили глазами груды строительного камня, грязную воду канала, где плавали пучки соломы, фабричные трубы, торчавшие вдали; из сточной канавы несло вонью. Они обернулись в другую сторону: там перед ними тянулись стены хлебных амбаров.

— Право же,— удивился Пекюше,— на улице еще жарче, чем дома!

Бувар посоветовал ему снять сюртук. Наплевать ему на приличия — пусть говорят, что хотят!

Тут по аллее проковылял какой-то пьянчуга, выписывая кренделя ногами; заговорив по этому поводу о рабочих, они перешли на политические темы. У обоих оказались одинаковые взгляды, хотя, пожалуй, из них двоих Бувар был либеральнее.

По мостовой, в вихре пыли, с лязгом и грохотом прокатили три коляски по направлению к Берси; там ехали невеста с букетом, несколько горожан в белых галстуках, дамы, утопавшие до самых плеч в пышных юбках, две-три девочки, школьник-подросток. При виде свадебного поезда Бувар и Пекюше заговорили о женщинах и пришли к выводу, что все они легкомысленны, вздорны, упрямы. Правда, встречаются иной раз женщины лучше мужчин, но обычно они все-таки хуже. Словом, гораздо спокойнее жить без них; потому-то Пекюше и остался холостяком.

— А я вдовец,— заявил Бувар,— и детей у меня нет.

— Может быть, это и к лучшему. А впрочем, одиночество под конец становится тягостно.

На набережной появилась уличная девица под руку с военным, черноволосая, бледная, с рябым лицом. Она шла вперевалку, опираясь на руку солдата и шаркая туфлями по панели.

Дав ей отойти подальше, Бувар отпустил непристойную шутку. Пекюше густо покраснел и, видимо, желая переменить тему, указал ему на священника, который к ним приближался.

Аббат величаво проплыл по аллее, обсаженной вдоль тротуара тощими вязами; как только его треугольная шляпа исчезла из виду, Бувар вздохнул с облегчением и заявил, что терпеть не может иезуитов. Пекюше, не защищая их, все же признался, что относится к религии с уважением.

Между тем наступили сумерки, и в доме напротив подняли жалюзи. Прохожих стало больше. Пробило семь часов.

Их беседа лилась неиссякаемым потоком; за анекдотами следовали рассуждения, за личными мнениями философские идеи. Они раскритиковали в пух и прах ведомство путей сообщения, пошлины на табак, торговые дома, театры, морское министерство и весь род человеческий,— как будто они все испытали и во всем разочаровались. Каждый из них, слушая другого, вспоминал свое забытое прошлое, узнавал самого себя. И хотя они вышли из возраста наивных восторгов, оба испытывали что-то новое, неизведанное, расцвет чувств, прелесть зарождающейся дружбы.

Раз двадцать они вставали со скамьи, садились опять, прохаживались вдоль бульвара, от верхнего шлюза до нижнего, то и дело собирались уйти, но не в силах были расстаться, будто их приворожили.

Наконец они распрощались, как вдруг, при последнем рукопожатии, Бувар воскликнул:

— Погодите! А что, если нам пообедать вместе?

— Я уж думал об этом,— подхватил Пекюше,— но не решался вам предложить.

Бувар повел его в ресторанчик против ратуши, где, по его словам, уютная обстановка.

Он сам заказал обед.

Пекюше остерегался пряностей, как слишком возбуждающего средства. Это послужило поводом поспорить о медицине. Затем они начали превозносить науку: сколько интересного можно узнать, сколько исследований произве-

сти... если бы только хватало времени! Увы, все их время уходило на то, чтобы заработать на хлеб. И тут выяснилось, что оба они служат переписчиками; от изумления сотрапезники всплеснули руками и, перегнувшись через стол, едва не бросились в объятия друг друга. Бувар работал в одном торговом доме, а Пекюше — в морском министерстве, что́ не мешало ему вечерами уделять время научным занятиям. Он сообщил, что выискал много ошибок в сочинении Тьера, зато отозвался с величайшим почтением о некоем профессоре Дюмушеле.

У Бувара были другие достоинства. Изящная часовая цепочка, сплетенная из волос, манера сбивать соус — все обличало в нем человека бывалого, умеющего пожить; за обедом, зажав салфетку под мышкой, он забавлял Пекюше уморительными историями. У Пекюше был характерный смех — басистый, на одной ноте, с долгими паузами. Бувар смеялся благодушно, звонко, скаля зубы, поводя плечами, и посетители невольно оборачивались на него.

Отобедав, они зашли выпить кофе в другое заведение. Пекюше, оглядевшись при свете газовых рожков, поворчал на излишне роскошную обстановку, затем презрительным жестом отбросил газеты. Бувар был гораздо снисходительнее. Он любил всех писателей без разбору, а в юности намеревался поступить актером в театр.

Ему вдруг захотелось показать ловкие фокусы с бильярдным кием и двумя шарами, какие при нем проделывал его приятель Барберу. Но шары беспрестанно падали на пол, под ноги посетителей, и закатывались куда-то в угол. Лакей, которому всякий раз приходилось, ползая на четвереньках, доставать их из-под скамеек, в конце концов начал ворчать. Пекюше наорал на него; явился хозяин, но Пекюше не пожелал слушать извинений и разругал все кушанья в ресторане.

После этого он предложил мирно закончить вечер у него на дому; это совсем рядом, на улице Сен-Мартен.

Войдя, он напялил какую-то полотняную курточку и повел гостя осматривать помещение.

Письменный стол елового дерева стоял, загораживая проход, как раз посреди комнаты, а повсюду вокруг — на полках, на стульях, на старом кресле и по углам — в беспорядке громоздились книги: несколько томов Энциклопедии Роре, Руководство для магнетизера, томик Фенелона; там же, вперемешку с кипами бумаг, лежали два кокосовых ореха, всевозможные медали, турецкая феска и несколько раковин, привезенных Дюмушелем из Гавра. Сте-

ны, когда-то выкрашенные в желтый цвет, были покрыты бархатным слоем пыли. На краю постели, с которой свисали простыни, валялась сапожная щетка. На потолке чернело большое пятно от коптящей лампы.

Бувар, не выносивший спертого воздуха, попросил позволения отворить окно.

— Но ведь бумаги разлетятся! — вскричал Пекюше, который пуще всего боялся сквозняков.

Однако и сам он задыхался в тесной комнатушке, накалившейся с утра от шиферной кровли.

— На вашем месте я бы снял фуфайку,— сказал Бувар.

— Как можно!

Пекюше, ужаснувшись при мысли, что расстанется с фланелевым набрюшником, предохранявшим от простуды, пожал плечами.

— Проводите-ка меня до дому,— предложил Бувар,— на свежем воздухе вы проветритесь.

И Пекюше пришлось снова натягивать сапоги.

— Вы просто околдовали меня, честное слово! — ворчал он.

Несмотря на расстояние, он проводил приятеля до самого дома, до угла улицы Бетюн, против моста Турнель.

У Бувара была большая комната с навощенным до блеска полом, перкалевыми занавесками, мебелью красного дерева и с балконом, выходившим на реку. Главными украшениями служили погребец на комоде и дагерротипы у зеркала, изображавшие друзей хозяина. В алькове висела картина масляными красками.

— Мой дядя,— сказал Бувар и, подняв свечу, осветил портрет пожилого господина.

Рыжие бакенбарды обрамляли широкое лицо, увенчанное взбитой прической с завитком на хохолке. Пышный галстук и тройной воротник — от сорочки, бархатного жилета и фрака — туго стягивали шею. На жабо блестела бриллиантовая булавка. Глаза его щурились над обвислыми щеками, а губы лукаво усмехались.

— Его скорее можно принять за вашего отца! — невольно заметил Пекюше.

— Это мой крестный,— небрежно отозвался Бувар и добавил, что его нарекли при крещении Франсуа-Дени-Бартоломе. Пекюше носил имя Жюст-Ромен-Сирил; они оказались ровесниками; обоим было по сорока семи лет. Такое совпадение их обрадовало, хоть и удивило. Каждый считал другого гораздо старше. Тут оба принялись восторгаться мудростью провидения, чьи пути неисповедимы.

— Подумать только: если бы мы не встретились нынче на прогулке, мы бы так и умерли, не узнав друг друга.

Обменявшись адресами по месту службы, они пожелали один другому покойной ночи.

— Смотрите, не заверните к девочкам! — крикнул Бувар, провожая гостя на лестницу.

Пекюше спустился по ступенькам, ничего не ответив на эту нескромную шутку.

На другое утро во дворе конторы братьев Декамбо «Эльзасские ткани», на улице Отфей, 92, кто-то громко позвал:

— Бувар! Господин Бувар!

Бувар высунул голову в окошко и узнал Пекюше.

— Я не простудился, я ее снял! — крикнул тот еще громче.

— Что такое?

— Я ее снял, фуфайку! — объяснил Пекюше, показывая на грудь.

Их вчерашние разговоры, жара в комнате и тяжесть в животе не давали ему заснуть, так что, не выдержав, он скинул с себя фланелевый набрюшник. Наутро, удостоверившись, что это не имело дурных последствий, он поспешил поделиться новостью с Буваром, который теперь еще более возвысился в его мнении.

Пекюше был сыном мелкого торговца и не помнил своей матери, рано умершей. Пятнадцати лет ему пришлось уйти из школы и поступить на службу к частному приставу. В один прекрасный день в дом явились жандармы, и вскоре его хозяина сослали на галеры. Пекюше до сих пор не мог вспомнить этой истории без ужаса. После этого он перепробовал много профессий: был аптекарским учеником, репетитором, счетоводом на пакетботе Верхней Сены. Наконец какой-то начальник, восхитившись его почерком, нанял его писцом в контору. Пекюше, при его пытливом уме, мучило сознание, что он недостаточно образован. Нрава он был раздражительного и жил совершенно один, без родных, без любовницы; по воскресным дням, в виде развлечения, ходил наблюдать за строительными работами.

Самые ранние воспоминания Бувара были связаны с фермой на берегу Луары. Потом дядя повез мальчика в Париж обучать торговому делу. Достигнув совершеннолетия, он получил в банке несколько тысяч франков. Тогда он женился и открыл кондитерскую лавку. Полгода спустя его супруга сбежала, прихватив с собою кассу. Кутежи с

друзьями, чревоугодие, а главное, лень очень скоро довели его до полного разорения. Но он догадался пустить в ход свой талант — красивый почерк, и вот уже двенадцать лет работал на том же месте, в конторе торговцев тканями, братьев Декамбо, улица Отфей, 92. О своем дяде, когда-то приславшем ему на память пресловутый портрет, Бувар ничего не слыхал, не знал даже его адреса и больше не рассчитывал на его помощь. Полутора тысяч франков дохода и жалованья переписчика ему хватало, чтобы вечером посидеть и подремать в кофейне.

Итак, случайная встреча стала важным событием в жизни обоих. Их сразу неодолимо потянуло друг к другу. Чем, в сущности, можно объяснить взаимную симпатию? Почему иные характерные черты, иные недостатки, безразличные или нетерпимые в одном человеке, восхищают вас в другом? Так называемая любовь с первого взгляда встречается в жизни нередко. Короче говоря, к концу недели Бувар и Пекюше перешли на ты.

Они то и дело навещали друг друга на службе. Как только один появлялся, другой запирал свой стол, и они отправлялись гулять по улицам. Бувар шел, широко шагая, а Пекюше, путаясь в длинном сюртуке, едва поспевал за ним, будто катясь на роликах. Так же мало совпадали их личные вкусы. Бувар курил трубку, любил сыр, после обеда неизменно выпивал чашечку кофе. Пекюше нюхал табак, за десертом ел только варенье и макал сахар в свой кофе. Один был доверчив, беспечен, великодушен, другой скрытен, серьезен и скуповат.

Желая доставить удовольствие Пекюше, Бувар познакомил его с Барберу. Это был биржевой делец, в прошлом коммивояжер, славный малый, патриот, волокита, любивший щегольнуть крепким словцом. Пекюше нашел его несносным и повел Бувара к Дюмушелю. Этот ученый (он опубликовал книжку по мнемонике) преподавал литературу в пансионе молодых девиц, высказывал ортодоксальные взгляды и держался с необычайной серьезностью. Бувару он скоро наскучил.

Приятели не скрывали своих мнений, и каждый признал правоту другого. Вскоре они изменили прежним привычкам и, отказавшись от домашнего пансиона, стали день за днем обедать вместе.

Они беседовали о нашумевших пьесах, о политике правительства, росте цен на провизию, о мошенничестве в торговле. Иногда вспоминали дело об ожерелье королевы или процесс Фюальдеса, рассуждали о причинах революции.

Они бродили по лавкам старьевщиков, посетили Музей искусств и ремесл, аббатство Сен-Дени, фабрику гобеленов, Дом инвалидов, осмотрели все выставки, все коллекции.

Когда у них требовали пропуск, они делали вид, что потеряли его, или выдавали себя за иностранцев, за двух англичан.

В галереях Музея естественной истории они подолгу стояли у чучел четвероногих, любовались бабочками, равнодушно проходили мимо витрин с металлами; ископаемые возбуждали их любопытство, а моллюски не вызывали никакого интереса. Они разглядывали теплицы сквозь стекла, содрогаясь при мысли о ядовитых испарениях. Кедр поразил их тем, что когда-то мог уместиться в шляпе.

В Лувре они принуждали себя восхищаться Рафаэлем. В Национальной библиотеке пытались выяснить точное число томов.

Как-то раз они зашли в Колеж де Франс на лекцию об арабском языке и, к величайшему удивлению профессора, принялись старательно что-то записывать. При помощи Барберу им удалось проникнуть за кулисы бульварного театра. Дюмушель достал им билеты на заседание Академии. Они интересовались научными открытиями, читали книжные каталоги и, по свойственной обоим любознательности, развивали свой ум. Кругозор их расширился, каждый день им открывалось что-то новое, что-то смутное и чудесное.

Любуясь старинной мебелью, они сокрушались, что не жили в те времена, хотя о самой эпохе не имели ни малейшего представления. Слыша названия стран, мечтали о далеких краях, тем более прекрасных, что они ничего о них не знали. Книги с непонятными заглавиями привлекали их обаянием тайны.

Новые идеи приносили им новые страдания. Когда на улице им встречалась почтовая карета, их неодолимо тянуло уехать куда-то вдаль. На Цветочной набережной они тосковали о лугах.

Однажды в воскресенье, ранним утром, они отправились на прогулку пешком; прошли через Медон, Бельвю, Сюрен, Отейль, весь день бродили среди виноградников, рвали мак на полях, отдыхали на траве, пили молоко, закусывали в загородных кабачках под акациями; вернулись они поздно ночью, изнуренные, счастливые, все в пыли. Они часто повторяли такие прогулки, но наутро им становилось так тоскливо, что пришлось от них отказаться.

Однообразная работа в конторе обоим им опротивела.

Все те же ножички и резинки, те же перья и чернильницы, все те же сослуживцы! Бувар и Пекюше считали конторщиков болванами и все меньше с ними разговаривали. Те обижались и дразнили их. Чуть ли не каждое утро оба приятеля опаздывали на службу и получали выговор.

Прежде они были вполне довольны своим положением, но с тех пор как высоко о себе возомнили, их профессия стала казаться им унизительной. Они внушали это один другому, подстрекали, раззадоривали друг друга. Пекюше перенял вспыльчивость Бувара, Бувар усвоил угрюмую манеру Пекюше.

— Уж лучше быть паяцем в ярмарочном балагане! — вздыхал один.

— Или стать тряпичником! — восклицал другой.

Ужасное положение! Безвыходное! Безнадежное!

И вот однажды (это было 20 января 1839 года), когда Бувар работал в конторе, почтальон принес ему письмо.

Бувар всплеснул руками, голова его медленно запрокинулась назад, и он упал на пол без чувств.

Конторщики бросились к нему, развязали ему галстук, послали за врачом. Бувар открыл глаза; на обращенные к нему вопросы он отвечал бессвязно:

— Ах!.. Это пустяки... На воздухе мне станет лучше. Нет, оставьте меня! Позвольте выйти!

Несмотря на свою тучность, он во весь дух помчался в морское министерство; он вытирал лоб, стараясь успокоиться, ему казалось, будто он сходит с ума.

Он просил вызвать Пекюше.

Пекюше явился.

— Мой дядя умер! Оставил мне наследство!

— Быть не может!

Бувар показал извещение:

Нотариальная контора г-на Тардивеля

Савиньи в Септене,
14 января 1839 г.

Милостивый государь!

Прошу вас пожаловать в мою контору, чтобы ознакомиться с завещанием вашего отца, г-на Франсуа-Дена-Бартоломе Бувара, бывшего негоцианта в городе Нанте, скончавшегося в нашем округе 10-го числа сего месяца. В завещании содержится весьма важное распоряжение в вашу пользу.

Примите уверение в моем глубоком уважении.

Нотариус *Тардивель*

Пекюше, ослабев от волнения, присел на тумбу во дворе. Вернув бумагу, он произнес, запинаясь:

— Лишь бы только... это не оказалось... шуткой!

— Ты думаешь... это кто-то подшутил? — спросил Бувар сдавленным голосом, похожим на предсмертный хрип.

Однако почтовые штемпеля, печатный бланк нотариальной конторы, подпись нотариуса — все подтверждало подлинность документа. Они пристально смотрели друг на друга, губы у них дрожали, а в глазах стояли слезы.

Им не хватало воздуха. Они дошли пешком до Триумфальной арки и зашагали обратно по набережным, мимо Собора Богоматери. Бувар побагровел. Он дубасил Пекюше кулаком в спину и бормотал какую-то чепуху.

Оба они не могли удержаться от смеха. Уж конечно, Бувар получит не меньше...

— Ох, это было бы слишком хорошо! Не стоит говорить об этом.

И все-таки заговорили. Что им мешает сразу же попросить разъяснений? Бувар написал нотариусу.

Нотариус прислал копию завещания, которое заканчивалось словами:

«Вследствие чего я завещаю Франсуа-Дени-Бартоломе Бувару, моему внебрачному сыну, признанному мною, полагающуюся ему по закону часть моего состояния».

Старик Бувар тщательно скрывал грех своей молодости, воспитывал сына вдали от города, выдавая за племянника, и тот всегда называл его дядей, хотя догадывался обо всем. К сорока годам Бувар-отец женился, потом овдовел. Два его законных сына огорчали его дурным поведением, и он стал раскаиваться, что бросил на произвол судьбы своего первенца. Не будь он под башмаком у своей кухарки, он выписал бы сына к себе. Когда, из-за семейных раздоров, кухарка ушла от них, старик, оставшись в одиночестве, решил перед смертью искупить давнюю вину, завещав все, что мог, плоду своей первой любви. Наследство составляло около полумиллиона, на долю скромного переписчика приходилось двести пятьдесят тысяч франков. Старший из братьев, г-н Этьен, заявил, что признаёт завещание.

Бувар ходил как одурелый. Блаженно улыбаясь, точно пьяный, он все шептал:

— Пятнадцать тысяч франков ренты!

Пекюше, хоть голова у него была покрепче, тоже не мог опомниться.

Их сразу отрезвило письмо Тардивеля с неприятным известием. Младший сын, г-н Александр, объявил о своем намерении оспорить завещание в суде и, если удастся, признать его недействительным; он требовал опечатать имущество, составить опись, наложить арест и прочее! У Бувара разлилась желчь. Едва оправившись, он поехал в Савиньи, но вернулся ни с чем, не добившись никакого решения и досадуя, что даром потратился на дорогу.

Потянулись бессонные ночи, мучительные переходы от отчаяния к надежде, от восторгов к полному упадку сил. Наконец, через полгода несносный Александр смирился, и Бувар вступил во владение наследством.

Первым делом он воскликнул:

— Вот теперь мы переедем в деревню!

Это решение разделить с другом свалившееся на него счастье показалось Пекюше вполне естественным: союз этих двух людей стал тесным и неразрывным.

Однако Пекюше заявил, что не желает жить на счет Бувара и никуда не поедет, покуда не дослужит до пенсии. Еще два года — подумаешь! Он был тверд и непоколебим; на том они и порешили.

Выбирая место, где поселиться, они перебрали все провинции. На севере плодородные земли, но слишком холодно; на юге климат чудесный, но отравляют жизнь москиты, а в центральных областях, по правде сказать, нет ничего интересного. Бретань, пожалуй, подошла бы, но там живут одни святоши. О восточных округах из-за местного диалекта нечего и думать. Однако есть же и другие края. Что такое, к примеру, Форе, Бюже, Румуа? В географических картах ничего о них не сказано. Впрочем, неважно, в том или другом месте они поселятся,— главное, у них будет свой дом.

Они уже представляли себе, как будут без пиджаков работать в саду, подрезать розовые кусты, рыть, копать, рыхлить землю, пересаживать тюльпаны. Проснувшись рано, под пение жаворонка, они пойдут на пашню, отправятся с корзинкой собирать яблоки, станут наблюдать, как сбивают масло, молотят, стригут овец, подкармливают пчел, будут наслаждаться мычанием коров, запахом свежего сена. И никакой переписки! Никакого начальства! Никаких платежей в срок. Ведь у них будет свой собственный дом! Куры из своего птичника, овощи со своего огорода, обеды по-домашнему в затрапезном платье.

— Мы будем делать все, что душе угодно. Хоть бороды отрастим.

Они купили садовый инвентарь, разные мелочи, «которые могут пригодиться», ящик с инструментами (необходимый в хозяйстве), потом весы, землемерную цепь, ванну на случай болезни, градусник и даже барометр «системы Гей-Люссак» для физических опытов: а вдруг им придет охота этим заняться? Не мешает иметь в доме литературу для чтения — не все же время работать в саду; они даже начали подыскивать книги, часто не зная хорошенько, подходят ли они для «домашней библиотеки».

Наконец Бувар принял решение:

— К черту! Нам не понадобится библиотека.

— К тому же можно взять мою,— сказал Пекюше.

Они строили планы. Бувар перевезет свою мебель, Пекюше — большой черный стол; если прихватить еще занавески да немного кухонной утвари, этого будет достаточно.

Они условились хранить все в тайне, но лица у обоих сияли, и сослуживцы подшучивали над ними. Бувар писал, лежа грудью на конторке, расставив локти, чтобы аккуратнее выводить косые буквы, и все время весело насвистывал, хитро подмигивая из-под тяжелых век. Пекюше, взгромоздясь на высокий соломенный стул, писал так же старательно, как и прежде, тем же четким почерком с нажимом, но невольно раздувал ноздри и кусал себе губы, словно боясь проговориться.

Уже больше полутора лет они искали, где бы поселиться, но ничего не могли найти. Путешествовали по окрестностям Парижа, ездили от Амьена до Эвре, от Фонтенебло до Гавра. Их тянуло в деревню, в настоящую сельскую местность, пускай не слишком живописную, но на широком просторе.

Они избегали слишком многолюдных поселков и вместе с тем опасались одиночества.

Иногда они уже делали выбор, затем, боясь разочароваться, отменяли решение, ссылаясь на нездоровую местность или на резкий морской ветер, на близкое соседство фабрики или на неудобное сообщение.

На помощь им пришел Барберу.

Узнав об их заветной мечте, он сообщил им в один прекрасный день, что слыхал о продаже поместья в Шавиньоле, между Каном и Фалезом. Поместье состояло из фермы в тридцать восемь гектаров, господского дома и фруктового сада, приносящего доход.

Друзья поспешили съездить в Кальвадос и пришли в

восторг. Однако за ферму вместе с домом (их не продавали порознь) с них запросили сто сорок три тысячи франков, а Бувар не давал больше ста двадцати тысяч.

Пекюше спорил с ним, убеждал пойти на уступки и объявил наконец, что доплатит недостающие деньги из своих личных средств. На это ушло все его состояние — материнское наследство и собственные сбережения. Этот капитал он хранил в тайне от всех на черный день.

Вся сумма была уплачена полностью к концу 1840 года, за полгода до выхода Пекюше на пенсию.

Бувар уже не работал переписчиком. Первое время, еще не уверенный в будущем, он ходил на службу, но лишь только решился вопрос о наследстве, вышел в отставку. Однако он охотно заглядывал в контору братьев Декамбо и накануне отъезда угостил пуншем всю компанию.

Пекюше, напротив, угрюмо распрощался с сослуживцами и, уходя в последний раз, сердито хлопнул дверью.

Ему еще надо было последить за упаковкой вещей, исполнить множество поручений, закупить кое-что и нанести прощальный визит Дюмушелю.

Профессор обещал вести с ним переписку, сообщать ему все литературные новости, потом еще раз поздравил и пожелал доброго здоровья.

Барберу простился с Буваром гораздо сердечнее — даже бросил неоконченную партию в домино. Он дал слово приехать к нему в гости, заказал две рюмки анисовки и крепко обнял на прощание.

Вернувшись домой, Бувар вышел на балкон и, вздохнув полной грудью, воскликнул: «Наконец-то!» В воде канала отражались огни набережной, вдали затихал шум омнибусов. Бувару вспомнились счастливые дни, прожитые в этом огромном городе, кутежи в ресторане, вечера в театре, болтовня привратницы, все его прежние привычки, и он почувствовал стеснение в груди, печаль, в которой не решался признаться самому себе.

Пекюше до двух часов ночи расхаживал из угла в угол. Никогда больше он не вернется сюда, и слава богу! Однако, чтобы оставить что-то на память о себе, он нацарапал свое имя на стенке камина.

Тяжелую кладь они отправили еще вчера. Садовые инструменты, кровати, тюфяки, столы, стулья, жаровню, ванну и три бочки бургундского решили везти баржой по Сене до Гавра, а оттуда доставить в Кан, где Бувар их дождется и переправит в Шавиньоль.

Портрет отца, кресла, погребец с ликерами, книги, стенные часы и прочие ценные вещи погрузили в фургон, который должен был ехать через Нонанкур, Верней и Фалез. Пекюше вызвался его сопровождать.

Надев самый старый сюртук, шарф, рукавицы, упрятав ноги в меховой мешок, которым пользовался в конторе, он уселся на скамье рядом с проводником и в воскресенье 20 марта, на рассвете, выехал из столицы.

Первое время его увлекала быстрая езда и новые впечатления. Но вскоре лошади пошли шагом, и он повздорил из-за этого с кучером и проводником. Для ночлега они выбирали самые омерзительные постоялые дворы, и, хотя хозяева отвечали за сохранность багажа, Пекюше от излишней мнительности ночевал там же.

Наутро они пускались в путь с рассветом, и все та же дорога тянулась перед ними до самого горизонта. Мелькали кучи щебня, канавы, полные воды, расстилались широкие, однообразные поля холодного зеленого цвета, по небу бежали облака, то и дело моросил дождь. На третий день поднялась буря. Брезентовый верх, плохо привязанный, хлопал на ветру, точно парус. Пекюше ежился, нахлобучив фуражку на нос, и всякий раз, открывая табакерку, поворачивался спиной к ветру, чтобы уберечь глаза. При сильных толчках он слышал, как перекатывается позади него вся их кладь, и надоедал проводнику советами. Увидев, что это не помогает, он переменил тактику: принял добродушный тон, шутил, угождал, помогал возчикам толкать фургон на крутых подъемах и даже угощал их кофеем с водкой после обеда. Тогда они покатили так резво, что, не доезжая Гобюржа, у них треснула ось, и повозка завалилась набок. Пекюше тут же бросился проверять поклажу: фарфоровые чашки разбились вдребезги. Он простирал руки к небу, скрежетал зубами, осыпал проклятиями обоих болванов. Наутро кучер напился, и они потеряли целый день, но у Пекюше уже не хватало сил возмущаться: чаша горечи была переполнена.

Бувар выехал из Парижа только через день, так как ему захотелось еще раз отобедать с Барберу. Он примчался на почтовую станцию в последнюю минуту, а проснувшись, увидел перед собой Руанский собор: впопыхах он ошибся дилижансом.

Вечером все места на Кан были заняты; не зная, как убить время, Бувар пошел в театр. Там, любезно улыбаясь, он рассказывал соседям, что он — коммерсант, удалившийся от дел, владелец нового поместья в окрестностях города.

Когда наконец он добрался до Кана, его багаж еще не прибыл. Получил он его лишь в воскресенье и отправил в Шавиньоль на телеге, известив фермера, что сам поедет следом через несколько часов.

В Фалезе на девятый день пути Пекюше нанял еще пристяжную, и до захода солнца лошади бежали рысью. Миновав Бретвиль, они свернули с большака на проселочную дорогу, и Пекюше все ждал, что вот-вот покажутся крыши Шавиньоля. Между тем колеи на проселке становились все мельче, наконец исчезли совсем, и фургон очутился среди вспаханного поля. Надвигалась темнота. Что делать? Пекюше слез с повозки и, шлепая по грязи, отправился на поиски. Когда он подходил ближе к фермам, на него лаяли собаки. Он кричал во все горло, прося показать дорогу. Никто не отвечал. Наконец ему стало страшно, и он побежал назад. Вдруг в темноте загорелись два фонаря. Пекюше разглядел коляску и бросился навстречу. В коляске сидел Бувар.

Но куда же девался фургон с поклажей? Битый час они бродили впотьмах, окликая возчиков. Наконец фургон отыскался, и они приехали в Шавиньоль.

В камине жарким огнем пылали сучья и сосновые шишки. Стол был накрыт на два прибора. Мебель, привезенная на телеге, загромождала прихожую. Все было доставлено в целости. Приятели уселись за стол.

Им подали луковый суп, цыпленка, сало и крутые яйца. Старуха кухарка то и дело приходила спросить, по вкусу ли им угощение. «Отлично, замечательно!» — отвечали они; пышный хлеб, который так трудно было резать, сливки, орехи — все приводило их в умиление. В полу были щели, стены сочились сыростью. И все же они с удовольствием оглядывали комнату, закусывая вдвоем за столиком, на котором горела свечка. Лица их разрумянились на свежем воздухе. Выпятив животы, откинувшись на спинки скрипучих стульев, они все повторяли:

— Наконец-то мы дома! Какое счастье! Уж не сон ли это?

Хотя уже пробило полночь, Пекюше вздумалось прогуляться по саду. Бувар согласился. Они взяли свечу и, защитив ее от ветра старой газетой, прошлись вдоль грядок. Оба радостно вскрикивали, показывая друг другу огородные овощи.

— Гляди-ка, морковь! А вот капуста.

Затем они осмотрели шпалерники. Пекюше пытался отыскать молодые побеги. По стене иногда пробегал паук,

а две их тени, непомерно удлиненные, вырисовывались на ней, повторяя каждый их жест. С тонких стеблей капала роса. Наступила полная темнота, и все замерло в великом молчании, в глубоком покое. Где-то вдали пропел петух.

В стене, разделявшей их спальни, оказалась потайная дверь, заклеенная обоями. Когда двигали комод, дверца соскочила с петель, и между комнатами открылся проход. Это было приятной неожиданностью.

Раздевшись и улегшись в постель, они еще поболтали некоторое время, потом уснули. Бувар спал на спине, с непокрытой головой, с разинутым ртом; Пекюше — на правом боку, прижав колени к животу, нахлобучив теплый колпак; и оба уютно похрапывали, залитые лунным светом, струившимся через окно.

II

Как радостно было их утреннее пробуждение! Бувар закурил трубку, Пекюше втянул понюшку табаку, и оба воскликнули, что никогда в жизни не испытывали такого удовольствия. Потом они подошли к окну полюбоваться пейзажем.

Прямо перед ними расстилались поля, справа виднелись рига и церковная колокольня, слева — ряды тополей.

Две главные аллеи, пересекаясь крест-накрест, разделяли сад на четыре части. Среди грядок с овощами росли кое-где карликовые кипарисы и кусты. С одной стороны стояла на пригорке беседка, увитая виноградом, с другой — стена, подпиравшая шпалерник, а в глубине, в просветах изгороди, открывался широкий вид на поля. По ту сторону стены раскинулся фруктовый сад, дальше шла буковая аллея, роща; за изгородью тянулась тропинка.

Пока они обозревали окрестности, какой-то господин с проседью в черном пальто, прошел по дорожке, колотя палкой по всем жердям изгороди. Старуха служанка сообщила, что это господин Вокорбей, известный в округе врач.

Другими именитыми гражданами были: граф де Фаверж, бывший депутат, владелец образцового скотного двора; Фуро, здешний мэр, который торговал лесом, известкой и всем, чем угодно; нотариус Мареско, аббат Жефруа и г-жа Борден, вдова, жившая на свои доходы. Их служанку звали Жерменой, по имени Жермена, ее покойного мужа. Она работала поденщицей, но охотно пошла бы в услужение к новым господам. Они согласились ее нанять

и отправились осматривать ферму, расположенную всего на расстоянии километра.

Когда они вошли во двор, фермер, дядя Гуи, орал на какого-то мальчишку, а фермерша сидела на табуретке, зажав между колен индюшку и кормила ее мучными клецками. Мужчина был широкоплечий, низколобый, с острым носом и хитрым недоверчивым взглядом. Жена — светлорусая, с веснушками на щеках, простоватого вида — похожа была на крестьянок, изображенных на церковных витражах.

На кухне с потолка свисали связки пеньки. У высокого камина стояли три старых ружья. Середину стены занимал буфет с расписной фаянсовой посудой; сквозь окна бутылочного стекла падал тусклый свет на кухонную утварь из жести и красной меди.

Двое парижан, которые только раз, мельком, видели свое поместье, пожелали подробно все осмотреть. Дядя Гуи с женой пошли их провожать, и начался бесконечный поток жалоб.

Все строения, от сарая до винокурни, нуждаются в починке. Надо бы пристроить еще сыроварню, обновить железные скрепы на воротах, поднять ограду в загоне, вырыть канавы и пересадить множество яблонь во всех трех дворах.

После этого они осмотрели посевы; дядя Гуи не одобрял здешней земли. Она требует много навозу, возить его накладно, повсюду мелкие камешки, луга зарастают сорняком. Такое охаивание земельных угодий отравляло удовольствие, с каким Бувар обходил свои поля.

Обратно они вернулись ложбиной, ведущей в буковую аллею. С этой стороны был виден парадный двор и фасад дома.

Дом был белого цвета с желтыми лепными украшениями. Каретник и кладовая, пекарня и дровяной сарай примыкали к нему с боков в виде двух низеньких крыльев. Кухня выходила в маленькую залу. Дальше шла прихожая, вторая зала побольше и гостиная. Четыре комнаты во втором этаже соединялись коридором, выходившим окнами во двор. Пекюше занял одну из них для своих коллекций; в последней комнате они решили разместить библиотеку; отпирая шкафы, они обнаружили еще какие-то книги, но даже не удосужились прочитать заглавия. Им не терпелось заняться садом.

Проходя по буковой аллее, Бувар вдруг заметил среди ветвей гипсовую женскую статую. Склонив головку набок,

согнув колени, она двумя пальцами придерживала юбку, словно боясь, что ее застигнут врасплох.

— Ах, извините! Пожалуйста, не стесняйтесь!

Эта шутка так их позабавила, что они повторяли ее раз двадцать на дню несколько недель подряд.

Между тем жители Шавиньоля жаждали познакомиться с новыми соседями, даже подглядывали за ними через калитку. Когда они забили калитку досками, это всех возмутило.

Чтобы защититься от солнца, Бувар обматывал голову платком в виде тюрбана. Пекюше надевал картуз; он носил длинный фартук с карманом на животе, засунув туда садовые ножницы, платок и табакерку. Бок о бок, засучив рукава, они без устали копали, пололи, подстригали, понукая друг друга, едва успевая поесть, но кофе всегда пили на пригорке, в увитой виноградом беседке, чтобы любоваться видом.

Если им попадалась улитка, они подбегали и давили ее каблуком, скривив рот, точно щелкая орехи. С заступом они не расставались и с такой силой рассекали им надвое белых червей, что железо уходило в землю на три дюйма.

Чтобы избавиться от гусениц, они яростно колотили палкой по деревьям.

Бувар посадил посредп лужайки пионы, а по степам беседки — помидоры, чтобы они свисали со сводов, как фонарики.

Пекюше велел вырыть возле кухни глубокую яму с тремя отделениями, куда собирался закладывать компост; из отбросов вырастут всевозможные побеги, их перегной даст новые ростки, те опять обратятся в удобрение, и так до бесконечпости; стоя на краю ямы, он мечтал о будущем и уже представлял себе горы фруктов, море цветов, груды овощей. Но ему не хватало лошадиного навоза, столь полезного для парников. Земледельцы не продавали, на постоялых дворах его нельзя было достать. Наконец, после долгих поисков, несмотря на уговоры Бувара, Пекюше махнул рукой на приличия и, потеряв всякий стыд, решил сам собирать навоз на дорогах.

За этим занятием и застала его однажды на большаке г-жа Борден.

После любезных приветствий она спросила, как поживает его друг. Черные блестящие глазки этой дамы, яркий румянец и самоуверенные манеры (у нее даже пробивались усики) напугали Пекюше. Он что-то пробурчал и повернулся к ней спиной. За такую невежливость ему попало от Бувара.

Вскоре наступили ненастные дни, сильные холода, пошел снег. Они укрылись в доме; мастерили трельяжи на кухне, расхаживали по комнатам, болтали у камелька, глядели в окно на дождь.

Со средины поста они с нетерпением ждали весну, каждое утро повторяя «Все проходит!». Но весна запаздывала, и они старались утешиться словами: «Все пройдет!»

Наконец на грядках появился зеленый горошек. Пошла в рост спаржа. Виноградные лозы давали надежду на урожай.

Друзья решили, что раз они так хорошо разбираются в садоводстве, им должно удасться и земледелие; ими овладело стремление заняться обработкой земли на ферме. Руководясь здравым смыслом да немного подучившись, они без сомнения добьются успеха.

Прежде всего следовало посмотреть, как поставлено дело в других хозяйствах, и они отправили письмо г-ну де Фавержу, прося позволения посетить его поместье. Граф тут же послал им приглашение.

Пройдя около часу, они поднялись по склону холма, возвышавшегося над долиной Орна. Река текла глубоко внизу, извиваясь змеей. Глыбы красного песчаника, торчавшие там и сям, и камни покрупнее, образуя вдали как бы скалистую гряду, обрамляли поле зрелых хлебов. На другом холме, напротив, среди разросшейся зеленой листвы прятались дома. Ряды деревьев делили холм на неравные квадраты, вырисовываясь темными линиями средп лугов.

Дальше перед ними вдруг открылся общий вид на поместье. По черепичным кровлям можно было узнать строения фермы. Замок с белым фасадом находился справа, на фоне леса; от него спускалась лужайка к реке, в которой отражались ряды платанов.

Приятели вышли на луг, где сушилась люцерна. Работницы в соломенных шляпах, ситцевых косынках, бумажных повязках ворошили граблями скошенную траву, а на другом конце луга, возле стогов, сено быстро навивали на длинные возы, запряженные тройкой лошадей. Хозяин вышел навстречу гостям в сопровождении управляющего.

Подтянутый, прямой, в канифасовом костюме, с бачками в форме котлет, граф был похож и на судейского чиновника и на светского денди. Лицо его, даже когда он говорил, оставалось совершенно неподвижным.

После обмена любезностями граф ознакомил посетите-

лей со своей системой травосеяния. Ряды скошенного сена надо ворошить, не раскидывая; в копны сгребать сразу, на месте, затем собирать их десятками, стоги складывать в форме конуса. Английские грабли здесь не годятся — местность для них слишком неровная.

Какая-то девчушка в туфлях на босу ногу, в дырявом платье, сквозь которое просвечивало голое тело, упирая кувшин в бедро, поила женщин сидром. Граф спросил, откуда взялся этот ребенок, но никто ничего не знал. Работницы приютили ее на время покоса, и она им прислуживала. Он удалился, пожимая плечами и возмущаясь безнравственностью деревенских жителей.

Бувар отозвался с похвалой о его люцерне. Граф признал, что она хорошо уродилась, хотя повилика принесла ей большой вред (будущие агрономы вытаращили глаза, впервые услыхав о повилике). Чтобы прокормить стада, он особенно заботится о разведении кормовых трав; к тому же это полезно для севооборота, который не всегда удается на лугах с естественной растительностью.

— Это уж не подлежит сомнению.

Бувар и Пекюше дружно подхватили:

— О, разумеется, не подлежит сомнению!

Они подошли к тщательно возделанному полю; лошадь, которую вели под уздцы, тащила широкую тележку на трех колесах. Снизу семь лемехов распахивали тонкие параллельные борозды, куда через трубки, свисавшие до земли, падали семена.

— Здесь я сажаю турнепс,— сказал граф.— Турнепс — основа моей четырехпольной системы.

Он начал объяснять устройство сеялки. Но тут за ним пришел слуга. Его вызывали в замок.

Графа заменил управляющий, тщедушный человечек, угодливый и льстивый.

Он повел «почтенных господ» на другое поле, где четырнадцать работников с обнаженной грудью, широко расставив ноги, косили рожь. Железные косы со свистом срезали колосья, ложившиеся направо. Каждый широким взмахом описывал перед собою полукруг, и все, выстроившись в ряд, шагали вперед в ногу.

Могучие руки косарей восхитили парижан; их обоих охватило чуть ли не религиозное благоговение перед плодородием земли.

Они обошли еще несколько возделанных участков. Надвигались сумерки, на вспаханные поля садились вороны.

Дальше им повстречалось стадо. Овцы разбрелись по

лугу; было слышно, как они щиплют траву. Пастух, сидя на пне, вязал шерстяной чулок, а у его ног лежала собака.

Управляющий помог Бувару и Пекюше перелезть через изгородь, и, пройдя мимо двух лачуг, они очутились во дворе, где коровы жевали жвачку под яблонями.

Все постройки фермы, примыкая друг к другу, окружали двор с трех сторон. Работы производились при помощи водяной турбины, к которой нарочно подвели русло ручья. Кожаные приводные ремни протянулись с одной крыши на другую; посреди навозной кучи работал железный насос.

Управляющий показал им низенькие отверстия в стенах овчарни, а в свинарнике — замысловатые дверцы, запиравшиеся автоматически.

В риге потолок был сводчатым, как в соборе, с кирпичными арками, возведенными на каменных стенах.

Чтобы развлечь господ, птичница бросила курам пригоршню овса. Давильный станок поразил двух друзей своими гигантскими размерами; потом они взобрались на голубятню. Особенно восхитила их молочная ферма. Из кранов, расположенных по углам, стекала вода на каменные плиты пола, и, едва войдя, они ощутили прохладу. На полках рядами стояли темные глиняные кувшины, до краев полные молока, и крынки поменьше со сливками. Круги масла лежали, точно обрубки медной колонны, а в жестяных подойниках, только что поставленных на пол, пенилось парное молоко. Красой и гордостью фермы был воловий хлев. Вмазанные в стену деревянные перекладины делили его по всей длине на два помещения: одно для волов, другое для скотников. Там стояла полутьма, так как отдушины были закрыты. Привязанные на цепях волы жевали, похрустывая, под низким потолком; от их боков валил пар. Вдруг кто-то отворил дверь, и струя воды разлилась по желобу вдоль кормушек. Послышалось мычанье; с треском и стуком сталкиваясь рогами, волы вытянули морды из стойла и начали медленно пить.

В ворота въехали большие телеги, заржали жеребцы. В нижнем этаже зажглись два-три фонаря, потом погасли. По двору прошли работники, стуча по камням деревянными башмаками, зазвонил колокол, сзывая к ужину.

Оба посетителя отправились домой.

Все, что они видели, привело их в восторг, и они утвердились в своем решении. В тот же вечер они разыскали в библиотеке четыре тома *Сельской усадьбы*, выписали курс Гаспарена и подписались на агрономическую газету.

Чтобы удобнее было ездить на ярмарку, они купили одноколку, которой правил Бувар.

В синих блузах, широкополых шляпах, гетрах до колен, с палками, какие носят барышники, они обходили торговцев скотом, расспрашивали крестьян, неизменно присутствовали на всех сельскохозяйственных выставках.

Вскоре они до смерти надоели дяде Гуи своими советами; они особенно возмущались тем, что он оставлял землю под паром.

Но фермер вел хозяйство по старинке. Он попросил господ отсрочить платеж под тем предлогом, что выпал град. Арендной платы он и вовсе не вносил. В ответ на любое замечание, самое справедливое, его жена начинала голосить. В конце концов Бувар объявил, что не желает возобновлять договор.

Тогда дядя Гуи припрятал удобрения, перестал полоть сорняки, растратил все запасы и уехал разъяренный, явно затаив план мести.

Бувар рассчитал, что двадцати тысяч франков, то есть суммы в четыре раза больше арендной платы, вполне хватит на первое время. Его нотариус прислал эти деньги из Парижа.

Их земельные угодья состояли из пятнадцати гектаров лугов и пастбищ, двадцати трех — пахотной земли и пяти гектаров неудобной земли на каменистом холмике, носившем название Бугор.

Они закупили необходимые орудия, четырех лошадей, двенадцать коров, шесть поросят, сто шестьдесят овец, наняли двух работников, двух скотниц, одного пастуха, завели большого пса.

Чтобы добыть денег на расходы, они продали все запасы кормов. С ними расплатились на дому: золотые монеты, отсчитанные на ящике с овсом, показались им особенно блестящими, необыкновенными, высшей пробы.

В ноябре они вздумали заготовить сидр. Бувар погонял лошадь хлыстом, а Пекюше, стоя над чаном, помешивал выжимки лопатой.

Пыхтя от натуги, в тяжелых деревянных башмаках, они зажимали винт, вычерпывали сусло из кадки, следили за втулками, забавляясь от всей души.

Решив, что выгодней всего получить как можно больше зерна, они заняли под пашню чуть ли не половину своих заливных лугов, а так как удобрений им не хватало, они закопали жмыхи, не размельчив их, и хлеб уродился плохо.

На следующий год они густо засеяли поле. Разразилась гроза. Колосья полегли.

Невзирая ни на что, они упрямо сеяли пшеницу и задались целью обработать землю на Бугре. Камни вывозили в плетеной повозке. Круглый год с утра до вечера, в дождь и в непогоду все та же лошадь, погоняемая тем же возчиком, тащила ту же повозку вверх, вниз и снова вверх на маленький холмик. Иногда позади шел сам Бувар, делая остановку на полдороге, чтобы отдышаться и вытереть пот.

Не доверяя никому, они сами лечили скотину, поили ее слабительным, ставили клистиры.

Скоро начались всякие напасти. Птичницу кто-то обрюхатил. Когда они наняли женатых людей, народились дети, понаехали родственники, тетки, дядья, золовки; целая орава жила на их счет, и друзья решили по очереди ночевать на ферме.

Но по вечерам там было тоскливо. Грязная комната вызывала отвращение, да и Жермена, приносившая ужин в такую даль, всякий раз ворчала. Обманывали их напропалую. Молотильщики набивали зерном кувшины и кружки. Поймав одного из них, Пекюше с криком вытолкал его в спину:

— Мерзавец! Ты позоришь деревню, где родился на свет!

Его здесь никто и в грош не ставил. К тому же его мучила совесть при мысли о саде. Он должен посвятить все свое время, чтобы привести сад в порядок. Пускай Бувар занимается фермой. Обсудив этот вопрос, они поделили обязанности.

Прежде всего надо было позаботиться о парниках. Пекюше велел построить парник из кирпича. Он сам выкрасил рамы и, опасаясь солнечных лучей, замазал мелом все стекла.

Подготовляя черенки, он осторожно срезал почку вместе с листьями. Он испробовал разные способы прививки — прививку дудкой, венчиком, щитком, глазком, английским методом. С каким старанием он прилаживал привой к дичку! Как плотно прикручивал мочалой! Как обильно обмазывал садовым варом!

По два раза в день он приносил лейку и размахивал ею над посадками, точно кадилом. Глядя, как растения зеленеют и свежеют под мелкими водяными брызгами, он словно оживал и возрождался вместе с ними. Потом, увлекшись, он срывал сетку с лейки и поливал прямо из горлышка, обильной струей.

В глубине буковой аллеи, возле гипсовой статуи, стояла будка из бревен. Там Пекюше хранил садовые инструменты и проводил блаженные часы, сортируя семена, надписывая этикетки, расставляя в порядке горшочки с отводками. В минуты отдыха он усаживался на ящик у входа и раздумывал, как бы еще украсить сад.

Перед крыльцом дома, внизу, он разбил две клумбы герани, между кипарисами и кустарником посадил подсолнухи. А так как грядки поросли лютиками и аллеи были заново посыпаны чистым песком, то их сад золотился всеми оттенками желтого цвета.

Между тем в парнике развелись личинки и, несмотря на перегной из сухих листьев, под заботливо выкрашенными рамами и замазанными стеклами выросли какие-то жалкие, чахлые стебельки. Черенки на деревьях не привились, обмазка отклеилась, почки засохли, отводки не давали ростков, корни дичков побелели; у сеянцев был самый плачевный вид. Ветер, словно резвясь, опрокидывал подпорки у фасоли. Клубнике повредила излишняя подкормка, томатам — недостаточное пасынкование.

Пекюше загубил спаржевую капусту, брюкву, кресс-салат, которые ему вздумалось выращивать в лохани. После оттепели пропали все артишоки. Единственным утешением была капуста. На один кочан Пекюше возлагал особенно большие надежды. Он разрастался, разбухал, достиг чудовищных размеров, но оказался совершенно несъедобным. Не беда! Пекюше все равно радовался, что вырастил такое диво.

Наконец он попробовал заняться труднейшим, по его мнению, искусством — выращиванием дынь.

Он посадил семена различных сортов в плошки с перегноем и врыл их в землю внутри парника. Потом выстроил другую теплицу и пересадил туда самые сильные ростки, прикрыв их колпаками. Он действовал по всем правилам, как опытный садовод: оставил цветы, дал завязаться плодам, выбрал по одному на каждом стебле, срезав остальные, и когда дыни стали величиной с орех, просунул под кожуру дощечки, чтобы они не сгнили в навозе. Он обогревал их, проветривал, протирал носовым платком запотевшие стекла и, как только погода портилась, бежал за соломенными щитами.

По ночам он не мог заснуть от беспокойства. Случалось, даже вскакивал с постели и, наскоро натянув сапоги на босу ногу, в одной рубашке, дрожа от холода, мчался через весь сад, чтобы накрыть парник своим одеялом.

Канталупы созрели. Попробовав первую, Бувар поморщился. Вторая оказалась не лучше, третья тоже; для каждой из них Пекюше находил оправдание, вплоть до последней, которую он выбросил в окно, заявив, что ровно ничего не понимает.

А дело было в том, что он выращивал рядом разные сорта, и сахарные дыни смешались с обыкновенными, португальские — с монгольскими, соседство помидоров принесло еще больше вреда, и в результате выросли омерзительные ублюдки, похожие по вкусу на тыкву.

Тогда Пекюше занялся разведением цветов. Он выписал через Дюмушеля саженцы и семена, купил перегною и смело взялся за дело.

Но пассифлоры он посадил в тени, анютины глазки — на солнце, гиацинты удобрил навозом, лилии полил после цветения, погубил рододендроны, обкорнав их, подкормил фуксии костяным клеем и засушил гранатовое деревцо, поставив его на кухне, возле плиты.

Опасаясь холодов, он накрыл кусты шиповника картонными колпаками, обмазанными свечным салом, и получилось нечто вроде сахарных голов на ножках.

Георгины держались на несоразмерно высоких подпорках, а между их рядами торчали кривые ветви японской софоры, которая нисколько не менялась — не гибла и не росла.

Между тем в Шавиньоле самые редкие растения должны были привиться, раз они произрастают в парижских садах, и Пекюше достал индийскую лилию, китайскую розу и эвкалипт, входивший тогда в моду. Все эти опыты провалились. Каждая неудача повергала его в недоумение.

Бувару тоже встречались немалые трудности. Друзья советовались, просматривали одну книгу за другой и, сталкиваясь с противоположными мнениями, не знали, на что решиться.

Взять хотя бы мергель. Пювис его рекомендует, а Роре отвергает.

Риефель и Риго не одобряют известь, несмотря на положительный результат, полученный Франклином.

По мнению Бувара, держать землю под паром — средневековый предрассудок. А у Леклерка приводятся случаи, когда это было необходимо. Гаспарен ссылается на некоего лионца, который пятьдесят лет выращивал хлебные злаки на одном и том же поле, что начисто опровергает теорию севооборота. Туль восхваляет вспашку в ущерб удоб-

рению; наконец, майор Битсон отменяет и вспашку и удобрение!

Чтобы научиться предсказывать погоду, друзья стали изучать облака по классификации Льюка Говарда. Они созерцали облака, походившие на конские гривы, на острова или на снеговые горы, и пытались отличить дождевые от перистых, слоистые от кучевых; но формы облаков так быстро менялись, что они не успевали подобрать для них подходящее название.

Барометр их обманул, показания градусника были бесполезны; тогда они прибегли к способу, изобретенному при Людовике XV неким турским священником. Пиявка, помещенная в банку с водой, должна была держаться на поверхности перед дождем, лежать на дне при устойчивой ясной погоде и извиваться в ожидании бури. Но атмосферные явления почти никогда не совпадали с поведением пиявки. Наши исследователи поместили в банку еще три пиявки. Все четыре вели себя по-разному.

После долгих размышлений Бувар признал, что ошибался. Поместье нуждалось в образцово поставленном хозяйстве, в применении интенсивной системы. И он вложил в это дело весь свой наличный капитал — тридцать тысяч франков.

Поддавшись влиянию Пекюше, он помешался на удобрениях. Компостная яма была заполнена ветками, кровью, требухой, перьями, всем, что попадалось под руку. Он применял в качестве удобрения фекальную жидкость, бельгийскую и швейцарскую, щелок, копченую сельдь, водоросли, тряпки; выписал гуано, попытался сам его добывать и дошел до того, что уничтожил отхожее место — моча и та не должна была пропадать даром. Во двор к нему отовсюду несли дохлых животных. Поля были усеяны кусками падали. Среди всего этого смрада Бувар ходил гоголем. Установленный на повозке насос поливал всходы навозною жижей. А тем, кто морщился от отвращения, он говорил:

— Это же золото, чистое золото!

И сожалел, что у него мало навоза. Счастливы обитатели стран, где встречаются пещеры, полные птичьего помета!

Сурепица уродилась плохо, овес вышел посредственный, а пшеницу покупали неохотно из-за неприятного запаха. И странное дело: на Бугре, очищенном, наконец, от камней, урожай был гораздо хуже, чем прежде.

Бувар счел нужным обновить инвентарь. Купил скарификатор Гильома, экстирпатор Валькура, английскую сеял-

ку и огромный плуг Матье де Домбаля, но работнику плуг не понравился.

— Научись сперва пользоваться им!

— Ну что ж, покажите.

Бувар пытался пахать, у него ничего не получалось, и крестьяне насмехались над ним.

Бувар никак не мог приучить подепщиков работать по сигналу, по звону колокола. Беспрестанно бранил их, бегал туда, сюда, заносил выговоры в записную книжку, назначал деловые свидания, забывал о них, и голова у него пухла от широких замыслов. Он собирался разводить мак для получения опиума, а главное, астрагал, который можно продавать под названием «домашнего кофе».

Каждые две недели Бувар пускал кровь быкам, чтобы поскорее их откормить.

Он не заколол ни одной свиньи, закармливал их соленым овсом, и они плодились и множились. В свинарнике стало слишком тесно. Свиньи заполонили двор, ломали заборы, кусали людей.

Летом, в самый зной, двадцать пять овец принялись кружить на месте и вскоре околели.

На той же неделе издохло три быка, ослабевших от кровопусканий Бувара.

Для уничтожения личинок майских жуков он приказал двум работникам тащить за плугом клетку на колесиках, куда посадили несколько кур; все птицы переломали себе лапы.

Он наварил пива из листьев дубровника и напоил им жнецов вместо сидра. Начались желудочные заболевания. Дети плакали, женщины голосили, мужчины ругались. Работники пригрозили Бувару, что возьмут расчет, и он уступил.

Желая, однако, доказать безвредность своего напитка, он в их присутствии выпил сам несколько бутылок, и хотя почувствовал себя плохо, скрыл недомогание под веселой улыбкой. Он велел даже отнести это снадобье к себе домой. Вечером они пили его вместе с Пекюше, и оба расхваливали напиток. Впрочем, не выливать же было добро!

Вскоре у Бувара так разболелся живот, что Жермену послали за доктором.

Доктор — сурового вида господин с большим выпуклым лбом — прежде всего напугал Бувара. По всей вероятности, сказал он, это холерина, вызванная тем самым пивом, о котором говорят в округе. Он пожелал узнать состав питья и раскритиковал его, выражаясь по-научному и пожимая

плечами. Пекюше, давший рецепт снадобья, был посрамлен.

Несмотря на пагубное применение извести, отсутствие вторичной вспашки и несвоевременное выпалывание чертополоха, Бувар получил на следующий год прекрасный урожай пшеницы. Он надумал высушить зерно посредством брожения, по голландской системе Клап-Мейера, а именно — велел скосить всю пшеницу, сложить ее в скирды и разметать их для просушки не раньше, чем начнется выделение газа; распорядившись таким образом, Бувар ушел домой, нисколько не беспокоясь о дальнейшем.

На следующий день, за обедом, друзья услышали грохот барабана, доносившийся из буковой рощи. Жермена вышла узнать, в чем дело, но глашатай был уже далеко. Почти тотчас же тревожно зазвонил церковный колокол.

Бувара и Пекюше охватило беспокойство. Они вскочили из-за стола и отправились в Шавиньоль, не успев надеть шляпы,— им хотелось поскорее узнать, что случилось.

По дороге им повстречалась старуха. Она ничего не знала. Они остановили подростка.

— Кажется, где-то пожар,— сказал он.

Барабан продолжал грохотать, колокол так и заливался. Наконец они дошли до первых деревенских домов. Еще издали лавочник крикнул им:

— У вас горит!

Пекюше заторопился, Бувар побежал рядом с ним.

— Раз, два! Раз, два! — командовал Пекюше по примеру венсенских стрелков и торопил друга.

Дорога шла в гору, возвышенность скрывала от них дали. Они поднялись на гребень, неподалеку от Бугра, и с первого взгляда уяснили себе размеры бедствия.

Все скирды пылали, как вулканы, посреди оголенной равнины, под вечерним небом.

Человек триста собралось возле самого крупного скирда; под руководством мэра Фуро в трехцветной перевязи парни с шестами и крючьями в руках раскидывали верхние снопы, чтобы спасти остальные.

Запыхавшийся Бувар чуть было не сшиб с ног стоявшую тут же г-жу Борден. Заметив одного из работников, он выбранил его за нерадивость. А между тем бедный малый, проявив излишнее усердие, побежал к себе домой, затем в церковь, наконец к Бувару, но разминулся с ним на обратном пути.

Бувар растерялся. Работники окружили его, крича

все разом, а он запрещал раскидывать скирды, молил о помощи, просил принести воды, вызвать пожарных.

— Да откуда у нас пожарные? — спросил мэр.

— Если нет, так по вашей вине! — вскричал Бувар.

Он вспылил, наговорил лишнего; присутствующие поражались терпению г-на Фуро, человека с виду грубого, если судить по его толстым губам и бульдожьей челюсти.

Пожар разгорался; к скирдам уже нельзя было подойти. Солома извивалась, трещала среди ненасытного пламени, зерна пшеницы хлестали по лицу, как дробинки. Затем скирд рушился, превращаясь в огромный костер, откуда веером разлетались искры; огненные языки пробегали по этой раскаленной массе, то красной, как киноварь, то коричневой, как запекшаяся кровь. Настала ночь, подул ветер; клубы дыма окутали толпу. Только искры время от времени прочерчивали черное небо.

Бувар глядел на пожар и тихо плакал. Глаза у него заплыли, все лицо словно опухло от горя. Перебирая бахрому своей зеленой шали, г-жа Борден называла его «мой бедный друг» и пробовала утешать. Слезами горю не поможешь, с неизбежным надо примириться.

Пекюше не плакал. Очень бледный, даже посеревший, с открытым ртом и слипшимися от холодного пота волосами, он стоял в стороне и о чем-то напряженно думал. Неожиданно появился аббат и вкрадчиво зашептал:

— Это большое несчастье. Прискорбно, весьма прискорбно! Поверьте, я глубоко вам сочувствую!..

Из остальных никто не прикидывался огорченным. Люди беседовали, улыбались, грея руки у огня. Какой-то старик поднял тлеющий колос, чтобы раскурить трубку. Дети принялись плясать. А какой-то озорник закричал, что пожар — веселая штука.

— Веселье хоть куда! — отозвался Пекюше, услышавший эти слова.

Огонь стал утихать, обгоревшие скирды съежились, и час спустя на поле остались только черные кучи, покрытые золой. Тогда люди разошлись.

Госпожа Борден и аббат Жефруа проводили до дому Бувара и Пекюше.

По дороге вдова любезно попрекнула соседа за его нелюдимость, а священник выразил крайнее удивление, что до сих пор не имел чести познакомиться с одним из своих наиболее почтенных прихожан.

Оставшись вдвоем, друзья стали искать причину пожара, но вместо того, чтобы объяснить его просто само-

возгоранием сырой соломы, заподозрили злой умысел. Поджигателем был, вероятно, дядюшка Гуи или же кротолов. Полгода назад Бувар отказался от его услуг и даже заявил во всеуслышание, что уничтожение кротов — вредный промысел, и властям следовало бы его запретить. С тех пор кротолов бродил в окрестностях. Он не брил бороды и казался друзьям особенно страшным по вечерам, когда появлялся неподалеку от поместья с длинной жердью, увешанной кротами.

Убыток оказался значительным, и, чтобы установить его размеры, Пекюше целую неделю вникал в дела Бувара, которые показались ему «сущим лабиринтом». Когда он просмотрел ежедневные записи, деловую корреспонденцию и приходо-расходную книгу, покрытую карандашными пометками и ссылками, ему открылась печальная истина: ни товара для продажи, ни векселей, да и в кассе пусто. Дефицит выражался в сумме тридцати трех тысяч франков.

Бувар не поверил другу. Раз двадцать они все пересчитывали заново и приходили к тому же выводу: еще два года такого хозяйствования — и от состояния ничего не останется. Единственный выход: продать поместье.

Следовало все же посоветоваться с нотариусом. Бувару это казалось слишком тягостным. Пекюше взял переговоры на себя.

По мнению нотариуса Мареско, давать объявление о продаже не стоило. Он сам поговорит с солидными покупателями и посмотрит, какую цену они предложат.

— Превосходно,— сказал Бувар,— у нас еще есть время.

Он возьмет фермера, а там будет видно.

— Нам с тобой будет не хуже, чем прежде, только придется экономить.

Бережливость была не по вкусу Пекюше из-за его занятий садоводством, и несколько дней спустя он сказал другу:

— Лучше всего выращивать фрукты, не для удовольствия, конечно, а для заработка. Груши обходятся по три су за кило, а в столице их можно продать по пяти и даже шести франков! Садоводы так наживаются на абрикосах, что под старость получают ренту в двадцать пять тысяч ливров. В Санкт-Петербурге зимой платят по наполеондору за гроздь винограда. Согласись, что это выгодное занятие. А что для него требуется? Труд, навоз и острый садовый нож!

Он так раззадорил Бувара, что друзья тут же принялись рыться в книгах, выискивая сведения о фруктовых деревьях и, выбрав самые увлекательные названия, обратились к владельцу питомника в Фалезе, который не замедлил доставить им триста саженцев, не нашедших покупателя.

Бувар и Пекюше заказали крюки слесарю, проволоку — скобянику, подпоры — плотнику. Они предусмотрели разные формы, которые следовало придать деревьям, вплоть до формы канделябра. С этой целью они набили в стену крюков, на столбы, поставленные в начале и конце каждой грядки, натянули проволоку; обручи, положенные на землю, указывали местонахождение будущих ваз, а конусы из жердей — будущих пирамид; недаром посетителям казалось, что они видят перед собой части неведомой машины или остов фейерверка.

Когда ямы были вырыты, друзья обрезали концы всех корней подряд и погрузили деревца в компост. Полгода спустя саженцы погибли. Последовали новые заказы и новые посадки в более глубоких ямах. К этому времени земля так раскисла от дождей, что саженцы сами ушли в нее, что и спасло их от рук наших садоводов.

С приходом весны Пекюше стал подрезать грушевые деревья. Он не тронул вертикальных веток, пощадил хилые побеги; ему непременно хотелось, чтобы ветви сорта «дюшес» росли под прямым углом к стволу, на одну сторону, и в своем рвении он ломал или вырывал с корнем молодые деревца. Что до персиковых деревьев, Пекюше совсем сбился с толку и не мог различить ветвей побочных нижних, побочных верхних и вторично побочных нижних. Кроме того, ему никак не удавалось расположить деревья правильным прямоугольником, с шестью ветвями справа и шестью слева, не считая двух главных, чтобы их шпалеры напоминали красивую рыбью кость.

Бувар попробовал направлять рост абрикосовых деревьев, но они ему не повиновались. Он пригнул их стволы к земле — ни один не дал новых побегов. Из вишневых деревьев, которые он попытался привить, стал выделяться клей.

Друзья делали то слишком длинные насечки, чем губили глазки у основания ветвей, то слишком короткие, что вызывало рост ненужных веток, и часто становились в тупик, не умея отличить почек от бутонов. Сперва они радовались, что на деревьях будет много цветов, затем,

поняв свою ошибку, оборвали три четверти бутонов, дабы укрепить остальные.

Только и разговору было, что о соках, о камбии, о подвязке и подрезке деревьев, об удалении глазков. Они повесили в столовой список своих питомцев под номерами, и те же номера красовались в саду на маленьких дощечках, установленных под деревьями.

Они вставали на заре и, вооружившись садовыми инструментами, трудились до позднего вечера. Ранней весной, по утрам, Бувар носил под блузой вязаный жилет, Пекюше надевал старый сюртук, и прохожие слышали, как они кашляют в сыром тумане.

Иногда Пекюше вынимал из кармана книгу по садоводству; опершись на лопату, в позе садовника, изображенного на ее обложке, он изучал интересующее его место. Сходство с садовником очень льстило ему. Из-за этого он даже проникся бóльшим уважением к автору книжки.

Бувар вечно торчал на высокой лестнице возле нирамидально остриженных деревьев. Однажды у него закружилась голова, и он еле слез с помощью Пекюше.

Наконец появились груши, созрели сливы. Пришлось охранять их от птиц, применяя все известные средства. Но куски зеркала слепили глаза им самим, трещотка ветряной мельницы будила их по ночам, а воробьи преспокойно садились на пугало. Друзья сделали второе, третье чучело, нарядили их по-разному — никакого результата.

И все же можно было рассчитывать на сносный урожай фруктов. Пекюше только собрался порадовать этим известием Бувара, как загремел гром и полил дождь, крупный, сильный. Порывистый ветер сотрясал шпалерник. Подпорки падали одна за другой, злосчастные грушевые деревца стукались друг о друга.

Непогода застала Пекюше в саду, и он укрылся в сторожевой будке. Бувар сидел на кухне. Перед ним вихрем кружились щепки, сучья, черепицы,— даже у жен моряков, смотревших на бурные волны в десяти милях отсюда, глаза не были печальнее и сердца сжимались не сильнее, чем у Бувара и Пекюше. Вдруг подпорки и перекладины второго шпалерника рухнули вместе с трельяжем на грядки.

Ну и картина представилась друзьям при осмотре сада! Вишни и сливы валялись на траве среди таявших градин. Груши «бергамот» погибли, так же как «ветера-

ны» и «триумф». Из яблок уцелело только несколько «дедушек» и двенадцать «сосков Венеры»; весь урожай персиков лежал в лужах возле вывороченных с корнями кустов самшита.

После обеда, к которому они едва притронулись, Пекюше предложил:

— Не сходить ли нам на ферму? Как бы и там чего-нибудь не случилось!

— Зачем? Чтобы еще больше расстроиться?

— Да, пожалуй, нам в самом деле не везет.

Друзья стали сетовать на провидение и на коварство природы.

Бувар сидел, облокотясь на стол, и тихо посвистывал, а так как одна неприятность обычно вызывает в памяти все остальные, он вспомнил свои прежние сельскохозяйственные планы, в частности крахмальную фабрику и новый сорт сыра.

Пекюше шумно дышал; он запихивал себе в нос понюшки табаку и думал о своей злосчастной доле; будь судьба благосклоннее, он был бы теперь членом какого-нибудь агрономического общества, блистал бы на выставках, его имя встречалось бы в газетах.

Бувар грустно огляделся по сторонам.

— Ей-богу, я не прочь бы отделаться от всего этого и перебраться в другое место.

— Воля твоя,— отозвался Пекюше и, помолчав, добавил: — Специалисты рекомендуют избегать всяких надрезов на стволе. Надрезы мешают движению соков и наносят дереву непоправимый вред. В сущности, фруктовому дереву вообще не следовало бы плодоносить. А между тем непривитые и неунавоженные деревья дают плоды, правда, не такие крупные, как садовые, зато более сочные. Я требую, я добьюсь, чтобы мне все это объяснили! Притом не только каждый сорт, но и каждый экземпляр нуждается в особом уходе, в зависимости от климата, от температуры и множества других причин! Можно ли при таких условиях вывести общее правило, да еще надеяться на успех или доход?

— Почитай Гаспарена и увидишь, что доход не превышает обычно десятой доли капитала,— ответил Бувар.— Значит, выгоднее поместить деньги в банк. Через пятнадцать лет вклад удвоится благодаря накоплению процентов, и притом без всякого труда с твоей стороны.

Пекюше поник головой.

— Выходит, что плодоводство — чепуха!

— Да и агрономия тоже! — отозвался Бувар.

Затем они стали обвинять себя в честолюбии и решили, что отныне будут беречь и труд и деньги. Достаточно лишь время от времени подрезать фруктовые деревья. Шпалеры вовсе не нужны, а погибшие или поваленные бурей деревья заменять не стоит. Правда, тогда появятся безобразные пустоты, если только не выкорчевать все уцелевшие деревья. Как тут быть?

Пекюше достал готовальню и начертил несколько планов. Бувар давал ему советы. Ни к какому решению они так и не пришли. К счастью, друзья обнаружили в своей библиотеке сочинение Буатара под заглавием *Садовая архитектура.*

Автор делит сады на множество типов и видов. Прежде всего тип «мечтательно-романтический»: он требует иммортелей, руин, гробниц и *ex-voto*[1] богоматери на том месте, где пал от руки убийцы какой-нибудь знатный сеньор. Для создания «жестокого» типа прибегают к нависшим скалам, расщепленным деревьям, обгорелым хижинам; «экзотический» тип достигается путем насаждения перуанских смоковниц, «дабы навеять воспоминания на переселенца и путешественника». «Торжественный» тип не обходится, подобно Эрменонвилю, без храма философии. Обелиски и триумфальные арки — непременная принадежность типа «величественного»; мох и гроты — типа «таинственного»; озеро — «мечтательного». Был даже «фантастический» тип, лучшим образцом которого служил некогда вюртембергский парк; вы встречали там в последовательном порядке кабана, отшельника, несколько склепов и, наконец, садились в лодку; она отплывала сама, без посторонней помощи, и доставляла вас в беседку-будуар, где струи воды обдавали всякого, кто опускался на диван.

От таких чудес у Бувара и Пекюше голова пошла кругом. Им показалось, что фантастический тип приличествует только людям знатным. Храм философии — сооружение чересчур громоздкое. Изображение мадонны теряет всякий смысл из-за отсутствия убийц, а перуанские растения, на беду для переселенцев и путешественников, слишком дороги. Зато скалы вполне доступны, равно как и расщепленные деревья, иммортели, мох. И вот, с огромным воодушевлением, при помощи одного-единственного

---

[1] Буквально — по обету *(лат.);* приношения богоматери.

работника и за ничтожную сумму друзья создали в своей резиденции садовую архитектуру, не имевшую себе равной во всем департаменте.

Буковая аллея вела в рощу, прорезанную сетью дорожек, запутанных, как лабиринт. Было задумано соорудить посреди шпалерника небольшую арку, чтобы любоваться открывавшимся с этого места видом. Но так как арке не на чем было держаться, получился широкий проем с живописными руинами.

Друзья пожертвовали грядками спаржи, чтобы воздвигнуть этрусскую гробницу, иными словами, черный гипсовый четырехгранник шести футов высотой, похожий на собачью конуру. Четыре канадских ели стояли, как часовые, по бокам этого монумента, который предполагалось увенчать урною и украсить надгробной надписью.

В другой части сада имелся мост наподобие Риальтского; он соединял края бассейна, пестревшие вмазанными в них раковинами. Вода, правда, уходила в почву — пе беда! Со временем на дне бассейна образуется слой глины, который будет ее удерживать.

С помощью цветных стекол садовая будка была превращена в деревенскую хижину. А на пригорке появилось сооружение из шести обтесанных бревен под жестяной крышей с загнутыми кверху углами, изображавшее китайскую пагоду.

Бувар и Пекюше нашли на берегу Орны гранитные валуны, раздробили их, перенумеровали, сами привезли на тележке домой, нагромоздили друг на друга, скрепили цементом, и вот посреди лужайки вырос утес, похожий на гигантскую картофелину.

И все же для полноты картины чего-то недоставало. Они срубили самую крупную липу (к тому же почти засохшую) и положили ее посреди сада; можно было подумать, что дерево вынес на берег бурный поток или повалила гроза.

Когда работа была закончена, Бувар, стоявший на крыльце, крикнул Пекюше:

— Пойди сюда! Здесь лучше видно!

— ...Видно...— повторил кто-то.

— Иду! — отозвался Пекюше.

— ...Иду!

— Слышишь, эхо!

— ...Эхо!

До сих пор они никакого эха не замечали,— очевидно, мешала липа; теперь же оно появилось благодаря пагоде,

стоявшей против риги, конек которой возвышался над буками.

Забавы ради друзья выкрикивали что-нибудь смешное, а Бувар придумывал игривые и даже непристойные словечки.

Он несколько раз ходил в Фалез, якобы за деньгами, неизменно возвращался с небольшими свертками и запирал их в комод. Однажды утром и Пекюше отправился в Бретвиль, вернулся оттуда очень поздно с корзиной и спрятал ее под кроватью.

Проснувшись на следующее утро, Бувар страшно удивился. Два первых дерева тисовой аллеи, еще накануне шарообразные, походили на павлинов; усиливая сходство, рожок с двумя фарфоровыми пуговицами изображал клюв и глаза. Оказывается, Пекюше встал в этот день на заре и, дрожа от страха, что Бувар его увидит, подстриг оба дерева по рисункам, присланным Дюмушелем.

За последние полгода другие деревья той же аллеи приобрели сходство с пирамидами, кубами, цилиндрами, оленями и креслами, но ничто не могло сравниться с павлинами. Бувар признал это и расхвалил друга.

Сославшись на то, что он забыл лопату, Бувар увлек Пекюше в лабиринт; на самом деле он воспользовался отсутствием приятеля, чтобы соорудить нечто невиданное.

Калитка, выходившая в поле, была покрыта слоем гипса, а в него вмазаны в строгом порядке пятьсот трубок, изображавших абд-эль-кадеров, негров, обнаженных женщин, лошадиные копыта и черепа.

— Понимаешь мое нетерпение?

— Еще бы!

От избытка чувств они обнялись.

Как всем художникам, им недоставало восторгов публики, и Бувар задумал дать званый обед.

— Берегись! — сказал Пекюше.— Не то пристрастишься принимать гостей, а это бездонная бочка!

Все же было решено устроить обед.

С тех пор, как Бувар и Пекюше поселились в этих краях, они жили очень уединенно. Желая с ними познакомиться, все соседи приняли приглашение, за исключением графа де Фавержа, вызванного по делам в Париж. Вместо него явился управляющий г-н Гюрель.

Трактирщику Бельжамбу, бывшему когда-то шеф-поваром в Лизье, было поручено приготовить различные

блюда. Он же рекомендовал друзьям официанта. Жермена взяла себе в помощницы птичницу. Обещала также прийти Марианна, служанка г-жи Борден. С четырех часов пополудни ворота поместья были растворены настежь, и оба хозяина с нетерпением ожидали гостей.

Первым пришел Гюрель, но он замешкался под сенью буков, чтобы надеть сюртук. Затем появился кюре в новой сутане, а минуту спустя г-н Фуро в бархатном жилете. Доктор вел под руку жену, которая ступала с трудом, прячась от солнца под зонтиком. За супругами колыхалась волна розовых лент — это был чепчик г-жи Борден, одетой в пышное шелковое платье с отливом. Золотая цепочка от часов красовалась у нее на груди; на руках в черных митенках сверкали кольца. Наконец пожаловал нотариус Мареско в панаме и с моноклем в глазу,— официальная должность не мешала ему быть светским человеком.

Пол в гостиной был так хорошо натерт, что стал скользким, как каток. Восемь утрехтских кресел стояли вдоль стены; на круглом столе посреди комнаты возвышался погребец с ликерами, а над камином висел портрет Бувара-отца. Из-за неудачного освещения рот у него казался кривым, глаза косили, плесень, появившаяся на скулах, походила на бакенбарды. Гости нашли, что сын похож на отца, а г-жа Борден добавила, поглядывая на Бувара, что его отец был, как видно, красавец мужчина.

Ждали целый час; потом Пекюше объявил, что можно перейти в столовую.

Белые коленкоровые занавески с красной каймой были задернуты, как и в гостиной; золотистые лучи солнца падали на деревянную обшивку стен, единственным украшением которых служил барометр.

Бувар посадил обеих дам рядом с собой; Пекюше сел между мэром и кюре; обед начался с устриц; увы, они пахли тиной! Огорченный Бувар рассыпался в извинениях; Пекюше выбежал на кухню, чтобы отругать Бельжамба.

За первой переменой блюд, состоявшей из камбалы, слоеного мясного пирога и голубей с грибами, гости обсуждали способы приготовления сидра.

Затем разговор зашел о кушаниях удобоваримых и неудобоваримых. Разумеется, попросили высказаться доктора. Он судил обо всем весьма скептически, как человек, познавший глубины науки, но совершенно не терпел возражений.

К мясному филе было подано бургундское. Вино оказалось мутным. Бувар сослался на неудачно выбранную бутылку, велел откупорить три других, столь же мутных, затем налил гостям Сен-Жюльена, явно не перебродившего. Гости приумолкли. Улыбка не сходила с лица Гюреля. Официант громко топал по плиточному полу.

Госпожа Вокорбей, угрюмая на вид толстушка (к тому же на последнем месяце беременности), за весь вечер не раскрыла рта. Не зная, как занять соседку, Бувар заговорил о театре.

— Жена никогда не бывает в театре,— заметил доктор.

В бытность свою в Париже г-н Мареско ходил только к итальянцам.

— Ну, а я,— проговорил Бувар,— я частенько ходил в партер Водевиля смотреть фарсы.

Фуро спросил у г-жи Борден, любит ли она шутки.

— Смотря по тому, какие,— ответила она.

Мэр явно заигрывал с вдовой. Она шутливо его поддразнивала. Затем сообщила гостям рецепт приготовления корнишонов. Впрочем, хозяйственные способности г-жи Борден были общеизвестны, да и ферма ее славилась образцовым порядком.

— Не хотите ли продать свою ферму? — спросил Фуро у Бувара.

— Ей-богу, сам еще не знаю...

— Как, даже акайского участка не продадите? — подхватил нотариус.— Этот участок вам подошел бы как нельзя лучше, госпожа Борден.

— Да, но господин Бувар слишком дорого запросит,— жеманно ответила вдова.

— Быть может, его удалось бы уговорить?

— Я и пытаться не буду!

— Полно, а что, если вы его поцелуете?

— Давайте все же попробуем,— предложил Бувар и облобызал ее в обе щеки под аплодисменты собравшихся.

Почти тотчас же было откупорено шампанское; хлопанье пробок удвоило веселье. Тут Пекюше сделал знак слуге, занавески раздвинулись, и гости увидели сад.

Это было нечто ужасающее, особенно на закате солнца. Утес торчал наподобие бугра, загромождая лужайку, этрусская гробница придавила грядки шпината, венецианский мост радугой взлетал над фасолью, а хижина казалась издали черным пятном, ибо друзья для вящей поэтичности спалили ее соломенную крышу. Тисовые де-

ревья в форме оленей и кресел тянулись вплоть до сраженной молнией липы, занимавшей пространство от аллеи до увитой зеленью беседки, где, точно фонарики, висели помидоры. Кое-где мелькали желтые круги подсолнухов. Красная китайская пагода казалась маяком, возвышавшимся на пригорке. Озаренные солнцем клювы павлинов ярко вспыхивали, а за калиткой, с которой сбили, наконец, закрывавшие ее доски, расстилалась голая равнина.

Изумление гостей доставило истинное наслаждение Бувару и Пекюше.

Госпожа Борден пришла в восторг от павлинов, но гробница вызвала недоумение посетителей, так же как обгоревшая хижина и развалины стены. Затем все гости прошли один за другим по мостику. Чтобы наполнить бассейн, Бувар и Пекюше целое утро лили в него воду, но она просочилась между плохо пригнанными камнями, и дно было покрыто илом.

Гуляя по саду, гости позволяли себе критические замечания: «На вашем месте я сделал бы иначе».— «Зеленый горошек запоздал».— «По правде сказать, здесь у вас похоже на свалку».— «Если будете так подрезать деревья, то никогда не получите плодов».

Бувар объявил, что ему наплевать на плоды.

В буковой аллее он проговорил многозначительно:

— Мы побеспокоили одну особу. Надо попросить у нее извинения!

Шутка успеха не имела. Все знали гипсовую даму давным-давно.

Покружив по лабиринту, компания вышла к калитке с трубками. Гости изумленно переглянулись. Бувар наблюдал за выражением лиц и, горя нетерпением узнать мнение соседей, спросил:

— Как вам это нравится?

Госпожа Борден расхохоталась. Остальные последовали ее примеру. Кюре кудахтал, Гюрель кашлял, доктор вытирал слезы, у его жены сделались нервные спазмы, а Фуро — человек донельзя беззастенчивый — выломал одного Абд-эль-Кадера и положил себе в карман «на память».

При выходе из аллеи Бувар решил удивить посетителей и крикнул во все горло:

— Сударыня! К вашим услугам!

Тишина! Эхо молчало — должно быть, потому, что при перестройке риги с нее сняли высокую крышу с коньком.

Кофе был подан на пригорке: мужчины собрались было сыграть в шары, но тут все заметили, что из калитки на них глазеет какой-то человек.

Прохожий был худ, черен от загара, с темной щетинистой бородой; на нем были красные рваные штаны и синяя блуза.

— Налейте мне стакан вина,— проговорил он хрипло.

Мэр и аббат Жефруа сразу его узнали. Он работал прежде столяром в Шавиньоле.

— Ступайте с богом, Горжю,— сказал г-н Фуро.— Просить милостыню воспрещается.

— Милостыню?! — вскричал человек вне себя.— Я семь лет воевал в Африке. Только что вышел из госпиталя. А работы нет. Что ж мне, грабить, что ли? Пропадите вы все пропадом!

Гнев мужчины сразу улегся, и, подбоченясь, он смотрел на сытых буржуа, горько усмехаясь. Тяготы войны, абсент, лихорадка, нищенское, жалкое существование — все это читалось в его мутном взоре. Бледные губы дрожали, обнажая десны. С высокого багряного неба на него лился кровавый свет, и от того, что он упрямо стоял на месте, всем стало не по себе.

Чтобы положить этому конец, Бувар протянул ему недопитую бутылку. Бродяга жадно выпил вино и пошел прочь по овсяному полю, размахивая руками.

Поступок Бувара вызвал всеобщее осуждение. Такие поблажки только поощряют простонародье к беспорядкам. Но Бувар, раздраженный тем, что гости не оценили его сада, принял сторону народа, и все заговорили разом.

Фуро восхвалял правительство, Гюрель признавал на свете только одно — земельную собственность. Аббат Жефруа сетовал на равнодушие к религии. Пекюше обрушился на налоги. Г-жа Борден восклицала время от времени: «Ненавижу Республику».

Доктор превозносил прогресс:

— Поверьте, сударь, нам необходимы реформы.

— Вполне возможно,— ответил Фуро,— но все эти идеи вредят делам.

— Плевать мне на дела! — воскликнул Пекюше.

— По крайней мере, дайте дорогу способным людям,— заметил Вокорбей.

Бувару это требование показалось чрезмерным.

— Вы так считаете? — переспросил доктор.— В таком случае грош вам цена. До свиданья! Желаю, чтобы настал

потоп, а не то вам никогда не удастся поплавать на лодке в вашем бассейне.

— Разрешите и мне откланяться,— сказал г-н Фуро и, указав на свой карман, где лежала трубка с Абд-эль-Кадером, добавил: — Если мне понадобится еще одна, я к вам наведаюсь.

Перед уходом кюре робко заметил Пекюше, что находит непристойным это подобие гробницы посреди огорода. Гюрель, прощаясь, отвесил низкий поклон всем присутствующим. Г-н Мареско исчез тотчас же после десерта.

Госпожа Борден снова вдалась в подробности заготовки корнишонов, пообещала рецепт для приготовления пьяных слив и три раза прогулялась по большой аллее, но, проходя мимо поваленной липы, зацепилась за ствол подолом, и друзья услышали, как она прошептала:

— Боже мой, что за дурацкое дерево!

До полуночи оба амфитриона изливали свое негодование под сенью беседки.

Правда, обед не особенно удался, но гости набросились на угощение с такой жадностью, словно три дня ничего не ели,— значит, не так уж оно было плохо. А злосчастная критика сада была вызвана не чем иным, как черной завистью. Все более горячась, друзья восклицали:

— Вот как! В бассейне мало воды! Погодите, будут там и рыбы и даже лебеди.

— Они едва удостоили взглядом пагоду!

— Только тупицы могут утверждать, будто руины — это свалка!

— Подумаешь, гробница непристойна! Почему непристойна? Разве люди не имеют права строить все, что угодно, на своей земле? Я даже завещаю, чтобы меня здесь похоронили.

— Не смей так говорить! — взмолился Пекюше.

Затем друзья стали перемывать косточки гостям.

— По-моему, врач любит пускать пыль в глаза!

— А ты заметил усмешку г-на Мареско перед портретом?

— Какой невежа этот мэр! Если ты обедаешь в чужом доме, черт возьми, надо с уважением относиться к его достопримечательностям.

— А что ты скажешь о госпоже Борден? — спросил Бувар.

— Типичная интриганка! Не стоит и говорить о ней.

Друзьям опротивело общество, и они решили ни с кем

не встречаться, жить еще более уединенно и только для себя.

Они проводили целые дни в погребе, счищая винный камень с бутылок, наново покрыли лаком мебель, натерли пол в доме; по вечерам, глядя на горящие в камине дрова, они рассуждали о наилучшей системе отопления.

Бувар и Пекюше попытались ради экономии сами коптить окорока и кипятить белье. Жермена, которой они только мешали, пожимала плечами. Когда настала пора для варки варенья, служанка раскричалась, прогнала их, и они обосновались в пекарне.

Это помещение служило раньше прачечной; под ворохом хвороста там стоял большой чан, выложенный кирпичом, который вполне подошел для их честолюбивых замыслов самим заготовлять консервы.

Они наполнили четырнадцать банок помидорами и зеленым горошком; крышки замазали негашеной известью с примесью сыра, обвязали полосками холста и погрузили банки в кипяток. Но вода испарялась, пришлось подливать в нее холодной; от разницы температур банки лопнули. Уцелели только три.

Тогда они раздобыли старые коробки из-под сардин, напихали туда телятины, опустили коробки в кастрюлю с водой и поставили на огонь. От этой процедуры коробки раздулись, как шары. Неважно! При охлаждении они сплющатся. Продолжая свои опыты, Бувар и Пекюше заложили в другие коробки яйца, цикорий, куски омара, рыбу по-матросски, порцию супа и были горды тем, что, по примеру Аппера, «остановили круговорот времен года»; такие открытия, по словам Пекюше, важнее подвигов завоевателей.

Они усовершенствовали маринады г-жи Борден, прибавив в них перца, а пьяные сливы получились у них гораздо вкуснее, чем у нее. Настаивая малину и полынь, они приготовили превосходные наливки. Из меда и дягиля попытались делать малагу и даже задумали производство шампанского. Бутылки шабли, разбавленного суслом, вскоре взорвались. Тогда Бувар и Пекюше перестали сомневаться в успехе.

Изыскания продолжались: друзья дошли до того, что стали подозревать вредные примеси во всех покупаемых продуктах.

Они придирались к булочнику из-за цвета хлеба. Восстановили против себя бакалейщика, обвинив его в фальсификации шоколада. Съездили в Фалез за пастой из

грудной ягоды и па глазах у аптекаря разбавили ее водой. Паста приобрела вид свиной кожи, что указывало на присутствие желатина.

После этого успеха Бувар и Пекюше возгордились. Купили оборудование у обанкротившегося винокура, и вскоре у них появились сита, бочки, воронки, шумовки, весы, не считая кадки и перегонного куба, для которого понадобилась особая печка.

Разузнав, как очищают сахар, они изучили различные способы его варки. Им не терпелось увидеть в действии перегонный куб, и они занялись приготовлением ликеров высшего сорта, начав с анисовки. Но в жидкости почти всегда плавали какие-то комочки и что-то прилипало ко дну; иной раз случались ошибки в дозировке. Повсюду блестели медные лохани, колбы вытягивали свои длинные носы, котелки висели на стенах. Иногда один из друзей сортировал на столе травы, а другой колдовал над кадкой; они что-то размешивали и тут же пробовали полученный состав.

Бувар, мокрый от пота, работал в одной рубашке и штанах с короткими подтяжками; но по своей беспечности он либо забывал вставить решетку в перегонный куб, либо разводил слишком сильный огонь.

Пекюше производил шепотом какие-то расчеты, неподвижно сидя в своей длинной блузе, похожей на детский передник с рукавами; оба друга почитали себя серьезными учеными, занятыми полезным делом.

Под конец они изобрели ликер, которому, по их мнению, было суждено затмить все остальные. Они положат в него кориандр, как в кюммель, вишневую водку, как в мараскин, иссоп, как в шартрез, прибавят мускуса, как в веспетро, и *calamus aromaticus,* как в крамбамбуль, красный же цвет придадут ему санталом. Но под каким названием пустить в продажу новый ликер? Требовалось название легко запоминающееся и вместе с тем оригинальное. После долгих размышлений они решили окрестить его «буварином».

Поздней осенью на трех консервных банках появились пятна. Помидоры и зеленый горошек испортились. Вероятно, это зависело от укупорки. Вопрос укупорки не давал им покоя. Но для того, чтобы испробовать новые способы, не хватало денег. Ферма их разоряла.

К ним не раз являлись арендаторы, но Бувар и слышать не хотел о сдаче земли в аренду. По его указанию, старший работник вел хозяйство с такой нелепой береж-

ливостью, что урожайность падала и дела шли из рук вон плохо. Однажды, когда друзья беседовали о своем затруднительном положении, в лабораторию вошел дядюшка Гуи в сопровождении супруги, которая робко пряталась за его спиной.

Благодаря обильным удобрениям земля Бувара стала плодороднее — вот почему дядя Гуи пожелал снова заарендовать ферму. И тут же принялся хулить ее. Несмотря на все старания, говорил он, ферма вряд ли принесет доход; словом, если он и хочет взять ее, то лишь из привязанности к месту, из уважения к таким хорошим господам. Бувар и Пекюше холодно выпроводили его. Он вернулся в тот же вечер.

Тем временем Пекюше урезонил Бувара, и тот уже готов был сдаться. Гуи попросил снизить арендную плату и, призывая бога в свидетели, стал вопить о своих трудах и мучениях и превозносить свои заслуги. Когда же ему предложили назвать цену, он замолчал, насупившись, а его жена, сидевшая у двери с большой корзиной на коленях, опять начала жаловаться, кудахтая, как недорезанная курица.

Наконец арендная плата была установлена в сумме трех тысяч франков в год, на треть ниже, чем раньше.

Не сходя с места, дядюшка Гуи предложил купить весь инвентарь, и торг возобновился.

Оценка инвентаря продолжалась две недели. Под конец Бувар до смерти устал. Он уступил все за такую смехотворную цену, что Гуи вытаращил глаза, но тут же крикнул «согласен», и они ударили по рукам.

После этого хозяева пригласили арендатора закусить чем бог послал; Пекюше расщедрился и откупорил бутылку своей малаги в надежде услышать похвалы.

Однако земледелец поморщился.

— Смахивает на лакричный сироп,— заявил он.

А его жена попросила рюмку водки, «чтобы запить эту кислятину».

Но у Бувара и Пекюше были более серьезные заботы! Все составные элементы «буварина» были, наконец, собраны.

Они заложили их в перегонный куб, добавили спирту, зажгли огонь и стали ждать. Тем временем Пекюше, удрученный неудачей с малагой, вынул из шкафа жестяные коробки, вскрыл первую, затем вторую, третью. Он с яростью отшвырнул их и позвал Бувара.

Бувар закрыл кран змеевика и наклонился над кон-

сервами. Разочарование было полным. Куски телятины напоминали вареные подметки. Омар превратился в вязкую жижу. Рыбу по-матросски нельзя было узнать. Суп покрылся плесенью. Невыносимая вонь распространилась по лаборатории.

Тут раздался грохот, подобный взрыву бомбы; перегонный куб разлетелся на множество кусков, которые отскочили до самого потолка, ломая котелки, сплющивая шумовки, разбивая стаканы; уголь расшвыряло, печь обвалилась, и на следующий день Жермена нашла один шпатель во дворе.

Прибор взорвался от давления пара, а главное, потому, что перегонный куб был скреплен со шлемом болтами.

Пекюше тут же присел на корточки перед чаном. Бувар рухнул на табурет. Минут десять они не шевелились и, бледные от ужаса, глядели на осколки. Когда к ним вернулся дар речи, они стали спрашивать друг друга, в чем же причина стольких неудач, особенно последней. Они ничего не понимали, кроме того, что чуть было не погибли.

— Наверное, все дело в том, что мы не знаем химии,— сказал в заключение Пекюше.

III

Для изучения химии они раздобыли учебник Реньо и узнали прежде всего, что «простые вещества могут оказаться сложными».

Вещества делятся на металлоиды и металлы, но эта классификация «не является чем-то абсолютным». То же можно сказать о кислотах и об их основаниях, ибо «одно и то же вещество бывает при одних условиях кислотой, а при других — основанием».

Это замечание показалось им нелепым. Кратные отношения смутили Пекюше.

— Допустим, что молекула вещества А соединяется с несколькими частицами вещества В; значит, эта молекула должна разделиться на такое же количество частиц; но тогда она перестанет быть чем-то цельным, иначе говоря, первоначальной молекулой. Словом, я совсем запутался.

— Я тоже,— признался Бувар.

Они обратились к более легкому автору, а именно — к Жирардену и почерпнули из его труда множество све-

дений. Оказывается, десять литров воздуха весят сто граммов, свинец не входит в состав карандашей, алмаз есть не что иное, как углерод.

Больше всего их поразило открытие, что земля не элемент.

Они узнали кое-что о паяльной трубке, о золоте, серебре, о кипячении белья и лужении кастрюль; после этого Бувар и Пекюше храбро углубились в органическую химию.

Какое чудо, что и живые существа и минералы состоят из одних и тех же веществ! Однако им почему-то показалось унизительным, что в их теле содержится фосфор, как в спичках, альбумин, как в яичных белках, а водород, как в отражательных фонарях.

После красок и жиров Бувар и Пекюше перешли к брожению.

Брожение привело их к кислотам, и они стали в тупик перед законом валентности, попытались разобраться в нем при помощи атомной теории и окончательно запутались.

По мнению Бувара, без опытов и приборов вообще трудно что-либо усвоить.

Но приборы стоили дорого, а они и без того истратили много денег.

По всей вероятности, просветить их мог доктор Вокорбей.

Друзья явились к нему на прием.

— Слушаю вас, господа. На что жалуетесь?

Пекюше ответил, что они совершенно здоровы, и изложил цель своего визита:

— Нам хотелось бы понять прежде всего атомную теорию.

Врач сильно покраснел и осудил их намерение изучать химию.

— Я не отрицаю значения этой науки, поверьте! Но в наше время ее суют куда надо и куда не надо! Химия оказывает пагубное влияние на медицину.

Вид окружающих предметов подтверждал слова доктора.

На камине валялись пластыри и бинты. Ящик с хирургическими инструментами занимал середину письменного стола, в углу стоял таз с зондами, а у стены находилась модель человека с обнаженными мускулами.

Пекюше расхвалил модель.

— Правда, что анатомия — увлекательное занятие?

Господин Вокорбей рассказал, какое удовольствие он испытывал в студенческие годы при вскрытии трупов; Бувар спросил его, какая разница между внутренним строением мужчины и женщины.

Желая удовлетворить любопытство гостей, врач вынул из библиотеки анатомический атлас.

— Возьмите атлас с собой! Дома вы рассмотрите его на досуге!

Скелет поразил Бувара и Пекюше. Они никак не ожидали, что у человека так сильно выступает челюсть, такие глубокие глазницы и длинные руки. Пояснительного текста не было, и они опять отправились к г-ну Вокорбею; из руководства Александра Лота они узнали, на какие части делится скелет, и поразились тому факту, что, состоя из позвонков, спинной хребет в шестнадцать раз крепче, чем если бы, по воле творца, он был сплошным. Почему именно в шестнадцать?

Запястные мускулы вывели из терпения Бувара, а Пекюше, упорно изучавший строение черепа, пал духом перед клинообразной костью, хотя она и похожа на «турецкое седло».

Суставы были скрыты под столькими связками, что друзья сразу же принялись за мускулы.

Но найти, где они прикрепляются, было нелегко, и, дойдя до позвоночных отростков, Бувар и Пекюше окончательно разуверились в анатомии.

— Не взяться ли нам снова за химию? Ведь недаром же мы устроили лабораторию! — предложил Пекюше.

Бувар отказался; он припомнил, что в качестве учебных пособий для жарких стран применяются искусственные трупы.

Барберу ответил на его запрос, что за десять франков в месяц можно выписать одну из моделей г-на Озу; неделю спустя посыльный из Фалеза поставил продолговатый ящик у их калитки.

Сильно волнуясь, друзья принесли ящик в пекарню. И когда были отбиты доски, снята солома и развернута папиросная бумага, их глазам предстал манекен человека.

Он был кирпичного цвета, без волос, без кожи и испещрен множеством синих, красных и белых прожилок; манекен нисколько не походил на труп, скорее — на игрушку, довольно безобразную, чистенькую, пахнувшую лаком.

Они сняли грудную клетку и увидели легкие, напо-

минавшие две губки, сердце вроде большого яйца, диафрагму, почки и целую связку кишок.

— За работу! — воскликнул Пекюше.

Друзья провели в трудах целый день до позднего вечера.

Они облеклись в халаты, как студенты в анатомическом театре, и при свете трех свечей разнимали и складывали картонные части, как вдруг кто-то забарабанил кулаком в дверь:

— Отворите!

Это был г-н Фуро в сопровождении сельского стражника.

Шутки ради хозяева Жермены показали ей «покойничка». Она тут же побежала с этой новостью к бакалейщику, и в поселке разнесся слух, что Бувар и Пекюше прячут у себя в доме настоящего мертвеца. Молва дошла до Фуро, и он пришел, чтобы лично удостовериться, соответствует ли она истине; зеваки столпились во дворе.

Когда явился Фуро, манекен лежал на боку, мускулы на его лице были сняты, отчего глаз непомерно выпятился и производил жуткое впечатление.

— Что вам угодно? — спросил Пекюше.

— Ничего, ровным счетом ничего,— пробормотал мэр и, взяв со стола одну из картонных частей, спросил: — Что это?

— Ланитная мышца,— ответил Бувар.

Фуро молчал, криво усмехаясь; втайне он завидовал друзьям, занятия которых были выше его понимания.

Оба анатома притворились, будто продолжают свои исследования. Люди, соскучившись во дворе, вошли, толкаясь, в пекарню, и стол задрожал.

— Ну это уже чересчур! — воскликнул Пекюше.— Избавьте нас от зрителей!

Стражник выпроводил любопытных.

— Превосходно,— заметил Бувар,— нам не нужны посторонние.

Фуро понял намек и спросил, имеют ли они право, не будучи врачами, держать у себя модель трупа. Впрочем, он обо всем напишет префекту.

— Что за край! Глухая провинция! Можно ли быть такими неучами, болванами, ре роградами?

Сравнив себя с другими, друзья возгордились; они лелеяли честолюбивую мечту пострадать ради науки.

Доктор тоже зашел к ним. Он раскритиковал манекен,

сказав, что он далек от природы, но воспользовался случаем и прочел им целую лекцию.

Бувар и Пекюше слушали его как зачарованные; по их просьбе г-н Вокорбей дал им несколько книг из своей библиотеки, предупредив, однако, что ни одной книги они не дочитают до конца.

В словаре медицинских наук их поразили необычайные случаи родов, долголетия, тучности, запоров. Как жаль, что им не пришлось видеть знаменитого канадца Бомона, обжор Тарара и Бижу, женщину, больную водянкой, из Эрского департамента, пьемонтца, у которого кишечник действовал раз в двадцать дней, Симона де Мирпуа, умершего от окостенения, и ангулемского мэра, нос которого весил три фунта!

Изображение мозга вдохновило их на философские размышления. Они прекрасно различили внутри его полушарий septum lucidum — прозрачную перегородку и шишкообразную железу, похожую на бурую горошину; но там были, кроме того, ножки, желудочки, дуги, капатики, бугры, узлы, какие-то волокна, Паккионовы гранулящии, тельца Пачини, словом, такая путаница, разобраться в которой не хватило бы целой жизни.

Иной раз в пылу увлечения они полностью разнимали модель, а потом не знали, как собрать ее разрозненные части.

Работа была пелегкая, особенно после обеда, и друзья тут же засыпали, Бувар — опустив голову и выпятив живот, Пекюше — облокотясь на стол и положив голову на руки.

Нередко, именно в эту минуту, дверь в пекарню приотворялась, и на пороге появлялся г-н Вокорбей, окончивший свой утренний обход.

— Ну, как подвигаются дела с анатомией, дорогие собратья?

— Превосходно,— отвечали они.

Тогда врач задавал друзьям вопросы просто так, ради удовольствия смутить их.

Когда Бувару и Пекюше надоедал какой-нибудь орган, они переходили к другому; так они рассмотрели и отбросили сердце, желудок, ухо, кишечник, ибо картонный человек им опротивел, несмотря на все старания им заинтересоваться. Наконец доктор застал друзей, когда они заколачивали ящик с манекеном.

— Браво, я давно этого ожидал!

Ей-богу, в их возрасте поздно браться за ученье!

Усмешка, сопровождавшая эти слова, глубоко оскорбила Бувара и Пекюше.

По какому праву этот господин считает их неспособными к наукам? Разве анатомия — его личное достояние, разве он какое-то особое существо, на голову выше остальных?

Итак, они приняли вызов и даже не поленились съездить за книгами в Байе.

Для пополнения знаний друзьям недоставало физиологии, и букинист достал им трактаты Ришерана и Аделона, широко известные в ту пору.

Все сведения о возрасте, поле, темпераменте показались им глубоко поучительными; они очень обрадовались, узнав, что в зубном камне живут три вида микробов, что вкус зависит от языка, а чувство голода — от желудка.

В своем стремлении усвоить пищеварительный процесс они сокрушались, что не умеют жевать жвачку — оказывается, этим свойством обладали Монтегр, г-н Госс и брат Берара; они стали жевать медленно, размельчая и увлажняя пищу слюною, мысленно сопровождали ее на всем протяжении пути вплоть до конечного результата, и все это с редкой добросовестностью и чуть ли не с благоговением.

Им захотелось, кроме того, вызвать искусственное пищеварение; они положили кусочки мяса в склянку с желудочным соком утки, две недели таскали эту склянку под мышкой и достигли только того, что насквозь провоняли тухлым мясом.

Соседи не могли понять, зачем они бегают по дороге в мокрой одежде под палящими лучами солнца. Таким способом они хотели проверить, уменьшается ли жажда при увлажнении кожи. Друзья возвращались домой, тяжело дыша, и оба — с отчаянным насморком.

Они быстро покончили со слухом, голосом, зрением, но на детородных органах Бувар задержался.

Сдержанность Пекюше в этом вопросе всегда его удивляла. Невежество друга оказалось столь поразительным, что Бувар забросал его вопросами, и Пекюше, краснея, признался ему во всем.

Шутки ради приятели затащили его некогда в публичный дом, но он сбежал оттуда, так как хотел сохранить себя для женщины, которую полюбит впоследствии. Счастье так и не улыбнулось ему, и, несмотря на жизнь в столице, он в пятьдесят два года оставался девственни-

ком то ли из ложного стыда и недостатка в деньгах, то ли из боязни заразиться, из упрямства или по привычке.

Бувар никак не мог этому поверить, затем громко расхохотался, но тут же пересилил себя, заметив слезы на глазах Пекюше; в самом деле, любовь не миновала старого холостяка, и он не раз увлекался то канатной плясуньей, то свояченицей знакомого архитектора, то конторщицей и, наконец, молоденькой прачкой и уже собирался на ней жениться, когда узнал, что она ждет ребенка от другого.

— Никогда не поздно наверстать упущенное. Полно, не горюй! Я все беру на себя... если хочешь,— сказал ему Бувар.

Пекюше возразил со вздохом, что теперь об этом нечего и думать, и они снова занялись физиологией.

Правда ли, что с нашего кожного покрова непрестанно испаряется влага? Доказательством служит тот факт, что с каждой минутой вес человека уменьшается. Если сумма ежедневных выделений организма равняется по весу тому, что он поглощает, здоровье будет находиться в состоянии полного равновесия. Санкториус, открывший этот закон, посвятил пятьдесят лет жизни тому, что каждый день взвешивал принимаемую им пищу, все свои выделения и себя самого и отдыхал лишь тогда, когда записывал полученные цифры.

Друзья попробовали подражать Санкториусу. Но так как весы не могли выдержать сразу двоих, к опыту приступил Пекюше.

Он разделся, дабы одежда не препятствовала процессу испарения, и встал на весы, обнажив, несмотря на свою стыдливость, длинное смуглое туловище, похожее на цилиндр, короткие ноги и плоские ступни. Сидя на стуле рядом с ним, Бувар читал вслух.

Ученые утверждают, что животная теплота увеличивается в результате сокращения мускулов и что можно повысить температуру воды в ванне, если двигать грудной клеткой и тазом.

Бувар притащил оцинкованную ванну и, когда все было готово, погрузился в нее, вооружившись градусником.

Обломки перегонного куба, сложенные в углу, неясно вырисовывались в полумраке. Скреблись мыши; чувствовался застоявшийся запах ароматических трав; друзьям было хорошо, и они мирно беседовали.

Однако Бувар продрог.

— Подвигай руками и ногами! — сказал Пекюше.

Бувар послушался, но показания градусника не изменились.

— Мне холодно.

— Да и мне не жарко,— отозвался Пекюше, тоже ощущая озноб.— Пошевелись, поверти тазом, да как следует!

Бувар сдвигал и раздвигал ноги, ворочал торсом, надувал живот, пыхтел, как тюлень, потом смотрел на градусник: ртутный столбик все понижался.

— Ничего не понимаю! Ведь я же двигаюсь!

— Значит, недостаточно!

Бувар принимался за прежнюю гимнастику.

Она продолжалась уже три часа, когда он снова взглянул на градусник.

— Что это? Двенадцать градусов. Слуга покорный! Я вылезаю!

В эту минуту вбежала, высунув язык, рыжая шелудивая собака, помесь ищейки и дога.

Что делать? Звонка не было, да и служанка была туговата на ухо. От холода друзья стучали зубами, но не смели шевельнуться, боясь, что собака их укусит.

Пекюше попробовал было кричать и грозно таращить глаза.

Собака залаяла и стала прыгать вокруг весов, а Пекюше уцепился за веревки и, согнув колени, попытался подняться как можно выше.

— Ты не умеешь с ней обращаться,— заметил Бувар.

Он начал умильно улыбаться, называя собаку ласкательными именами.

Очевидно, собака поняла их. Она завиляла хвостом, положила лапы на плечи Бувара, царапая его когтями.

— Вот те на! Собака унесла мои штаны!

Собака легла на них и успокоилась.

Наконец, с величайшими предосторожностями один из друзей решился слезть с весов, другой — выйти из ванны; когда Пекюше оделся, ему пришла в голову новая мысль:

— А ты, песик, послужишь нам для опытов.

Каких опытов?

Можно, например, впрыснуть собаке фосфор и, заперев в погреб, посмотреть, не пойдет ли у нее огонь из ноздрей. Но как сделать впрыскивание? К тому же им никто не продаст фосфора.

Они хотели было поместить собаку под воздушный колокол, дать ей надышаться газом или напоить ядом. Но

в этом вряд ли будет что-нибудь забавное! Наконец они выбрали опыт намагничивания стали путем контакта со спинным мозгом животного.

Бувар, сдерживая волнение, подносил тарелку с иголками Пекюше, а тот втыкал их в позвонки собаки. Иголки скользили, ломались, падали. Он брал другие, вонзал их быстро, наугад. Несчастная собака разорвала веревки, вылетела, как бомба, в окно, промчалась по двору и ворвалась в кухню через прихожую.

Увидев собаку в крови, с обрывками веревок на лапах, Жермена раскричалась.

Следом вбежали хозяева. При виде их собака удрала.

Старая служанка накинулась на господ:

— Опять ваши глупости, опять чего-то выдумали! Да и в кухню грязищи натащили! Собака еще, не дай бог, взбесится! Давно пора вас посадить за решетку.

Бувар и Пекюше вернулись в лабораторию, чтобы испытать иголки.

Ни одна из них не притягивала даже мельчайших металлических опилок.

Предположение Жермены испугало друзей. А вдруг собака взбесится, вернется и искусает их!

На следующий день они пошли наводить справки и долгое время спустя, завидя собаку, похожую на эту, сворачивали с дороги.

Ни один из последующих опытов не удался. Вопреки заверениям ученых, голуби, которым друзья пускали кровь на сытый и на голодный желудок, погибали одинаково быстро. Котята, погруженные в воду, подохли через пять минут, а у гуся, которого напичкали мареною, надкостные плевы нисколько не потемнели.

Проблема усвоения пищи не давала им покоя.

Каким образом из одних и тех же веществ получаются кости, кровь, лимфа, экскременты? Как проследить за превращением любого съеденного продукта? Человек, употребляющий однообразную пищу, ничем не отличается в химическом отношении от того, кто питается разнообразно. Воклен установил количество извести в овсе, которым кормили курицу; оказалось, что в скорлупе снесенных ею яиц извести больше. Следовательно, произошло созидание вещества. Каким образом? Неизвестно.

Неизвестно даже и то, как велика сила сердечной мышцы. Борелли приравнивает ее к силе, которая требуется для подъема ста восьмидесяти тысяч фунтов, а

Кейл — всего-навсего к восьми унциям. Бувар и Пекюше вывели отсюда заключение, что физиология (согласно старинному изречению) просто фантастический медицинский роман. Оказавшись не в состоянии понять физиологию, они в ней разуверились.

Целый месяц друзья провели в праздности, потом вспомнили о своем саде.

Сухое дерево, лежавшее посреди сада, мешало им. Они обтесали его, но работа их утомила. Бувару часто приходилось ходить к кузнецу и отдавать ему в починку инструменты.

Однажды на дороге к Бувару подошел человек с холщовым мешком за спиной и предложил альманахи, жития святых, образки и, наконец, руководство Франсуа Распайля под заглавием *Здоровье*.

Эта брошюра так понравилась Бувару, что он написал Барберу, прося прислать ему капитальный труд того же автора. Барберу не только доставил книгу, но и указал в письме аптеку, в которой можно купить упомянутые там лекарства.

Ясность учения пленила друзей. Все болезни происходят от червей. Черви портят зубы, прогрызают легкие, раздувают печень, разрушают кишки и вызывают в них урчанье. Камфора — лучшее средство против них. Бувару и Пекюше понравилось это лекарство. Они нюхали камфору, жевали ее, раздавали знакомым в виде сигарет, болеутоляющей микстуры и пилюль. Они взялись даже за лечение горбатого ребенка.

Этого мальчика они встретили как-то на ярмарке. Нищенка, мать ребенка, приводила его к ним каждый день утром. Друзья натирали ему горб камфорной мазью, на двадцать минут ставили горчичник, затем мягчительный пластырь и угощали своего пациента завтраком, чтобы он не сбежал.

Пекюше, интересовавшийся глистами, заметил как-то на щеке г-жи Борден странное пятно. Доктор уже давно лечил вдовушку горькими каплями, но пятно, сначала небольшое, как монета в двадцать су, увеличилось; на нем появился розовый ободок. Друзья вызвались лечить г-жу Борден, и та дала согласие при условии, что смазывание будет делать Бувар. Она подходила к окну, расстегивала верхние пуговицы лифа и подставляла щеку Бувару, делая ему глазки, что́ было бы весьма опасно, не присутствуй на сеансе Пекюше. Несмотря на страх, который им внушала ртуть, они давали своей пациентке ка-

ломель, правда, в весьма скромных дозах. Месяц спустя г-жа Борден выздоровела.

Она раструбила о чудесном исцелении, и вскоре податной инспектор, секретарь мэрии, сам мэр и все жители Шавиньоля принялись сосать камфору.

Между тем спина горбатого мальчика не становилась прямее. Податной инспектор отказался от папирос с камфорой — они усиливали припадки удушья. Фуро стал ворчать, что от пилюль у него обострился геморрой; у Бувара появилась резь в животе, а у Пекюше — жестокие мигрени. Друзья потеряли веру в Распайля, но тщательно это скрывали, дабы не подорвать своего авторитета.

Теперь они пристрастились к оспопрививанию, научились для практики делать надрезы на капустных листьях и даже приобрели два ланцета.

Вместе с врачом они навещали больных бедняков, затем просматривали медицинские книги.

Симптомы, описанные в этих книгах, нисколько не соответствовали тому, что они только что видели. А с названиями болезней получалась какая-то мешанина латыни, греческого, французского и других языков.

Болезни насчитываются тысячами; классификация Линнея очень удобна с ее родами и видами, но как определить вид? Пришлось погрузиться в философию медицины.

Они грезили о жизненном начале Ван Гельмонта, о витализме, броунизме, органицизме; приставали к доктору, отчего бывает золотуха, какой орган поражает прежде всего заразный миазм и как отличить при заболевании причину от следствия.

— Причины и следствия перепутываются,— ответил Вокорбей.

Такое отсутствие логики возмутило их, и они стали посещать больных одни, без врача, проникая в дома под предлогом филантропии.

В нищенских комнатах на грязных тюфяках лежали больные; у одних лица были перекошенные, у других — опухшие, багровые, лимонно-желтые или фиолетовые; носы обострились, губы дрожали, слышались стоны, икота, воняло прелой кожей и старым сыром.

Бувар и Пекюше читали рецепты врачей и были весьма удивлены, что успокоительные лекарства применяются иной раз как возбудительные, рвотные — как слабительные, что одно и то же средство дается при различных по-

казаниях, а болезнь при противоположных способах лечения проходит сама собой.

И все же они давали советы, ободряли больных и даже брали на себя смелость их выслушивать при помощи трубки.

Воображение работало у них без устали. Они написали королю, прося учредить в Кальвадосе учебное заведение для подготовки сиделок и предлагая себя в качестве преподавателей.

Посетили аптекаря в Байе (фалезский фармацевт все еще был на них в обиде из-за грудной ягоды) и посоветовали ему изготовлять, по примеру древних римлян, *pila purgatoria,* то есть лекарства в виде шариков, которые постепенно проникают в организм при растирании их руками.

Придя к убеждению, что понижение температуры тела благотворно влияет на воспаление внутренних органов, друзья подвесили к потолочным балкам кресло, посадили в него больную менингитом и стали ее раскачивать, но тут вернулся муж и выгнал их вон.

Наконец, невзирая на возмущение священника, они ввели новый способ ставить градусник — в задний проход.

В округе участились случаи брюшного тифа. Бувар заявил, что за это он не берется. Но тут к ним пришла вся в слезах жена фермера Гуи: ее муж болен уже две недели, а г-н Вокорбей к нему и глаз не кажет.

Пекюше принес себя в жертву.

Чечевицеобразные пятна на груди, боль в суставах, вздутый живот, ярко-красный язык — налицо были все симптомы тифозной горячки. Вспомнив указание Распайля, что с отменой диеты проходит и лихорадка, Пекюше прописал больному бульон и немного мяса.

Неожиданно пришел доктор.

Его пациент как раз обедал, поддерживаемый фермершей и Пекюше, с двумя подушками за спиной.

Врач подбежал к кровати и вышвырнул тарелку за окно.

— Это же настоящее убийство! — крикнул он.

— Почему?

— Вы можете вызвать прободение кишок — ведь при тифе воспаляется слизистая оболочка.

— Не всегда!

Тут завязался спор о природе тифа. Пекюше рассмат-

ривал болезнь как нечто самостоятельное. Вокорбей ставил ее в зависимость от организма больного.

— Вот почему я устраняю все, что производит раздражающее действие.

— Но диета ослабляет жизненное начало!

— Не болтайте ченухи! Что за жизненное начало? Какое оно? Кто его видел?

Пекюше смешался.

— К тому же,— продолжал врач,— Гуи не хочет есть.

Пациент кивнул головой в ночном колпаке.

— Мало ли что, он нуждается в питании.

— Нет, пульс у него девяносто восемь.

— Какое значение имеет пульс? — Пекюше сослался на авторитеты.

— Оставьте вы свои теории! — заявил доктор.

Пекюше скрестил руки на груди.

— Так, значит, вы эмпирик?

— Отнюдь нет! Но мои наблюдения...

— А если вы плохо наблюдали?

Вокорбей усмотрел в этих словах намек на случай с лишаем г-жи Борден; эта история, раздутая вдовой, до сих пор бесила его.

— Прежде всего надо иметь врачебный опыт, практику.

— Люди, совершившие революцию в науке, никогда не практиковали! Взять хотя бы Ван Гельмонта, Бургаве да и самого Брусе!

Вокорбей, не отвечая, наклонился к Гуи и спросил его, повысив голос:

— У кого из нас вы желаете лечиться?

Задремавший было больной увидел разгневанные лица и захныкал.

Жена его тоже не знала, что сказать: один был врачом, а другой, быть может, знает секрет.

— Превосходно! — заявил Вокорбей.— Раз вы колеблетесь между человеком, имеющим диплом...

Пекюше усмехнулся.

— Чему вы смеетесь?

— Дипломом не всегда служит доказательством!

Вопрос стоял о заработке доктора, о его правах и авторитете. Вокорбей вспылил:

— Это мы увидим, когда вас привлекут к суду за противозаконное врачевание!

Обратившись к фермерше, он добавил:

— Ваше дело, можете отправить мужа на тот свет с

номощью этого господина, но будь я проклят, если когда-нибудь переступлю порог вашего дома.

Он ушел по буковой аллее, гневно размахивая тростью.

Вернувшись домой, Пекюше нашел Бувара в большом волнении.

К нему только что приходил Фуро, доведенный до отчаяния своими геморроидальными шишками. Бувар тщетно доказывал ему, будто они предохраняют человека от прочих болезней. Фуро ничего не хотел слушать и пригрозил ему судом за причиненный ущерб. Бувар совсем растерялся.

Пекюше поделился с ним своей неприятностью, которая казалась ему гораздо серьезнее, и был несколько задет равнодушием Бувара.

На следующий день у Гуи разболелся живот. Это могло быть вызвано несварением желудка. Вероятно, Вокорбей был прав. В конце концов должен же врач понимать толк в болезнях, и Пекюше начала мучить совесть. Он боялся стать убийцей.

Из осторожности Бувар и Пекюше отказались лечить горбуна. Но его мать подняла крик — ей было обидно, что сын лишился завтрака. Коли так, незачем было гонять их каждый день из Барневаля в Шавиньоль!

Фуро вскоре успокоился, а Гуи полегчало. Теперь уже не было сомнения, что он выздоровеет; этот успех окрылил Пекюше.

— А не заняться ли нам акушерством? Сперва поучились бы на манекене...

— Довольно с меня манекенов!

— Это только половинка туловища и притом из кожи, новейшее изобретение для подготовки акушерок. Мне кажется, я сумел бы повернуть плод!

Но Бувару надоела медицина.

— Пружины жизни сокрыты от нас, болезней слишком много, лекарства не внушают доверия, а в книгах не найдешь ни одного вразумительного определения, что такое здоровье, болезнь, диатез или даже гной!

Однако от чтения медицинских книг у них зашел ум за разум.

Бувар принял самый обычный насморк за воспаление легких. Когда пиявки не облегчили колотья в боку, он поставил себе мушку: тогда начались боли в пояснице. Он решил, что у него камни в почках.

Пекюше сильно устал, подрезая ветви буков; после

обеда его вырвало. Он перепугался и, заметив у себя на лице желтизну, заподозрил болезнь печени.

«Болит она у меня?» — спрашивал он себя.

И тут же почувствовал боль.

Пугая друг друга, они высовывали язык, щупали пульс, пили то одну, то другую минеральную воду, принимали слабительное, остерегались холода, жары, ветра, дождя, мух и пуще всего сквозняков.

Пекюше вычитал где-то, что нюхать табак вредно. К тому же, если сильно чихнуть, это может повлечь за собой разрыв аневризмы, и он решил бросить пагубную привычку. Иной раз он машинально запускал пальцы в табакерку, но тут же спохватывался и укорял себя в недостатке выдержки.

Ввиду того, что черный кофе возбуждает нервы, Бувар отказался было от послеобеденной чашечки, но тогда его сразу начинало клонить ко сну, а, проснувшись, он пугался, ибо продолжительный сон грозит апоплексией.

Идеалом их стал Корнаро — тот самый венецианский дворянин, который дожил до глубокой старости благодаря соблюдению особого режима. Даже не подражая ему в точности, можно все же принимать кое-какие меры, и Пекюше нашел в своей библиотеке *Руководство по гигиене* доктора Морена.

Просто удивительно, как они еще до сих пор живы! Ведь в книге были запрещены все их любимые блюда. Жермена сбилась с ног и уж не знала, что им готовить.

Любое мясо дает отрицательные последствия. Кровяная колбаса и свинина, копченая сельдь, омар и дичь «противопоказаны». Чем крупнее рыба, тем больше в ней желатина, и, следовательно, тем она тяжелее для желудка. Овощи вызывают изжогу, макароны — тяжелые сны; сыры, «взятые в совокупности, плохо перевариваются». Стакан воды по утрам «опасен». Название каждого напитка, каждого продукта сопровождалось предупреждением: «Вреден! Остерегайтесь! Не злоупотребляйте им! Не все его переносят!» Почему «вреден»? Что значит злоупотреблять? Как узнать, показано вам что-нибудь или противопоказано?

А какую сложную задачу представлял завтрак! Друзья перестали пить кофе с молоком из-за его вредности, а затем и шоколад, ибо шоколад — это смесь «неудобоваримых веществ». Остался только чай. Но «люди нервные должны от него отказаться». Между тем в XVII веке Декер советовал пить чай ежедневно в количестве два-

дцати декалитров, дабы промывать область поджелудочной железы.

Утверждение Декера поколебало их веру в Морена, тем более что тот восстает против всяких головных уборов — шляп, картузов, колпаков; это требование возмутило Пекюше.

Тогда они купили трактат Бекереля и узнали из него, что свинина — «превосходный продукт», табак совершенно безвреден, а кофе «необходим для военных».

Друзья полагали до сих пор, что сырая местность вредна для здоровья. Ничуть не бывало! Каспер считает, что она менее гибельна, чем сухая. В море якобы нельзя купаться, предварительно не остынув. А вот Бежен советует бросаться в воду именно когда тебе жарко. Вино весьма полезно для желудка, если его пить после супа. Зато, по мнению Леви, от вина портятся зубы. Наконец, фланелевый жилет — этот страж, этот блюститель здоровья, этот кумир Бувара, фланелевый набрюшник — неразлучный спутник Пекюше — признаются всеми учеными без всяких оговорок излишней принадлежностью туалета, особенно для мужчин полнокровных, сангвинического темперамента.

Что же такое гигиена?

«Истина по эту сторону Пиренеев, заблуждение по другую их сторону»,— утверждает Леви, а Бекерель добавляет, что гигиена — вообще не наука.

Тут уж друзья заказали себе на обед устриц, утку, свинину с капустой, крем, сладкий пирог и бутылку бургундского. Это было избавлением, отместкой за все лишения, а Корнаро они подняли на смех. Каким надо быть болваном, чтобы мучить себя по его примеру! Как глупо постоянно думать о продлении жизни! Жизнь лишь тогда хороша, когда наслаждаешься ею.

— Еще кусочек?

— Не откажусь.

— Последую и я твоему примеру!

— Пью за твое здоровье!

— А я за твое!

— И плевать нам на все!

Их возбуждение росло.

Бувар заявил, что выпьет три чашки кофе, хотя он и не военный. Надвинув картуз на уши, Пекюше беспрестанно нюхал табак и чихал напропалую; им захотелось шампанского, и они велели Жермене сходить за ним в кабачок. До деревни было далеко, служанка отказалась. Пекюше возмутился.

— Я приказываю вам! Слышите? Приказываю сбегать за шампанским.

Жермена повиновалась, но дала себе слово уйти от этих чудаков,— уж больно они привередливы и сумасбродны.

После обеда друзья, как в былое время, отправились в беседку пить кофе с коньяком.

Жатва только что закончилась, и разбросанные по полю скирды черными шапками вырисовывались на мягком, голубоватом небе. Было тихо. Даже кузнечики не стрекотали. Природа спала. Друзья мирно отдыхали, наслаждаясь вечерним ветерком, освежавшим их разгоряченные лица.

Высокое небо было усеяно звездами; они сверкали, то выстроившись в ряд, то группами, то поодиночке, далеко друг от друга. Поток светящейся пыли, протянувшийся с севера на юг, раздваивался у них над головой. Его сияющая ткань прерывалась огромными пустотами; небосвод казался лазурным морем с архипелагами и островками.

— Сколько звезд! — воскликнул Бувар.

— Мы видим далеко не все,— отозвался Пекюше.— За Млечным Путем находятся туманности, за ними — опять звезды; самая большая из них отстоит от Земли на триста биллионов мириаметров.

Пекюше часто смотрел в телескоп на Вандомской площади и запомнил кое-какие цифры.

— Солнце в миллион раз больше Земли, Сириус в двенадцать раз больше Солнца, кометы достигают в длину тридцати четырех миллионов лье!

— С ума можно сойти! — заметил Бувар.

Он пожалел о своем невежестве и даже выразил раскаяние, что не закончил в молодости Политехнического института.

Пекюше, найдя на небе Большую Медведицу, показал другу Полярную звезду, созвездие Кассиопеи в форме У, яркую Вегу из созвездия Лиры, а внизу, над самым горизонтом, багрового Альдебарана.

Запрокинув голову, Бувар с трудом представлял себе треугольники, четырехугольники и пятиугольники, на которые надо разделить небосвод, чтобы легче находить звезды.

Пекюше продолжал:

— Скорость света равна восьмидесяти тысячам лье в секунду. Луч Млечного Пути доходит к нам за шесть столетий. Таким образом, видимая с Земли звезда, быть мо-

жет, уже давно не существует. Иные звезды переменные, другие исчезают для нас навсегда; положение светил меняется; все движется, все проходит.

— Однако Солнце неподвижно!

— Так полагали прежде. В наше время считают, что Солнце несется с огромной скоростью по направлению к созвездию Геркулеса.

Все это нарушало представление Бувара, и после минутного раздумья он сказал:

— Наука построена на изучении одного лишь уголка вселенной. Возможно, что ее выводы не соответствуют остальному пространству, бесконечному и непостижимому.

Так беседовали Бувар и Пекюше, стоя на пригорке при свете звезд, прерывая разговор долгим молчанием.

Наконец их заинтересовал вопрос, есть ли люди на планетах. А почему бы им там и не быть? И так как все в мире гармонично, обитатели Сириуса должны быть великанами, Марса — среднего роста, а Венеры — маленького, если только они не одинаковы повсюду. В таком случае там, наверху, тоже имеются коммерсанты, жандармы, там люди торгуют, дерутся, свергают королей.

Внезапно несколько падающих звезд пронеслись по небу, описав гигантские параболы.

— Подумать только,— проговорил Бувар,— исчезают целые миры.

— Если наш мир тоже провалится в тартарары,— заметил Пекюше,— обитатели планет отнесутся к этому так же равнодушно, как мы с тобой в эту минуту. От таких мыслей пропадает всякое самомнение.

— Какая цель всего этого?

— Вероятно, и цели-то никакой нет.

— Однако...

Пекюше повторил раза два-три «однако», не зная, что сказать.

— Нужды нет, мне очень бы хотелось знать, как возник мир.

— Мы найдем это, пожалуй, у Бюффона,— ответил Бувар, у которого слипались глаза.— Сил больше нет, иду спать.

Они узнали из книги *Эпохи природы,* что комета, задев Солнце, отколола от него кусок, который и стал Землею. Охладились полюсы. Воды покрыли земной шар, затем схлынули, задержавшись только во впадинах; образовались материки, появились животные, потом человек.

Величие мира вызвало у них изумление, беспредельное, как и он сам.

Кругозор Бувара и Пекюше расширился. Они были горды тем, что размышляют над столь возвышенными предметами.

Минералы скоро им надоели, и, чтобы развлечься, они обратились к *Гармониям* Бернардена де Сен-Пьера.

Друзья познакомились со всевозможными гармониями — растительной, земной, воздушной, водяной, человеческой, братской и даже супружеской, прочитали, ничего не пропуская, обращения к Венере, Зефирам и Амурам. Их удивляло, что у рыб имеются плавники, у птиц — крылья, у семян — оболочка, ибо они прониклись той философией, которая верит в добродетель природы и считает ее неким св. Винцентом де Полем, без устали сеющим добро.

Они пришли в восторг от явлений природы — смерчей, вулканов, девственных лесов и купили сочинение Деппинга *Чудеса и красоты французской природы*. В Кантале имеется три чуда, в Эро — пять, в Бургундии — всего-навсего два, зато в Дофине их целых пятнадцать. Но скоро чудес совсем не останется. Сталактитовые пещеры осыпаются, огнедышащие горы остывают, горные ледники тают, старые деревья, в дуплах которых совершались богослужения, падают под топором человека или постепенно гибнут.

После этого друзья заинтересовались животным миром.

Они вновь раскрыли своего Бюффона и подивились странным наклонностям некоторых животных.

Однако все книги, вместе взятые, не стоят личных наблюдений, и друзья стали ходить по дворам и расспрашивать крестьян, не доводилось ли им видеть, чтобы быки спаривались с кобылами, боровы — с коровами, а самцы куропаток предавались противоестественной любви.

— Что вы? Никогда! Где это видано!

Такие вопросы, особенно в устах пожилых господ, казались крестьянам смешными и неприличными.

Бувар и Пекюше пожелали сами сделать опыт противоестественной случки.

Наименее трудным показалось им спарить козла с овцой. На ферме Гуи не было козла, и они выпросили его у соседки; во время течки они заперли обоих животных в давильню, а сами спрятались за бочками, чтобы не мешать естественному ходу вещей.

Сначала козел и овца съели по охапке сена, затем стали жевать жвачку; овца легла и заблеяла, а бородатый, вислоухий козел, расставив кривые ноги, уставился на Бувара и Пекюше блестевшими в темноте глазами.

Наконец, на третий день вечером, друзья решили прийти на помощь природе. Но козел, повернувшись к Пекюше, боднул его пониже живота, а испуганная овца принялась кружить по давильне, как по манежу. Бувар побежал за ней, хотел удержать, но растянулся на земле — в руках у него остались клочья шерсти.

Они возобновили опыты над курами и селезнем, над догом и свиньей в надежде получить уродов путем скрещивания, ибо ничего не понимали в проблеме видов.

Вид — это группа особей, которые дают при скрещивании плодовитое потомство; однако животные, относимые к различным видам, могут скрещиваться между собой, плодиться и множиться, тогда как животные, принадлежащие к одному и тому же виду, теряют порой эту способность.

Друзья понадеялись, что разберутся в этом вопросе, изучив развитие зародышей, и Пекюше выписал через Дюмушеля микроскоп.

Бувар и Пекюше клали на стеклышко волосы, крошки табака, мушиную лапку, обрезки ногтей, но постоянно забывали вставить в инструмент то одну, то другую деталь; они суетились возле микроскопа, трясли его; затем, не видя ничего, кроме тумана, обвиняли во всем оптика. Под конец они разочаровались в микроскопе. Открытия, которые ему приписываются, пожалуй, не заслуживают доверия.

Вместе со счетом на микроскоп Дюмушель прислал друзьям письмо, прося их собирать для него аммониты и морских ежей — достопримечательности их края, до которых он был большой охотник. Чтобы пробудить у них интерес к геологии, он отправил им две книги: *Письма* Бертрана и *Рассуждения* Кювье о катаклизмах на земном шаре.

Прочитав эти сочинения, они представили себе такую картину:

В начале всего была необозримая водная поверхность, над которой выступали поросшие лишаями камни. Ни единого звука, ни одного живого существа — безмолвный, неподвижный и голый мир; затем в тумане, похожем на банный пар, стали вырисовываться длинные растения. Ярко-красное солнце нагрело влажную атмосферу. Загрохотали огнедышащие горы, из их недр вырвались вулка-

нические породы, и жидкая масса порфира и базальта мало-помалу затвердела. Еще одна картина: в неглубоких морях возникли коралловые острова; на них растут пальмы. Есть там раковины величиною с большое колесо, трехметровые черепахи и ящерицы не менее шестидесяти футов в длину; амфибии вытягивают между тростниками свои страусовые шеи и раскрывают крокодиловы пасти; летают крылатые змеи. Наконец на материках появляются гигантские млекопитающие; у одних уродливые ноги, похожие на плохо обтесанные бревна, и шкура толще бронзовых плит, другие — лохматые, губастые, с пышными гривами и изогнутыми клыками. Стада мамонтов пасутся на равнинах, которые обратятся впоследствии в Атлантический океан; палеотерий — полуконь, полутапир — разрывает своим рылом муравейники на Монмартре, а гигантский олень в каштановой роще трепещет от рева пещерного медведя, которому вторит лай собаки втрое больше волка, водящейся в Боженси.

Все эти эпохи разделены между собой катаклизмами, последним из которых был наш потоп — нечто вроде феерии в нескольких действиях с человеком в апофеозе.

Друзья были поражены, узнав, что на некоторых камнях сохранились отпечатки насекомых, птичьих лап и т. п.; перелистав руководство Роре, они решили собирать окаменелости.

Как-то после обеда, когда они раскапывали булыжники на шоссе, к ним подошел кюре.

— Увлекаетесь геологией, господа? Прекрасное занятие,— вкрадчиво проговорил он.

Священник был высокого мнения об этой науке, ибо она повышает авторитет Священного писания, доказывая истинность сказания о всемирном потопе.

Бувар заговорил о копролитах — окаменелых испражнениях животных.

Аббат Жефруа, видимо, никогда об этом не слыхал; впрочем, это дает лишний повод восхвалять премудрость провидения. Пекюше признался, что до сих пор их поиски не увенчались успехом, а между тем в окрестностях Фалеза должно быть множество окаменелых останков животных, как и во всех геологических породах юрского периода.

— Мне говорили,— сказал аббат Жефруа,— что где-то в Вилере была найдена челюсть слона.

Необходимые сведения мог бы сообщить его друг Ларсонер, адвокат и археолог из Лизье. Он написал историю

Порт-ан-Бесена, в которой упоминается о находке крокодила.

Бувар и Пекюше обменялись взглядом, в котором мелькнула надежда; несмотря на жару, они долго расспрашивали священника, укрывшегося от солнца под синим ситцевым зонтиком. У него была тяжелая челюсть и острый нос; он беспрестанно улыбался, склонив голову набок и полузакрыв глаза.

Церковный колокол зазвонил к вечерне.

— До приятного свидания, господа! Разрешите откланяться.

Сославшись на аббата Жефруа, друзья написали Ларсонеру и три недели прождали письма. Наконец ответ был получен.

Вилерского жителя, нашедшего в земле зуб мастодонта, звали Луи Блош; подробности неизвестны. История Порт-ан-Бесена вошла в один из томов серии, выпущенной Лизьерским ученым обществом, но своего авторского экземпляра он никому не дает из боязни разрознить всю коллекцию. Что касается аллигатора, то он был обнаружен в ноябре 1825 года у подножия скалистого берега Ашет, в Сент-Онорине, близ Порт-ан-Бесена, в округе Байе. Далее шли уверения в совершенном почтении.

Неясность в истории с мастодонтом раздразнила любопытство Пекюше. Он готов был немедленно ехать в Вилер.

Бувар отговорил его: поездка может ничего не дать, а стоить будет дорого; благоразумнее всего заранее навести справки; друзья обратились к мэру Вилера с просьбой сообщить им, что сталось с Луи Блошем. В случае если он умер, не согласятся ли его наследники по прямой или боковой линии известить их о судьбе ценной находки. Когда он ее сделал, в каком месте округа лежали эти останки далеких эпох? Есть ли надежда сделать подобные же находки в их краях? Во что обойдется наем работника с тележкой?

Но сколько они ни обращались к помощнику мэра и к первому муниципальному советнику, ответа не было. Очевидно, местные жители ревниво охраняют ценные ископаемые, скрытые в их земле. Если только они не продали их англичанам. Решено было ехать в Ашет.

Бувар и Пекюше отправились дилижансом из Фалеза в Кан. Затем одноколка доставила их из Кана в Байе, откуда они дошли пешком до Порт-ан-Бесена.

Ожидания друзей оправдались. Побережье Ашет изо-

биловало причудливыми кампями; расспросив хозяина постоялого двора, они скоро вышли к морю.

Отлив как раз обнажил морское дно, покрытое галькой и водорослями.

Зеленые овраги прорезали крутой морской берег, состоявший из мягкой бурой породы, которая, отвердев, превратилась в нижних пластах в серую каменную стену. По ней беспрестанно стекали струйки воды, а вдалеке ревело море. По временам шум моря затихал, и тогда слышалось только журчание ручьев.

Друзья то скользили по мокрым водорослям, то перепрыгивали через ямы. Бувар сел на песок у самой воды и загляделся на волны, ни о чем не думая, завороженный, обессиленный. Пекюше увлек его обратно, чтобы показать аммонит, вросший в скалу, точно алмаз — в жильную породу. Они обломали себе ногти — без инструмента нельзя было извлечь аммонит; к тому же надвигались сумерки. Небо окрасилось багрянцем, на пляж легла тень. Между черными водорослями стояли лужи воды. Море наступало на берег, пора было возвращаться.

На следующий день Бувар и Пекюше поднялись на заре и, вооружившись киркою и ломом, попробовали извлечь окаменелость; наконец, оболочка ее треснула. Это был *ammonites nodosus,* обломанный по краям, зато весом не менее шестнадцати фунтов.

— Мы должны преподнести этот экземпляр Дюмушелю! — воскликнул Пекюше в полном восторге.

Друзья нашли, кроме того, губки, теребратулы, касаток, но крокодила как не бывало! Взамен они пытались отыскать хотя бы позвоночник гиппопотама или ихтиозавра, любую окаменелость, дошедшую до нас со времен потопа, и вдруг заметили в скале, на высоте человеческого роста, остов гигантской рыбы.

Стали совещаться, как бы достать его, не повредив.

Было решено, что Бувар высвободит окаменелость сверху, а Пекюше постарается разрушить скалу снизу, чтобы остов мог опуститься плавно, в полной сохранности.

Приостановив работу, чтобы передохнуть, они заметили у себя над головой таможенного досмотрщика в плаще — он грозно махал им рукой.

— В чем дело? Оставь нас в покое!

И они снова принялись за дело; Бувар стоял на цыпочках и колотил скалу мотыгой; Пекюше, согнувшись в три погибели, долбил ее ломом.

Таможенник появился ниже, в овраге, и еще энергич-

нее замахал руками. Друзьям было не до него. Окаменелость выступила из-под слоя земли, и вся глыба вздрагивала, кренилась,— вот-вот соскользнет вниз.

Неожиданно перед ними вырос другой человек с саблей на боку.

— Прошу предъявить паспорта!

Это был сельский стражник в дозоре; тут же подбежал и таможенник, спустившийся на пляж по расщелине.

— Задержите их, папаша Морен! Не то обрушится вся скала!

— Мы же копаем с научной целью! — возразил Пекюше.

В эту самую минуту огромная глыба рухнула, да так близко от них, что всех четверых чуть не завалило.

Когда пыль рассеялась, друзья обнаружили, что это не остов рыбы, а корабельная мачта; она рассыпалась в прах под сапогом таможенника.

— Мы не делали ничего дурного,— проговорил Бувар со вздохом.

— Ничего нельзя копать на территории Инженерного ведомства,— заявил стражник.— Да и кто вы такие? Я должен составить протокол.

Пекюше заупрямился, стал жаловаться на несправедливость.

— Никаких разговоров! Следуйте за мной!

Едва они вошли в гавань, как за ними увязалась толпа мальчишек. Бувар, красный как рак, старался держаться с достоинством; Пекюше, бледный, метал кругом яростные взгляды; по правде сказать, оба незнакомца с камушками в носовых платках имели весьма подозрительный вид. Бувара и Пекюше провели на постоялый двор, хозяин которого, стоя на пороге, преграждал доступ любопытным. Тут явился каменщик и потребовал свои инструменты. Друзьям пришлось заплатить за них — новые убытки! А стражник все не возвращался! Почему? Наконец какой-то господин с крестом Почетного легиона на груди отпустил их, и они ушли, сообщив свои фамилии, имена, место жительства и пообещав быть впредь осмотрительнее.

Помимо паспортов, им не хватало еще многого другого, и, прежде чем приступить к новым изысканиям, они просмотрели *Спутник путешественника-геолога,* составленный Буэ. Главное для геолога — иметь добротный солдатский ранец, землемерную цепь, напильник, щипцы, компас и три молотка за поясом, скрытых под сюртуком, чтобы «не

привлекать внимания странным видом, чего следует избегать в пути». В качестве палки Пекюше выбрал, не колеблясь, обычную туристскую палку шести футов длиною, с большим железным наконечником. Бувар предпочел трость-зонтик со съемным набалдашником. Друзья не забыли также крепких башмаков с гетрами, двух пар подтяжек «на случай испарины», и, хотя не рекомендуется «появляться всюду в картузе», они решили не тратиться на «складные шляпы Жибюса, названные так по фамилии их изобретателя».

В том же труде были изложены правила поведения: «Знать язык страны, которую вы собираетесь посетить»,— они знали этот язык. «Скромно держать себя» — такова была их привычка. «Не иметь при себе лишних денег» — ну, это проще простого. И «выдавать себя за инженера» во избежание возможных неприятностей.

— Что ж, станем инженерами!

Подготовившись таким образом, они начали совершать долгие походы, отлучались нередко на целую неделю, проводили жизнь на воздухе.

Иной раз они замечали в расщелине, на берегу Орны, среди тополей и вереска, покатые грани утесов, или же впадали в уныние, не видя на пути ничего, кроме пластов глины. Их привлекала не красота пейзажа с его перспективой и далями, не листва деревьев, шелестевшая под порывами ветра, а то, что было скрыто от глаз, что находилось в глубине, под землей; каждый холм казался им лишним доказательством всемирного потопа. Эта мания вскоре сменилась другой — увлечением эрратическими валунами. Крупные камни, одиноко торчавшие среди поля, остались, по всей вероятности, от ледникового периода, и друзья без устали разыскивали морены и ракушечники.

Бувар и Пекюше были так странно наряжены, что их принимали за разносчиков; в ответ они выдавали себя за «инженеров» и сами пугались своих слов: ведь присвоение чужого звания могло навлечь на них неприятности.

К концу дня они изнемогали под тяжестью образцов, но отважно несли их до дому. Окаменелостями были загромождены ступени лестницы, комнаты, зала, кухня, и Жермена плакалась на обилие пыли.

Нелегко было определять названия горных пород, чтобы затем наклеивать на них ярлыки; из-за разнообразия окраски и строения они путали глину с мергелем, гранит с гнейсом, кварц с известняком.

Да и сама терминология их раздражала. К чему назва-

ния девонский, кембрийский, юрский, как будто породы, обозначаемые этими словами, находятся только в Девоншире, близ Кембриджа и в горах Юра? Невозможно разобраться в этой путанице; то, что для одних геологов — система, для других — ярус, а для третьих — попросту слой. Напластования смешиваются, переплетаются; к тому же Омалиус д'Алуа предупреждает, что геологической классификации вообще не следует доверять.

Это заявление их успокоило, и, найдя известняки с полипняком в Капской равнине, глинистые сланцы в Балеруа, каолин в Сен-Блезе, оолит во всем краю и обнаружив каменный уголь в Картиньи, ртуть в Шапель-ан-Жюже, близ Сен-Ло, друзья решили совершить дальнюю экскурсию, а именно — съездить в Гавр, чтобы изучить кварц, пироморфит и киммериджскую глину.

Сойдя с парохода, они спросили, как пройти к маякам; оказалось, что на этой дороге случился обвал и идти туда небезопасно.

Тут к Бувару и Пекюше подошел владелец каретного заведения и предложил им совершить прогулки по окрестностям: Ингувиль, Октевиль, Фекан, Лильбон и, «если пожелаете, даже в Рим».

Цены он назначил баснословные, но название Фекан поразило друзей; ведь если сделать небольшой крюк, можно посетить Этрета, и они сели в дилижанс, чтобы отправиться сначала в наиболее отдаленный пункт — в Фекан.

В дилижансе Бувар и Пекюше, разговорившись с тремя крестьянками, двумя пожилыми женщинами и семинаристом, храбро выдали себя за инженеров.

Дилижанс остановился возле гавани. Друзья направились к скалистому берегу и пять минут спустя уже осторожно пробирались по самому его краю в обход небольшого заливчика. Затем они увидели вход в глубокую пещеру, очень светлую, гулкую; своими высокими колоннами и ковром водорослей, покрывавшим камни, она напоминала церковь.

Это чудо природы поразило их, и во время прогулки, собирая по пути ракушки, они завели разговор на такую возвышенную тему, как происхождение мира.

Бувар склонялся к нептунизму, Пекюше, напротив, был плутонистом.

Огонь, горящий в центре земли, прорвал ее кору, приподнял почву, вызвал трещины. Это огненное ядро похоже на подземное море с приливами, отливами и бурями, и лишь тонкий слой отделяет нас от него. Если предста-

вить себе, что находится у нас под ногами, можно потерять сон. Однако жар внутри земли постепенно уменьшается, солнце гаснет, и наш мир когда-нибудь погибнет от холода. Земля станет бесплодной, дерево и уголь превратятся в углекислоту, и ни одно существо не выживет на ее поверхности.

— Нам еще далеко до этого,— заметил Бувар.

— Будем надеяться,— отозвался Пекюше.

Тем не менее этот конец мира, как бы далек он ни был, привел друзей в уныние, и теперь они молча шагали рядом по гальке.

Скалистый берег, отвесный, белый, с черными кремнистыми прожилками, уходил вдаль, словно выгнутая крепостная стена в пять миль длиною. Дул холодный, резкий восточный ветер. Небо было серое, зеленоватое море как будто вздулось. С вершины скалы взлетали птицы и, покружившись, стремительно спускались в расщелины. По временам сорвавшийся откуда-то камень катился, подпрыгивая, вниз.

Пекюше продолжал рассуждать вслух:

— А кроме того, земля может погибнуть от какого-нибудь катаклизма! Никто не знает, каков период ее существования. Стоит лишь прорваться огню, бушующему в ее недрах, и всему придет конец.

— Но ведь он ослабевает.

— И все же острова Юлия, Монте-Нуово, да и другие тоже, образовались вулканическим путем.

Бувар вспомнил, что вычитал эти подробности у Бертрана.

— Но таких потрясений не бывает в Европе.

— Прости, пожалуйста, вспомни хотя бы о Лиссабоне. В наших краях имеются крупные залежи каменного угля и железистого колчедана; при разложении из них выделяются газы, которые вполне могут вырваться наружу. Все действующие вулканы находятся на берегу моря.

Бувар окинул взглядом море, и ему показалось, что вдали вьется дымок.

— Поскольку остров Юлия исчез,— продолжал Пекюше,— та же участь ожидает, вероятно, и другие материки вулканического происхождения. Любой островок архипелага имеет не меньше значения, чем Нормандия и даже вся Европа.

Бувар представил себе Европу, проваливающуюся в бездну.

— Допустим,— разглагольствовал Пекюше,— что зем-

летрясение произойдет под Ла-Маншем; воды пролива ринутся в Атлантический океан; берега Франции и Англии задрожат, пошатнутся, соединятся, и бах! — все, что там находится, будет раздавлено.

Вместо ответа Бувар так проворно помчался вперед, что вскоре на сто шагов опередил друга. Оставшись один, обуреваемый мыслями о катаклизме, он пришел в смятение. С утра он ничего не ел, в висках у него стучало. Вдруг ему почудилось, что земля дрогнула и скалы над головой накренились; как раз в эту минуту поток гравия покатился сверху.

Увидев стремительное бегство друга, Пекюше догадался о его страхе и закричал ему вдогонку:

— Постой! Постой! Земля еще не гибнет.

Пытаясь догнать Бувара, он делал огромные прыжки, опираясь на свою туристскую палку, и продолжал вопить:

— Период не завершен, земля не гибнет!

Обезумевший от страха Бувар уже не мог остановиться. Он потерял зонтик, полы его сюртука развевались, ранец подпрыгивал на спине. Казалось, будто среди скал несется крылатая черепаха; вскоре он скрылся за высоким утесом.

Пекюше добежал, задыхаясь, до этого места, никого не нашел, вернулся обратно и решил взобраться наверх по расщелине, куда, вероятно, свернул Бувар.

Тропинка — на ней с трудом могли разойтись два человека — шла в гору уступами, блестевшими, как полированный алебастр.

Поднявшись на пятьдесят футов, Пекюше захотел было спуститься. Но начался прибой, и он снова принялся карабкаться в гору.

За вторым поворотом он увидел под ногами бездну и похолодел от ужаса. Подходя к третьему повороту, он почувствовал, что ноги у него подкашиваются. Ветер свистел в ушах, под ложечкой сосало; он сел на землю, закрыл глаза, ощущая лишь учащенное биение сердца; затем, отшвырнув туристскую палку, пополз вверх на четвереньках. Три заткнутых за пояс молотка врезáлись ему в живот; камни, которыми были набиты карманы, колотили по бедрам; козырек фуражки лез на глаза, ветер дул все сильнее. Наконец он взобрался на плоскогорье и нашел там Бувара, который поднялся по другой, менее трудной тропинке.

Друзей подобрала проезжавшая мимо повозка. Они и думать позабыли об Этрета.

На следующий день вечером, поджидая в Гавре пароход, они прочли в газете статью под заглавием «Уроки геологии».

Эта статья, изобиловавшая фактами, освещала вопрос так, как его понимали в те времена.

Никогда не было катаклизма, который охватил бы весь земной шар; продолжительность жизни любого вида не одинакова в различных географических зонах: в одной вид долговечнее, в другой гибнет быстрее. В породах, относящихся к одному и тому же периоду, содержатся различные ископаемые, и, наоборот, одинаковые ископаемые попадаются в слоях различной давности. Папоротники отдаленных времен подобны современным папоротникам. Многие существующие ныне зоофиты встречаются в древнейших слоях земной коры. Короче говоря, ключ былых катаклизмов надо искать в нынешних изменениях. Одни и те же причины действуют теперь и действовали прежде, ибо природе несвойственны скачки, а периоды, по словам Броньяра, не что иное, как абстракция.

До сих пор Кювье был окружен для них ореолом, стоял на незыблемой высоте. Теперь их вера в него была подорвана. Порядок мироздания оказался совсем иным, и друзья потеряли уважение к этому великому человеку.

Из биографий ученых и популярных книжек они почерпнули кое-какие сведения о доктринах Ламарка и Жоффруа Сент-Илера.

Все это противоречило их прежним представлениям и учению церкви.

Бувар испытал при этом облегчение, точно освободился от пут.

— Хотел бы я послушать, что скажет теперь достопочтенный Жефруа о всемирном потопе!

Друзья застали аббата в садике, где он поджидал членов церковного совета, которые должны были обсудить с ним вопрос о приобретении нового церковного облачения.

— Что вам угодно, господа?..

— Мы пришли за разъяснением...

Первым заговорил Бувар:

— Что означают такие выражения из книги Бытия, как «бездна разверзлась» и «хляби небесные»? Ведь бездна не может разверзнуться и в небе нет хлябей!

Аббат опустил глаза и, помолчав, ответил, что следует делать различие между духом и буквой. Понятия, которые сначала нас смущают, становятся вполне закономерными, если в них вдуматься.

— Прекрасно, но как объяснить то место в Библии, где говорится, что дождевая вода залила величайшие горы в две мили высотой. Подумайте только: две мили! Слой воды толщиною в две мили!

Подошедший в эту минуту мэр воскликнул:

— Вот бы искупаться, разрази меня бог!

— Согласитесь,— прибавил Бувар,— что Моисей чертовски преувеличивает.

Священник, читавший когда-то Бональда, возразил:

— Не знаю, какие соображения руководили им; вероятнее всего, желание внушить спасительный страх народам, которыми он управлял!

— Но откуда взялась такая масса воды?

— Кто знает! Воздух превратился в дождь, как это бывает постоянно на наших глазах.

В калитку вошел податной инспектор, г-н Жирбаль, с помещиком, капитаном Герто; трактирщик Бельжамб вел под руку бакалейщика Ланглуа, который передвигался с трудом из-за катара.

Не обращая на них внимания, в разговор вмешался Пекюше:

— Прошу прощения, г-н Жефруа. Вес атмосферы — и наука доказывает это — равен весу слоя воды толщиною в десять метров, который покрыл бы весь земной шар. Следовательно, если бы воздух сгустился и выпал на землю в виде дождя, это весьма мало увеличило бы массу существующих вод.

Члены церковного совета, удивленно тараща глаза, слушали Пекюше.

Священник вышел из терпения.

— Не станете же вы отрицать, что в горах были найдены раковины! Кто их туда занес, если не потоп? Ведь раковины не произрастают на грядках, как морковь!

Рассмешив этими словами собравшихся, он прибавил, поджав губы:

— Если только ваша наука не считает и это возможным!

Бувар пустился было в спор, сославшись на теорию горообразования Эли де Бомона.

— Не слыхал о таком! — возразил аббат.

Фуро поспешил вставить свое слово:

— Бомон, уроженец Кана? Я как-то встретил его в префектуре!

— Но если бы ваш потоп нес с собой раковины,—

не унимался Бувар,— их находили бы на поверхности Земли, а не на глубине трехсот метров.

Священник сослался на достоверность Священного писания, на древние предания и на животных, обнаруженных замерзшими в сибирских льдах.

Но это вовсе не доказывает, что люди жили одновременно с этими ископаемыми! По утверждению Пекюше, Земля гораздо старше человека.

— Дельта Миссисипи образовалась десятки тысяч лет тому назад. Наша эпоха насчитывает по крайней мере сто тысяч лет. Списки Манефона...

Появился граф де Фаверж.

При его приближении все умолкли.

— Продолжайте, пожалуйста. О чем вы говорили?

— Эти господа нападают на меня,— ответил аббат.

— Из-за чего?

— Из-за Священного писания, граф!

Бувар тут же заявил, что в качестве геологов они вправе оспаривать религию.

— Берегитесь, дорогой мой,— заметил граф.— Вам, вероятно, известно изречение: кто мало знает, тот отходит от религии; кто много знает, тот возвращается к ней.

И добавил высокомерно и вместе с тем по-отечески:

— Верьте мне: вы вернетесь к религии, непременно вернетесь!

— Согласен! Но можно ли верить книге, в которой говорится, будто свет был сотворен прежде солнца, словно солнце — не единственный источник света?!

— Вы забываете о северном сиянии,— заметил священник.

Не отвечая ему, Бувар стал решительно опровергать то место в Библии, где сказано, что свет был с одной стороны, а тьма с другой, что утро и вечер существовали до появления светил и что животные появились внезапно, а не эволюционным путем.

Дорожки были слишком узки, и спорщики, размахивая руками, шагали прямо по грядкам. У Ланглуа начался приступ кашля. Капитан кричал:

— Вы революционеры!

Жирбаль взывал:

— Тише! Тише! Спокойнее!

Священник возмущался:

— Да это же настоящий материализм!

Фуро уговаривал:

— Займемся лучше вопросом о церковном облачении.

— Дайте же мне договорить!

И Бувар, разгорячившись, стал доказывать, будто человек произошел от обезьяны.

Члены церковного совета переглянулись в полном недоумении, словно хотели убедиться, что они не обезьяны.

— Сравним плод человека, собаки, птицы, лягушки...— продолжал Бувар.

— Довольно!

— Я пойду еще дальше! — кричал Пекюше.— Человек произошел от рыбы!

Раздался хохот, но Пекюше не смутился:

— В Теллиамеде, арабской книге...

— За дело, господа!..

Члены церковного совета вошли в ризницу.

Друзьям не удалось посрамить аббата Жефруа, как они надеялись; поэтому Пекюше нашел в нем «нечто иезуитское».

Северное сияние все же не давало им покоя, и они обратились к руководству д'Орбиньи.

Существует гипотеза, выдвинутая для объяснения сходства окаменелых растений Баффинова залива с нынешней экваториальной флорой. Предполагается, что на месте солнца было некогда громадное светило, ныне исчезнувшее, и северное сияние есть не что иное, как оставленный им след.

Затем у них возникло сомнение относительно происхождения человека; не зная, к кому обратиться, они вспомнили о Вокорбее.

Врач не исполнил своих угроз. Как и прежде, он проходил по утрам мимо их изгороди и колотил по ней палкой, не пропуская ни одной жерди.

Бувар подкараулил его как-то и задал интересующий их вопрос по антропологии:

— Правда ли, что человеческий род произошел от рыб?

— Какая чепуха!

— Скорее всего, от обезьян! Как вы полагаете?

— Прямым путем? Нет, это невозможно!

Кому верить? Ведь доктор-то не связан с религией.

Бувар и Пекюше продолжали свои изыскания, но без прежнего пыла; им надоели эоцен и миоцен, остров Юлия, сибирские мамонты и всевозможные ископаемые — эти «достоверные свидетельства минувших эпох», как называют их ученые. В один прекрасный день Бувар швырнул на землю свой ранец и заявил, что по горло сыт геологией.

— Геология слишком несовершенна! Специалистами изучены лишь несколько мест в Европе. А все остальное, включая океанские глубины, навеки останется неизвестным.

Когда же Пекюше заговорил о царстве минералов, Бувар воскликнул:

— Не верю я в царство минералов! Подумай только: в образовании кремня, мела, а быть может, и золота принимали участие органические вещества! Разве алмаз не был углем? Разве каменный уголь — не смесь различных растений? Если нагреть его — уж не помню до скольких градусов,— получим древесные опилки; значит, все проходит, все разрушается, все преобразуется. Мироздание неустойчиво, изменчиво. Лучше займемся чем-нибудь другим!

Бувар лег на спину и задремал, а Пекюше предался размышлениям, опустив голову и обхватив руками колено.

Тропинка шла среди мхов, в тени ясеней с их трепетной прозрачной листвой; в воздухе стоял пряный запах нагретой мяты, дягиля, лаванды; было душно; Пекюше, погруженный в сонную одурь, грезил о бесчисленных, рассеянных вокруг него существованиях, о жужжащих насекомых, об источниках, скрытых под травой, о соке растений, о птицах в гнездах, о ветре, облаках, обо всей природе, не пытаясь проникнуть в ее тайны, завороженный ее могуществом, подавленный ее величием.

— Пить хочется,— проговорил Бувар, проснувшись.

— И мне тоже! Хорошо бы выпить чего-нибудь!

— Нет ничего легче,— заметил проходивший мимо мужчина в блузе, с доской на плече.

Друзья узнали бродягу, которого Бувар угостил как-то вином. Он, казалось, помолодел на десять лет; волосы у него были в завитках, усы напомажены, походка вразвалку на парижский манер.

Шагов через сто он открыл ворота во двор, приставил доску к стене и ввел посетителей в просторную кухню.

— Мели! Где ты, Мели?

Появилась молоденькая девушка, выслушала приказ «нацедить винца» и вернулась к столу, чтобы прислуживать господам.

Под серым полотняным чепцом виднелись причесанные на пробор волосы цвета спелой пшеницы. Убогое платьице плотно облегало тонкую фигуру. У девушки был правильный носик, голубые глаза, во всем ее облике было что-то милое, деревенское и простодушное,

— Славненькая девчонка, правда? — спросил столяр, когда она подавала стаканы.— Можно побожиться, что это барышня, переодетая крестьянкой! А работяга хоть куда! Бедняжечка ты моя, погоди немного: разбогатею и женюсь на тебе!

— Все-то вы глупости говорите, господин Горжю,— ответила девушка нежным голоском, растягивая слова.

В кухню вошел конюх, полез в старый сундук за овсом и с такой силой захлопнул крышку, что от нее отскочил кусочек дерева.

Горжю вспылил и принялся ругать этих нескладных «деревенских увальней»; затем встал на колени перед ларем и принялся искать поврежденное место. Пекюше подошел, чтобы помочь ему, и разглядел под слоем пыли человеческие фигуры.

Это был ларь эпохи Возрождения с витым орнаментом внизу, с виноградными лозами по углам и колонками, делившими на пять частей его лицевую сторону. Посредине была изображена Венера-Анадиомена в раковине, затем Геракл и Омфала, Самсон и Далила, Цирцея со свиньями, дочери Лота, подносящие вино своему отцу; ларь пришел в ветхость, был изъеден жучками, а правой стенки вообще недоставало. Горжю взял свечку, чтобы показать Пекюше его левую стенку, на которой вырисовывалось райское дерево, а под ним Адам и Ева в крайне непристойной позе.

Бувар тоже залюбовался ларем.

— Если сундук вам нравится, его могут уступить по дешевке.

Друзья колебались: ведь ларь надо реставрировать.

Горжю с готовностью брался за это дело: он сам был краснодеревцем.

— Идемте со мной!

Он повел Пекюше во двор, где г-жа Кастильон, хозяйка, развешивала белье.

Вымыв руки, Мели взяла с подоконника кружево с коклюшками, села поближе к свету и принялась за работу.

Дверной проем служил ей как бы рамой, коклюшки скользили в руках с щелканьем кастаньет; девушка сидела неподвижно, склонив головку.

Бувар спросил, откуда она родом, кто ее родители, какое жалование она получает.

Оказалось, что Мели сирота, приехала сюда из Уистрегама и зарабатывает одну пистоль в месяц. Девушка так

понравилась Бувару, что ему захотелось нанять ее в помощь старухе Жермене.

Вернулся Пекюше с фермершей, и, пока они толковали о продаже ларя, Бувар спросил шепотом Горжю, не согласится ли Мели поступить к нему служанкой.

— Понятно, согласится!

— Хорошо,— сказал Бувар,— но мне еще надо посоветоваться с другом.

— Я помогу вам, помалкивайте только из-за хозяйки.

Сделка состоялась, и ларь был куплен за тридцать пять франков. О его починке надо было условиться особо.

Как только друзья вышли во двор, Бувар сообщил о своем намерении нанять Мели.

Пекюше остановился (дабы лучше поразмыслить), открыл табакерку, заложил в нос понюшку и, высморкавшись, ответил:

— Ну что ж, превосходная мысль! Бог мой, какие тут могут быть разговоры? К тому же ты — хозяин!

Десять минут спустя Горжю показался на краю канавы и окликнул их.

— Когда принести сундук?

— Завтра.

— А как насчет другого дела?

— Согласны,— ответил Пекюше.

IV

Прошло полгода, и друзья стали завзятыми археологами; их дом походил на музей.

В прихожей стояла старая деревянная балка. Геологические образцы загромождали лестницу, огромная цепь лежала на полу вдоль всего коридора.

Бувар и Пекюше сняли дверь между двумя комнатами, рядом со спальнями, заделали вход в одну из них, и получилось просторное помещение.

Переступив порог, посетитель наталкивался на каменную колоду (галло-римский саркофаг), затем взор его привлекали металлические изделия.

На стене, прямо против входа, висела грелка над таганами и каминной плитой с изображением монаха, ласкающего пастушку. На полках стояли светильники, лежали замки, болты, гайки. Пол был завален битой красной черепицей. На столе посреди комнаты были выстав-

лены самые редкостные вещи: каркас старинного нормандского чепца, две глиняные урны, медали, бутыль опалового стекла. На спинку коврового кресла был наброшен гипюр в форме треугольника. Кусок кольчуги украшал правую перегородку, а под ним покоился на подставке уникальный экспонат — алебарда.

Во второй комнате, куда вели две ступеньки, хранились старинные книги, привезенные Буваром и Пекюше из Парижа, а также книги, найденные ими по приезде в одном из шкафов. Створки этого шкафа были сняты, и он назывался у них библиотекой.

Родословное древо семейства Круамар занимало всю внутреннюю часть двери. На деревянной обшивке стены выделялся пастельный портрет дамы времен Людовика XV, а против него — портрет Бувара-отца. На камине взор привлекали черное фетровое сомбреро и огромный башмак на деревянной подошве, наполненный сухими листьями, служивший некогда птичьим гнездом.

Два кокосовых ореха (они принадлежали Пекюше с юных лет) красовались по бокам фаянсового бочонка, на котором сидел верхом тоже фаянсовый поселянин. Рядом, в соломенной корзинке, хранилась децима — медная монетка, найденная в животе утки.

Против библиотеки возвышался комод с инкрустациями из ракушек и плюшевыми украшениями. На нем стояли такие достопримечательности, как кошка с мышью в зубах (окаменелость из Сент-Аллира), шкатулка из ракушек для рукоделия и графин из-под водки с грушей сорта бонкретьен внутри.

Но лучше всего была статуя св. Петра в оконной амбразуре! Правой рукой в перчатке он сжимал ярко-зеленый ключ от рая. Его небесно-голубая риза была расшита лилиями, а темно-желтая остроконечная тиара напоминала пагоду. У святого были нарумяненные щеки, круглые большие глаза, открытый рот и вздернутый кривой нос. Над статуей висел балдахин из старого ковра, на котором можно было разглядеть двух амуров в венке из роз, а у ее подножия возвышался, наподобие колонны, горшок из-под масла с надписью белыми буквами по шоколадному фону: «Сделан в присутствии Его Королевского Высочества герцога Ангулемского, в Нороне, 3 октября 1817 года».

Лежа в постели, Пекюше рассматривал издали все эти сокровища, а иногда уходил в спальню Бувара, чтобы удлинить перспективу.

Одно место под кольчугой оставалось свободным — оно предназначалось для ларя эпохи Возрождения.

Ларь был не закончен, Горжю все еще работал над ним в пекарне, выстругивал филенки, прилаживал их и снова разнимал.

В одиннадцать часов он завтракал, балагурил с Мели, потом исчезал и больше не показывался.

Чтобы найти мебель под стать старинному ларю, Бувар и Пекюше отправились на поиски. То, что они приносили, обычно оказывалось негодным, но им попадалось множество любопытных вещей. Пристрастившись к собиранию безделушек, они увлеклись средневековьем.

Они начали посещать соборы; высокие нефы, отражавшиеся в чашах со святой водой, витражи, сверкавшие как драгоценности, гробницы в глубине часовен, таинственный полумрак в криптах, прохлада каменных стен — все вызывало у них восхищение и благоговейный трепет.

Вскоре оба научились разбираться в эпохах и стилях; пренебрегая объяснениями пономаря, они говорили друг другу:

— Ага! Вот романская апсида... А это двенадцатый век! Вот опять пламенеющая готика!

Они силились понять значение вырезанных на капителях орнаментов, например, двух грифонов, клюющих дерево в цвету на колонне в Мариньи. Лица певчих с громадными челюстями, изображенные на карнизах в Фегероле, Пекюше определил как сатиру, а мужская фигура в бесстыдной позе на оконной раме в Герувиле, по мнению Бувара, доказывала, что наши предки любили непристойности.

Приятели не выносили ни малейших признаков упадка. Им всюду мерещился упадок; оштукатуренная заново стена приводила их в негодование, они громко возмущались вандализмом.

Однако их удивляло, что стиль памятников не всегда соответствует той эпохе, когда они построены. Полукруглая арка XIII века до сих пор встречается в Провансе. Стрельчатый свод, возможно, существовал с незапамятных времен. И ученые все еще спорят, какой стиль древнее — романский или готический. Такое отсутствие точных сведений крайне их раздражало.

После церквей Бувар и Пекюше начали осматривать феодальные крепости в Донфроне и Фалезе. Они восхищались пазами подъемной решетки под воротами, а взобравшись на башню, любовались панорамой: отсюда

открывался вид на всю равнину, на кровли города, перекрестки улиц, на площадь, запруженную повозками, на речку, где женщины полоскали белье. Крепостная степа обрывалась прямо в ров, заросший кустарником, и они бледнели от страха, представляя себе, как воины лезли на приступ, вися на приставных лестницах. Друзья были не прочь спуститься в подземелья крепости, но Бувару мешал его толстый живот, а Пекюше боялся змей.

Им захотелось осмотреть старинные замки в Кюрси, Бюли, Фонтенейе, Лемармионе, Аргуже. Там иногда, где-нибудь за углом, позади навозной кучи, возвышается башня времен Каролингов. Кухня с каменными скамьями напоминает о рыцарских пирах. Некоторые из этих замков все еще сохраняют грозный вид; там остались следы трех поясов укреплений, бойницы под лестницей, высокие островерхие башенки. Там есть залы, где лучи солнца, проникая через окно времен Валуа с выточенной, как слоновая кость, резной рамой, освещают рассыпанные зерна суреницы, которые сушатся на полу. Там часовни обращены в амбары. Надписи на надгробных кампях стерлись. Посреди пустыря торчит обломок стены, сверху донизу заросший плющом, который колыхается на ветру.

Друзья охотно накупили бы множество вещей; они заглядывались то на оловянный кувшин, то на стразовую пряжку, то на ситец в крупных разводах. Удерживал их недостаток денег.

Случайно они откопали у какого-то лудильщика в Балеруа готический витраж, который как раз подошел по размеру к правой половине оконной рамы возле кресла. Колокольня Шавиньоля, видневшаяся вдали сквозь разноцветное стекло, казалась им теперь поразительно красивой.

Горжю смастерил из нижней стенки какого-то шкафа аналой и поставил перед окном — он всячески поощрял их одержимость.

Этих маньяков интересовали даже те памятники, о которых никто ничего не знал, например, загородная резиденция епископов в Сезе.

В Байе, по свидетельству археолога де Комона, в древности существовал театр. Они бросились туда, но не обнаружили никаких следов.

Возле деревни Монреси есть знаменитый луг, где некогда откопали множество древних монет. Они надеялись собрать там обильную жатву. Но сторож даже не пустил их туда.

Не повезло им и в розысках канала между водоемом

в Фалезе и предместьем Кана. Утки, которых туда пустили, якобы выплыли в Воселе, крякая «кан, кан, кан», откуда и произошло название города.

Никакие хлопоты их не пугали, никакие жертвы не останавливали.

Согласно преданию, в 1816 году, в Мениль-Вилемане, г-н Галерон позавтракал на постоялом дворе, заплатив четыре су. Они заказали там те же блюда, но обнаружили с удивлением, что времена изменились и цены тоже.

Кто основал аббатство св. Анны? Есть ли родство между моряком Онфруа, привезшим в XII веке новый сорт картофеля, и Онфруа, который стал губернатором Гастингса после его завоевания? Где раздобыть величайшую редкость — «Коварную гадалку», комедию в стихах некоего Дютрезора, написанную в Байе? При Людовике XIV некий Герамбер Дюпати или Дюпастис Герамбер написал нигде не опубликованный сборник анекдотов об Аржантане; как разыскать эти анекдоты? Какова судьба рукописных мемуаров г-жи Дюбуа де ла Пьер, которыми пользовался в неизданной истории Легля викарий Сен-Мартена, Луи Даспре? Сколько проблем надо разрешить, сколько фактов установить!

Ведь нередко какая-нибудь мелкая подробность приводит к открытиям необычайной ценности.

И вот, снова облачившись в блузы, чтобы не вызывать подозрений, они стали ходить по домам под видом корсбейников и скупать старые бумаги. Им продавали макулатуру целыми охапками. Но зто были ученические тетради, счета, старые газеты — словом, всякий хлам.

Наконец Бувар и Пекюше обратились к Ларсонеру.

Тот был поглощен историей кельтов и, ответив им вкратце, сам засыпал их вопросами.

Сохранились ли в их округе следы культа пса, которые наблюдают в Монтаржи? Какие интересные подробности замечали они на празднествах «огни св. Иоанна», в свадебных обрядах, в народных поговорках и т. п.? Ученый даже поручил им собрать для него несколько кремневых топориков, так называемых celtae, которыми пользовались друиды во время «кровавых жертвоприношений».

Горжю притащил им целую дюжину топориков; они отослали Ларсонеру один похуже, остальными украсили свою коллекцию.

Они обходили комнаты музея с гордостью, сами обметали пыль, хвастались всем знакомым каждой новинкой.

Однажды после полудня к ним пришли г-жа Борден и г-н Мареско, чтобы осмотреть достопримечательности музея.

Бувар их встретил и стал давать объяснения, начиная с прихожей.

Вон та балка — не что иное, как перекладина старой фалезской виселицы; продавший ее столяр доподлинно знает это со слов своего деда.

Толстая цепь в коридоре найдена в подземной темнице Тортевальской башни. Нотариус возразил, что точно такие же цепи повсюду висят на тумбах у подъездов, но Бувар был убежден, что к нему приковывали узников в темнице. Потом он распахнул дверь в первую залу.

— Зачем столько черепиц? — воскликнула г-жа Борден.

— Чтобы нагревать парильню. Но давайте осматривать все по порядку. Вот этот саркофаг мы отыскали на постоялом дворе, где он служил для водопоя.

Тут Бувар приподнял две урны с землей, то есть с прахом покойпика, и, поднеся к глазам флакон, показал, как римляне, скорбя об усопшем, лили туда слезы.

— Но у вас тут все так печально, так уныло! — вздохнула г-жа Борден.

Бувар согласился, что это зрелище слишком мрачно для дамы, и вынул из коробки несколько медных монет и серебряных динарий.

Г-жа Борден спросила нотариуса, сколько бы это стоило на нынешние деньги.

Нотариус, рассматривая кольчугу, печаяно уронил ее на пол, рассыпав несколько колец. Бувар постарался скрыть свою досаду.

Желая оказать любезность гостям, он даже снял со стены алебарду и, размахивая ею, приседая, топая ногой, показал, как подсекают поджилки у коня, колют штыком, разят врага. Вдова нашла, что он молодец хоть куда.

Она восхитилась комодом из ракушек. Сенталирская кошечка ее поразила, груша в графине впечатления не произвела. Подойдя к камину, она пошутила:

— О, этот головной убор нуждается в починке!

Поля шляпы были прострелены тремя пулями.

Бувар объяснил, что это шляпа атамана разбойников Давида из Базока; во время Директории он был предан и убит на месте.

— Туда ему и дорога! — заключила г-жа Борден.

Мареско, осматривая коллекцию, презрительно усме-

хался. Он не понимал, для чего хранить деревянный башмак, служивший когда-то вывеской у сапожника, и что хорошего в фаянсовом бочонке, в обыкновенном кувшине для сидра, а на св. Петра с его пьяной физиономией было, по правде говоря, противно смотреть!

— Вам он, должно быть, дорого обошелся,— заметила г-жа Бордеп.

— О нет, не слишком, не слишком.

Им уступил его за пятнадцать франков какой-то кровельщик.

Потом она возмутилась неприличным декольте дамы в пудреном парике.

— Что тут дурного! — возразил Бувар.— Зачем скрывать то, что красиво?

И добавил шепотом:

— Вы сложены не хуже, я уверен!

Нотариус стоял к ним спиной, изучая генеалогическое древо рода Круамаров. Ничего не ответив, вдова принялась играть длинной часовой цепочкой. Грудь ее вздымалась под черной тафтой корсажа, и, слегка прищурив глаза, склонив голову, как голубка, она спросила наивным тоном:

— Как звали эту даму?

— Это неизвестно. Она была любовницей регента,— помните, того, кто столько распутничал?

— Еще бы, в мемуарах той эпохи...

Не докончив фразы, нотариус выразил сожаление, что принц крови, раб своих страстей, подавал столь дурной пример.

— Полноте, все вы, мужчины, одинаковы!

Оба кавалера горячо запротестовали; завязался разговор о женщинах, о любви. Мареско уверял, что существует много счастливых браков; порою вы даже не подозреваете, что счастье совсем рядом, под рукой. Намек был слишком прозрачен. Вдова густо покраснела, но тут же оправилась.

— Не правда ли, господин Бувар, мы уже вышли из возраста, когда совершают безумства?

— Э нет, я еще за себя не ручаюсь!

Предложив ей руку, он повел ее в следующую комнату.

— Не споткнитесь, здесь ступеньки. Вот так. Теперь полюбуйтесь на витраж.

Они различили на стекле фигуру ангела с двумя крыльями, в пурпурном плаще. Все остальное сливалось под свинцовыми бляшками, скреплявшими многочислен-

ные трещины. Спустились сумерки, протянулись тени, г-жа Борден стала серьезной.

Бувар исчез и вернулся закутанный в шерстяное одеяло, затем преклонил колени перед аналоем, закрыл лицо руками, раздвинул локти; лучи заходящего солнца освещали его плешь, и он спросил, довольный произведенным эффектом:

— Не правда ли, я похож на средневекового монаха?

Запрокинув голову, закатив глаза, он как бы застыл в молитвенном экстазе. В коридоре раздался густой бас Пекюше:

— Не бойся, зто я.

Он торжественно вошел в комнату; на голове у него была каска,— чугунок с остроконечными ушками.

Бувар не вставал с колен. Двое гостей продолжали стоять. На минуту все застыли на месте, оторопев.

Г-жа Борден поздоровалась с Пекюше довольно сухо. Тем не менее он осведомился, всё ли ей показали.

— Кажется, всё.

Он указал на пустую стену.

— Извините, вот здесь мы поставим замечательную вещь, которую еще реставрируют.

После зтого вдова Борден и г-н Мареско удалились.

Бувар и Пекюше стали втихомолку соперничать друг с другом. Они отправлялись на поиски поодиночке, и каждый, стараясь превзойти другого, хвастался своими находками. Пекюше только что приобрел каску.

Бувар поздравил его и удостоился похвалы за одеяло.

Мели, с помощью шнурков, смастерила из него монашескую сутану. Они надевали ее по очереди, принимая гостей.

Их посетили Жирбаль, Фуро, капитан Герто, потом менее важные лица — Ланглуа, Бельжамб, их фермеры и даже соседские служанки. И всякий раз хозяева повторяли свои объяснения, показывали место, где будет стоять пресловутый ларь, скромничали, просили извинения за беспорядок.

Пекюше в дни приемов щеголял в феске зуава, привезенной из Парижа, считая, что она больше подходит к их живописной обстановке. Некоторое время спустя он надевал каску, сдвинув ее на затылок, чтобы оставить открытым лицо. Бувар не упускал случая показать упражнения с алебардой; наконец они переглядывались, спрашивая друг друга, достоин ли гость того, чтобы ему пред-

ставили «средневекового монаха». Как они взволновались, когда перед воротами остановился кабриолет графа де Фавержа! Он заявил, что приехал лишь на минуту. Вот в чем дело в двух словах:

Гюрель, его поверенный, сообщил, что, собирая документы, они скупили старые рукописи на ферме Обри.

Друзья подтвердили этот факт.

Так вот, не попались ли им письма бывшего адъютанта герцога Ангулемского, барона де Гонневаля, который гостил в Обри? По семейным обстоятельствам он хотел бы получить эту корреспонденцию.

Нет, таких писем у них нет, но графа может заинтересовать одна вещь, если он соблаговолит последовать за ними в библиотеку.

Никогда еще в коридоре не скрипели такие изящные лакированные сапоги. Граф споткнулся о саркофаг, чуть не раздавил несколько черепиц, задел кресло, спустился по двум ступенькам и вошел во вторую комнату. Там, под балдахином, возле св. Петра, ему показали горшок для масла, изготовленный в Нороне.

Бувар и Пекюше были уверены, что дата сама по себе должна произвести впечатление.

Именитый гость из вежливости осмотрел весь музей. Он повторял: «Любопытно. Очень мило!», похлопывая себя по губам набалдашником трости. Он поблагодарил их от себя лично за то, что они спасли и сохранили обломки средневековья, славной эпохи расцвета религии и рыцарской доблести. Он уважал прогресс и посвятил бы себя, подобно им, этим интересным изысканиям, но политика, муниципальный совет, сельское хозяйство — множество дел занимают все его время.

— Впрочем, после вас все равно ничего не останется: ведь скоро вы вычерпаете до дна все достопримечательности в нашем департаменте.

— Скажу без ложной скромности, мы тоже так думаем! — подтвердил Пекюше.

Однако кое-что еще можно отыскать в Шавиньоле; например, в переулочке за кладбищенской стеной с незапамятных времен лежит зарытая в земле чаша для святой воды. Хозяев очень заинтересовало это сообщение; они обменялись взглядом, спрашивая друг друга: «Стоит ли этим заняться?», но граф уже направился к выходу.

Мели, которая подслушивала за дверью, мигом исчезла.

Проходя по двору, граф заметил Горжю, который курил трубку, скрестив руки на груди.

— У вас работает этот парень? Ну-ну! В случае беспорядков я бы его поостерегся.

Граф де Фаверж сел в свою двуколку.

Почему служанка так его испугалась?

В ответ на расспросы она сказала, что работала у него на ферме. Это была та самая девчонка, которая при них, два года назад, поила сидром косарей. Ее наняли было прислуживать в замке, но скоро уволили: «Кто-то ее оклеветал».

Горжю им тоже не в чем было упрекнуть. Он был мастер на все руки, а к ним относился с большим уважением.

Наутро, едва рассвело, они отправились на кладбище.

Бувар начал стучать тростью по земле в указанном месте; звякнуло что-то твердое. Они выпололи сорняки и увидели каменную чашу, купель, дно которой заросло травой.

Между тем ведь не полагается зарывать купели вдали от церкви!

Пекюше набросал рисунок, Бувар сделал точное описание, и они отправили все это в письме к Ларсонеру.

Тот ответил не медля:

«Ура, дорогие собратья! Это несомненно друидическая чаша!»

Тем не менее он предостерегал их от ошибок. Топорик, присланный ими, весьма сомнителен, и ради них самих, как и ради себя, он прислал им целый список книг для изучения.

В постскриптуме Ларсонер выражал желание самому взглянуть на чашу в ближайшие дни, во время путешествия по Бретани.

Бувар и Пекюше, не теряя времени, углубились в изучение кельтской археологии.

Согласно этой науке, древние галлы, наши предки, поклонялись божествам Кирку и Крону, Таранису Эзусу, Неталемнии, небу и земле, ветру, воде, а сверх того великому Тевтату, который у язычников назывался Сатурном. Сатурн, будучи властителем Финикии, взял в жены нимфу по имени Анобрет, которая родила сына Иеуда. У Анобрет есть общие черты с Саррой, Иеуда заклали в жертву (или чуть не заклали), как Исаака. Итак, Сатурн — это Авраам, откуда следует, что религия галлов имеет сходство с религией иудеев.

Общество галлов было превосходно устроено. К первой касте принадлежал народ, старейшины и царь, ко второй — законники, а к третьей, самой высшей,— по утверж-

дению Тайепье — «разного рода жрецы и философы», то есть друиды или сароиды, делившиеся, в свою очередь, на эвбагов, бардов и ватов.

Одни пророчествовали, другие пели, третьи учили ботанике, врачеванию, истории и литературе, короче говоря, «всем искусствам той эпохи». Пифагор и Платон были их учениками. Они же обучили греков метафизике, персов — колдовству, этрусков — гаданию по внутренностям, а римлян — лужению меди и копчению окороков.

Но от этого народа, владыки древнего мира, остались одни камни, которые торчат стоймя, либо по одному, либо по трое, либо образуют галерею или замкнутый круг.

Бувар и Пекюше, полные рвения, изучили поочередно камень Поста в Юси, парный камень в Гесте, камень Дарье в окрестностях Легля и прочие и прочие!

Все эти глыбы, одинаково неинтересные, быстро им надоели. Однажды, осмотрев менгир в Пасе, они уже было повернули назад, но проводник повел их в буковый лес, заваленный гранитными глыбами то в виде пьедесталов, то в виде чудовищных черепах.

В самой огромной было выдолблено что-то вроде купели. Один край был приподнят; со дна чаши два желобка, вытесанные в камне, спускались до земли: это, без сомнения, предназначалось для стока крови. Природа не могла создать такой диковины!

Древесные корни оплетали эти причудливые цоколи. Моросил дождь; вдали, словно огромные привидения, вздымались клочья тумана. В густой листве им чудились фигуры жрецов в белых одеяниях и золотых тиарах, их несчастные жертвы со связанными за спиной руками, друидесса, склонившаяся над чашей и следящая за кровавым ручьем; им слышался рев толпы, гром кимвалов, звон трубы из рогов зубра.

Они тут же приняли решение.

Однажды лунной ночью они отправились на кладбище крадучись, точно воры, прячась в тени домов. Ставни повсюду были заперты, в хижинах все спали; ни один пес не залаял.

Они взяли с собой Горжю и втроем принялись за работу. Слышно было, как стучат камешки под ударами заступа, копавшего дерн.

Им было не по себе от близкого соседства с покойниками; часы на колокольне издавали заунывный хрип, а круглое окно на церковном фронтоне, точно человеческий

глаз, как будто следило за осквернителями святыни. Наконец они унесли купель.

На другой день они зашли на кладбище посмотреть, не осталось ли следов ограбления.

Аббат, прохлаждавшийся на пороге дома, просил их оказать ему честь своим посещением; он провел их в небольшую залу, как-то странно на них поглядывая.

На буфете, среди тарелок, стояла суповая миска, расписанная желтыми цветами.

Пекюше, не зная, как завязать разговор, расхвалил ее.

— Это старый руанский фаянс,— сказал священник,— из фамильного сервиза.

Знатоки высоко его ценят, особенно г-н Мареско. Сам же он, слава тебе, господи, не питает слабости к ценным вещам.

Так как они не понимали, к чему он клонит, аббат объявил, что своими глазами видел, как они выкапывали крестильную купель.

Оба археолога, весьма смущенные, что-то лепетали в свое оправдание. Ведь купелью уже давно никто не пользовался.

Мало ли что! Они должны ее возвратить.

Ну, разумеется! Но пусть им хотя бы разрешат позвать художника, чтобы тот срисовал купель.

— Так и быть, господа.

— Пусть это останется между нами, хорошо? — попросил Бувар.— Тайна исповеди!

Священник, улыбаясь, успокоил их.

Они боялись не столько аббата, сколько Ларсонера. По приезде в Шавиньоль он будет выклянчивать у них чашу, все разболтает, и слухи дойдут до властей. Ради предосторожности они спрятали купель в пекарню, потом в беседку, в садовую будку, в шкаф. Горжю выбивался из сил, перетаскивая ее с места на место.

Обладая такой редкостью, грешно было не увлечься кельтскими древностями Нормандии.

Оказывается, все они египетского происхождения. Город Сез, в Орнском департаменте, пишется иногда Саис, как город в дельте Нила. Галлы клялись именем быка — египтяне поклонялись быку Апису. Латинское название жителей Байе, байокасты, происходит от *Beli casa,* обиталища и святилища бога Бэла. Бэл и Озирис — одно и то же божество. «Вполне вероятно,— пишет Мангон де ла Ланд,— что в окрестностях Байе некогда находились друидические памятники». «Эта местность,— добавляет г-н Ру-

сель,— напоминает тот край, где египтяне построили храм Юпитеру-Аммону». Следовательно, там существовал храм, а в нем были заключены сокровища. Во всех кельтских памятниках хранились сокровища.

В 1715 году, как утверждает дон Мартен, некий сеньор Герибель производил раскопки в окрестностях Байе и нашел несколько глиняных урн с костями; он пришел к заключению (на основе чьих-то свидетельств и местных преданий), что здешний некрополь помещался на горе Фаунус, где погребен Золотой телец.

Однако же Золотого тельца предали сожжению и поглотили, если верить Библии!

Первым делом надо выяснить, где находится гора Фаунус. Авторы не дают никаких указаний. Местные жители ничего о ней не слыхали. Необходимо произвести здесь раскопки; с этой целью Бувар и Пекюше отправили г-ну префекту докладную записку, но ответа не получили.

Может быть, гора Фаунус исчезла, и это был не холм, а курган? Что представляют собою курганы?

Во многих из них находили скелеты, лежавшие в той же позе, как зародыш во чреве матери. Значит, гробница служила для них как бы второй утробою, где они готовились к новой жизни. Следовательно, курган — это символ женского органа, так же как камень, воздвигнутый стоймя,— органа мужского.

И действительно: там, где сохранились менгиры, процветал фаллический культ. О том свидетельствуют старинные обряды в Геранде, Шишбуше, Круазике, Ливаро. В древности башни, пирамиды, свечи, придорожные столбы и даже деревья служили эмблемой фаллоса; теперь Бувару и Пекюше повсюду чудились фаллосы. Они собирали вальки от колясок, ножки стульев, засовы от погребов, аптекарские пестики. Всем посетителям они задавали вопрос:

— На что это похоже, по-вашему?

Потом разъясняли невеждам значение символа и в ответ на протесты снисходительно пожимали плечами.

Как-то вечером, когда они изучали верования друидов, в комнату тихонько вошел аббат.

Они тут же повели его в музей и начали с окна, где красовался витраж; им не терпелось показать свою новую коллекцию фаллосов. Священник остановил их, назвав эту выставку неприличной. Он пришел с требованием вернуть ему крестильную купель.

Бувар и Пекюше умолили его потерпеть еще две недели, чтобы сделать слепок.

— Чем скорее, тем лучше,— сказал аббат.

И заговорил о другом.

Пекюше, отлучившись на минуту, сунул ему в руку двадцать франков.

Священник отшатнулся.

— Берите! Это для ваших бедняков!

Жефруа, покраснев, спрятал золотую монету в карман сутаны.

Вернуть чашу, чашу для жертвоприношений? Ни за что на свете! Они собирались даже изучить древнееврейский, который был праязыком кельтских языков, а может быть, напротив, сам от них произошел. Они мечтали объездить всю Бретань, начиная с Ренна, где должны были встретиться с Ларсонером и совместно исследовать урну, упоминаемую в трудах Кельтской академии, урну, как полагают, с прахом царицы Артемизии... Но тут к ним бесцеремонно ввалился мэр, даже не снимая шляпы, и объявил со своей обычной грубостью:

— Ну, голубчики, так не годится. Давайте ее сюда!

— О чем вы? Что такое?

— Не прикидывайтесь дурачками! Я-то знаю, где она у вас спрятана.

Кто-то их предал.

Бувар и Пекюше стали уверять, что купель хранится у них с разрешения священника.

— Это мы еще проверим.

Фуро ушел.

Через час он вернулся.

— Священник ничего вам не разрешал. Я требую объяснений.

Приятели заупрямились.

Во-первых, эта купель никому не нужна; во-вторых, это вовсе и не купель. Они могут это доказать множеством научных доводов. Наконец, они обязуются написать в завещании, что чаша принадлежит общине.

Затем они предложили ее купить.

— К тому же это моя собственность! — твердил Пекюше.

Ведь Жефруа принял от него двадцать франков — вот и доказательство! И если их вызовут к мировому судье,— тем хуже для священника: он принесет ложную присягу!

Пока решалось дело, Пекюше несколько раз ходил смотреть на суповую миску, и в нем все сильнее разгоралось желание завладеть ею. Если ему отдадут миску, он согласен вернуть купель. Если нет — пусть пеняют на себя.

Устав от споров или из боязни скандала, Жефруа уступил.

Суповая миска заняла достойное место в их коллекции рядом с кошуазским чепцом. Купель украсила церковную паперть; отдав ее, друзья утешались мыслью, что жители Шавиньоля даже не подозревают, какая это ценность.

Заполучив супницу, они увлеклись собиранием фаянса: новый предмет для изучения, новый повод рыскать по окрестностям.

В те годы было в моде собирать старую руанскую посуду. Нотариус подобрал недурную коллекцию, что́ создало ему репутацию художественной натуры, не подходящую для его профессии, но он искупал это серьезностью и рассудительностью.

Проведав, что Бувар и Пекюше присвоили суповую миску, нотариус предложил обменять ее на что-нибудь другое.

Пекюше отказал наотрез.

— Не хотите — не надо.

Мареско обследовал их керамику.

По стенам были развешаны фаянсовые блюда с синими узорами на грязно-белом фоне, рога изобилия зеленоватых и красноватых оттенков, бритвенные тазики, тарелки и блюдца — предметы, за которыми они долго охотились и приносили к себе под полой сюртука, прижимая к сердцу.

Мареско кое-что похвалил, заговорил о других сортах фаянса, испано-арабском, голландском, английском, итальянском, ослепив их своей эрудицией.

— Кстати, дайте взглянуть еще разок на вашу миску!

Постучав по ней пальцем, нотариус стал рассматривать буквы на расписной крышке.

— Это руанская марка! — пояснил Пекюше.

— Что вы! У руанского завода, собственно говоря, не было марки. Пока не прославился Мутье, весь французский фаянс делали в Невере. Так же обстоит дело и с Руаном. К тому же в Эльбефе его превосходно имитируют.

— Быть не может!

— Майолики очень легко подделать! Ваша супница не имеет никакой цены. Хорошо, что я не свалял дурака!

Когда нотариус ушел, Пекюше в изнеможении повалился в кресло.

— Незачем было возвращать купель,— упрекнул его Бувар,— вечно ты увлекаешься, вечно ты решаешь сгоряча.

— О да, я слишком увлекаюсь.

Схватив суповую миску, Пекюше швырнул ее подальше от себя, за саркофаг.

Бувар спокойно подобрал осколки; через некоторое время у него блеснула догадка:

— А ведь Мареско, может быть, все наврал из зависти!

— Не может быть!

— Кто мне докажет, что суповая миска не подлинная? А те вещи, какие он нарочно расхваливал, они-то как раз и поддельные.

Весь вечер прошел у них в спорах и горьких сожалениях.

Все же не стоило из-за этого отменять путешествие по Бретани. Они даже решили взять с собой Горжю, чтобы тот помогал им при раскопках.

С некоторых пор Горжю ночевал у них в доме, якобы для того, чтобы поскорее закончить починку ларя. Уезжать ему вовсе не хотелось; послушав их разговоры о менгирах и погребениях в Бретани, он вмешался.

— Я знаю места получше,— заявил он.— В Алжире, на юге, возле источников Бу-Мурзуг, таких погребений сколько угодно.

Он рассказал, как при нем случайно вскрыли гробницу, в которой скелет сидел на корточках, точно обезьяна, обхватив руками колени.

Ларсонер, которому они написали об этом, не поверил ни единому слову.

Бувар, развивая ту же тему, забросал археолога вопросами.

Как могло случиться, что памятники галлов столь примитивны, между тем как сами галлы в эпоху Юлия Цезаря были цивилизованным народом? По-видимому, памятники остались от более древних племен.

Подобная гипотеза, по словам Ларсонера, указывала на недостаток патриотизма.

Пусть так! И все же ничто не доказывает, что эти памятники созданы галлами. «Укажите нам источники!»

Ученый муж рассердился и перестал отвечать; Бувар и Пекюше были даже довольны: им до смерти надоели друиды.

Должно быть, они потому запутались в керамике и в кельтских древностях, что не знали истории, в частности — истории Франции.

В их библиотеке нашлось сочинение аббата Анкетиля. Но вереница «ленивых» меровингских королей не заинтересовала их, а гнусные козни их майордомов ничуть не

возмущали. Наскучив нелепыми рассуждениями Анкетиля, они отбросили книгу.

Они запросили Дюмушеля: «Какую историю Франции лучше всего прочесть».

Дюмушель записался от их имени на абонемент в библиотеке и прислал им письма Огюстена Тьерри и два тома сочинений Жену да.

По мнению этого автора, основные принципы, на коих зиждется история Франции — королевская власть, религия, национальные собрания,— восходят к эпохе Меровингов; Каролинги отступили от этих принципов, Капетинги, в согласии с народом, старались их восстановить. При Людовике XIII была установлена абсолютная власть, чтобы победить протестантизм, последний оплот феодализма, а 89-й год снова возвращает нас к государственному строю наших предков.

Пекюше эти идеи привели в восторг.

Бувар, прочитав Огюстена Тьерри, отнесся к ним с пренебрежением.

— Что ты порешь чепуху! Какая там французская нация, раз не было еще ни Франции, ни национальных собраний! И Каролинги вовсе ничего не узурпировали. А короли и не думали освобождать коммуны! Читай сам.

Пекюше признал правоту Бувара и вскоре превзошел его в строгости научных терминов. Он счел бы для себя позорным сказать «Шарлемань» вместо «Карл Великий» или «Кловис» вместо «Хлодвиг».

И все же его соблазняла теория Жену да, который так искусно сочетал начало и конец истории Франции, что середина потеряла всякое значение. Чтобы окончательно в этом удостовериться, они принялись читать Бюше и Ру.

Однако высокопарные предисловия, идеи социализма вперемежку с догматами католичества вскоре им опротивели; обилие мелких подробностей мешало видеть целое.

Они обратились к трудам Тьера.

Это было летом 1845 года; они сидели в саду, в беседке. Пекюше, поставив ноги на скамеечку, без устали читал вслух своим глухим голосом, лишь изредка делая перерыв, чтобы взять понюшку табака. Бувар слушал его, попыхивая трубкой, расставив ноги, расстегнув пояс панталон.

В детстве они слыхали рассказы стариков о 93-м годе, и эти воспоминания, почти что личные, оживляли вялые описания автора. В те времена по большим дорогам шли солдаты, распевая «Марсельезу». Женщины, сидя на по-

роге домов, сшивали парусину для палаток. Порой на улицу врывалась толпа в красных колпаках, потрясая пикой, на которой насажена была отрубленная голова, мертвенно-бледная, с развевающимися волосами. На высокой трибуне Конвента, в облаке пыли, яростно вопили ораторы, требуя смертных приговоров. Проходя мимо Тюильрийского пруда, люди слышали среди бела дня стук гильотины; казалось, будто забивают сваи.

А здесь, в беседке, ветерок играл виноградными листьями, неподалеку колыхался спелый ячмень, свиристели дрозды. Осматриваясь кругом, друзья наслаждались тишиной и спокойствием.

Какая досада, что в самом начале революции не удалось достигнуть согласия! Если бы роялисты мыслили как патриоты, если бы королевский двор был не столь лицемерен, а его противники не так жестоки, многих несчастий удалось бы избежать.

Рассуждая о революции, они спорили и горячились. Бувар, более либеральный, с чувствительным сердцем, стоял за конституцию, Жиронду, Термидор. Желчный, властолюбивый Пекюше объявил себя санкюлотом и даже последователем Робеспьера.

Он одобрял смертную казнь короля, самые жестокие декреты, культ Верховного существа. Бувар предпочитал культ Природы. Он охотно поклонялся бы изображению толстой цветущей женщины, лишь бы из ее сосков изливалась не вода, а бургундское вино.

Чтобы подкрепить свои доводы новыми фактами, они достали множество исторических трудов: Монгайяра, Прюдома, Галлуа, Лакретеля и других; противоречия в этих книгах нимало их не смущали. Каждый извлекал то, что подтверждало его взгляды.

Бувар, например, нисколько не сомневался, что Дантон был подкуплен и за сто тысяч экю проводил законы, губительные для Республики, а Пекюше уверял, будто Верньо получал за предательство по шести тысяч франков в месяц.

— Никогда в жизни! Объясни-ка лучше, за что сестра Робеспьера получала пенсию от Людовика XVIII?

— Ничего подобного! Не от Людовика, а от Бонапарта, и, коли на то пошло, скажи: с какой это особой Филипп Эгалите имел тайное свидание перед казнью? Я добьюсь, чтобы переиздали мемуары госпожи Кампан и восстановили все абзацы, вымаранные цензурой! Смерть дофина кажется мне весьма подозрительной. Когда взорвался поро-

ховой склад в Гренеле, погибло две тысячи человек! А причина якобы неизвестна — что за вздор!

Сам-то Пекюше догадывался о причине; он объяснял все преступления гнусными происками аристократов, чужеземным золотом.

У Бувара не вызывали сомнения ни слова «Вознеситесь на небо, сын святого Людовика!», ни россказни о верденских девах или о штанах из человечьей кожи. Он принял на веру подсчеты Прюдома — ровно один миллион жертв.

Но сообщение о том, будто Луара была красной от крови от Сомюра до Нанта на протяжении восемнадцати миль, заставило его призадуматься. Пекюше тоже в этом усомнился, и они перестали слепо доверять историкам.

Для одних революция — бедствие, козни дьявола. Для других — великое, необычайное событие. Побежденных с обеих сторон и те и другие писатели, разумеется, объявляют мучениками.

Тьерри утверждает, говоря о варварах, что бессмысленно допытываться, был ли тот или иной правитель плохим или хорошим. Отчего не применить тот же метод для изучения более современной эпохи? Между тем в истории обычно злодейство отомщено, порок наказан, и мы благодарны Тациту за то, что он изобличил Тиберия. Однако не все ли равно, имела королева любовников или нет, замышлял ли Дюмурье предательство в битве при Вальми, кто первый начал в прериале — Гора или Жиронда, а в термидоре — якобинцы или Равнина? В конце концов какое значение это имеет для истории революции, причины которой глубоки, а следствия неисчислимы?

Допустим, она должна была совершиться и привести к тому, к чему привела; но предположите, что королю удалось бежать, Робеспьер спасся, а Наполеон убит,— что́ зависело от случайностей, от менее бдительного трактирщика, от незапертой двери, от заснувшего часового,— и судьбы мира сложились бы иначе.

Под конец Бувар и Пекюше, окончательно запутавшись, ничего не могли сказать с уверенностью о людях и событиях той эпохи.

Чтобы судить о ней беспристрастно, следовало бы прочесть все исторические труды, все мемуары, газеты и подлинные документы, ибо малейший пропуск может повести к ошибке, ошибка к заблуждению и так без конца. Пришлось от этого отказаться.

Но у них уже развился вкус к истории, стремление к истине ради нее самой.

Быть может, легче найти ее в истории древнего мира? Писатели, далекие от тех времен, должны говорить о них беспристрастно. И они принялись читать доброго старого Роллена.

— Какая белиберда! Какой сумбур! — вскричал Бувар, прочтя несколько страниц.

— Погоди немного,— отозвался Пекюше, роясь на нижних полках в шкафу прежнего владельца, старого чудака, весьма образованного юриста.

Перебрав множество романов и пьес, вперемежку с томами Монтескье и переводами Горация, он нашел то, что искал: труды Бофора по римской истории.

Тит Ливий считает основателем Рима Ромула. Саллюстий приписывает эту честь Энею с троянцами. Кориолан, по словам Фабия Пиктора, умер в изгнании, а если верить Дионисию, был убит по наущению Аттия Тулла. Сенека утверждает, что Гораций Коклес вернулся после победы невредимым, а Дион — что он был ранен в ногу. Ла Мот ле Вайе отмечает подобные же противоречия и в истории других народов.

Ученые не согласны во мнениях о древности Халдеев, о веке Гомера, о жизни Заратустры, о двух Ассирийских царствах. Квинт Курций сочинял басни, Плутарх уличал во лжи Геродота. О Цезаре мы имели бы совсем другое представление, если бы *Записки о Галльской войне* написал Верцингеторикс.

Древняя история темна из-за недостатка источников, зато их множество в истории новой. Поэтому Бувар и Пекюше вернулись к Франции, начав с книги Сисмонди.

Там описано столько замечательных людей, что им захотелось узнать их поближе, погрузиться в ту эпоху, прочесть в подлиннике Григория Турского, Монстреле, Комина и прочих, чьи имена звучали так странно и привлекательно.

Но, не разбираясь в датах, они путали факты и события.

По счастью, они взяли с собой мнемонику Дюмушеля, книжку небольшого формата, в переплете, с эпиграфом: «Учи, забавляя!»

Она объединяла три системы — Алеви, Пари и Фенегля.

Алеви изображает числа в виде фигур: так, башня означает цифру 1, птица — 2, верблюд — 3 и так далее. Пари пользуется ребусами: кресло с гвоздями *(clou)* на

винтиках *(vis)* дает имя Кловис, а так как шипящее масло издает звук «рик, рик», то рыба на сковородке должна напомнить имя Хильперик. Фенегль делит весь мир на дома, дома на комнаты, комнату на четыре стены, стену на девять досок с особой эмблемой на каждой доске. Таким образом, первый король первой династии займет в первой комнате первую доску, а маяк *(phare)* на горе *(mont)* подскажет его имя Фарамунд по системе Пари; если же, по системе Алеви, поместить сверху зеркало, означающее 4, птицу — 2 и обруч — 0, то получится 420, дата воцарения этого короля.

Для большей ясности они занялись мнемоническими приемами в своем собственном доме, разделив его на части и связав каждую часть с каким-нибудь фактом; с этих пор их двор, сад, окрестности, вся округа, утратив прежнее значение, служили им лишь для того, чтобы развивать память. Межевые столбы в поле разграничивали отдельные эпохи, яблони обратились в родословные древа, кустарники — в битвы, весь мир — в символ. Они выискивали на стенах множество несуществующих знаков, внушали себе, что видят их воочию, но уже не помнили, какие даты они обозначают.

Впрочем, исторические даты далеко не всегда достоверны. Они вычитали в каком-то школьном учебнике, что Иисус Христос родился на пять лет раньше, чем обычно полагают, что у греков было три способа вести счет олимпиадам, а у римлян целых восемь способов летосчисления. Сколько причин для ошибок, не говоря уже о путанице в знаках зодиака, в эрах и различных календарях!

Начав с недоверия к хронологии, они дошли до пренебрежения к фактам.

Что действительно важно, так это философия истории.

Но Бувар не мог дочитать до конца рассуждения знаменитого Боссюэ.

— Этот орел из Мо просто чудак! Он забывает о существовании Китая, Индии, Америки, но зачем-то нам сообщает, что Феодосий был «радостью всей вселенной» и что Авраам «обращался с царями как с равными себе». Философия греков, по его словам, ведет начало от евреев. Его пристрастие к евреям меня раздражает.

Пекюше, согласившись с его мнением, порекомендовал ему книгу Вико.

— Как я могу поверить, будто в баснях больше правды, чем в исторических фактах? — возражал Бувар.

Пекюше попытался толковать мифы, путаясь в цитатах из *Scienza Nuova* [1] Вико.

— Не отрицаешь же ты высоких замыслов провидения?

— А откуда мне их знать? — не сдавался Бувар.

Они решили прибегнуть к помощи Дюмушеля.

Профессор признался, что в последнее время его совершенно сбили с толку.

— Историческая наука меняется день ото дня. Теперь уже оспаривают существование римских царей и путешествия Пифагора. Поносят доблестного Велизария, Вильгельма Телля, даже Сида, который, согласно последним исследованиям, был просто разбойник с большой дороги. Остается пожелать, чтобы не делали больше открытий, чтобы академия издала какие-то постановления, указав, чему следует и чему не следует верить.

В постскриптуме он прислал правила критики источников, извлеченные им из курса Дону:

«Нельзя ссылаться, как на доказательство, на свидетельства толпы, ибо проверить их невозможно.

Следует отвергать все заведомо невероятное. Павзанию, например, показали камень, якобы проглоченный Сатурном.

Архитектурные памятники тоже могут лгать, например, арка на форуме, на которой Тит назван первым покорителем Иерусалима, тогда как его еще раньше завоевал Помпей.

Монеты также иногда вводят в обман. При Карле IX выпускали монеты с чеканом Генриха II.

Остерегайтесь ловких подделывателей документов; помните, что как защитники, так и клеветники всегда пристрастны».

Мало кто из историков следовал этим правилам, зато все они освещали события тенденциозно, в интересах какой-либо религии, партии, научной теории, или же стремились обличать королей, учить народ, проповедовать высокую мораль.

Прочие историки, беспристрастно повествующие о событиях, нисколько не лучше: так как обо всем рассказать немыслимо, приходится делать выбор. Между тем на выбор документов неизбежно влияют взгляды автора, а они меняются в зависимости от положения писателя. Поэтому правдивая история никогда не будет написана.

«Как это прискорбно!» — думали они.

---

[1] Новая наука *(ит.)*.

Однако они могли бы сами взять тему, досконально изучить источники, тщательно их проверить, затем, выбрав все существенное, изложить ее в кратком рассказе и дать вполне правдивую картину событий. Пекюше считал подобную задачу вполне осуществимой.

— Хочешь, попробуем написать исторический очерк?

— Еще бы, с удовольствием! Но о чем?

— Действительно, о чем? Надо подумать.

Бувар сидел в кресле, Пекюше расхаживал взад и вперед по музею. Ему попался на глаза горшок для масла, и он остановился как вкопанный.

— А что, если нам написать биографию герцога Ангулемского?

— Так ведь он же болван!

— Мало ли что! Второстепенные лица играют подчас огромную роль, а этот герцог, кажется, заправлял всеми делами.

Они могут отыскать о нем сведения в книгах, да и граф де Фаверж что-нибудь знает о нем, если не сам, то со слов своих друзей, старых дворян.

Друзья обдумали план, все обсудили и решили для начала поехать в Кан, чтобы поработать недели две в муниципальной библиотеке и собрать нужные материалы.

Библиотекарь предоставил в их распоряжение исторические труды, брошюры и цветную литографию, изображавшую герцога Ангулемского вполоборота.

На синем сукне его мундира красовались эполеты, орденские звезды и широкая красная лента Почетного легиона. Необычайно высокий воротник стягивал длинную шею. Голову в форме груши обрамляли вьющиеся локоны и узкие бачки, а тяжелые веки, крупный нос и толстые губы придавали его лицу глуповато-добродушное выражение.

Сделав ряд выписок, друзья составили конспект.

Рождение и детские годы герцога интереса не представляют. Один из его гувернеров — аббат Гене, враг Вольтера. В Турине принц учится отливать пушки и изучает походы Карла VIII. Невзирая на молодость, его назначают командиром гвардейского полка.

1797 г. Герцог женится.

1814 г. Англичане вступают в Бордо. Он спешит за ними и охотно показывает свою особу населению. Описание наружности герцога.

1815 г. Бонапарт нападает на него. Он тут же призывает на помощь испанского короля. Тулон, в отсутствие маршала Массена, сдается англичанам.

Военные действия на юге. Герцог разбит, но отпущен на свободу под условием возвратить бриллианты короны, которые король, его дядя, поспешно спасаясь бегством, прихватил с собой.

После Ста дней он возвращается вместе с родителями в Париж и живет спокойно. Проходит несколько лет.

Испанская война. Перейдя через Пиренеи, потомок Генриха IV всюду одерживает победы. Он берет Трокадеро, доходит до Геркулесовых столпов, подавляет заговоры, обнимает короля Фердинанда и возвращается в Париж.

Триумфальные арки; девушки подносят цветы; обеды в префектуре; торжественные молебствия в соборах. Парижане в упоении. Город устраивает ему банкет. В театрах поют оды в честь героя.

Энтузиазм постепенно ослабевает. В 1827 году в Шербуре праздник, устроенный по подписке в его честь, срывается.

В качестве главного адмирала Франции он делает смотр флоту, отплывающему в Алжир.

Июль 1830 года. Мармон сообщает ему о создавшемся положении. Герцог приходит в бешенство и ранит себе руку о шпагу генерала.

Король поручает ему командовать войсками.

Он встречает в Булонском лесу армейских солдат, но, желая подбодрить их, не может связать двух слов.

Из Сен-Клу он скачет к Севрскому мосту. Войска встречают его холодно. Это его не смущает. Королевская семья покидает Трианон. Герцог садится под дубом, разворачивает карту, но, поразмыслив, снова вскакивает на коня. Проезжая мимо Сен-Сира, он обращается к воспитанникам с обнадеживающими словами.

В Рамбуйе лейб-гвардейцы прощаются с ним.

Он садится на корабль и всю дорогу страдает морской болезнью. Конец его карьеры.

В будущем труде необходимо отметить, какое значение в жизни герцога имели мосты. Сначала он напрасно щеголяет храбростью на Инском мосту; затем берет приступом мост Сент-Эспри и мост Лориоль; в Лионе оба моста оказываются для него роковыми, а перед Севрским мостом счастье ему изменяет.

Описать его достоинства. Незачем говорить о его храбрости, сочетавшейся с тонкой политикой. Он предлагал солдатам по шестидесяти франков каждому за измену императору, а в Испании пытался подкупить деньгами сторонников Конституции.

Он был настолько благоразумен, что согласился на предполагаемый брак своего отца с королевой Этрурии, на сформирование нового кабинета после Ордонансов, на отречение в пользу графа Шамбора — словом, на все, чего от него хотели.

Однако он был способен и на решительные поступки. В Анжере он разжаловал пехотный гвардейский отряд, когда солдаты, из ревности к кавалеристам, оттеснив их эскорт, окружили его таким плотным кольцом, что сдавили колени его высочества. Но потом он разгневался на кавалерию, виновницу беспорядка, и простил пехоту: поистине, мудрый суд Соломона!

Его набожность выразилась во множестве благочестивых дел, а милосердие — в том, что он добился помилования генерала Дебеля, который в свое время поднял оружие против него.

Интимные подробности, характерные черты герцога.

В детстве в замке Борегар он вместе с братом ради забавы выкопал прудик, который сохранился до сих пор. Как-то раз он посетил казарму придворных егерей, попросил стакан вина и выпил за здоровье короля.

На прогулках, печатая шаг, он бормотал про себя: «Раз, два, раз, два, раз, два!»

Сохранилось несколько его изречений.

К депутации из Бордо: «Ваше присутствие служит мне утешением в том, что я не нахожусь в Бордо».

К протестантам из Нима: «Я добрый католик, но никогда не забуду, что славнейший из моих предков был протестантом».

К воспитанникам Сен-Сира в день, когда уже все было потеряно: «Мужайтесь, друзья мои! Добрые вести! Все идет хорошо! Все отлично!»

После отречения Карла X: «Если они во мне не нуждаются, пусть устраиваются, как знают».

А в 1814 году по всякому поводу, в каждом поселке: «Война окончена, не будет больше рекрутских наборов, не будет налогов!»

Его эпистолярный стиль не уступал красноречию. Воззвания его бесподобны.

Первое, от лица графа д'Артуа, начиналось так: «Французы, брат вашего короля прибыл!»

Другое, от своего лица: «Я прибыл. Я сын ваших королей! Вы французы!»

Приказ, отданный в Байонне: «Солдаты, я прибыл».

Еще один, в день полного поражения: «Продолжайте

начатую вами борьбу с доблестью, достойной французского солдата. Франция надеется на вас!»

И последний, в Рамбуйе: «Король вступил в переговоры с правительством в Париже; все заставляет предполагать, что соглашение между ними состоится».

«Все заставляет предполагать» — неподражаемо!

— Мне только одно досадно,— заметил Бувар,— что нигде не упоминается о его сердечных делах.

Они сделали заметку на полях: *Разузнать о любовных похождениях герцога.*

Перед их уходом библиотекарь, спохватившись, показал им еще один портрет герцога Ангулемского.

Здесь он был изображен в профиль, в мундире кирасирского полковника, с прищуренным глазом, с раскрытым ртом и гладкими развевающимися волосами.

Как согласовать эти два портрета? Гладкие были волосы у герцога или кудрявые, а может быть, он завивался из кокетства?

По мнению Пекюше, это был чрезвычайно важный вопрос, ибо на рост волос влияет темперамент, а от темперамента зависит характер.

Бувар полагал, что ничего нельзя сказать о человеке, если не знаешь о его страстях. Чтобы выяснить эти два вопроса, друзья отправились с визитом в замок де Фавержа. Графа не было дома; это задерживало их ученый труд. Раздосадованные, они повернули назад.

Ворота их усадьбы были раскрыты настежь, кухня пуста. Они поднялись по лестнице и, к своему удивлению, застали в спальне Бувара — кого же? — г-жу Борден, которая с любопытством осматривалась по сторонам.

— Извините,— сказала она с деланной улыбкой,— я уже битый час разыскиваю вашу кухарку, хочу спросить у нее совета насчет варенья.

Служанку они нашли в дровяном сарае; она крепко спала, сидя на стуле. Ее растолкали.

— Чего вам еще? Опять будете приставать с вопросами?

Было ясно, что в их отсутствие г-жа Борден о чем-то ее выспрашивала.

Очухавшись, Жермена заявила, что у нее болит живот.

— Я останусь поухаживать за вами,— решила вдова.

Тут во дворе мелькнул большой чепец с развевающимися оборками. Это была фермерша, г-жа Кастильон. Она громко кричала:

— Горжю! Горжю!

А с чердака высунулась их молоденькая служанка и дерзко ответила:

— Его здесь нет!

Через пять минут она сошла вниз, взволнованная, с пылающими щеками. Бувар и Пекюше сделали ей выговор за нерадивость. Она безропотно помогла им снять гетры.

После этого они пошли взглянуть на ларь.

Куски его были раскиданы по всей пекарне, резные украшения сбиты, створки сломаны.

При этом зрелище, при этой новой неудаче Бувар чуть не расплакался, а Пекюше весь затрясся.

Горжю, откуда-то появившись, объяснил, как вышло дело: он вынес ларь наружу, чтобы покрыть лаком, а во двор забрела корова и опрокинула его.

— Чья корова? — спросил Пекюше.

— Почем я знаю?

— Вы опять не заперли ворота, как в тот раз! Это вы во всем виноваты!

И вообще довольно! Слишком долго он им морочит голову. Не нужны им ни он сам, ни его работа.

Напрасно господа сердятся. Беда не так уж велика. Не пройдет и трех недель, как он все исправит. Горжю, уговаривая, проводил их до кухни, куда, охая, притащилась Жермена стряпать обед.

Хозяева заметили на столе бутылку кальвадоса, на три четверти пустую.

— Это вы ее выхлестали? — спросил Пекюше, повернувшись к Горжю.

— Я? И не думал!

Бувар вмешался:

— Вы же единственный мужчина в доме.

— А бабы разве не пьют? — возразил работник, скосив глаза на Жермену.

— Скажи уж прямо, что это я! — взвизгнула старуха, перехватив его взгляд.

— Конечно, ты!

— Уж не я ли и сундук сломала?

Горжю перевернулся на каблуках.

— Вы что, не видите? Она же вдрызг пьяна!

Началась отчаянная перепалка; Горжю, бледный как полотно, поддразнивал ее, кухарка, побагровев от ярости, вырывала клочья седых волос из-под ситцевого чепчика, г-жа Бсрден защищала Жермену, Мели заступалась за Горжю.

Старуха вопила:

— Стыд и срам! Целый день валяются под кустами, мало им ночи! Парижское отродье, бездельник, со всеми бабами путается. Ходит к нашим хозяевам да плетет им всякие небылицы!

Бувар вытаращил глаза.

— Какие небылицы?

— Да над вами все издеваются!

— Я не позволю издеваться над собой! — вскричал Пекюше.

Возмущенный этой дерзостью, да еще после стольких неприятностей, он выгнал вон кухарку; пусть убирается куда хочет. Бувар не противился этому решению, и они ушли к себе, оставив рыдавшую Жермену с г-жой Борден, которая пыталась ее утешить.

Вечером, несколько успокоившись, друзья принялись обсуждать дневные происшествия; они ломали себе голову, выясняя, кто же выпил кальвадос, кто разбил ларь, что здесь понадобилось г-же Кастильон, зачем она звала Горжю и не обесчестил ли он Мели.

— Мы понятия не имеем, что происходит у нас в доме,— вздохнул Бувар,— а сами пытаемся узнать, какие волосы и какие любовные похождения были у герцога Ангулемского!

— Сколько вопросов, не менее важных и еще более трудных! — добавил Пекюше.

Из всего этого они вывели заключение, что факты — еще не все. Необходимо дополнить их психологией. Без воображения история мало чего стоит.

— Выпишем несколько исторических романов! — решили они.

V

Сперва они прочитали Вальтера Скотта.

Им как бы открылся новый, неведомый мир.

Люди давних времен, которых они знали по именам и лишь смутно себе представляли, вдруг оказались живыми, стали королями, принцами, колдунами, слугами, лесничими, монахами, цыганами, купцами и солдатами; они спорят, сражаются, путешествуют, торгуют, едят и пьют, поют и молятся в оружейной зале дворца, на грязной скамье трактира, на извилистых городских улочках, под навесом лавчонки, за оградой монастыря. Искусно подобранные пейзажи обрамляют действие, точно декорации в

театре. Вы видите, как всадник скачет галопом по песчаным дюнам. Вы вдыхаете свежий ветер, гуляющий в зарослях терновника. Луна озаряет лодку, скользящую по озеру, рыцарские латы сверкают на солнце, дождь поливает ветви лесных шалашей. Бувар и Пекюше верили в сходство этих картин с действительностью, хотя совершенно ее не знали. Для них иллюзия была полная. Всю зиму они провели за чтением.

Сразу после завтрака они усаживались у камина в маленькой зале, друг против друга, и, уткнувшись в книгу, молча читали каждый свое. Когда начинало темнеть, ходили вдвоем на прогулку по большаку, потом наспех обедали и продолжали читать до глубокой ночи. Чтобы защитить глаза от света лампы, Бувар надевал синие очки, а Пекюше надвигал на лоб козырек своего картуза.

Жермена и не думала брать расчет, Горжю иногда появлялся и что-то копал в саду, но хозяева ко всему относились безразлично: они забыли о материальных интересах.

Одолев Вальтера Скотта, они взялись за романы Александра Дюма, увлекательные, точно картины волшебного фонаря. Его герои, ловкие, как обезьяны, сильные, как быки, веселые, как птицы, появляются внезапно, говорят громко, прыгают с крыши на мостовую, получают смертельные раны и выздоравливают, пропадают без вести и снова оживают. Подземные ходы, противоядия, переодевания — все переплетается, мелькает, стремительно распутывается, не давая вам ни минуты передышки. Любовники держатся благопристойно, фанатики веселы, сцены резни вызывают улыбку.

После этих двух блестящих мастеров Бувар и Пекюше стали привередливы и не могли вынести пустословия Велизария, глупости Нумы Помпилия, выдумок Маршанжи и виконта д'Арленкура.

Фредерик Сулье, как и Библиофил Жакоб, показались им бесцветными, а Вильмен возмутил своим невежеством, описав на стр. 85 *Ласкариса* некую испанку, которая курит трубку, «длинную арабскую трубку», в середине XV века.

Пекюше, задумав проверить Дюма с научной точки зрения, начал наводить справки во *Всеобщей биографии*.

В романе *Две Дианы* автор ошибается в хронологии. Бракосочетание дофина Франсуа состоялось не 20 марта 1549 г., а 15 октября 1548 г. Откуда автор взял (см. *Паж герцога Савойского)*, что Екатерина Медичи после смерти супруга хотела снова начать войну? Мало вероятно, будто герцога Анжуйского короновали ночью, в церкви, как это

увлекательно описано в *Графине де Монсоро*. В особенности кишит ошибками *Королева Марго*. Герцог Неверский никуда не уезжал. Он присутствовал на совете перед Варфоломеевской ночью, а Генрих Наваррский четырьмя днями позже не следовал за процессией. Генрих III не так скоро вернулся из Польши. К тому же, какое изобилие банальностей! Чего стоит чудо с боярышником, балкон Карла IX, отравленные перчатки Жанны д'Альбре! Пекюше утратил доверие к Дюма.

Даже к Вальтеру Скотту он потерял всякое уважение, обнаружив ряд ошибок в *Квентине Дорварде*. Убийство епископа Льежского произошло на пятнадцать лет позже. Жену Роберта Ламарка звали Жанна д'Аршель, а не Гамелина де Круа. Его вовсе не убивал солдат, а казнил Максимилиан. Лицо Карла Смелого, когда нашли его труп, не могло выражать угрозу, потому что его наполовину съели волки.

Бувар все же продолжал читать Вальтера Скотта, но и ему в конце концов надоели бесконечные повторения. Героиня обычно живет в деревне с престарелым отцом, а ее возлюбленный, кем-то похищенный в детстве, непременно добивается восстановления в правах и торжествует над всеми соперниками. Всюду появляются нищий философ, угрюмый владелец замка, невинная девушка, весельчак слуга, всюду раздражают вас длиннейшие диалоги, жеманная стыдливость, полное отсутствие глубоких мыслей.

По горло сытый стариной, Бувар взялся за Жорж Санд. Он восхищался прелестными изменницами и благородными любовниками, ему хотелось самому стать Жаком, Симоном, Бенедиктом, Лелио и жить в Венеции. Он вздыхал, не узнавал сам себя, чувствовал себя обновленным.

Пекюше, работая над исторической литературой, изучал пьесы.

Он залпом прочитал двух Фарамундов, трех Хлодвигов, четырех Карлов Великих, несколько Филиппов Августов, множество Орлеанских дев, порядочное число маркиз де Помпадур и заговоров Селламаре.

Почти все драмы показались ему еще глупее романов, ибо существует особая, приспособленная для театра история, не терпящая никаких изменений. Людовик XI в каждой пьесе непременно преклоняет колени перед образками на своей шляпе, Генрих IV шутит и веселится, Мария Стюарт непрерывно плачет, Ришелье выказывает жестокость. Словом, каждый характер, из любви к простоте, из уважения к невежеству публики, изображен одной какой-

нибудь краской; поэтому драматург, вместо того чтобы возвышать, унижает зрителя, вместо того чтобы поучать, сбивает с толку.

Хвалебные отзывы Бувара о Жорж Санд побудили Пекюше прочесть *Консуэло, Ораса, Мопра,* и он был восхищен защитою угнетенных, социальными и республиканскими идеями.

Бувар, напротив, считал, что тенденции вредят повествованию, и выписал из библиотеки ряд любовных романов.

Они по очереди прочли друг другу вслух *Новую Элоизу, Дельфину, Адольфа, Урику.* Но слушателя невольно одолевала зевота, читающий заражался от него и вскоре, задремав, ронял книгу на пол.

Все эти авторы возмущали их тем, что ничего не говорили о среде, эпохе, костюмах своих героев. Они писали только о сердечных переживаниях, исключительно о чувствах. Как будто в мире не существует ничего другого!

Пробовали они читать и юмористические произведения вроде *Путешествие вокруг моей комнаты* Ксавье де Местра, *Под липами* Альфонса Карра. В книгах такого рода принято делать отступления — рассказать между делом о своей собаке, домашних туфлях или любовнице. Подобная непринужденность сначала понравилась им, потом показалась нелепой, ибо автор, выставляя напоказ свою особу, вредит самому произведению.

Испытывая потребность в увлекательном чтении, они погрузились в романы приключений; интрига захватывала их тем сильнее, чем была запутаннее, необычайнее, невероятнее. Они ломали себе голову, стараясь угадать развязку, и весьма преуспели в этом искусстве, но им надоела такая забава, недостойная серьезных умов.

Великое творение Бальзака восхитило их: оно было подобно Вавилонской башне и вместе с тем пылинке под микроскопом. Самые обыкновенные вещи открылись им в повом свете. Они и не подозревали, что современная жизнь представляет столь глубокий интерес.

— Какой тонкий наблюдатель! — удивлялся Бувар.

— А по-моему, он фантазер,— возражал Пекюше.—Он верит в магию, в монархию, в величие дворянства, преклоняется перед негодяями, ворочает миллионами, точно сантимами, а его буржуа — не буржуа, а настоящие гиганты. Зачем так возвеличивать пошлость, зачем описывать столько глупостей! Он сочинил один роман о химии, другой — о банках, третий — о типографских машинах, вроде некое-

го Ригара, который показал «извозчика», «водоноса», «уличного торговца». Погоди, он еще нам опишет все ремесла, все провинции, все города подряд, и каждый этаж в доме, и каждого человека, но это уже будет не литература, а статистика или этнография.

Бувару не было дела до литературных приемов. Ему хотелось получше узнать, поглубже изучить историю нравов. Он перечел Поль де Кока, перелистал старые томики *Отшельника с Шоссе д'Антен.*

— Как ты можешь тратить время на такую чепуху! — возмущался Пекюше.

— Но ведь это любопытнейшие документы для будущих исследователей.

— Пошел ты к черту со своими документами! Я хочу чего-то возвышенного, отвлекающего от обыденной жизни.

Пекюше, обуреваемый стремлением к идеалу, постепенно приучил Бувара читать трагедии.

Отдаленные времена, когда происходит действие, благородство героев, столкновение их интересов,— все казалось им исполненным величия.

Однажды Бувар, раскрыв *Аталию,* так выразительно прочел сцену сна, что Пекюше тоже захотелось подекламировать. Но с первых же фраз его чтение превратилось в монотонное жужжание. Голос у него, хотя и громкий, был глухой и невнятный.

Бувар, как опытный декламатор, посоветовал ему, для развития гибкости голоса, распевать гаммы, последовательно повышая и понижая звук, от самого низкого тона до самого высокого; он и сам занимался такими упражнениями по утрам, в постели, лежа на спине, как учили древние греки. Пекюше, проснувшись, развивал голосовые связки тем же способом; они затворяли дверь и, каждый порознь, орали во всю глотку.

В трагедиях им особенно нравились политические речи, пафос, обличения пороков.

Они выучили наизусть самые знаменитые диалоги Расина и Вольтера и декламировали их, расхаживая по коридору. Бувар выступал торжественно, как на сцене Французской комедии, опираясь на плечо Пекюше, делал паузы, вращал глазами, простирал руки, горько жалуясь на превратности судьбы. Он великолепно изображал скорбные вопли в *Филоктете* Лагарпа, предсмертную икоту в *Габриель де Вержи,* а когда играл Дионисия, тирана Сиракузского, то при словах: «Чудовище, достойное меня!», бросал

на сына такой испепеляющий взгляд, что Пекюше даже аабывал свою роль от страха. Ему не хватало природных данных, зато в доброй воле недостатка не было.

Как-то в *Клеопатре* Мармонтеля он вздумал изобразить шипение змеи, которое испускал автомат, изобретенный для театральной постановки Вокансоном. Над этим искусственным эффектом они хохотали до вечера. Трагедия сильно упала в их глазах.

Бувару первому она надоела, и, не скрывая своего разочарования, он стал доказывать, до какой степени она ходульна и нежизненна, как шаблонны ее приемы, как нелепа в ней роль наперсников.

Они перешли к комедии, которая учит искусству оттенков. Там надо расчленять фразы, подчеркивать ударения, растягивать слоги. Пекюше не мог этого осилить и с треском провалился в роли Селимены.

Впрочем, уверял он, любовники там слишком холодны, резонеры нестерпимо скучны, слуги назойливы, а Клитандр и Сганарель столь же неестественны, как Эгисф и Агамемнон.

Оставалась серьезная комедия или мещанская трагедия, где отцы семейства бедствуют, слуги спасают господ, богачи приносят в дар свое состояние, где действуют невинные белошвейки и подлые соблазнители; подобные сюжеты повторяются от Дидро до Пиксерекура. Тривиальность всех этих пьес, проповедующих добродетель, их возмутила.

Зато драмы 1830 года очаровали их своей красочностью, движением, юным пылом.

Друзья не видели никакой разницы между Виктором Гюго и Бушарди,— главное, что декламировать надо было не в напыщенной и жеманной, а в чувствительной, свободной манере.

Однажды Бувар пытался объяснить Пекюше приемы игры Фредерика Леметра, как вдруг появилась г-жа Борден в зеленой шали, с томиком Пиго-Лебрена в руках; любезные соседи иногда давали ей почитать романы, и она хотела обменять книгу.

— Пожалуйста, продолжайте!

Оказывается, она пришла уже несколько минут назад и слушала их с удовольствием.

Хозяева извинялись, она настаивала.

— Боже мой! Да мы ничего не имеем против!..— сказал Бувар.

Пекюше, отнекиваясь из ложной скромности, возразил,

что они не могут играть, не подготовившись, без костюмов.

— В самом деле! Нам надо переодеться.

Бувар оглянулся кругом, но не нашел ничего, кроме фески, которую тут же и напялил.

В коридоре им показалось тесно, и они перешли в залу.

По стенам бегали пауки, бархатная мебель покрылась пылью от геологических образцов, валявшихся грудами на полу. На кресло почище постелили тряпку и усадили г-жу Борден.

Надо было представить ей какую-нибудь эффектную сцену. Бувар стоял за *Нельскую башню*. Но Пекюше опасался ролей, которые требуют слишком много действия.

— Ей больше понравится что-нибудь классическое! Не выбрать ли, например, *Федру?*

— Идет.

Бувар рассказал сюжет.

— Это царица; у ее мужа есть сын от первого брака. Она безумно влюблена в юношу. Все понятно? Начнем.

> Да, государь, горю, томлюсь я по красавцу,
> Люблю его!

Он обращался к профилю Пекюше, восхвалял его осанку, лицо, его гордую голову, огорчался, что не встретил его на греческом корабле, жаждал заблудиться вместе с ним в лабиринте.

Кисточка красной фески нежно трепетала, добродушное лицо пылало любовью, дрожащий голос умолял жестокого сжалиться над его страстью. Пекюше, отвернувшись, громко пыхтел, чтобы изобразить волнение.

Госпожа Борден, остолбенев, таращила глаза, точно ей показывали фокусы. Мели подслушивала за дверью. Горжю, без пиджака, заглядывал в окно.

Бувар начал второй отрывок. Он искусно представлял безумную страсть, угрызения совести, отчаянье и в конце концов бросился на воображаемый меч с такой силой, что, споткнувшись о камни, чуть было не растянулся на полу.

— Это ничего, не обращайте внимания! Тут появляется Тезей, и она принимает яд.

— Бедная женщина! — вздохнула г-жа Борден.

Они попросили гостью самой выбрать какую-нибудь сцену.

Это затруднило госпожу Борден. Она видела только три пьесы: *Роберта Дьявола* в Париже, *Молодого супруга* в

Руане и еще одну забавную вещицу в Фалезе под названием *Продавец уксуса.*

Наконец Бувар предложил сыграть Тартюфа, сцену из третьего действия.

Пекюше счел необходимым дать объяснение:

— Надо вам сказать, что Тартюф...

Госпожа Борден перебила его:

— Все знают, кто такой Тартюф!

Бувару понадобилось для одного диалога женское платье.

— У нас есть только монашеская сутана,— сказал Пекюше.

— Все равно, надень хоть ее!

Переодевшись, тот вернулся с томиком Мольера.

Начало сцены прошло тускло. Но когда Тартюф стал поглаживать Эльмиру по коленке, Пекюше рявкнул жандармским басом:

Нельзя ли руку снять?

Бувар тут же подал реплику елейным тоном:

Я платье щупаю. Как ткань его приятна!

Он закатывал глаза, выпячивал губы, сопел с чрезвычайно похотливым видом, обращаясь прямо к г-же Борден.

Страстные взгляды Бувара ее смущали, и когда он замер в смиренной позе, весь трепеща, она чуть не подала ему реплику.

Пекюше ответил, заглянув в книгу:

Вполне любовное признание я слышу.

— О да! — воскликнула гостья.— Это опытный соблазнитель.

— Не правда ли? — самодовольно заметил Бувар.— А вот еще сценка в более современном вкусе.

Сняв сюртук, он уселся на камень побольше и продекламировал, запрокинув голову:

Огни твоих очей мне проникают в очи.
Спой песню, как в ночи певала ты не раз,
И слезы искрились во взгляде черных глаз.

«Это он про меня»,— подумала она.

Блаженство будем пить! Ведь чаша налита,
Ведь этот час — он наш! Все прочее — мечта!

— Какой вы странный!

Вдова кокетливо посмеивалась; грудь ее вздымалась, зубки блестели.

Не сладостно ль, скажи, любить и быть любимой
Так, на коленях...

Он опустился на колени.

— Ах, перестаньте!

Дай спать и видеть сны на персях у тебя,
О донья Соль, любовь моя, краса...

— Тут звонят колокола и какой-то горец прерывает их...

— Как раз вовремя. Если бы он не вошел...

Г-жа Борден улыбнулась, не закончив фразы. Спускались сумерки. Она поднялась.

Недавно шел дождь, и в буковой роще стало сыро, удобнее было вернуться полями. Бувар проводил гостью через сад, чтобы отпереть ей калитку.

Они молча шли мимо подстриженных кустов. Он еще не успокоился после своей декламации, она была ошеломлена, захвачена очарованием поэзии. Ведь искусство порою потрясает даже заурядных людей, и самый бездарный исполнитель может раскрыть перед вами целые миры.

Солнце, выглянув из-за туч, блестело на листьях деревьев, вспыхивало яркими пятнами в зарослях кустарника. По стволу старой срубленной липы скакали, чирикая, три воробья. Терновник распускался розовыми цветами, тяжелые ветви сирени клонились к земле.

— Как здесь хорошо! — сказал Бувар, вдыхая свежий воздух полной грудью.

— А вы, наверное, совсем измучились!

— Талантом я не могу похвалиться, но темперамент у меня есть, это бесспорно.

— Сразу видно...— произнесла она, запинаясь,— что вы любили... когда-то... в прошлом.

— Вы думаете, только в прошлом?

Она остановилась.

— Не знаю.

«На что она намекает?»

Бувар почувствовал, как у него забилось сердце.

Чтобы обойти большую лужу на песке, они направились в буковую аллею.

Заговорили о представлении.

— Откуда взята ваша последняя сцена?

— Это из драмы «Эрнани».

— Вот как!

Г-жа Борден продолжала задумчиво, точно про себя:

— Как должно быть приятно, когда мужчина говорит женщине такие слова в жизни!..

— Я готов, только прикажите! — воскликнул Бувар.

— Вы?

— Да, я!

— Вы шутите!

— Нисколько!

Оглянувшись по сторонам, он обнял ее за талию и крепко поцеловал в шею.

Она сильно побледнела и схватилась рукою за дерево, как будто боялась лишиться чувств; потом открыла глаза и покачала головой.

— Все прошло.

Бувар смотрел на нее, оторопев.

Когда он отворил калитку, она остановилась на пороге. За оградой, в канаве текла вода. Г-жа Борден подобрала юбки с оборками и замерла в нерешительности.

— Позвольте, я помогу вам.

— Нет, не надо.

— Почему же?

— Ох, вы опасный человек!

Когда она перескакивала через канаву, мелькнул ее белый чулок.

Бувар не мог себе простить, что не воспользовался случаем. Ничего, в следующий раз он своего не упустит! Да и не все женщины одинаковы: на одних надо напасть врасплох, с другими смелость портит все дело. В сущности, он был доволен собой, и если не похвастался Пекюше своим успехом, то отнюдь не из деликатности, а из боязни нелестных замечаний.

С этого дня они начали декламировать перед Мели и Горжю, очень сожалея, что у них нет другой публики.

Молоденькая служанка забавлялась от души, хотя решительно ничего не понимала; ее восхищала плавная речь, завораживало журчание стихов. Горжю рукоплескал философским тирадам в трагедиях, защитникам народа — в мелодрамах. Бувар и Пекюше, пораженные его тонким вкусом, задумали давать ему уроки, чтобы в будущем сделать из него актера. Работник был в восторге от такой перспективы.

Слух об их занятиях распространился в округе. Вокорбей насмехался над ними в глаза. Почти все относились к ним с презрением.

Тем выше они ценили друг друга. Оба всецело посвятили себя искусству. Пекюше отрастил усы, а Бувар, плешивый и круглолицый, не нашел ничего лучше, как носить прическу «под Беранже».

Наконец они решили сочинить пьесу.

Самое трудное было найти сюжет.

Они придумывали его за завтраком; пили кофе — напиток, необходимый при умственной работе, вдобавок пропускали еще два-три стаканчика. Потом, немного соснув, спускались во фруктовый сад, гуляли, выходили за ограду, чтобы вдохновиться природой, долго бродили вдвоем и возвращались в полном изнеможении.

Или же запирались на ключ, каждый в своей комнате. Бувар убирал стол, аккуратно раскладывал бумагу, обмакивал перо в чернила и застывал неподвижно, вперив глаза в потолок. Пекюше садился в кресло и погружался в размышления, вытянув ноги и опустив голову на грудь.

Изредка они ощущали трепет, проблеск какой-то мысли, но, едва мелькнув, она тут же ускользала.

Есть же, однако, способы сочинять сюжеты! Можно взять наудачу любое заглавие и наполнить его содержанием, или подробно изложить смысл какой-нибудь пословицы, или соединить несколько событий в одно. Ни один из этих способов им не пригодился. Напрасно они перелистали сборники анекдотов, тома нашумевших судебных процессов, груду исторических книг.

Они мечтали, что их пьесу сыграют в «Одеоне», обсуждали прежние спектакли, с тоской вспоминали Париж.

— Я был создан, чтобы стать писателем, а не прозябать в глуши,— говорил Бувар.

— Я тоже,— вторил Пекюше.

Однажды их осенило: им потому все дается с таким трудом, что они не знают правил.

Приятели начали усердно изучать правила по руководству *Практика театра* д'Обиньяка и по другим, не столь устаревшим сочинениям.

Там обсуждаются весьма важные вопросы: можно ли писать комедию стихами? Не нарушает ли трагедия своих законов, заимствуя фабулу из современной истории? Должны ли герои быть добродетельны? Какие типы негодяев допустимы в трагедии? До каких пределов могут доходить ужасы на сцене? То, что отдельные части должны соответствовать целому, интерес постепенно повышаться, а конец согласоваться с началом — это сомнений не вызывало.

Чтобы привлечь меня, изобретай пружины,—

говорит Буало.

Каким же образом изобретать пружины?

Пусть чувство, что во всех твоих словах бушует,
Находит путь к сердцам, их греет и волнует.

Как согревать сердца?

Следовательно, одних правил недостаточно; кроме них, нужен еще талант.

Таланта тоже недостаточно. Корнель, по утверждению Французской академии, ничего не смыслил в театре. Жоффруа ополчался на Вольтера. Сюблиньи осмеивал Расина. Лагарп не мог слышать имени Шекспира.

Пресытившись старой театральной критикой, Бувар и Пекюше решили ознакомиться с критикой современной и выписали газеты с отчетами о пьесах.

Какая самоуверенность! Какая тупость! Какая недобросовестность! Грубые нападки на шедевры, хвалебные отзывы о всякой пошлятине. Театралы, слывущие знатоками,— просто ослы, критики, знаменитые своим остроумием,— глупцы.

Может быть, следует прислушаться к мнению публики?

Но произведения, имевшие шумный успех, часто им совсем не нравились, а в пьесах освистанных многое их привлекало.

Итак, суждения людей со вкусом ошибочны, а пристрастия толпы необъяснимы.

Бувар попросил совета у Барберу. Пекюше написал Дюмушелю.

Бывший коммивояжер подивился, что старина Бувар так быстро отупел в провинции; совсем опустился бедняга, прямо выжил из ума.

Театр, ответил он, просто лакомство, одна из многих приманок Парижа. На спектакли ходят ради развлечения. Что вас позабавило, то и хорошо.

— Экий болван! — возмущался Пекюше.— То, что забавляет его, не забавляет меня, да и ему и всем прочим скоро наскучит. Если пьесы пишут только для сцены, то почему лучшие из них все читают и перечитывают?

И он стал ждать ответа от Дюмушеля.

Профессор написал, что успех пьесы у зрителей ничего не доказывает. *Мизантроп* и *Аталия* провалились. *Заиру* не поняли. Кто помнит в наши дни о Дюканже или Пикаре? Перечисляя все нашумевшие спектакли последнего

времени, от *Музыкантши Фаншон* до *Рыбака Гаспардо*, он горько сокрушался об упадке театрального искусства. Всему виною пренебрежение к литературе или, вернее, к стилю.

Друзья задались вопросом: что, собственно, представляет собою стиль? С помощью книг, указанных Дюмушелем, они постигли тайну учения о стилях.

Как писать стилем высоким, средним и низким? Какие обороты благородны, какие слова грубы? «Псы» в сочетании с эпитетом «лютые» звучат возвышенно. «Изрыгать» употребляется лишь в переносном смысле. «Лихорадка» применяется при изображении страстей. Слово «доблесть» прекрасно подходит для стихов.

— Давай сочинять стихи! — предложил Пекюше.

— Потом! Займемся сначала прозой.

Начинающим писателям рекомендуется взять за образец одного из классиков и подражать ему; однако этот путь опасен, ибо все классики грешили не только против стиля, но и против языка.

Подобное предостережение привело Бувара и Пекюше в замешательство, и они начали изучать грамматику.

Существует ли в нашем языке определенный и неопределенный член, как в латинском? Одни ученые утверждают, что да, другие, что нет. Друзья не пришли ни к какому решению.

Существительное всегда согласуется с глаголом, кроме тех случаев, когда не согласуется.

Прежде не было различия между отглагольным прилагательным и причастием. Ныне академия указывает на это различие, хотя его и трудно уловить.

Они рады были узнать, что некоторые местоимения обозначают одушевленные предметы, а также неодушевленные, между тем как другие обозначают неодушевленные предметы, но иногда и одушевленные.

Как правильнее сказать: «Я не знаю э т у женщину» или «Я не знаю э т о й женщины»? «Я обругал м о ю жену» или «Я обругал с в о ю жену»? «Все, кто слуш а е т» или «Все, кто слуша ю т»?

Другие трудные вопросы: Расин и Буало не видели разницы между словами «вокруг» и «кругом». Для Массильона и Вольтера «внушать» и «обманывать» были синонимами. Лафонтен путал глаголы «каркать» и «квакать», хотя, несомненно, умел отличить ворону от лягушки.

Правда, составители грамматик часто расходятся во мнениях. Одни видят совершенство там, где другие нахо-

дят ошибки. Ученые провозглашают принципы, отвергая следствия, принимают следствия, отрицая принципы, ссылаются на традиции, не признавая авторитет мастеров, и нередко вдаются в излишние тонкости. Менаж утверждает, что вместо «суреппца» следует писать «сурепка», вместо «сахарный песок» — «песочный сахар». Бугур пишет «гиерархпя» вместо «иерархия», а Шапсаль выдумывает какие-то «блестёнки в супе».

Многое прпводило Пекюше в педоумение и у Женена. Неужели «об несчастье» лучше, чем «о несчастье»? Почему «раненый» пишет через одно Н, а «раненпый в живот» — через два? Отчего «подмышки» пишутся вместе, а «взять под мышки» отдельно? Этак вы можете «нести кошку под мышкой»? Оказывается, при Людовике XIV вместо «Ром» и господин «де Лион» произносили «Рум» и господин «де Лиун».

Литре совсем их доконал, заявив, что грамматика никогда не была точной наукой и никогда не будет.

Из этого они заключили, что синтаксис — фантазия, а грамматика — иллюзия.

Недавно, впрочем, они прочли в новом учебнике риторики, что надо писать, как говоришь, и все будет хорошо, если автор живо чувствовал и много наблюдал.

Они не сомневались, что испытали в своей жизни глубокие чувства и собрали запас наблюдений, а потому вполне способны писать. В пьесах слишком тесные рамки, много условностей, зато роман предоставляет больше свободы. Чтобы сочинить роман, они принялись копаться в своих воспоминаниях.

Пекюше вспомнил одпого из начальников в конторе, преподлого субъекта, и злорадно готовился отомстить ему в книге.

Бувар встречал в кабачках забулдыгу, старого учптеля чистописания. Ничего забавнее и выдумать нельзя.

К концу недели они порешили соединить эти два лица в одно и перешли к другпм персонажам: женщпна, которая губит всю семью; жена, муж и любовник; женщина, оставшаяся добродетельной поневоле, пз-за своего уродства; честолюбец; дурной священник.

Этим смутным теням они пытались придать черты живых людей, хранившиеся в их памяти; кое-что вычеркивали, кое-что добавляли.

Пекюше счптал главным идеи и чувства, Бувар — образность и колорит; они расходились во мнепиях, и каждый удпвлялся, что его друг так ограничен.

Быть может, наука, называемая эстетикой, придет им на помощь и разрешит их разногласия. Один из друзей Дюмушеля, профессор философии, прислал им список трудов на эту тему. Они изучали их порознь, после чего делились впечатлениями.

Прежде всего что такое прекрасное?

Согласно Шеллингу, это бесконечное, воплощенное в конечном. Для Рида — непознаваемое качество. Для Жоффруа — нечто нерасторжимое. Для де Местра — то, что согласуется с добродетелью. Для отца Андре — то, что соответствует разуму.

Существует несколько видов прекрасного. Прекрасное в науке — геометрия. Прекрасное в мире нравственном: смерть Сократа, бесспорно, была прекрасна. Прекрасное в животном царстве: прекраснейшее свойство собаки — ее чутье. Свинья не может быть прекрасной из-за ее гнусных привычек, змея — из-за того, что вызывает в нас мысль о низости.

Цветы, бабочки, птицы могут быть прекрасны. Наконец, главное условие прекрасного, основной его принцип — это единство в разнообразии.

— Однако же,— заметил Бувар,— два косых глаза разнообразнее двух прямых, а на вид совсем не так красивы!

Они приступили к проблеме возвышенного.

Некоторые явления возвышенны сами по себе: бурный поток, глубокий мрак, дерево, сломанное бурей. Герой прекрасен, когда торжествует, и возвышен, когда сражается.

— Понимаю,— сказал Бувар,— прекрасное — это прекрасное, а возвышенное — это чрезвычайно прекрасное. Как же, однако, их различить?

— Внутренним чутьем,— ответил Пекюше.

— А чутье откуда?

— От вкуса.

— Что такое вкус?

Вкус определяется как особое дарование, быстрота суждений, умение различать оттенки прекрасного.

— Короче говоря, вкус — это вкус, и все-таки непонятно, откуда он берется.

Необходимо обладать чувством меры, но понятие меры меняется; как ни совершенно произведение, оно не может быть безупречно. Прекрасное нерушимо и неизменно, но мы не знаем его законов, ибо происхождение его таинственно.

Идея не может быть выражена в любой форме, вследствие чего между искусствами существуют границы, а

каждое искусство разделяется на виды; когда же различные виды сочетаются, то стиль одного проникает в другой, дабы не отклониться от цели, не нарушить художественной правды.

Слишком точное следование правде вредит красоте, а чрезмерная приверженность красоте искажает правду; вместе с тем без стремления к идеальному не существует правды,— вот ночему тины более реальны, чем нортреты. Искусство стремится к нравдонодобию, но правдоподобие зависит от наблюдающего лица, и нотому это нонятие весьма относительное.

Они нутались в рассуждениях, и Бувар все меньше и меньше верил в эстетику.

— Или это все чепуха, или ее строгие правила должны подтверждаться нримерами. А теперь послушай!

Он прочитал заметку, ради которой ему пришлось немало поконаться в книгах:

— «Бугур ставит в вину Тациту отсутствие простоты, какой требует история.

Профессор Дроз нанадает на Шекснира за смешение серьезного и шутовского стиля. Низар, тоже профессор, находит, что Андре Шенье, как ноэт, стоит ниже поэтов XVII века. Англичанин Блер норицает Вергилия за сцену с гарниями. Мармонтель сокрушается по поводу вольностей у Гомера. Ламот не желает признать гомеровских героев бессмертными. Вида негодует на его сравнения. Словом, авторы всех этих учебников риторики, поэтики и эстетики, но-моему, просто идиоты!»

— Ты преувеличиваешь! — возразил Пекюше.

Его тоже терзали сомнения: если, как замечает Лонгин, умы посредственные неспособны ошибаться, значит, ошибаются ученые,— стало быть, их ошибки должны вызывать восхищение! Как же так? Это уж слишком нелено! Однако ученые все же остаются учеными! Он стремился согласовать доктрины с художественными произведениями, примирить критиков с поэтами, постичь сущность прекрасного. Все эти вопросы так его замучили, что у него разлилась желчь. Он захворал желтухой.

В самый тяжелый нернод его болезни пришла Марианна, кухарка г-жи Борден, и попросила Бувара принять завтра ее хозяйку.

Вдова не появлялась у них со времени представления. Не было ли это авансом с ее стороны? Но тогда зачем ей понадобилось посредничество Марианны? Бувар всю ночь терялся в догадках.

На другой день, около двух часов, он в нетерпении расхаживал по коридору, изредка выглядывая в окошко; раздался звонок. Это был нотариус.

Пройдя через двор, он поднялся по лестнице и, поздоровавшись, уселся в кресло; он объяснил, что не мог дождаться г-жи Борден и опередил ее. Дело в том, что она хочет купить у них Экайский участок.

Бувар, сразу охладев, пошел посоветоваться с Пекюше к нему в спальню.

Пекюше не знал, что сказать. Он был встревожен своей болезнью и с минуты на минуту ждал Вокорбея.

Наконец появилась г-жа Борден. Она опоздала, потому что долго и тщательно наряжалась; на ней была кашемировая шаль, шляпка, лайковые перчатки — туалет для особо торжественных случаев.

Поговорив о разных пустяках, она задала вопрос, достаточно ли будет тысячи экю.

— За акр? Тысячу экю? Ни за что!

— Ну ради меня! — сказала вдова, умильно прищурив глазки.

Наступило неловкое молчание. Тут вошел граф де Фаверж с сафьяновым портфелем под мышкой.

Он сказал, положив портфель на стол:

— Это брошюры. Они посвящены злободневному вопросу — новой Реформе. А вот это, наверное, принадлежит вам.

И он протянул Бувару второй том *Записок Дьявола*.

Граф только что застал на кухне Мели с этой книгой, а так как за поведением слуг надо следить, он счел своим долгом ее отобрать.

Бувар действительно давал служанке читать книжки. Разговор зашел о романах.

Госпожа Борден их любила, только не слишком мрачные.

— Писатели,— сказал граф,— обычно приукрашивают жизнь, изображают ее в розовом свете.

— Надо писать с натуры! — возразил Бувар.

— Но тогда читатели будут следовать дурным примерам!..

— Дело не в примерах!

— Согласитесь хотя бы, что книга может попасть в руки юной девицы. У меня самого есть дочь.

— И притом очаровательная! — вставил нотариус, состроив сладкую мину, с какой заключал брачные контракты.

— Так вот, чтобы уберечь ее, или вернее, окружающих ее лиц, я запрещаю держать в доме подобные книги. Ведь народ, дорогой мой...

— Что он вам сделал, народ? — спросил Вокорбей, внезапно появившись на пороге.

Пекюше, узнав его голос, поспешил присоединиться к обществу.

— Я считаю, что народ следует оберегать от вредной литературы,— продолжал граф.

— Стало быть, вы против просвещения? — съязвил Вокорбей.

— Напротив! Позвольте!..

— Ведь в газетах каждый день нападают на правительство,— заметил Мареско.

— Что же в этом дурного?

Граф и доктор дружно ополчились на Луи-Филиппа, ссылаясь на дело Притчарда, на сентябрьские законы против свободы печати.

— И свободы театральных зрелищ! — добавил Пекюше.

— В ваших театрах говорят много лишнего! — не выдержал Мареско.

— Вот здесь я с вами согласен,— сказал граф.— Пьесы, восхваляющие самоубийство, недопустимы.

— Самоубийство прекраспо,— вспомните Катона,— возразил Пекюше.

Граф де Фаверж, не ответив, обрушился на комедии, где осмеиваются самые священные понятия: семья, собственность, брак.

— Ну, а Мольер? — воскликнул Бувар.

Мареско возразил с видом знатока, что Мольер вышел из моды, к тому же его слишком расхвалили.

— А что до Виктора Гюго,— заявил граф,— то он поступил безжалостно, именно безжалостно по отношению к Марии-Антуанетте, когда вывел тип королевы в лице Марии Тюдор.

— Как?! — возмутился Бувар.— Неужели я, автор, не имею права...

— Да, сударь, не имеете права описывать преступления, не показав рядом положительного примера, не преподав нам урока.

Вокорбей тоже полагал, что искусство должно ставить себе целью моральное воспитание масс.

— Вы должны воспевать науку, великие открытия, патриотизм.

Он ставил в пример Казимира Делавиня.

Госпожа Борден похвалила произведения маркиза де Фудра. Нотариус заметил:

— Что вы! А язык?

— Язык? Что вы хотите этим сказать?

— Вам говорят о стиле! — крикнул Пекюше.— Неужели, по-вашему, это хорошо написано?

— Конечно, очень интересно.

Он презрительно пожал плечами, и она покраснела от этой дерзости.

Несколько раз г-жа Борден пыталась заговорить о своем деле. Но было уже слишком поздно, чтобы его обсуждать. Вдова удалилась под руку с Мареско.

Граф роздал всем присутствующим свои памфлеты, прося их распространять.

Вокорбей собрался уходить, но Пекюше задержал его.

— Доктор! Вы обо мне забыли.

Жалко было смотреть на его желтую физиономию с черными усами и прядями волос, свисавшими из-под неумело повязанного фулярового платка.

— Примите слабительное! — сказал доктор и, дав ему шлепка, как мальчишке, проворчал:

— Слишком чувствительные нервы, слишком артистическая натура!

Такая фамильярность понравилась Пекюше. Он успокоился и спросил Бувара, как только они остались одни:

— Ты думаешь, у меня нет ничего серьезного?

— Конечно, ничего.

Они сделали выводы из разговоров гостей. Для каждого нравственная ценность искусства заключается в том, что́ соответствует его интересам. Литературу никто в сущности не любит.

Затем они перелистали печатные брошюры графа. Они требовали всеобщего избирательного права.

— Сдается мне,— сказал Пекюше,— что скоро у нас начнется заваруха!

Ему теперь — может быть, из-за желтухи — все представлялось в черном свете.

VI

Утром 25 февраля 1848 года в Шавиньоле стало известно со слов одного приезжего из Фалеза, что в Париже строят баррикады, а на следующий день на стене мэрии вывесили плакат о провозглашении Республики.

Это великое событие привело жителей Шавиньоля в смятение.

Но когда пришло известие, что кассационный суд, апелляционный суд, счетная палата, коммерческий суд, нотариальные учреждения, сословие адвокатов, государственный совет, генералитет и сам господин де ла Рошжаклен признали временное правительство, все вздохнули с облегчением; прослышав, что в Париже сажают деревья свободы, муниципальный совет решил, что Шавиньоль должен последовать примеру столицы.

Бувар радовался победе народа и в порыве патриотизма пожертвовал одно дерево. Пекюше тоже был доволен — падение королевской власти подтверждало его давнишние предсказания.

Горжю, усердный их помощник, выкопал один из тополей, обрамлявших луг за Бугром, и приволок его в указанное место, на пустырь Па де ла Вак у въезда в поселок.

Все трое пришли на церемонию задолго до назначенного часа.

Вот затрещал барабан и показалось торжественное шествие: впереди серебряный крест, за ним двое певчих со светильниками, священник в ризе и епитрахили; его сопровождали четыре мальчика из хора, пятый нес ведро со святой водой, позади шел пономарь.

Аббат взошел на край ямы, куда посадили тополь, украшенный трехцветными лентами. Напротив стоял мэр с двумя помощниками — Бельжамбом и Мареско, дальше почетные граждане — граф де Фаверж, Вокорбей и Кулон, мировой судья, старикашка с сонным лицом; Герто надел полицейскую фуражку, а новый школьный учитель, Александр Пти,— свой праздничный наряд: поношенный зеленый сюртук. Пожарные выстроились в ряд,— сабли наголо,— под командой Жирбаля, а против них блестели на солнце старые кивера с белыми бляхами времен Лафайета; не больше пяти-шести, ибо национальная гвардия Шавиньоля сильно поредела. Позади толпились крестьяне с женами, рабочие с соседних фабрик, мальчишки; Плакван, сельский стражник, мужчина пяти футов и восьми дюймов ростом, сдерживал их напор, бросая грозные взгляды и прохаживаясь перед ними со скрещенными руками.

Кюре произнес краткое слово, какое полагалось произносить священникам в подобных обстоятельствах.

Заклеймив королей, он восславил республику. Не именуют ли ее республикой науки, республикой христианской?

Что может быть безгрешнее первой и прекраснее второй? Иисус Христос оставил нам великую заповедь: древо народа — это древо креста. Дабы приносить плоды, религия нуждается в милосердии, и священник, во имя милосердия, заклинал свою паству соблюдать порядок и мирно разойтись по домам.

После этого он окропил дерево святой водою и призвал на него благословение божие.

— Да растет оно и расцветает, да напоминает нам о дне освобождения от рабства, да крепнет наше братство под благодатной сенью его ветвей. Аминь!

Множество голосов подхватили «аминь», раздался барабанный бой, и клир с пением *Te Deum* направился обратно к церкви.

Церемония эта произвела превосходное впечатление. Простой народ увидел в ней счастливое предзнаменование, патриоты оценили оказанную им честь — уважение к их верованиям.

Бувар и Пекюше считали, что следовало поблагодарить их за подарок, хотя бы упомянуть об этом, и они поделились своей обидой с графом и доктором.

Им ответили, что это пустяки, мелочи, не имеющие значения. Вокорбей был в восторге от революции, де Фаверж тоже. Он ненавидел Орлеанов. Пусть убираются навсегда, скатертью дорога! Отныне главное — народ, всё для народа! В сопровождении своего управляющего Гюреля граф пошел догонять священника.

Фуро, недовольный церемонией, мрачно шагал, понурив голову, между нотариусом и трактирщиком; он опасался беспорядков и невольно оглядывался на стражника с капитаном, которые дружно бранили нерадивость Жирбаля и дурную выправку его команды.

Толпа рабочих прошла по дороге, распевая *Марсельезу*. Среди них, размахивая палкой, маршировал Горжю. Учитель Пти с горящими глазами шел следом.

— Не нравится мне это! — сказал Мареско.— Орут во всю глотку, беснуются.

— Боже мой, что за беда? — возразил Кулон.— Пускай молодежь веселится.

Фуро вздохнул:

— Хорошо веселье! Доведет оно их до гильотины.

Ему мерещились восстания, казни, всякие ужасы.

Волнения Парижа нашли живой отклик в Шавиньоле. Жители стали подписываться на газеты. По утрам на почте толпился народ, служащая не справлялась с делом; хоро-

шо, что ей иногда помогал капитан. Многие подолгу задерживались на площади, обсуждая последние новости.

Первый яростный спор разгорелся из-за Польши.

Герто и Бувар требовали ее освобождения.

Де Фаверж держался другого мнения.

— По какому праву мы туда сунемся? Это восстановит против нас всю Европу. Надо быть осторожнее.

Все его поддержали, и двум защитникам Польши пришлось прикусить языки.

В другой раз Вокорбей стал восхвалять циркуляры Ледрю-Роллена.

Фуро пристыдил его, сославшись на 45 сантимов.

— Зато правительство уничтожило рабство,— возразил Пекюше.

— Какое мне дело до рабства?

— А отмена смертной казни в политических процессах?

— К чертям! — воскликнул Фуро.— Теперь готовы отменить все что угодно. Кто знает, к чему зто приведет? Арендаторы и те уже начали чего-то требовать.

— Тем лучше! — сказал Пекюше.— У земельных собственников слишком много привилегий. Те, кто владеет недвижимостью...

Прервав его, Фуро и Мареско завопили, что он коммунист.

— Я? Коммунист?!

Все заговорили разом. Когда Пекюше предложил основать клуб, Фуро дерзко объявил, что никогда не допустит клубов в Шавиньоле.

Затем Горжю, которого прочили в инструкторы, потребовал выдать ружья для национальной гвардии.

Ружья имелись только у пожарных. Жирбаль не хотел их отдавать, а Фуро не позаботился достать других.

Горжю посмотрел на него в упор.

— Между прочим, многие считают, что я умею стрелять.

Вдобавок ко всему прочему он еще занимался браконьерством; частенько и трактирщик и сам мэр покупали у него зайца или кролика.

— Ну, ладно, берите,— махнул рукой Фуро.

В тот же вечер начались военные учения.

Это происходило на лужайке, перед церковью. Горжю, подпоясанный шарфом, в синей рабочей блузе, лихо проделывал ружейные приемы, выкрикивая слова команды грубым голосом:

— Подтяни брюхо!

Бувар, едва дыша, втягивал живот и выпячивал зад.

— Нечего загибаться, стойте прямо, черт подери!

Пекюше вечно путал ряды и шеренги, оборот направо, полуоборот налево. Особенно жалкий вид был у школьного учителя: этот низенький, тщедушный человечек с русой бородкой шатался под тяжестью ружья, задевая штыком соседей.

Новобранцы носили драные штаны всех цветов, грязные портупеи, старые куцые мундиры, из-под которых вылезала рубаха; каждый оправдывался тем, что «ему не на что одеться». Объявили подписку на обмундирование для неимущих. Фуро оказался сквалыгой, зато женщины расщедрились. Г-жа Борден пожертвовала 5 франков, хотя ненавидела республику. Граф де Фаверж обмундировал двенадцать солдат и не пропускал ни одного занятия. После ученпй он усаживался в соседней закусочной и угощал вином всякого, кто туда заходил.

В те дни важные господа всячески заигрывали с простонародьем. На первом месте были рабочие. Каждый считал за честь к ним принадлежать. Они становились знатным сословием.

В самом округе жили главным образом ткачи, другие работали на ситценабивных мануфактурах и на новой бумагопрядильной фабрпке.

Горжю завлекал их своими дерзкими речами, учил боксу, а кое-кого водил выпить к г-же Кастильон.

Но крестьян было больше, чем рабочих, п граф де Фаверж в базарные дни заводил с ними разговоры, прогуливаясь по площади, справлялся об их пуждах, старался склонить на свою сторону. Крестьяне слушали да помалкивали; подобно дяде Гуи, они были согласны на любое правительство, лишь бы им снизили налоги.

Горжю своей болтовней добился большой популярности. Пожалуй, его могли выбрать в Национальное собрание.

Граф де Фаверж тоже мечтал стать депутатом, но старался этого не показывать. Консерваторы колебались между Фуро и Мареско. Так как нотариус был связан своей конторой, то кандидатом наметили Фуро — этого грубияна, этого кретина,— к великому возмущению доктора.

Вокорбей тяготился службой в провинции и тосковал о Париже; сознание неудавшейся жизни угнетало его и придавало ему угрюмый вид. На посту депутата перед ним откроется шпрокое поприще, он наверстает упущенное! Он

изложил письменно свои политические принципы и прочел Бувару и Пекюше.

Те одобрили декларацию, заявив, что разделяют его взгляды. Однако сами они писали не хуже, лучше знали историю, имели такое же право заседать в Палате. Почему бы нет? Только кто из них двоих более этого достоин? Начались взаимные уступки.

Пекюше признавал превосходство друга.

— Нет, нет, это тебе больше подходит, у тебя такой представительный вид!

— Пожалуй, зато ты гораздо смелее,— возражал Бувар.

Так и не сделав окончательного выбора, они все же составили план действий.

Честолюбивое стремление стать депутатом распространилось, как зараза. Об этом мечтал и капитан в полицейской фуражке, попыхивая трубкой, и школьный учитель в классе, и даже аббат, в перерыве между молитвами, едва удержался, чтобы не шептать, воздевая глаза к небу:

— Господи! Сделай меня депутатом!

Вокорбей, поощренный похвалами Бувара, отправился к Герто и поделился своими надеждами.

Капитан не стал церемониться. Доктор, конечно, человек известный, но его недолюбливают коллеги, в особенности аптекари. Все они выступят против него, а деревенский люд не захочет выбирать господ; к тому же он лишится лучших своих пациентов. Напуганный этими доводами, Вокорбей пожалел, что поддался слабости.

Не успел он уйти, как Герто поспешил к Плаквану. Они же оба старые вояки, надо помогать друг другу! Но сельский стражник, всецело преданный Фуро, отказал ему в поддержке.

Тем временем священник убедил де Фавержа, что его час еще не настал. Надо подождать, пока республика истощит свои силы.

Бувар и Пекюше доказали Горжю, что ему не одолеть коалицию крестьян и буржуа; они поселили в нем сомнения, подорвали веру в себя.

Учитель Пти из хвастовства проговорился о своей мечте. Тогда Бельжамб пригрозил ему, что в случае провала его неминуемо уволят.

Наконец сам кардинал приказал священнику сидеть смирно и никуда не соваться.

Оставался Фуро.

Бувар и Пекюше повели против него кампанию; напоминали всем об его нерадивости в деле с ружьями, о запрещении открыть клуб, об отсталых взглядах, о скупости, и даже внушили дяде Гуи, будто мэр жаждет восстановления старого строя.

Как ни плохо разбирался крестьянин в этом вопросе, он питал к старому режиму лютую ненависть, унаследованную от предков, и потому настроил против Фуро всех своих родственников — свояков, зятьев, двоюродных братьев, внучатых племянников — целую ораву.

Горжю, Вокорбей и Пти довершили поражение мэра, расчистив таким образом путь для Бувара и Пекюше, которые неожиданно получили шансы на успех.

Друзья кинули жребий, кому из них быть депутатом. Жребий не выпал никому, и они пошли посоветоваться с доктором.

Вокорбей огорошил их известием, что Флакарду, издатель *Кальвадоса,* уже выставил свою кандидатуру. Бувар и Пекюше были глубоко разочарованы; каждый был в обиде не только за себя, но и за друга. И все же политические страсти разгорелись у них в душе. В день выборов они наблюдали за подсчетом голосов. Флакарду одержал победу.

Граф возлагал теперь надежды на национальную гвардию, но так и не получил эполетов командира. Жители Шавиньоля почему-то предпочли Бельжамба.

Этот странный и неожиданный выбор доконал Герто. Правда, он пренебрегал своими обязанностями, ограничиваясь тем, что изредка посещал строевые занятия и делал замечания. Все равно! Какая чудовищная несправедливость — предпочесть жалкого трактирщика отставному капитану Империи! После вторжения в Палату 15 мая он сказал:

— Меня ничто больше не удивляет, если в столице раздают военные чины так же, как у нас!

Началась реакция.

Все повторяли россказни об ананасных пюре Луи Блана, о золотой кровати Флокона, королевских оргиях Ледрю-Роллена; провинция откуда-то знает всю подноготную парижской жизни, и обитатели Шавиньоля не сомневались в коварных планах правительства и верили самым нелепым слухам.

Граф де Фаверж зашел как-то вечером к аббату и сообщил о прибытии в Нормандию графа Шамбора.

Фуро пустил слух, будто Жуанвиль собирается натра-

вить своих моряков на социалистов. Герто уверял, что Луи Бонапарт скоро станет консулом.

Фабрики не работали. Бедняки целыми толпами бродили по деревням.

Однажды воскресным утром, в первых числах июня, в Фалез неожиданно прискакал жандарм. Он принес известие, что на Шавиньоль идут рабочие из Аквиля, Лифара, Пьерпона и Сен-Реми.

Жители стали поспешно запирать ставни, собрался муниципальный совет и постановил во избежание кровопролития не оказывать никакого сопротивления. Жандармам было приказано затвориться в казармах и не показываться на улицу.

Вскоре послышался неясный гул, словно приближалась гроза. Стекла задребезжали от громкой *Песни жирондистов*, на дороге из Кана показались шеренги запыленных, потных, оборванных людей; они шли, держась под руки, и мгновенно заполонили площадь. Поднялся страшный шум.

В залу мэрии ворвались Горжю и двое рабочих. Один из них — тощий, с испитым лицом, в дырявой вязаной фуфайке с распустившимися петлями. Другой — черный от угля, должно быть, машинист, с жесткими волосами, густыми бровями, в веревочных туфлях. Горжю был в короткой куртке, накинутой на плечо, как у гусара.

Все трое остановились у покрытого синим сукном стола, за которым сидели бледные от страха члены муниципального совета.

— Граждане! — сказал Горжю.— Мы требуем работы.

Мэр весь дрожал и не мог выговорить ни слова.

Мареско ответил за него, что муниципалитет немедленно рассмотрит вопрос, и как только делегаты ушли, советники начали лихорадочно строить планы.

Первым поступило предложение дробить щебень.

Чтобы щебень на что-то пригодился, Жирбаль придумал вымостить дорогу между Англевилем и Турнебю.

Но ведь дорога на Байе вела туда же!

Можно вычистить пруд! Но тут мало работы. Или же выкопать второй пруд. Но где именно?

Ланглуа внес предложение укрепить насыпью берег Мартена на случай наводнения. По мнению Бельжамба, гораздо полезнее было распахать заросшие вереском пустыри. Совет так и не пришел ни к какому решению... Чтобы успокоить народ, Кулон вышел на крыльцо и объявил, что будут открыты благотворительные мастерские.

— К черту благотворительность! — крикнул Горжю.— Долой аристократов! Мы требуем права на труд!

Этот лозунг был в моде, а Горжю искал популярности. Раздались рукоплескания.

Обернувшись, он столкнулся с Буваром, которого привел сюда Пекюше, и они разговорились. Спешить было некуда: мэрия окружена со всех сторон, и советники от них не уйдут.

— Где взять денег? — спрашивал Бувар.

— Отнять у богачей. К тому же правительство прикажет им организовать работы.

— А если работы сейчас не нужны?

— Можно поработать для будущего.

— Но тогда заработки понизятся,— возразил Пекюше.— Недостаток спроса на труд указывает на избыток продуктов! А вы требуете, чтобы их было больше.

Горжю покусывал усы.

— Однако... при организации труда...

— Тогда правительство станет хозяином.

Вокруг них раздался ропот:

— Нет, довольно, не хотим хозяев!

Горжю взорвался:

— Все равно! Они должны заплатить трудящимся или же предоставить кредит.

— Каким образом?

— Сам не знаю! Но необходимо предоставить кредит!

— Довольно! Надоело ждать! — крикнул машинист.— Эти мошенники издеваются над нами.

Он вскочил на крыльцо, грозясь, что взломает двери.

Плакван загородил ему дорогу, сжав кулаки, выставив правую ногу вперед.

— Только попробуй!

Машинист попятился.

Крики толпы проникли в залу мэрии; советники вскочили с мест, хотели бежать. Подкрепление из Фалеза все не приходило. На их беду, граф де Фаверж был в отсутствии. Мареско крутил в руках перо, старенький Кулон стонал от страха. Герто требовал, чтобы вызвали жандармов.

— Примите команду на себя! — предложил Фуро.

— У меня нет приказа.

Рев между тем усилился. Толпа запрудила площадь; все глаза были устремлены на окна второго этажа мэрии, как вдруг в средней амбразуре, под часами, появился Пекюше.

Он тихонько забрался туда по черной лестнице и, вдохновляясь примером Ламартина, обратился к народу с речью.

— Граждане!

Но его длинный нос, картуз, сюртук, вся его нескладная фигура не имели успеха у толпы.

Мужчина в вязаной фуфайке крикнул:

— Ты кто, рабочий?

— Нет.

— Значит, помещик?

— Тоже нет.

— Тогда проваливай отсюда!

— Почему? — надменно спросил Пекюше.

Но тут же исчез: машинист за шиворот оттащил его от окна. Горжю бросился на помощь.

— Не трогай его, это славный старик!

Началась драка.

Двери распахнулись, и Мареско, выйдя на порог, огласил решение муниципального совета. (Его подсказал им Гюрель.)

Дорога из Турнебю, от перекрестка, ведущего в сторону Англевиля, будет проложена к замку графа де Фавержа.

На эту жертву коммуна пошла исключительно в интересах трудящихся.

Толпа мирно разошлась.

По дороге домой Бувар и Пекюше услыхали пронзительный женский визг. Кричали служанки г-жи Борден, и громче всех сама хозяйка; увидев их, вдова воскликнула:

— Как хорошо, что вы пришли! Уже три часа я вас дожидаюсь! Бедный мой сад, ни одного тюльпана не осталось! Повсюду вонючие, мерзкие кучи! И никак его не выгонишь!

— Кого?

— Дядю Гуи. Он привез в телеге навоз и вывалил прямо на лужайку. А сейчас вскапывает газон. Остановите его!

— Пойдемте! — сказал Бувар.

Под ступеньками балкона бродила запряженная в телегу лошадь, поедая кусты олеандров. Колеса, проехав по грядкам и клумбам, помяли самшит, поломали рододендроны, раздавили георгины, а по траве были раскиданы, точно земля из кротовых нор, черные кучи навоза. Гуи усердно перекапывал дерн.

Когда-то госпожа Борден неосторожно сказала, что хотела бы вспахать лужайку. Дядя Гуи ревностно взялся за работу и упрямо продолжал копать, несмотря на протесты хозяйки. Так он понимал право на труд: Горжю своими речами совсем заморочил ему голову. Только крики и угрозы Бувара заставили его уйти.

Госпожа Борден в возмещение убытков оставила навоз себе, а за работу не заплатила ни гроша. Это была деловая женщина; жена врача и даже супруга нотариуса, дамы из высшего круга, очень ее уважали.

Благотворительные мастерские через неделю закрылись. Никаких беспорядков не произошло. Горжю куда-то исчез.

Однако национальная гвардия все еще была в боевой готовности: воскресные парады, смотры, иногда маршировка и каждую ночь дозоры. Патрули не давали покоя жителям поселка.

Дозорные ради забавы дергали за колокольчики, врывались в спальни, где супружеские пары храпели на одной кровати, отпускали сальные шуточки, после чего мужу приходилось вставать и угощать их вином. Затем возвращались в казарму сыграть в домино, пили сидр, ели сыр, а караульный, скучая за дверью, заглядывал к ним каждую минуту. Из-за слабохарактерности Бельжамба дисциплина в национальной гвардии совсем расшаталась.

Когда произошли июньские события, все как один решили «лететь на помощь Парижу». Но Фуро не мог покинуть мэрию, Мареско — свою контору, доктор — пациентов, Жирбаль — пожарных; граф де Фаверж уехал в Шербур, а Бельжамб слег в постель.

— Меня не выбрали,— ворчал капитан,— тем хуже для них!

А Бувар имел благоразумие отговорить Пекюше.

Обходы по окрестностям велись теперь на более широком пространстве.

Случалось, что тень от стога сена или ветка необычной формы вызывали панику. Однажды весь отряд национальных гвардейцев обратился в бегство: при свете луны им померещилось, что на яблоне сидит человек и целится в них из ружья.

В другой раз, темной ночью, сделав привал в буковой роще, патруль услышал впереди чьи-то шаги.

— Стой! Кто идет?

Никакого ответа.

Незнакомцу дали пройти, следуя за ним на расстоя-

нии,— ведь у него мог быть пистолет или дубинка; но, оказавшись в деревне, близ караульни, все двенадцать гвардейцев разом набросились на него с криком:

— Ваши документы!

Незнакомца избили, осыпали бранью. Из казармы выбежали дозорные. Его поволокли туда, и наконец при свете горевшей на печке свечи все узнали Горжю.

Ветхое люстриновое пальто порвалось на плечах. Из дырявых сапог торчали пальцы. Лицо было покрыто царапинами и кровоподтеками. Он ужасно исхудал и дико озирался, как затравленный волк.

Прибежал Фуро и начал допрашивать арестованного: как он очутился в буковой роще, зачем вернулся в Шавиньоль и где пропадал полтора месяца?

Это никого не касается. Он человек свободный.

Плакван обыскал его, надеясь найти патроны. На всякий случай его все же решили посадить за решетку.

Бувар запротестовал.

— Уж вам-то нечего вмешиваться! — крикнул мэр.— Ваши взгляды всем известны.

— И все же...

— Берегитесь, предупреждаю вас, будьте осторожны!

Бувар не настаивал.

Горжю обернулся к Пекюше:

— А вы, хозяин, почему молчите?

Пекюше опустил голову, будто сомневаясь в его невиновности.

Бедняга горько усмехнулся.

— Эх вы! А я-то вас защищал!

На рассвете двое жандармов отвели арестованного в Фалез.

Его не предали военному суду, но исправительная полиция приговорила его к трем месяцам тюрьмы за поджигательские речи, призывавшие к свержению правительства.

Он написал из Фалеза своим бывшим хозяевам, прося как можно скорее прислать свидетельство о доброй нравственности и примерном поведении; так как их подписи должен был удостоверить мэр или его помощник, они предпочли попросить об этой услуге нотариуса Мареско.

Их провели в столовую; стены были увешаны старинными фаянсовыми блюдами, в узком простенке красовались часы Буля. На столике красного дерева, без скатерти, стояли два прибора на салфетках, две чашки, чайник.

Г-жа Мареско проплыла по комнате в синем кашемировом пеньюаре. Это была парижанка, скучавшая в деревне. Затем появился нотариус с газетой в одной руке и адвокатской шапочкой в другой; он тотчас же с любезной улыбкой приложил печать, заметив, однако, что их протеже — человек опасный.

— Что вы! — сказал Бувар.— Из-за нескольких неосторожных слов...

— Нет, уж позвольте, дорогой мой! Иные слова ведут к преступлению.

— Однако же как отличить речи преступные от речей безобидных? — возразил Пекюше.— Что нынче запрещено, тому завтра будут рукоплескать.

Он не одобрял жестокости, с какою было подавлено восстание.

Мареско, разумеется, стал ссылаться на защиту общественного порядка, на благо государства, на высший закон.

— Извините,— сказал Пекюше,— право одного человека так же священно, как право общественное, и вы ничего не можете противопоставить этой аксиоме, кроме силы.

Мареско вместо ответа презрительно поднял брови. Лишь бы ему не мешали составлять нотариальные акты, жить в своем уютном, комфортабельном доме, среди фаянсовых тарелок, а там хоть трава не расти: если на свете и бывают несправедливости, это его не касается. Он извинился перед гостями: его ждут неотложные дела.

Громкие фразы о благе государства возмутили обоих друзей. Консерваторы заговорили теперь, как Робеспьер.

Им еще многому пришлось удивляться: популярность Кавеньяка падала. Национальная гвардия вызывала подозрения. Ледрю-Роллен погубил свою репутацию даже во мнении доктора Вокорбея. Прения о конституции никого не интересовали, и 10 декабря все жители Шавиньоля подали голос за Бонапарта.

Шесть миллионов голосов восстановили Пекюше против народа, и они с Буваром занялись вопросом о всеобщем избирательном праве.

Выбор толпы не может быть разумным. Честолюбивый хитрец всегда сумеет направить голосование, повести за собой толпу, как послушное стадо,— ведь избиратели даже не обязаны уметь читать и писать; вот почему, по словам Пекюше, было столько подтасовок при выборах президента.

— Никаких подтасовок,— возразил Бувар,— просто народ очень глуп. Вспомни, сколько болванов покупает разные снадобья, помаду Дюпюитрена, эликсир красоты и всякую дрянь. Из этих тупиц и состоит большинство избирателей, а мы подчиняемся их воле. Почему разведение кроликов не приносит трех тысяч франков дохода? Потому что, когда кролики слишком расплодятся, они дохнут. Так и в толпе сами собой плодятся и развиваются зародыши глупости, а это ведет к гибельным последствиям.

— Твой скептицизм пугает меня! — воскликнул Пекюше.

Позже, весной, они повстречали графа де Фавержа, и тот сообщил им о Римской экспедиции. Мы не собираемся завоевывать Италию, но нам нужны гарантии. Иначе мы утратим политическое влияние. Такое вторжение вполне законно.

Бувар вытаращил глаза.

— Но ведь о Польше вы говорили как раз обратное.

— Это не одно и то же! Тут дело касается папы.

Де Фаверж, говоря: «Мы желаем, мы сделаем, мы твердо надеемся»,— выступал от лица своей партии.

И меньшинство и большинство стали одинаково отвратительны Бувару и Пекюше. Аристократия, в сущности, была не лучше простонародья.

Право вторжения казалось им сомнительным. Они принялись изучать принципы международного права по трудам Кальво, Мартенса, Вателя, и Бувар пришел к следующему выводу:

— Политическое вмешательство применяется, чтобы вернуть престол государю, чтобы освободить народ или предотвратить угрозу нападения. В любом случае это — покушение на чужие права, злоупотребление властью, лицемерное насилие.

— Однако,— сказал Пекюше,— народы, как и люди, связаны взаимной ответственностью.

— Возможно.

Бувар задумался.

Вскоре началась Римская экспедиция.

Внутри страны, из ненависти к разрушительным идеям, парижская буржуазия разгромила две типографии. Образовалась влиятельная партия порядка.

В их округе главарями были граф, Фуро, Мареско, священник. Каждый день часа в четыре они прохаживались взад и вперед по площади и рассуждали о последних событиях. Главной их заботой было распространять

брошюры. Заглавия не лишены были выразительности: *Так угодно богу, Нелепый раздел, Очистимся от грязи. Куда мы идем?* Особенно замечательны были диалоги высоконравственного содержания, написанные народным языком, пересыпанные ругательствами и грубыми ошибками, чтобы было понятнее крестьянам.

По новому закону префекты имели право карать за распространение слухов, а Прудопа только что посадили в тюрьму Сент-Пелажи: колоссальная победа.

Деревья свободы были срублены повсеместно. Шавиньоль последовал этому примеру. Бувар видел собственными глазами, как везли на тележке кругляки от его тополя. Жандармы стопили их в казарме, а пень подарили священнику, который сам же недавно кропил его святой водой. Какая ирония судьбы!

Учитель не скрывал своих убеждений.

Бувар и Пекюше, проходя однажды мимо его дома, похвалили его за это.

На другой день он навестил их. В конце недели они отдали ему визит.

Спускались сумерки, школьники разошлись, учитель веником подметал двор. Его жена, повязав голову платком, кормила грудью ребенка. Худенькая девочка цеплялась за материнскую юбку, а на земле, у ее ног, ползал уродливый мальчуган. Из кухни, где она занималась стиркой, стекала во двор мыльная вода.

— Видите, как заботится о нас правительство? — с горечью сказал учитель.

И тут же обрушился на проклятый капитал. Необходимо его демократизировать, раскрепостить рабочую силу.

— И я того же мнения! — заявил Пекюше.

Следует хотя бы признать право каждого гражданина на общественную помощь.

— Еще одно право?! — воскликнул Бувар.

— Это ничего — ведь временное правительство оказалось слабым и не установило принцип братства.

— Попробуйте-ка провести его в жизнь!

На дворе стемнело; хозяин грубым тоном приказал жене принести свечу к нему в кабинет.

На выбеленной стене были пришпилены булавками литографии левых ораторов. Над столом елового дерева висел шкафчик с книгами. Сиденьями служили единственный стул, табуретка и старый ящик из-под мыла. Учитель делал вид, что не замечает окружающей нищеты;

его лицо с ввалившимися от голода щеками и узким лбом выражало гордость и дикое упрямство. Никогда в жизни он не сдастся.

— Вот что меня поддерживает,— сказал учитель, указывая на полку с кипой газет. И тут он с лихорадочным волнением поведал гостям свой символ веры: разоружение армии, упразднение магистратуры, уравнение заработков, равенство состояний; тогда наступит золотой век в форме республики во главе с диктатором, который энергично возьмется за дело.

Потом учитель достал бутылку анисовки, три стакана и провозгласил тост за героя, за бессмертную жертву, за великого Максимилиана.

В эту минуту на пороге появилась черная сутана аббата.

Поклонившись всей компании, он подошел к хозяину и спросил, понизив голос:

— Как дела со святым Иосифом?

— Они ничего не дали,— ответил тот.

— Это ваша вина!

— Я сделал все, что мог.

— Вот как?

Бувар и Пекюше из деликатности собрались уходить. Пти усадил их снова и спросил, обратившись к священнику:

— Это все?

Аббат Жефруа, помедлив, заметил, смягчая выговор учителю кислой улыбкой:

— Говорят, вы уделяете недостаточно внимания священной истории.

— Священная история? Велика важность! — воскликнул Бувар.

— Что вы имеете против нее, сударь?

— Да ничего. Только, пожалуй, есть вещи поважнее, чем анекдоты про Иону и царей Израиля.

— Думайте, что хотите, воля ваша! — сухо отрезал священник и продолжал, не обращая внимания на посторонних или же в пику им:

— Катехизису уделено слишком мало часов.

Пти пожал плечами.

— Берегитесь. Вы потеряете пансионеров!

Заработок по десяти франков в месяц с ученика был главной его доходной статьей. Но вид поповской сутаны выводил его из себя.

— Ну и пускай, можете мстить, сколько хотите.

— Духовному лицу не подобает мстить,— ответил священник хладнокровно.— Только напоминаю вам, что согласно закону пятнадцатого марта мы обязаны наблюдать за начальным обучением.

— Еще бы, я знаю! — воскликнул школьный учитель.— За этим следят даже жандармские полковники. Не хватает только сельского стражника! Для полноты картины!

Он рухнул на табуретку, едва сдерживаясь, кусая себе руки, мучаясь сознанием своего бессилия.

Аббат тихонько тронул его за плечо.

— Я не хотел вас огорчать, друг мой. Успокойтесь, будьте благоразумны... Скоро Пасха; я надеюсь, что вы подадите пример и придете к причастию, как другие.

— Ну уж это слишком! Как? Я должен исполнять эти глупые обряды?

Услышав подобное кощунство, священник побледнел. Его глаза метали молнии, подбородок дрожал.

— Умолкните, несчастный! Перестаньте! А ваша жена еще стирает церковное белье!

— Так что же? Чем она провинилась?

— Она постоянно пропускает церковную службу. И вы в церковь не ходите!

— Э-э! За это учителей не увольняют.

— Их можно перевести в другую школу.

Аббат замолчал. Он отошел в тень, в глубину комнаты. Хозяин задумался, понурив голову.

Если даже они переберутся на другой конец Франции, потратив на переезд последние гроши, все равно там окажутся под другими именами тот же священник, тот же ректор, тот же префект; все, кончая министром, казались ему звеньями одной тяжелой цепи, его сковавшей. Он уже получил первое предупреждение, будут и другие. А что дальше? И, как в бреду, ему представилось, что он скитается по большим дорогам, с мешком за плечами, вместе с любимой семьей, и протягивает руку к почтовой карете, прося их подвезти.

В эту минуту на кухне его жена закашлялась, грудной ребенок запищал, а мальчуган заплакал.

— Бедные дети! — ласково сказал священник.

Отец зарыдал.

— Хорошо! Согласен! Я сделаю все, что вы требуете.

— Будем надеяться,— проговорил аббат, отвешивая прощальный поклон.

— Доброй ночи, господа!

Учитель продолжал сидеть, закрыв лицо руками. Он отстранил подошедшего к нему Бувара.

— Нет, оставьте меня! Хоть бы мне подохнуть! Несчастный я человек.

Друзья возвратились домой, благословляя судьбу за свою независимость. Их ужасало могущество духовенства.

Его влиянием пользовались для поддержания общественного порядка. Республика доживала последние дни.

Три миллиона избирателей были лишены права участвовать во всеобщем голосовании. Залоги для издателей газет были повышены. Цензура снова введена. Просмотру подвергались даже романы-фельетоны. Идеи философов-классиков считались опасными. Буржуа провозглашали главенство материальных интересов, а народ как будто был доволен.

Деревенский люд возвращался к своим прежним господам.

Граф де Фаверж, владевший земельной собственностью в Эвре, вошел в Законодательное собрание, и его переизбрание в муниципальный совет Кальвадоса было обеспечено.

Он счел своим долгом устроить завтрак для наиболее влиятельных лиц в округе.

Гостям был оказан самый любезный прием; их поразил вестибюль, где три лакея помогали им снять пальто, бильярдная с двумя гостиными в виде анфилады, растения в китайских вазах, бронзовые статуэтки на каминах, золоченые багеты на панелях, тяжелые занавеси, широкие кресла, роскошная обстановка. А в столовой, при виде стола, уставленного серебряными блюдами с жарким, рядами бокалов перед каждым прибором, множеством закусок и огромным лососем посредине, все лица просияли.

Всего было семнадцать человек, в том числе два крупных землевладельца, супрефект из Байе и какой-то господин из Шербура. Граф де Фаверж извинился перед гостями, что его супруга не может принять их по случаю мигрени. После того как приглашенные отдали дань восхищения грушам и винограду, переполнявшим четыре корзины по углам, разговор зашел о важной новости: проекте высадки в Англии войск генерала Шангарнье.

Герто одобрил этот план в качестве военного, священник — из ненависти к протестантам, Фуро — в интересах торговли.

— Вы проповедуете средневековые взгляды,— сказал Пекюше.

— В средних веках было много хорошего,— возразил Мареско.— Хотя бы наши соборы.

— А сколько злоупотреблений...

— Что за беда! Если бы не произошла революция...

— Да, революция, все зло от нее! — сказал священник со вздохом.

— Но революции содействовали все, даже аристократы (извините меня, граф), они были в союзе с философами.

— Что вы хотите! Людовик Восемнадцатый узаконил грабеж. С тех пор парламентский строй подрывает все основы...

Подали ростбиф; несколько минут слышен был только стук вилок, чавканье да шаги лакеев, которые, скользя по паркету, повторяли два слова: «Мадера! Сотерн!»

Беседа возобновилась благодаря незнакомому господину из Шербура, который спросил, как удержаться на краю пропасти.

— У афинян, которые имеют нечто общее с нами,— заметил Мареско,— Солон обезоружил демократов, повысив избирательный ценз.

— Лучше бы распустить Палату,— заявил Гюрель,— вся смута исходит из Парижа.

— Необходима децентрализация! — сказал нотариус.

— С широкими полномочиями,— добавил граф.

По мнению Фуро, местные власти должны быть полными хозяевами в округе, могут даже запретить проезд по своим дорогам, если сочтут это нужным.

В то время как одно блюдо сменяло другое — куры под соусом, раки, шампиньоны, салат из овощей, жареные жаворонки,— сотрапезники обсудили множество проблем: улучшение системы налогов, преимущества крупного землевладения, отмену смертной казни; супрефект не упустил случая привести по этому поводу словцо одного остряка: «Пусть господа убийцы начнут первыми!»

Бувар был поражен контрастом между окружавшими его прекрасными вещами и пошлыми разговорами; ему всегда казалось, что слова должны соответствовать обстановке и под высокими потолками должны рождаться великие мысли. Это не мешало ему раскраснеться от удовольствия, и за десертом он видел все блюда и компотницы как бы сквозь туман.

Пили разные вина — бордо, бургундское, мадагу... Граф де Фаверж, зная вкусы соседей, велел откупорить шампанское. Собутыльники, дружно чокаясь, предложили тост

за успех выборов, а попозже, в четвертом часу перешли в курительную, чтобы выпить кофе.

На столике, среди номеров «Универ» валялась карикатура из «Шаривари»; там был изображен гражданин, у которого из-под фалд сюртука свешивался хвост с глазом на конце. Мареско объяснил смысл карикатуры. Все долго хохотали.

Гости пили ликеры, стряхивая пепел от сигар на шелковую обивку. Аббат, убеждая в чем-то Жирбаля, нападал на Вольтера. Кулон дремал. Граф де Фаверж говорил о своей преданности Шамбору.

— Пчелиные ульи доказывают превосходство монархии.

— Зато муравейники — превосходство республики.

Впрочем, доктор уже больше не стоит за республику.

— Вы правы! — сказал супрефект.— Форма государственного строя значения не имеет.

— Если сохранена свобода! — вмешался Пекюше.

— Честному человеку не нужна ваша свобода,— ответил Фуро.— Я не мастер говорить речи, я не журналист. Но уверяю вас: Франция хочет, чтобы ею управляла железная рука.

Все хором стали призывать спасителя отечества.

Уходя, Бувар и Пекюше слышали, как граф де Фаверж говорил аббату Жефруа:

— Необходимо восстановить повиновение. Государство погибнет, если будут обсуждать его указы. Божественное право — вот в чем единственное спасение.

— Вы совершенно правы, граф.

Бледные лучи октябрьского солнца протянулись за лесом, дул свежий ветер; шагая домой по сухим листьям, друзья с облегчением дышали полной грудью.

Все, чего они не смели высказать в замке, вырвалось наружу.

— Какие идиоты! Какая низость! — восклицали они.— Трудно вообразить столь отсталые взгляды! Да и что, собственно, значит божественное право?

Приятель Дюмушеля, профессор, объяснивший им законы эстетики, ответил весьма ученым, обстоятельным письмом.

Теорию божественного права сформулировал при Карле II англичанин Фильмер.

Вот она:

«Создатель даровал первому человеку господство над миром. Оно перешло к его потомкам, власть короля исхо-

дит от бога. «Король — образ бога»,— пишет Боссюэ. Отцовская власть в семье учит повиноваться единой воле. Короли созданы по образцу отцов».

Локк опровергает эту доктрину. Родительская власть отличается от власти монарха, ибо любой подданный имеет те же права по отношению к своим детям, как монарх — к своим. Королевская власть существует лишь благодаря народу, государь — избранник народа,— об этом напоминает старинный обряд коронования, когда два епископа, указывая на короля, спрашивали у знатных сеньоров и у простолюдинов, признают ли они его своим государем.

Следовательно, власть исходит от народа. Он имеет право «делать все, что хочет» — по Гельвецию, «изменить государственный строй» — по Вателю, восстать против несправедливости — согласно Глафею, Отману, Мабли и прочим. А св. Фома Аквинский разрешает народу свергнуть тирана. По словам Жюрье, «народ даже не обязан быть правым».

Удивленные подобной аксиомой, друзья достали *Общественный договор* Руссо.

Пекюше одолел его до конца; потом, закрыв глаза и запрокинув голову, приступил к разбору.

Было якобы заключено соглашение, в силу которого личность отказалась от своей естественной свободы.

Общество со своей стороны обязалось защищать личность от несправедливостей природы и передать ей в собственность полагающиеся ей блага.

Но где доказательства, что такой договор был заключен?

Нет доказательств! К тому же общество не дает никаких гарантий. Граждане занимаются только политикой. Но нужны и ремесленники, поэтому Руссо рекомендует ввести рабство. Наука погубила человеческий род. Театр развращает нравы, деньги ведут к гибели, государство должно заставить народ исповедовать какую-нибудь религию под страхом смерти.

«Как? — удивились друзья.— И это проповедник демократии?»

Все реформаторы подражали Руссо, и потому они достали *Исследование социализма* Морана.

В первой главе излагается доктрина сенсимонизма.

Во главе государства стоит Отец, одновременно и папа и император. Право наследования отменяется, все имущество, движимое и недвижимое, переходит в общественный фонд, который распределяется по принципу иерархии.

Общественным достоянием управляют промышленники. Но бояться нечего: вождем станет тот, «кто больше любит».

Одного недостает — женщины. От женщины зависит спасение мира.

— Я ничего не понимаю.

— Я тоже.

Они углубились в фурьеризм.

Все несчастья проистекают от принуждения. При свободном проявлении страстей наступит гармония.

Наша душа заключает двенадцать основных страстей: пять эгоистических, четыре анимических, три распределяющих. Первые стремятся к развитию личности, вторые — к группам, последние — к группам групп или сериям, совокупность которых образует фалангу, общину в тысячу восемьсот человек, живущих во дворце. Каждое утро фалангистов увозят в каретах на полевые работы и каждый вечер привозят обратно. Все ходят со знаменами, устраивают празднества, едят пироги. Любая женщина, если хочет, может иметь трех мужчин: мужа, любовника и производителя. Для холостяков в каждой фаланге имеется штат баядерок.

— Это бы мне подошло! — сказал Бувар и погрузился в мечты о «гармоническом» обществе.

Благодаря улучшению климата земля станет еще прекраснее; путем скрещивания рас человеческая жизнь удлинится. Люди научатся управлять облаками, как теперь управляют молнией, по ночам над городами будут идти дожди, чтобы смыть всю грязь. Корабли станут бороздить полярные моря, оттаявшие под лучами северного сияния. Все сущее происходит от сочетания флюидов, мужского и женского, излучаемых полюсами земли; северное сияние — не что иное, как течка планеты, оплодотворяющее истечение.

— Это выше моего понимания,— сказал Пекюше.

После Сен-Симона и Фурье задача свелась к реформе заработной платы.

Луи Блан в интересах рабочих предлагает отменить внешнюю торговлю; Лафарель требует облегчить труд машинами; еще кто-то — понизить акциз на вино, или перестроить цехи, или раздавать даровую похлебку. Прудон изобретает единообразный тариф и требует сахарной монополии.

— Все эти социалисты стремятся к тирании,— заметил Бувар.

— Да что ты!

— Право же!

— Ты говоришь вздор!

— А ты меня возмущаешь.

Они выписали сочинения, содержание которых излагалось в книге Морана. Бувар, отметив несколько страниц, сказал:

— Читай сам! Здесь нам предлагают, как пример для подражания, ессеев, Моравских братьев, Парагвайских иезуитов, вплоть до тюремного режима. У икарийцев на завтрак дается всего двадцать минут, женщины рожают в больнице, а книги запрещено печатать без разрешения властей.

— Но ведь Кабе идиот.

— А вот что сказано у Сен-Симона: публицисты должны представить все ими написанное в комитет промышленников. А вот тебе из Пьера Леру: закон принуждает граждан выслушивать оратора до конца. А вот из Огюста Конта: священники наставляют молодежь, руководят умственным развитием и поручают властям регулировать деторождение.

Цитаты привели Пекюше в уныние. Но вечером, за обедом, он затеял спор:

— Я согласен, что в трудах утопистов встречаются нелепости, и все же они заслуживают нашего восхищения. Их удручало уродство жизни, и, чтобы ее изменить, сделать прекраснее, они готовы были все претерпеть. Вспомни: Томасу Мору отрубили голову, Кампанеллу семь раз пытали, Буонаротти заковали в цепи, Сен-Симон умер в нищете, а сколько было других! Все они могли бы жить спокойно, так нет! Они шли своим трудным путем, с высоко поднятой головой, как герои.

— Неужели ты веришь,— сказал Бувар,— что теории какого-то господина могут изменить мир?

— Все равно! — воскликнул Пекюше.— Теперь не время погрязать в эгоизме. Попытаемся отыскать лучшую систему.

— Значит, ты надеешься ее найти?

— Разумеется.

— Это ты-то?

От хохота у Бувара тряслись и плечи и живот. Красный как рак, заткнув салфетку под мышкой, он поддразнивал приятеля, повторяя:

— Это ты-то? Ха, ха, ха!

Пекюше вышел из столовой, громко хлопнув дверью.

Жермена кликала его по всему дому и едва нашла; он сидел впотьмах, в нетопленной комнате, забившись в кресло и нахлобучив картуз на лоб. Он не был болен, но о чем-то сосредоточенно думал.

Когда обида прошла, Бувар и Пекюше решили, что их научным занятиям не хватает основы: знакомства с политической экономией.

Они погрузились в изучение спроса и предложения, капитала и арендной платы, ввоза и вывоза, запретительной системы.

Однажды ночью Пекюше проснулся от скрипа сапог в коридоре. Накануне он, как обычно, сам запер дом и задвинул засовы; он окликнул Бувара, который крепко спал.

Они долго прислушивались, лежа под одеялами, не шевелясь. Шум больше не повторился.

Они спрашивали служанок, но те ничего не слыхали.

На другой день, прогуливаясь в саду, друзья заметили следы подошв на куртине и две сломанные жерди в ограде: очевидно, кто-то через нее перелезал.

Надо было заявить об этом стражнику.

Не найдя его в мэрии, Пекюше завернул в бакалейную лавочку.

Кого же он увидел в дальнем углу за столиком, рядом с Плакваном и другими собутыльниками? Горжю! Он был разодет по-городскому и угощал вином всю компанию.

Друзья не придали значения этой встрече.

Продолжая изыскания, Бувар и Пекюше подошли к проблеме прогресса.

В прогрессе науки Бувар не сомневался. Но в литературе он его что-то не замечал; даже если благосостояние людей повышается, то прелесть жизни исчезает.

Чтобы убедить друга, Пекюше принес лист бумаги:

— Вот, смотри, я провожу наискось волнистую линию. Те, кто прошли бы по этому пути, при каждом понижении, не могли бы видеть горизонта. Между тем линия идет вверх и, несмотря на изгибы, достигнет вершины. Такова схема прогресса.

В эту минуту вошла госпожа Борден.

Это было 3 декабря 1851 года. Вдова принесла газету.

Они быстро пробежали воззвание к народу, прочли, что Палата распущена, а депутаты арестованы.

Пекюше побледнел. Бувар молча уставился на вдову.

— Как? Вы ничего не говорите?

— Что же я могу сказать, по-вашему?

Они даже забыли предложить стул г-же Борден.

— А я-то спешила, хотела вас обрадовать! Ох, вы совсем не любезны сегодня!

Обиженная их невежливостью, она ушла.

От удивления они лишились дара речи. Потом отправились в поселок, чтобы поделиться с кем-нибудь своим возмущением.

Мареско, принявший их за столом, заваленным бумагами, держался другого мнения. Кончилась болтовня в Палате, и слава богу. Теперь политику будут вести по-деловому.

Бельжамб даже не слыхал о перевороте, к тому же ему на это наплевать.

На рынке они остановились поговорить с Вокорбеем.

Доктор уже оправился от изумления.

— Напрасно вы так волнуетесь, не стоит портить себе кровь.

Фуро прошел мимо них, насмешливо пробурчав:

— Сели в лужу, демократы!

А капитан, гулявший под руку с Жирбалем, крикнул издали:

— Да здравствует император!

Один Пти мог понять их чувства, и Бувар постучал ему в окошко; учитель вышел из класса.

Он находил чрезвычайно забавным, что Тьера посадили в тюрьму. Наконец-то народ отомщен.

— Ну, господа депутаты, теперь ваш черед!

Жители Шавиньоля одобряли расстрелы на бульварах. Нечего щадить побежденных, нечего жалеть пострадавших. Кто поднимает восстание — тот негодяй.

— Возблагодарим всевышнего! — говорил священник.— А после него Луи Бонапарта. Он призывает к себе самых достойных людей. Граф де Фаверж будет сенатором.

На следующий день к Бувару и Пекюше явился Плакван.

Почтенные господа слишком много разговаривают. Он дает им совет помалкивать.

— Хочешь знать мое мнение? — сказал Пекюше.— Так как буржуа жестоки, рабочие завистливы, священники раболепны, а народ в конце концов признает любого тирана, лишь бы ему не мешали хлебать суп из котла, то Наполеон правильно поступил. Пускай он затыкает им рты, топчет их, истребляет! Они заслуживают еще худшей кары за их ненависть к праву, за их подлость, глупость, слепоту.

Бувар задумался.

— Вот тебе и прогресс! Экое надувательство!

И добавил:

— А уж политика! Какая гнусность!

— Это не наука,— заявил Пекюше.— Военное искусство гораздо серьезнее — там можно предвидеть, что произойдет. Давай этим займемся.

— Нет уж, слуга покорный,— отозвался Бувар.— Мне все осточертело. Продадим-ка лучше нашу лачугу и уплывем к дикарям, к черту на рога!

— Воля твоя!

Во дворе Мели накачивала воду.

На деревянном насосе был длинный рычаг. Опуская его в колодец, она нагибалась, и тогда видны были до самых икр ее ноги в синих чулках. Потом девушка быстрым движением вскидывала правую руку, слегка повернув голову, и Пекюше, глядя па нее, испытывал какое-то совсем новое чувство, наслаждение, певыразимое очарование.

VII

Потянулись тоскливые дни.

Боясь разочарований, они перестали заниматься наукой; жители Шавиньоля сторонились их, из официальных газет невозможно было ничего почерпнуть, и они оказались в глубоком одиночестве, в полной праздности.

Порою они раскрывали книгу, но вскоре откладывали ее; к чему читать? Иной раз им приходило в голову, что пора почистить сад — через четверть часа их уже одолевала усталость; или что следует осмотреть ферму — они возвращались домой полные отвращения; или что надо заняться домашним хозяйством — Жермена начинала вопить; от всего этого они отказались.

Бувар надумал было составить каталог музея, но потом пришел к выводу, что все их безделушки — вздор.

Пекюше занял у Ланглуа ружье, чтобы пострелять жаворонков; ружье взорвалось при первом же выстреле и чуть не убило его.

Итак, они скучали, как скучают в деревне, когда белесое небо томит своим однообразием сердце, утратившее надежду. Прислушиваешься к шагам человека в сабо, проходящего вдоль изгороди, или к каплям дождя, падающим на землю с крыши. Время от времени опавший лист коснется оконного стекла, потом закружится и исчезнет.

Ветер доносит издалека неясный похоронный звон. Из хлева слышится мычанье коровы.

Они зевали, сидя друг против друга, заглядывали в календарь, посматривали на часы, ждали, когда настанет время обедать; а горизонт был все тот же: прямо перед ними — поля, справа — церковь, слева — верепица тополей; вершины их раскачивались в тумане беспрерывно, с жалобным скрипом.

Некоторые привычки, на которые они до сих пор старались не обращать внимания, теперь раздражали их. Пекюше становился совершенно несносен тем, что постоянно клал свой носовой платок на скатерть; Бувар не расставался с трубкой и при разговоре раскачивался из стороны в сторону. У них возникали распри из-за кушаний или из-за качества масла. Сидя друг возле друга, они думали о разных вещах.

Неожиданное событие ошеломило Пекюше.

Два дня спустя после Шавиньольского бунта, прогуливаясь в надежде отвлечься от политических огорчений, он вышел на дорогу, осененную густыми вязами, и вдруг услышал позади себя крик:

— Остановись!

То была госпожа Кастильон. Она бежала в противоположную сторону и не заметила его. Мужчина, шедший перед ней, остановился. То был Горжю; они подошли друг к другу неподалеку от Пекюше, от которого их отделял только ряд деревьев.

— Это правда? — спросила она.— Ты идешь драться?

Пекюше юркнул в ров, чтобы подслушать.

— Ну да, иду драться,— отвечал Горжю.— А тебе-то что?

— И ты еще спрашиваешь! — воскликнула она, заломив руки.— А если тебя убьют? Ангел мой, не ходи!

Ее синие глаза умоляли красноречивее слов.

— Не приставай! Я должен пойти.

Она злобно усмехнулась.

— Значит, другая позволила?

— Не смей о ней говорить!

Он поднял кулак.

— Нет, дорогой мой, нет. Я молчу, я — ни слова!

Крупные слезы потекли по ее щекам в складки воротничка.

Был полдень. Над желтеющей нивой сияло солнце. Вдали плыл верх медленно двигавшейся коляски. В воздухе все замерло: ни крика птицы, ни жужжания насе-

комого. Горжю срезал себе тросточку и очищал ее от коры. Г-жа Кастильон по-прежнему стояла, опустив голову.

Бедная женщина думала о тщете всех жертв, о его долгах, которые она покрыла, о будущих платежах, о своей погубленной репутации. Она не жаловалась, а только напоминала ему о днях их любви, когда она каждую ночь ходила к нему в сарай, так что однажды муж, приняв ее за вора, выстрелил через окно из пистолета. Пуля до сих пор еще в стене.

— Как только я увидела тебя, ты показался мне прекрасным, как принц. Я обожаю твои глаза, твой голос, походку, запах.

Она добавила тише:

— Я схожу по тебе с ума!

Он улыбался; он был польщен.

Она обняла его, откинув голову, как бы в благоговении.

— Дорогой! Бесценный! Душа моя! Жизнь моя! Хочешь, поговорим? Скажи, что тебе надобно? Деньги? Так мы их добудем. Я была неправа. Я тебе докучала. Прости меня! Закажи себе платье у портного, пей шампанское, кути, я тебе все позволяю, все, все!

В порыве отчаяния она прошептала:

— Даже ее! Только вернись ко мне.

Он склонился к ее губам, обхватив ее за талию, чтобы она не упала, а она твердила:

— Дорогой мой! Бесценный! Какой ты красавец! Боже, какой красавец!

Пекюше замер во рву, край которого приходился ему под подбородок, и смотрел, еле переводя дыхание.

— Не распускайся! — сказал Горжю.— Из-за тебя я еще опоздаю на дилижанс. Готовится славная потеха, и я хочу принять в ней участие. Дай мне десять су вознице на выпивку.

Она вынула из кошелька пять франков.

— Ты мне их скоро вернешь. Чуточку терпения! Ведь он теперь в параличе! Подумай хорошенько! А если хочешь, пойдем в часовню Круа-Жанваль, и там, любовь моя, я перед пресвятой девой поклянусь, что выйду за тебя, как только он умрет!

— Да муж твой и не собирается умирать!

Горжю пошел от нее прочь. Она нагнала его, стала цепляться за его плечи.

— Возьми меня с собою! Я буду твоей служанкой.

Ведь нужен же тебе кто-то. Только не уходи! Не бросай меня! Легче умереть! Убей меня!

Она валялась у него в ногах, ловила его руки, целовала их; чепец свалился у нее с головы, потом упал гребень, и ее короткие волосы разметались. Они были седые на висках. Она смотрела на него снизу вверх, вся в слезах, с покрасневшими веками и припухшими губами; он так озлобился, что оттолкнул ее.

— Отвяжись, старуха! Прощай!

Она поднялась, сорвала с груди золотой крестик и кинула ему вслед:

— Вот тебе! Сволочь!

Горжю удалялся, постегивая тросточкой ветки деревьев.

Госпожа Кастильон не плакала. Рот у нее приоткрылся, взгляд погас; она стояла неподвижно, окаменев от отчаяния; она была уже не живым существом, а всего лишь развалиной.

То, что подсмотрел Пекюше, было для него словно открытием мира, целого мира с ослепительным сиянием, беспорядочным цветением, океанами, бурями, кладами и бездонными пропастями. От этого мира веяло ужасом. Ну что ж! Он стал мечтать о любви, ему захотелось испытать такую же страсть, какая владела этой женщиной, самому внушать ее.

Все же он ненавидел Горжю и однажды в казарме еле удержался, чтобы не выдать его.

Он чувствовал себя униженным при виде тонкой талии любовника г-жи Кастильон, его пушистой бороды, изящных завитков на висках; ведь у него-то самого волосы липли к черепу, как мокрый парик, туловище, облаченное в какую-то хламиду, напоминало диванный валик; у него недоставало двух зубов и вид был хмурый. Он считал, что судьба к нему несправедлива, что он обездолен и что друг разлюбил его.

Бувар каждый вечер оставлял его в одиночестве. После смерти жены ничто не мешало ему подыскать себе другую, и теперь она холила бы его, вела бы хозяйство. Правда, он состарился, теперь уже поздно думать об этом.

Бувар, однако, взглянул на себя в зеркало. Щеки его не утратили румянца, волосы курчавились, как и прежде, все зубы были целы, и при мысли, что еще может понравиться, он почувствовал прилив молодости. В памяти его возник образ г-жи Борден. Ведь она заигрывала с ним: первый раз — во время пожара скирд, второй раз — у них

за обедом, потом в музее, когда он декламировал, а недавно она, забыв обиду, приходила три воскресенья подряд. И он отправился к ней, потом стал бывать чаще в надежде увлечь ее.

С тех пор как Пекюше обратил внимание на молоденькую служанку, черпавшую воду из колодца, он стал чаще заговаривать с нею; подметала ли она коридор, развешивала ли белье или орудовала кастрюлями, он не мог вдоволь налюбоваться ею и сам удивлялся своим чувствам. Он пламенел и томился, словно вновь стал подростком; воспоминание о г-же Кастильон, обнимающей Горжю, преследовало его.

Он стал расспрашивать Бувара о том, как ведут себя распутники, когда хотят покорить женщину.

— Делают подарки, угощают в ресторанах.

— Так, так. А дальше?

— Некоторые женщины делают вид, будто упали в обморок, чтобы их отнесли на диван, другие нарочно роняют носовой платок. Лучшие из них откровенно назначают свидание.

Бувар пустился в описания; они воспламеняли воображение Пекюше, как непристойные картинки.

— Первое правило — не верить их словам. Я знавал таких, которые казались святыми, а на самом деле были настоящими Мессалинами! Прежде всего — смелость.

Но смелым не становишься по заказу. Пекюше со дня на день откладывал решение, да и присутствие Жермены смущало его.

Надеясь, что она потребует расчета, он заставлял ее все больше работать, не пропускал случая сделать ей замечание, когда она напивалась, вслух возмущался ее нечистоплотностью, леностью и добился того, что ей отказали от места.

Теперь он был свободен!

С каким нетерпением ожидал он момента, когда Бувар уйдет из дома! Как билось у него сердце, когда за Буваром захлопывалась дверь!

Мели шила за столиком у окна, при свете; время от времени она зубами перекусывала нитку, потом прищуривалась, чтобы продеть ее в ушко.

Прежде всего он поинтересовался, какого рода мужчины ей нравятся. Такие, например, как Бувар? Вовсе нет; она предпочитает худых. Он осмелился спросить, были ли у нее любовники.

— Никогда!

Подойдя поближе, он любовался ее тонким носиком, маленьким ртом, контуром ее лица. Он говорил ей комплименты и призывал быть умницей.

Склоняясь над нею, он видел под корсажем белые выпуклости груди, от которых исходило теплое благоухание, согревавшее ему щеку. Однажды вечером он прикоснулся губами к пушку на ее затылке, и его охватил трепет, проникший до мозга костей. В другой раз он поцеловал ее в подбородок и еле удержался, чтобы не укусить, так упоительна была ее кожа. Она ответила на его поцелуй. Комната завертелась. Глаза его заволокло туманом.

Он подарил ей башмаки и часто угощал рюмочкой анисовой...

Чтобы помочь ей, он вставал спозаранку, колол дрова, разжигал плиту, простирал свою заботу до того, что вместо нее чистил обувь Бувара.

Мели не падала в обморок, не роняла платок, и Пекюше не знал, на что решиться; желание его распалялось от страха утолить его.

Бувар упорно ухаживал за г-жой Борден.

Она принимала его несколько чопорно, затянутая в сизое шелковое платье, которое потрескивало, как конская сбруя, и при этом для важности играла своей длинной золотой цепочкой.

Темою их бесед были обитатели Шавиньоля или «покойный ее супруг», некогда судебный пристав в Ливаро.

Однажды она осведомилась о прошлом Бувара, желая узнать об «его юношеских проказах»; попутно она поинтересовалась его состоянием и тем, что̀ связывает его с Пекюше.

Он восторгался порядком в ее доме, а когда обедал у нее — тщательностью сервировки, изысканностью кухни. Вереница отменнейших блюд, прерываемых через равные промежутки бургундским, приводила их к десерту, и тут они подолгу потягивали кофей; г-жа Борден, раздувая ноздри, окунала в блюдечко свою полную губу, осененную темным пушком.

Однажды она вышла к нему в декольте. Плечи ее обворожили Бувара. Сидя возле нее на низеньком стуле, он вздумал погладить ее руки. Вдова разгневалась. Он больше не осмеливался, но охотно представлял себе ее полные, изумительно упругие прелести.

Как-то вечером, когда стряпня Мели особенно опроти-

вела ему, он с радостью направился в гостиную г-жи Борден. Вот где ему следовало бы жить!

От лампы, прикрытой розовым абажуром, разливался спокойный свет. Вдова сидела около камина, ножка ее выступала из-под подола платья. После первых же слов разговор иссяк.

Она смотрела на него, чуть прищурившись, томно и пристально.

Бувар не выдержал; он опустился на колени и пролепетал:

— Я люблю вас! Выходите за меня замуж!

Госпожа Борден глубоко вздохнула, потом кокетливо сказала, что он шутит, над ними, конечно, станут смеяться, это неразумно. Своим признанием он смутил ее.

Бувар возразил, что они не нуждаются ни в чьем согласии.

— Что вас останавливает? Приданое? На белье у нас одинаковая метка «Б». Мы сольем их в одну.

Такой довод ей понравился. Но одно важное обстоятельство не позволяло ей дать ответ до конца месяца. Бувар огорчился.

Она проявила чуткость и проводила его до дому в сопровождении Марианны, несшей фонарь.

Друзья скрывали друг от друга свои увлечения.

Пекюше рассчитывал, что его интрижка с прислугой останется тайною. Если же Бувар станет возражать, он увезет ее куда-нибудь, хоть в Алжир; там жизнь недорога. Но как ни был он поглощен своею любовью, все же, строя такие планы, он постоянно думал о последствиях.

Бувар рассчитывал превратить музей в супружескую спальню, если на это согласится Пекюше; в противном случае он переедет к жене.

Как-то днем, неделю спустя, они были у нее в саду; почки начинали распускаться, на небе, между облаками, виднелись большие синие просветы. Она склонилась, чтобы нарвать фиалок, потом, подавая их ему, сказала:

— Поздравьте госпожу Бувар!

— Как? Правда?

— Истинная правда.

Он хотел было обнять ее, но она его отстранила.

— Что за несносный человек!

Потом, перейдя на серьезный тон, она предупредила его, что вскоре попросит об одном одолжении.

— На все согласен!

Они решили, что подпишут брачный договор в будущий четверг.

До самой последней минуты никто не должен был об этом знать.

— Пусть так!

Он ушел от нее легкой походкой, обратив взор к небесам.

В тот день, утром, Пекюше решил умереть, если не добьется благосклонности служанки, и пошел вслед за нею в погреб, надеясь, что потемки придадут ему смелости.

Она несколько раз порывалась уйти, но он удерживал ее, чтобы пересчитать бутылки, перебрать планки или проверить днища бочек — всем этим они занимались постоянно.

Она стояла перед ним, освещенная слуховым оконцем, опустив глаза и чуть приподняв уголки губ.

— Любишь меня? — выпалил Пекюше.

— Люблю.

— Ну так докажи это!

Обняв ее левой рукой, он правою стал расстегивать ей корсет.

— Вы хотите обидеть меня?

— Нет, ангелочек мой! Не бойся.

— А вдруг господин Бувар...

— Я ему ничего не скажу! Не беспокойся!

Неподалеку были свалены вязанки хвороста. Она упала на них; груди ее выбились из-под рубашки, голова запрокинулась; потом она закрыла лицо рукой, и тут любой на месте Пекюше понял бы, что она не так уж неопытна.

К обеду вернулся Бувар.

Обед прошел в молчании, каждый боялся выдать себя; Мели подавала им, равнодушная, как всегда; Пекюше отводил глаза, чтобы не встретиться с ее взглядом. Бувар, уставившись в стену, мечтал о будущих усовершенствованиях.

Неделю спустя, в четверг, он вернулся вне себя от ярости.

— Стерва!

— Кто стерва?

— Госпожа Борден.

Он признался, что до такой степени спятил, что надумал жениться на ней, но четверть часа тому назад, у Мареско, со всем этим покончено.

Она возымела желание получить в виде свадебного подарка Экайскую мызу, которою он не мог располагать, ибо купил ее, как и ферму, частично на чужие деньги.

— Совершенно верно! — сказал Пекюше.

— А я-то имел глупость обещать, что исполню любую ее просьбу! Вот какая оказалась просьба! Но я заупрямился,— ведь если бы она меня любила, так не стала бы настаивать.

Вдова же, напротив, разразилась бранью, стала издеваться над его внешностью, над его пузом.

— Это у меня-то пузо! Подумай только!

Меж тем Пекюше несколько раз выходил из дому и шагал, широко расставив ноги.

— Ты нездоров? — спросил Бувар.

— Да, нездоров.

Пекюше, затворив дверь, после долгих колебаний, признался, что обнаружил у себя дурную болезнь.

— Сам обнаружил?

— Сам.

— Ах, бедняга! От кого же это?

Он еще гуще покраснел и сказал еще тише:

— Не иначе, как от Мели.

Бувар остолбенел.

Первым делом они решили уволить девушку.

Она оправдывалась с невинным видом.

Недуг Пекюше, однако, оказался серьезным, но больной, стыдясь своей глупости, не решался обратиться к врачу.

Бувар предложил прибегнуть к помощи Барберу.

Они послали ему подробное описание болезни, чтобы тот показал его какому-нибудь доктору, врачующему по переписке. Барберу всполошился, вообразив, что речь идет о Буваре, обозвал его старым озорником и в то же время поздравпл с успехом.

— В моем-то возрасте! — сокрушался Пекюше.— Не прискорбно ли это? Но зачем она так поступила?

— Ты ей нравился.

— Она должна была меня предупредить.

— Да разве страсть рассуждает?

Бувар начал жаловаться на г-жу Борден.

Он несколько раз заставал ее с Мареско возле Экайской мызы беседующими с Жерменой; столько ухищрений из-за клочка земли!

— Она жадная. Этим все и объясняется.

Так они перебирали свои невзгоды, сидя в маленькой

гостиной, у камина; Пекюше глотал лекарства, Бувар курил трубочку; темою их рассуждений были женщины.

— Странная потребность! Да и потребность ли это? Они толкают нас на преступления, на подвиги и на подлость. Ад под юбкой, рай в поцелуе; голубиные перышки, змеиные извивы, кошачьи когти; коварство моря, изменчивость луны!

Они повторяли все пошлости, какие говорят о женщинах.

Именно желание обладать женщиной прервало на время их дружбу. Они почувствовали раскаяние.

— Теперь — никаких женщин, не правда ли? Будем жить без них!

Друзья нежно обнялись.

Нужно было какое-то противоядие, и когда Пекюше выздоровел, Бувар пришел к мысли, что им будет весьма полезно водолечение.

Жермена, вернувшаяся в дом после ухода Мели, каждое утро вкатывала в коридор ванну.

Друзья, голые, как дикари, окачивали себя из ведер водою, потом разбегались по своим комнатам. Кто-то увидел их сквозь изгородь; многих это возмутило.

VIII

Такой режим очень нравился им, и они решили укрепить свое здоровье еще и гимнастикой.

Они добыли руководство Амороса и перелистали приложенный к нему атлас.

Тут было изображено множество юношей, присевших на корточки, запрокинувшихся, стоявших прямо, сгибавших колени, расставивших руки, сжимавших кулаки, поднимавших тяжести, сидевших верхом на бревне, карабкавшихся на лестницу, кувыркавшихся на трапеции; такие примеры силы и ловкости вызывали у них зависть.

Их, однако, огорчило великолепие стадиона, описанного в предисловии. Ведь им никогда не устроить у себя ни такого навеса для экипажей, ни ипподрома для скачек, ни бассейна для плавания, ни «горы славы» — насыпного холма в тридцать два метра высотой.

Деревянный конь для вольтижирования с волосяной набивкой обошелся бы очень дорого — они отказались от него; срубленная в саду липа послужила им горизонталь-

ным бревном, а когда они научились проходить по нему из конца в конец и потребовалась вертикальная мачта, они водрузили на прежнее место один из шестов шпалерника. Пекюше взобрался до самого верха. Бувар скользил, неизменно срывался вниз и в конце концов отказался от этой затеи.

Им больше пришлись по вкусу «ортосометрические шесты», представлявшие собою две палки от метел, перевязанные двумя веревками, из коих одну просовывают под мышки, а на другую кладут кисти рук; целыми часами держали они этот снаряд, задрав голову, выпятив грудь, прижав локти к туловищу.

Гирь у них не было, но каретник выточил им из ясеня четыре чурбана в форме сахарных голов, с ручками вроде бутылочных горлышек. Эти дубинки надо выбрасывать вправо, влево, вперед, назад. Но они оказались чересчур тяжелыми и вырывались из рук, грозя переломать им ноги. Тем не менее они увлекались «персидскими палицами» и даже каждый вечер натирали их воском и суконным лоскутом, чтобы они не треснули.

Затем они стали подыскивать ров. Наконец нашли подходящий и стали прыгать через него, опираясь на длинный шест; оттолкнувшись левой ногою, они перескакивали на другую сторону и начинали сначала. Местность была ровная, их было видно издалека, и крестьяне недоумевали: что за диковинные фигуры подпрыгивают на горизонте?

С наступлением осени они обратились к комнатной гимнастике, но она им скоро надоела. Отчего нет у них качалки или почтового кресла, придуманного аббатом Сен-Пьером в царствование Людовика XIV? Как оно было устроено? Где бы узнать? Дюмушель даже не соблаговолил ответить им на запрос.

Тогда они соорудили в пекарне ручные качели. По двум блокам, привинченным к потолку, проходила веревка с поперечной планкой на каждом конце. Ухватившись за нее, один отталкивался от пола ногами, другой опускал руки до земли; первый подтягивал своей тяжестью второго, а тот, понемногу отпуская веревку, сам начинал подниматься; не проходило и пяти минут, как с обоих начинал катиться пот.

Следуя указаниям Аморoса, они старались сделаться левшами — и доходили до того, что некоторое время вовсе не пользовались правой рукой. Более того, Аморос приводит несколько стихотворений, которые надо напевать

во время занятий гимнастикой, поэтому Бувар и Пекюше, маршируя, декламировали гимн № 9:

Король, справедливый король — великое благо...

Ударяя себя в грудь:

Друзья! Корона и слава, и т. д.

Во время бега:

Сюда, робкая лань!
Догоним ее, быстроногую!
Да, мы победим!
Бежим, бежим, бежим!

Дыша, как запаленные лошади, они подбадривали себя звуком собственных голосов.

Особенно восхищала их одна особенность гимнастики: возможность применить ее при спасении погибающих.

Но нужны были дети, чтобы научиться переносить их в мешках; они попросили учителя предоставить им несколько ребятишек. Пти возразил, что родители могут возмутиться. Тогда они ограничились подачею помощи раненым. Один прикидывался потерявшим сознание, другой со всевозможными предосторожностями вез его в тачке.

Что касается военных атак, то для этого автор рекомендует лестницу Буа-Розе, названную так по имени капитана, который в свое время взял приступом Фекан, вскарабкавшись по скале.

Руководствуясь картинкой из книги, они укрепили на канате поперечные палки и привязали его к потолку сарая.

Сев на нижнюю палку и ухватившись за третью, подбрасывают ноги вверх, чтобы вторая палка, только что находившаяся на уровне груди, оказалась как раз под ляжками. Потом выпрямляются, берутся за четвертую палку и продолжают дальше. Несмотря на чудовищные выкрутасы, им так и не удалось забраться на вторую ступеньку.

Быть может, легче цепляться руками за камни, как поступали солдаты Бонапарта при осаде Фор-Шамбре? Чтобы научиться этому приему, в заведении Аморoса имеется особая башня.

Ее можно заменить полуразрушенной стеной. Они попытались штурмовать ее.

Но Бувар, слишком поспешно вынув ногу из расщелины, испугался и почувствовал головокружение.

Пекюше объяснял неудачу изъянами в их методе; они

пренебрегли наставлениями относительно суставов, надо вернуться к изучению основных принципов.

Его уговоры остались втуне; тогда он, преисполненный гордыни и самоуверенности, взялся за ходули.

Казалось, он был предназначен для них самой природой, ибо он сразу стал на самые высокие, подножки которых возвышались на четыре фута над землей, и, сохраняя равновесие, носился по саду, напоминая огромного, диковинного аиста.

Бувар, стоявший у окна, вдруг увидел, как Пекюше зашатался и камнем рухнул на бобы; подпорки их, ломаясь, смягчили удар. Когда его подобрали, он был весь выпачкан в земле, смертельно бледен, из носа у него шла кровь; он боялся, что нажил себе грыжу.

Решительно, гимнастика не подходит для людей их возраста; они отказались от нее и уже не отваживались двинуться с места, остерегаясь несчастных случаев; они целыми днями сидели в музее, обдумывая, чем бы теперь заняться.

Перемена режима повлияла на здоровье Бувара. Он отяжелел, после еды пыхтел, как кашалот, решил похудеть, стал меньше есть и ослабел.

Пекюше тоже чувствовал, что здоровье его «подорвано»; у него стало почесываться тело, появилась мокрота.

— Плохо дело,— говорил он,— плохо.

Бувар надумал сходить в трактир и купить там несколько бутылок испанского вина, чтобы подкрепить силы.

Когда он выходил из заведения, писарь из конторы Мареско и еще трое мужчин вносили к Бельжамбу большой ореховый стол. Господин Мареско горячо благодарил за него. Стол вел себя отлично.

Так Бувар узнал о новейшей моде на вертящиеся столы. Он посмеялся над писарем.

Между тем всюду, в Европе, в Америке, в Австралии и в Индии, миллионы смертных проводят жизнь за верчением столов и теперь научились превращать чижей в пророков, давать концерты, не прибегая к инструментам, общаться друг с другом при посредстве улиток. Печать в серьезном тоне преподносила этот вздор публике, поощряя ее легковерие.

Стучащие духи обосновались в замке графа де Фавержа, оттуда распространились по селу; главным вопрошающим их был нотариус.

Задетый скептицизмом Бувара, он пригласил приятелей на сеанс вертящихся столов.

Уж не ловушка ли это? Там будет, вероятно, г-жа Борден. К нотариусу отправился один Пекюше.

В числе присутствующих были мэр, податной инспектор, капитан, несколько обывателей с женами, г-жа Вокорбей и, как и следовало ожидать, г-жа Борден; кроме того, была мадмуазель Лаверьер, бывшая учительница г-жи Мареско, чуточку косившая, с седыми локонами, спадавшими на плечи по моде 1830-х годов. В кресле восседал кузен хозяйки, парижанин в синем сюртуке, весьма нахальный с виду.

Комнату украшали две бронзовые лампы, горка с безделушками; на рояле лежали ноты с виньетками, на стенах красовались крошечные акварели в огромных рамках — все это неизменно приводило жителей Шавиньоля в изумление. Но в этот вечер все взоры были прикованы к столу красного дерева. Сейчас его подвергнут испытанию, а пока что он казался значительным, как бы заключающим в себе непостижимую тайну.

Двенадцать приглашенных уселись вокруг него, протянув руки и касаясь друг друга мизинцами. Ждали только, чтобы пробили часы. Лица выражали глубочайшее внимание.

Минут через десять многие стали жаловаться, что по рукам у них пробегают мурашки. Пекюше было не по себе.

— Что вы пихаетесь! — сказал капитан, обращаясь к Фуро.

— Да я и не думал пихаться!

— То есть как?

— Позвольте, сударь!

Нотариус их унял.

Все так напрягали слух, что им почудилось, будто потрескивает дерево. Иллюзия! Ничто не шелохнулось.

Прошлый раз, когда из Лизье приезжали семейства Обер и Лормо и когда нарочно попросили у Бельжамба его стол, все шло так хорошо! А сегодня он что-то заупрямился... С чего бы это?

Вероятно, ему мешал ковер, поэтому все общество перешло в столовую.

Для опыта выбрали столик на одной ножке, и за него сели Пекюше, Жирбаль, г-жа Мареско и ее кузен Альфред.

Столик был на колесиках; немного погодя он переместился вправо; участники сеанса, не разнимая рук, последовали за ним, а он сам собою сделал еще два поворота. Все были поражены.

Альфред громко вопросил:

— Дух! Как тебе нравится моя кузина?

Столик, медленно покачиваясь, ответил девятью ударами.

Согласно дощечке, на которой было указано, какой букве соответствует то или иное число ударов, это означало: «прелестна». Раздались одобрительные возгласы.

Затем Мареско, поддразнивая г-жу Борден, потребовал у духа точного ответа на вопрос: сколько ей лет?

Ножка столика стукнула пять раз.

— Как? Пять лет? — воскликнул Жирбаль.

— Десятки не принимаются в расчет,— ответил Фуро.

Вдова улыбнулась, хоть и была задета.

Ответы на остальные вопросы не получались — алфавит оказался чересчур сложным. Лучше было бы пользоваться табличкой — более удобным способом, к которому прибегала мадмуазель Лаверьер; ей даже удалось записать в альбом свои личные беседы с Людовиком XII, Клемансой Изор, Франклином, Жан-Жаком Руссо и проч. Такие приборы продаются на улице Омаль. Альфред обещал купить приспособление, затем обратился к бывшей учительнице:

— А теперь немного музыки, не правда ли? Какую-нибудь мазурку...

Раздались два аккорда. Он взял кузину за талию, увел в соседнюю комнату, потом опять появился. Ее платье, касаясь дверей, распространяло прохладу. Она запрокидывала голову, он изящно выгибал руку. Гости любовались грацией дамы, удалью кавалера. Пекюше, не дожидаясь угощения, удалился совершенно ошеломленный.

Сколько он ни твердил: «Я сам видел! Сам видел!», Бувар опровергал факты, однако согласился самолично заняться опытом.

Целых две недели они проводили вечера, сидя друг против друга, держа руки над столом, потом над шляпой, над корзинкой, над тарелками. Ни один из этих предметов не тронулся с места.

Тем не менее факт столоверчения не подлежит сомнению. Толпа приписывает его духам, Фарадей — проявлению нервной деятельности, Шеврель — неосознанному напряжению, а может быть, как допускает Сегуен, оно объясняется тем, что из скопища людей исходят некие импульсы, некий магнетический ток?

Такая гипотеза навела Пекюше на размышление. Он взял из своей библиотеки *Руководство для магнетизера*

Монтакабера, внимательно прочел его и познакомил Бувара с его теорией.

Все одушевленные существа воспринимают и сами распространяют воздействие небесных светил. Способность эта подобна свойству магнита. Управляя этой силой, можно излечивать больных, вот основной принцип. Со времен Месмера наука сделала большой шаг вперед, но по-прежнему важно излучать флюиды и делать пассы, задача коих прежде всего — усыплять.

— Ну так усыпи меня! — сказал Бувар.

— Не могу,— ответил Пекюше.— Чтобы испытывать на себе действие магнетизма и самому его передавать, необходима вера.

Пристально посмотрев на Бувара, он добавил:

— Какая досада!

— Что такое?

— А то, что при желании и после небольшой тренировки из тебя получился бы редкостный магнетизер!

Ведь Бувар обладает всем, что требуется: он располагает к себе, отличается могучим телосложением и твердым характером.

Бувар был польщен тем, что у него вдруг открыли такую способность. Он втихомолку погрузился в Монтакабера.

Тем временем Жермена стала жаловаться на шум в ушах, который совершенно оглушал ее, и однажды вечером Бувар сказал ей между прочим:

— А не испробовать ли вам магнетизм?

Она не воспротивилась. Он сел против нее, взял ее за большие пальцы и стал пристально смотреть ей в глаза, словно всю жизнь только этим и занимался.

Поставив ноги на грелку, старуха стала постепенно клонить голову; глаза ее сомкнулись, и она тихонько захрапела. Целый час они наблюдали за нею, потом Пекюше шепотом спросил:

— Что вы чувствуете?

Она очнулась.

Со временем у нее, несомненно, обнаружится способность ясновидения.

Этот успех придал им смелости, и, снова взявшись за врачевание, они без зазрения совести принялись лечить пономаря Шамберлана от межреберных болей, каменщика Мигрена — от невроза желудка, тетушку Варен, которой они прикладывали к опухоли под ключицей мясные пластыри, папашу Лемуана, больного подагрой и постоянно

околачивавшегося возле кабаков; лечили человека, пораженного односторонним параличом, чахоточного и многих других. Они врачевали также насморк и отмороженные конечности.

Ознакомившись с недугом, они взглядом вопрошали друг друга, должны ли они применить в данном случае сильный или слабый ток, какие пассы пустить в ход: восходящие или нисходящие, продольные, поперечные, двуперстные, трехперстные или даже пятиперстные. Когда один выбивался из сил, его заменял другой. Вернувшись домой, они заносили свои наблюдения в историю болезни.

Их ласковое обращение плепяло больных. Предпочтение все же отдавалось Бувару, а когда он вылечил дочь дядюшки Барбе, отставного капитана дальнего плавания, молва о нем дошла до Фалеза.

Страдалица ощущала как бы гвоздь в затылке, говорила хриплым голосом, часто по нескольку дней не притрагивалась к пище, потом наедалась известки и угля. У нее бывали нервные припадки, начинавшиеся слезами и кончавшиеся бурными рыданиями; родные перепробовали все средства — от настоев из трав до прижиганий, и она, отчаявшись, приняла предложение Бувара.

Он отослал служанку, запер двери и стал растирать ей живот, особенно нажимая на то место, где яичники. Она почувствовала облегчение, выразившееся во вздохах и зевоте. Он приложил ей палец к переносице, между бровями; вдруг она стала недвижима. Когда он поднимал ее руку, рука снова падала; голова оставалась в том положении, какое он ей придавал, веки были сомкнуты и судорожно подергивались, а за ними видны были медленно перекатывавшиеся глазные яблоки; наконец она замерла, закатив глаза.

Бувар спросил, болит ли у нее что-нибудь; она отвечала, что нигде не болит; теперь у нее появилось другое ощущение — она видит свое нутро.

— А что вы там видите?

— Червяка.

— Как же нам убить его?

Она нахмурилась:

— Я придумываю... Не могу, не могу.

Во время второго сеанса больная пожелала крапивного отвара, во время третьего — настоя из трав. Припадки стали слабее, потом совсем исчезли. Казалось, произошло чудо.

У других больных прикладывание пальца к переносице не дало никакого результата, поэтому решено было соорудить месмеров чан. Пекюше уже набрал было металлической стружки и вымыл десятка два бутылок, как вдруг у него возникло сомнение. Среди больных могут оказаться женщины.

— А что мы станем делать, если у них начнется припадок эротического помешательства?

Бувара это не остановило бы; но ведь пойдут сплетни, да и шантаж возможен,— значит, благоразумнее воздержаться. Они удовольствовались стеклянной гармоникой и ходили с нею по домам, приводя в восторг ребятишек.

Однажды, когда Мигрену стало хуже, они пришли к нему с инструментом. Пронзительные звуки выводили больного из себя, но Делез предписывает не страшиться жалоб; музыка продолжалась.

— Довольно! Довольно! — кричал больной.

Пекюше еще неистовее бил по стеклянным пластинкам, инструмент дрожал, страдалец выл, но тут неожиданно появился врач; его привлек этот страшный шум.

— Как? Вы и сюда пролезли? — воскликнул он, взбешенный тем, что застает их у всех своих пациентов.

Они объяснили свою магнетическую методу. Врач обрушился на магнетизм, на все эти фокусы, действие которых зависит исключительно от воображения.

Однако магнетизируют же зверей,— это утверждает Монтакабер,— а г-ну Фонтену удалось магнетизировать львицу. Львицы у них не было. Зато им случайно подвернулось другое животное.

На другое утро, часов в шесть, к ним пришел работник и сказал, что их требуют на ферму к подыхающей корове.

Они поспешили туда.

Цвели яблони, во дворе, над травой, разогретой лучами солнца, реял пар.

Возле пруда мычала корова; прикрытая попоной, она вся дрожала; ее окачивали водой из ведер; она страшно разбухла и походила на гиппопотама.

Бедное животное, несомненно, чем-то отравилось, когда паслось на клеверном поле. Дядюшка Гуи с женой были в отчаянии; ветеринар не мог приехать, а каретник, знавший заговор от вздутия, не желал утруждать себя; но господа, у которых такая знаменитая библиотека, уж, верно, знают, в чем тут секрет.

Засучив рукава, они встали — один перед рогами, другой у крупа — и начали с великим внутренним напряже-

нием, неистово жестикулируя, растопыривать пальцы, чтобы излить на скотину потоки флюидов; фермер, его жена, их сын и соседи взирали на них почти с ужасом.

Урчание, раздававшееся в брюхе коровы, переходило в бульканье. Она выпустила газы. Пекюше сказал:

— Это проблеск надежды; быть может, она опорожнится.

Корова опорожнилась; надежда явилась в образе желтой массы, которая вырвалась из скотины с таким треском, словно взорвался снаряд. Кожа опала, вздутие уменьшилось; час спустя от беды не осталось и следа.

Тут уж, конечно, не воображение сыграло роль. Значит, во флюидах есть какая-то особая сила. Она, вероятно, заключена в предмете, откуда можно ее затем изъять, причем она ничуть не ослабнет. Такая ее способность упраздняет необходимость перемещаться. Они воспользовались этим и стали посылать своим пациентам магнетизированные брелоки, магнетизированные платки, магнетизированную воду, магнетизированный хлеб.

Потом, продолжая свои исследования, они отказались от пассов и перешли к системе Пюисегюра, предусматривающей замену магнетизера старым деревом, ствол которого обматывают веревкой.

Около их садовой будки росло грушевое дерево, словно нарочно созданное для этой цели. Они приспособили его, крепко обвязав в несколько оборотов. Под деревом поставили скамью. На нее усаживались пациенты; были получены такие превосходные результаты, что, желая посрамить Вокорбея, Бувар и Пекюше пригласили его на сеанс вместе с несколькими почтенными лицами.

Все до одного приняли приглашение.

Жермена встречала их в маленькой зале, прося немного «обождать» — хозяева сейчас придут.

Время от времени раздавался звонок. Это прибывали больные; Жермена отводила их в другую комнату. Приглашенные подталкивали друг друга локтями, обращая внимание на запыленные окна, грязные стены, облупившиеся двери; сад производил и вовсе жалкое впечатление. Всюду засохшие деревья! Пролом в ограде, служивший входом во фруктовый сад, был заслонен двумя жердями.

Появился Пекюше.

— К вашим услугам, господа!

Вдали, под эдуенской грушей, сидело несколько пациентов.

Шамберлан, безбородый, как аббат, в ластиковом под-

ряснике и кожапой скуфейке, подергивался от межреберных болей; рядом с ним гримасничал Мигрен, все еще страдавший желудком; мамаша Варен прятала свою опухоль под шарфом, обернутым несколько раз вокруг шеи; дядюшка Лемуан в старых туфлях, надетых на босу ногу, держал под мышками костыли, а дочка Барбе, нарядившаяся по-праздничному, была необычно бледна.

По другую сторону дерева оказались еще люди: женщина с лицом альбиноса, утиравшая гноящиеся язвы на шее; девочка в таких больших синих очках, что лица ее почти не было видно, старик с искривленным позвоночником, непроизвольно дергавшийся и толкавший своего соседа Марселя, жалкого идиота в рваной блузе и заплатанных штанах. За его плохо подправленной заячьей губой виднелись зубы, щека, раздутая огромным флюсом, была обмотана тряпками.

Все держались за веревку, свисавшую с дерева, а вокруг щебетали птички, и в воздухе пахло разогретой травой. Сквозь ветви пробивались лучи солнца. Гости шагали по мху.

Между тем испытуемые, вместо того чтобы спать, таращили глаза.

— Пока что ничего забавного нет,— заметил Фуро.— Начинайте, я на минутку удалюсь.

Он вернулся, покуривая из Абд-эль-Кадера, последней реликвии из коллекции трубок.

Пекюше вспомнился превосходный способ магнетизирования. Он стал брать в рот носы немощных и вбирать в себя их дыхание, чтобы извлечь из него электричество, а Бувар в это время обнимал дерево, чтобы усилить приток флюида.

Каменщик перестал икать, пономарь стал не так резко дергаться, человек с искривленным позвоночником сидел не шевелясь. Теперь можно было подходить к ним, подвергать их всевозможным опытам.

Врач ланцетом уколол Шамберлана возле уха — тот слегка вздрогнул. Чувствительность у других не вызывала сомнений; подагрик вскрикнул. Что касается Барбе, то она улыбалась словно во сне, под подбородком у нее текла тонкая струйка крови. Чтобы самолично испытать ее, Фуро хотел было взять у доктора ланцет, но тот не дал его, и Фуро ограничился тем, что сильно ущипнул больную. Капитан пощекотал ей перышком ноздри, акцизный вздумал воткнуть ей в руку иголку.

— Оставьте ее,— сказал Вокорбей,— ничего удиви-

тельного здесь, в общем, нет! Истеричка! Тут сам черт не разберется!

— А вот эта — сама лекарь,— сказал Пекюше, указывая на Викторию, страдавшую золотухой.— Она распознает болезни и прописывает лекарства.

Ланглуа очень хотелось посоветоваться с нею относительно своего катара, но он так и не решился; зато более отважный Кулон попросил у нее чего-нибудь от ревматизма.

Пекюше положил его правую руку в левую руку Виктории, и сомнамбула, слегка разрумянившись, не открывая глаз, дрожащими губами сперва пролепетала что-то несуразное, потом предписала *valum becum.*

Она служила в Байе у аптекаря. Вокорбей решил, что она хотела сказать *album graecum* — должно быть, этот термин она слыхала в аптеке.

Затем он подошел к папаше Лемуану, который, по утверждению Бувара, различал предметы сквозь непрозрачные тела.

Лемуан некогда был школьным учителем, но с годами совсем опустился. Лицо его было обрамлено разметавшимися седыми прядями; он сидел, прислонясь к дереву, раскинув руки, и в величественной позе спал на самом солнцепеке.

Доктор завязал старику глаза галстуком, а Бувар, поднеся газету, повелительно сказал:

— Читайте!

Старик склонил голову, пошевелил губами, потом откинулся назад и произнес по слогам:

— Кон-сти-тю-си-он-ель!

— Ну, при известной ловкости можно приподнять любую повязку.

Возражения доктора приводили Пекюше в негодование. Он дошел до того, что осмелился утверждать, будто Барбе может сказать, что в настоящее время делается в доме доктора.

— Попробуем,— согласился доктор.

Вынув из кармана часы, он спросил:

— Чем занимается сейчас моя жена?

Барбе долго колебалась, потом сердито сказала:

— Ну вот, чем? А! Знаю! Пришивает ленты к соломенной шляпке.

Вокорбей вырвал из записной книжки листок и написал несколько слов, которые писарь Мареско взялся отнести адресату.

Сеанс был закончен. Больные разошлись.

В общем, Бувара и Пекюше постигла неудача. Сыграла ли здесь роль температура воздуха, или табачный запах, или зонтик аббата Жефруа, в каркас которого входила медь — металл, препятствующий истечению флюидов?

Вокорбей пожал плечами.

Тем не менее, не мог же он отрицать добросовестность Делёза, Бертрана, Морена, Жюля Клоке! А ведь эти авторитеты утверждают, что сомнамбулам случалось предсказывать события, выносить, не ощущая боли, жесточайшие операции.

Аббат рассказал еще более поразительные истории. Некий миссионер видел, как брамины бегут по дороге вниз головой, тибетский далай-лама вспарывает себе кишки, чтобы пророчествовать.

— Вы шутите? — бросил доктор.

— Ничуть!

— Подите вы! Что за вздор!

Тут все, отклонившись от вопроса, наперебой принялись рассказывать анекдоты.

— У меня вот,— сказал лавочник,— была собака, которая заболевала всякий раз, когда месяц начинался с пятницы.

— Нас было четырнадцать детей,— подхватил мировой судья.— Я родился четырнадцатого числа, женился четырнадцатого и именинник тоже четырнадцатого. Объясните мне, в чем тут дело?

Бельжамбу не раз снилось число постояльцев, которые на другой день остановятся в его трактире, а Пти рассказал про ужин, на котором Казот предсказал будущее.

Тут вмешался кюре.

— А почему бы не видеть в этом просто...

— Чертей, не так ли? — подсказал Вокорбей.

Вместо ответа кюре кивнул головой.

Мареско вспомнил дельфийскую пифию.

— Там, несомненно, играли роль миазмы.

— Ну вот, уж до миазмов дошли!

— А я вполне допускаю и там флюид,— возразил Бувар.

— Неврозо-астральный,— добавил Пекюше.

— Флюид! Так дайте нам доказательство! Покажите нам его! Да и вообще, уверяю вас, флюиды уже давно вышли из моды!

Вокорбей отошел подальше, в тень. Все последовали за ним.

— Когда вы говорите ребенку: «Я волк, я тебя сожру», он воображает, что вы — волк, и пугается; следовательно, это — сновидение, внушенное словами. Точно так же и сомнамбула усваивает те фантазии, которые желают ему внушить. У него сохраняется память, но сам он ничего не воображает, он только подчиняется, и хотя и мнит, что мыслит, а на самом деле испытывает только ощущения. Таким путем можно внушать преступные замыслы, и даже самые добродетельные люди могут оказаться хищниками и невольно стать людоедами.

Все взоры обратились на Бувара и Пекюше. Их паука чревата великою опасностью для общества.

В саду показался писарь Мареско — он размахивал запиской от г-жи Вокорбей.

Доктор распечатал ее, побледнел и, наконец, прочел следующее:

«Я пришиваю ленты к соломенной шляпке».

Все были так ошеломлены, что никто не рассмеялся.

— Просто совпадение! Это еще ничего не доказывает.

Магнетизеры стояли с торжествующим видом, а доктор, уходя, сказал им с порога:

— Бросьте вы это! Это опасная забава!

Кюре уходил в сопровождении пономаря и строго выговаривал ему:

— Вы с ума сошли! Без моего разрешения! Занимаетесь делом, запрещенным церковью!

Все уже разошлись; Бувар и Пекюше разговаривали возле беседки с учителем; в это время из фруктового сада выскочил Марсель; он был без повязки и лепетал:

— Вылечили! Вылечили! Благодетели!

— Хорошо, довольно! Оставь нас в покое!

— Благодетели! Дорогие мои! Чем мне вас отблагодарить?

Пти, сторонник прогресса, считал объяснение доктора пизменным, обывательским. Наука — монополия в руках богачей. Она еще недоступна народу; пора устаревший средневековый анализ заменить широким, непредвзятым синтезом. Истина должна постигаться сердцем. Пти объявил, что он — спирит и указал несколько трудов — несовершенных, конечно,— однако знаменующих собою зарю.

Они выписали эти сочинения.

Спиритизм основывается на утверждении, что роду человеческому свыше предопределено совершенствование. Со временем земля превратится в небо—именно эта сторо-

па доктрины прельщала учителя. Не будучи католической, она восходит к блаженному Августину и св. Людовику. Аллан-Кардек даже опубликовал фрагменты их высказываний, находящиеся на уровне современных воззрений. Доктрина эта жизненна, благотворна и открывает нам, как телескоп, горние миры.

После смерти дух в состоянии экстаза возносится в эти миры. Но порою духи спускаются на нашу планету, и тут они вызывают потрескивание мебели; они присоединяются к нашим развлечениям, наслаждаются красотою природы и чарами искусства.

Между тем многие из нас располагают аромальным хоботком, то есть длинною трубою, которая начинается на затылке и поднимается от волос до самых планет и позволяет нам общаться с духами Сатурна; тела неосязаемые все же вполне реальны, и между землею и звездами происходит беспрестанное общение, движение, обмен.

Тут душа Пекюше озарилась надеждой; ночью Бувар не раз заставал его у окна за созерцанием пространств, пронизанных светом и населенных духами.

Сведенборг совершал грандиозные путешествия. Меньше чем за год он исследовал Венеру, Марс, Сатурн и двадцать три раза — Юпитер. Кроме того, в Лондоне он видел Христа, видел апостола Павла, видел апостола Иоанна, Моисея, а в 1736 году видел даже Страшный суд.

И он описывает нам небо.

Там есть цветы, дворцы, базары и храмы — совсем как у нас.

Ангелы, некогда бывшие людьми, записывают свои мысли на листочках, толкуют о хозяйственных делах или на духовные темы, обязанности священнослужителей возложены там на тех, кто в земной своей жизни чтил Священное писание.

Что же касается ада, то там царит тошнотворное зловоние, стоят жалкие лачуги, всюду кучи нечистот, рытвины, люди в лохмотьях.

Пекюше ломал себе голову над вопросом: что же хорошего в этих откровениях? Бувару они показались бредом полоумного. Все это выходит за грани эаконов природы! Впрочем, как знать? Они предались размышлениям.

Фокусники могут завораживать толпу; человек с неистовыми страстями способен воодушевлять других; но каким образом воля сама по себе может влиять на инертную материю? Какой-то баварец, говорят, заставляет со-

зревать виноград; Жерве оживил гелиотроп; в Тулузе некто еще более могущественный разгоняет тучи.

Следует ли предположить, что между нами и внешним миром существует некая промежуточная субстанция? Может быть, именно такой субстанцией и является од — новое невесомое вещество, своего рода электричество? Его излучением могут объясняться отсветы, о которых рассказывают магнетизируемые, блуждающие огоньки на погостах, призрачные видения.

Тогда эти образы уже нельзя считать иллюзией; значит, необыкновенные способности, свойственные одержимым и сходные с даром сомнамбул, имеют под собою физические основы?

Каково бы ни было происхождение этого дара, существует некая сущность, некий таинственный и всеобъемлющий двигатель. Если бы нам удалось завладеть этой сущностью, нам не нужны были бы сила, время. То, на что требуются века, развивалось бы в одну минуту; возможно стало бы любое чудо, и вся вселенная покорялась бы нашей воле.

Это извечное вожделение человеческого ума породило магию. Ценность ее, конечно, преувеличили, но все же это не обман. Знакомые с нею жители восточных стран творят чудеса. Об этом свидетельствуют все путешественники, а в Пале-Руояле Дюпоте пальцем приводит в движение намагниченную стрелку.

Как стать магом? Сначала эта мысль показалась им безумием, но они все возвращались к ней, она не давала им покоя, и в конце концов они поддались ей, хоть и делали вид, будто шутят.

Необходимо подготовить себя особым режимом.

Чтобы достигнуть состояния экзальтации, они бодрствовали по ночам, постились, ограничивали в еде также и Жермену, рассчитывая сделать из нее более чуткого медиума. Она отыгрывалась на выпивке и потребляла теперь столько водки, что в конце концов стала запойной пьяницей. Они расхаживали по коридору и не давали ей спать. Их шаги путались у нее с шумом в ушах и воображаемыми голосами, исходившими, как ей казалось, из стен. Однажды утром, отнеся в погреб камбалу, она с ужасом увидела ее всю в огне; с того дня ей стало хуже, и в конце концов она решила, что они ее сглазили.

В чаянии видений они сжимали друг другу затылок, сшили себе ладанки с белладонной и стали носить магический ларчик — коробочку, из которой торчал гриб, утыкан-

ный гвоздями; его надо подвязать на ленточку и носить на груди, у сердца. Все это не дало никаких результатов; тогда они решили прибегнуть к кругу Дюноте.

Пекюше отметил углем на полу черный кружок, чтобы заключить в нем животных духов, которым должны помогать духи внешней среды; гордый сознанием, что может командовать Буваром, он сказал ему торжественно, как жрец:

— Через этот круг тебе не перешагнуть!

Бувар стал разглядывать кружок. Вскоре сердце у него забилось, в глазах помутнело.

— Ох, довольно!

Он выскочил из круга, чтобы положить конец неизъяснимо гадкому ощущению.

Пекюше, экстаз которого все усиливался, вздумал вызвать какого-нибудь покойника.

Во времена Директории некий человек, живший на улице Эшикье, показывал желающим жертв террора. Случаи появления призраков неисчислимы. Пусть это только видимость — все равно! Важно создать ее.

Чем ближе нам усопший, тем скорее откликается он на наш зов. У Пекюше не было ни одной семейной реликвии, ни перстня, ни миниатюры, ни волоска, Бувар же имел возможность вызвать своего отца. Но он противился этому замыслу. Пекюше спросил его:

— Чего ты боишься?

— Боюсь? Ничего я не боюсь. Делай как знаешь.

Они подкупили Шамберлана, и тот тайком принес им череп с кладбища. Портной сшил для них два черных балахона с капюшонами, как у монахов. Подвода, прибывшая из Фалеза, доставила им длинный сверток в чехле. Затем они принялись за дело — один, сгорая от нетерпения узнать, что из этого получится, другой — боясь удостовериться в успехе.

Музей был затянут черным наподобие катафалка. На столе, придвинутом к стене, под портретом отца Бувара горело три свечи; повыше портрета висел череп. Они даже пристроили свечу внутри черепа, и из глазных впадин струился свет.

Посреди музея, на жаровне, дымился ладан. Бувар держался подальше, а Пекюше, стоя к нему спиной, бросал в камин пригоршни серы.

Прежде чем вызывать мертвеца, нужно испросить согласия чертей. Была пятница, а этот день принадлежит Бехету; к Бехету и следовало прежде всего обратиться.

Бувар поклонился направо и налево, склонил голову, воздел руки и начал так:

— Именем Эфаншла, Анацина, Исхироса...

Остальное он забыл.

Пекюше поспешил подсказать ему имена, записанные на листке:

— Исхироса, Атанатоса, Адоная, Садая, Элоя, Мессиаса (перечень был длинный)... заклинаю тебя, избираю тебя, повелеваю тебе, о Бехет!

Затем, понизив голос:

— Где ты, Бехет, Бехет, Бехет, Бехет?

Бувар опустился в кресло; он рад был бы не видеть Бехета, ибо внутренний голос порицал его за эту затею как за святотатство. Где пребывает душа его родителя? Может ли она слышать его? Вдруг он явится?

Шторы медленно шевелились от ветра, дувшего в разбитое окно, свечи бросали на череп и на портрет колышущиеся тени. И череп и портрет подернулись коричневато-землистым налетом. Скул коснулась плесень, глаза угасли, зато наверху, проникая сквозь отверстия черепа, светился огонек. Порою казалось, будто череп занял место портрета, опустился на воротничок сюртука и украсился бакенбардами, а холст, еле держась на гвозде, покачивался и трепетал.

Постепенно они стали ощущать как бы чье-то дыхание, близость какого-то неосязаемого существа. На лбу у Пекюше выступила испарина, у Бувара стучали зубы, судорога сводила ему живот; пол волнами ходил у него под ногами; дым от серы, тлевшей в камине, клубился крупными кольцами, в воздухе носились летучие мыши. Раздался крик. Кто это?

Лица их, полускрытые капюшонами, исказились и наводили ужас; они не решались ни шевельнуться, ни вымолвить слово; но вот они услышали за дверью какие-то звуки, словно стенанья чьей-то страждущей души.

Наконец они осмелели и распахнули дверь.

То была их старая служанка; она подглядывала в щелку перегородки, и ей почудилось, что она видит самого черта; она упала в коридоре на колени и усердно крестилась.

Как они ни увещевали ее, все оказалось бесполезным. Она ушла от них в тот же вечер, не желая больше служить таким нечестивцам.

Жермена кое-что разболтала. Шамберлан лишился места, а против Бувара и Пекюше образовалась глухая оп-

позиция, вдохновляемая аббатом Жефруа, г-жой Борден и Фуро.

Их образ жизни, отличный от уклада окружающих, вызывал осуждение. Они становились подозрительными и внушали смутную тревогу.

Особенно повредил им в общественном мнении выбор слуги. За неимением лучшего они наняли Марселя.

Заячья губа, безобразная внешность и косноязычие отталкивали от него людей. Брошенный родителями, он кое-как рос среди полей, и от постоянного недоедания у него развился ненасытный аппетит. Падаль, протухшее сало, раздавленная собака — все ему годилось, лишь бы кусок был побольше. Вместе с тем он был незлобив, как ягненок, и безнадежно глуп.

Чувство признательности побудило его предложить свои услуги господам Бувару и Пекюше; вдобавок, считая их колдунами, он надеялся на баснословные барыши.

В первые же дни он доверил им тайну. Некогда одному человеку довелось найти в вересковых зарослях возле Полиньи слиток золота. Об этом упоминается в трудах фалезских историков; но дальнейшего они не знали, а именно — того, что двенадцать братьев, отправляясь в странствия, спрятали двенадцать одинаковых слитков, все они были зарыты вдоль дороги между Шавиньолем и Бретвилем, и Марсель умолял своих хозяев продолжить розыски кладов. Слитки, подумали они, быть может, были зарыты во время эмиграции.

Вот превосходный случай испробовать гадательный жезл! Могущество его сомнительно. Тем не менее они изучили вопрос и узнали, что некий Пьер Гарнье, выступая в защиту жезла, приводит некоторые научные доводы: источники и металлы выделяют мельчайшие частицы, родственные дереву.

Вряд ли это так. Впрочем, как знать? Попробуем.

Они выстругали себе вилы из орешника и в одно прекрасное утро отправились отыскивать клад.

— Придется его сдать,— сказал Бувар.

— Вот уж нет! С какой стати?

Походив часа три, они остановились в раздумье: дорога из Шавиньоля в Бретвиль! А которая — старая или новая? Вероятно, старая.

Они повернули обратно, прошлись по окрестностям наугад: след старой дороги отыскать было нелегко.

Марсель бросался то вправо, то влево, как спаниель на охоте. Каждые пять минут Бувару приходилось окликать

его; Пекюше шествовал не спеша, держа вилы за два разветвления, острием вверх. Нередко ему казалось, что какая-то сила, зацепив крюком, тянет жезл к земле, и тогда Марсель проворно делал зарубки на соседних деревьях, чтобы позже найти это место.

Между тем Пекюше стал отставать. Рот у него приоткрылся, зрачки сузились. Бувар окликнул его, встряхнул за плечи; он был нем и недвижим, совсем как дочь Барбе.

Потом он сказал, что внезапно почувствовал, как в области сердца что-то у него оборвалось — странное состояние, вызванное, несомненно, жезлом. И он не хотел больше к нему прикасаться.

На другой день они вернулись к отмеченным деревьям. Марсель заступом рыл ямы. Поиски оказывались бесплодными, и каждый раз они бывали страшно сконфужены. Пекюше присел на обочине канавы; он задумался, закинув голову и стараясь своим аромальным хоботком уловить голоса духов; он даже усомнился, есть ли у него такой хоботок, и вперил взгляд в козырек своей фуражки. Экстаз, посетивший его накануне, вновь повторился. Он длился долго и всех напугал.

На тропинке, над овсами, показалась фетровая шляпа: то был господин Вокорбей; он трусил на своей кобылке. Бувар и Марсель окликнули его.

Когда доктор подъехал, припадок уже кончался. Чтобы лучше разглядеть Пекюше, доктор приподнял его фуражку и увидел у него на лбу пятна медного цвета.

— Ага, fructus belli![1] Это сифилитическая сыпь, приятель! Лечитесь! С любовью не шутят, черт возьми!

Пекюше в смущении опять надел фуражку — своего рода пышный берет с козырьком в виде полумесяца; фасон его он заимствовал из атласа Амороса.

Слова доктора ошеломили его. Он задумался, устремив взгляд в пространство, и вдруг снова почувствовал приступ.

Вокорбей наблюдал за ним, затем резким движением сбил с него картуз.

Пекюше пришел в себя.

— Я так и предполагал,— сказал доктор,— лакированный козырек гипнотизирует вас, как зеркало; такое явление часто наблюдается у людей, которые чересчур пристально рассматривают блестящий предмет.

---

[1] Плоды войны *(лат.)*.

Он объяснил, как можно провести этот опыт над курами, вскочил на свою кобылку и не спеша удалился.

Пройдя с полмили, они увидели на горизонте пирамидальную вышку, торчавшую над двором фермы. Она была похожа на чудовищную гроздь черного винограда, кое-где отмеченную красными пятнами. То была часто встречающаяся в Нормандии высокая жердь с перекладинами, на которые взбираются индюшки, чтобы погреться на солнце.

— Зайдем.

Пекюше обратился к фермеру, и тот согласился исполнить их просьбу.

Они белилами провели линию посреди давильни, связали одному индюку лапки и положили его плашмя, так что клюв его пришелся на белую полосу. Индюк сомкнул глаза и вскоре замер. То же произошло и с другими. Бувар проворно передавал их Пекюше, а тот, как только они засыпали, складывал их в сторонку. Обитатели фермы забеспокоились. Фермерша подняла крик, какая-то девочка разревелась.

Бувар развязал всех птиц. Они стали постепенно оживать. Но как бы не было последствий! В ответ на несколько резкое возражение Пекюше фермер ухватился за вилы.

— Убирайтесь отсюда, черт бы вас подрал! А не то выпущу из вас потроха.

Они удрали.

Это пустяки, главное — проблема решена; экстаз зависит от материальной причины!

Что же такое материя? Что такое дух? Чем объясняется их взаимодействие?

Чтобы отдать себе в этом отчет, они предприняли розыски у Вольтера, у Боссюэ, у Фенелона и снова записались в библиотеку.

Старинные авторы оказались недоступны из-за объемов их трудов и сложности языка, зато Жуффруа и Дамирон приобщили их к современной философии; они знакомились также с мыслителями минувшего века по книгам, в которых излагались их учения.

Бувар черпал доводы у Ламетри, Локка, Гельвеция, Пекюше — у Кузена, Томаса Рида и Жерандо. Первый интересовался опытом, для второго все сводилось к идеальному. В одном было нечто от Аристотеля, в другом — от Платона, и они вечно спорили.

— Душа нематериальна! — утверждал один.

— Это заблуждение! — утверждал другой.— Безумие, хлороформ, кровопускание потрясают ее, и, поскольку она не всегда мыслит, она не может быть только мыслящей субстанцией.

— Однако во мне есть нечто, что превыше тела и что иной раз берет над ним верх,— возражал Пекюше.

— Существо в существе? *Homo duplex*?[1] Будет тебе! Различные устремления вызываются противоположными побуждениями. Только и всего.

— Но ведь это нечто, эта душа остается все тою же, невзирая на внешние изменения. Следовательно, она первична, неделима и тем самым — духовна!

— Если бы душа была первична,— возражал Бувар,— новорожденный мог бы что-то помнить, представлять себе все, как взрослый. Мысль же, наоборот, следует за развитием мозга. Что касается неделимости души, то запах розы или аппетит волка, точно так же как и волеизъявление или любое утверждение, нельзя разрезать пополам.

— Это не имеет к ней никакого отношения,— возразил Пекюше,— душа свободна от свойств материи!

— Признаешь ты закон тяготения? — продолжал Бувар.— А если материя может падать, она может и мыслить. Имея начало, душа наша тем самым должна быть конечной и, завися от наших органов, должна исчезнуть вместе с ними.

— А я считаю ее бессмертной. Бог не может допустить...

— А если бога нет?

— Как так?

Пекюше выложил три картезианских довода:

— Во-первых, бог содержится уже в самом нашем понятии о нем; во-вторых, существование его возможно; в-третьих, будь я конечным, как же мог бы я иметь понятие о бесконечности? А раз мы этим понятием обладаем, то оно у нас от бога, следовательно, бог существует!

Он стал ссылаться на свидетельство нашего сознания, на народные верования, на необходимость существования творца.

— Когда я вижу часы...

— Да, да, знаем мы это! А скажи-ка, где отец часовщика?

— Но ведь должна же быть причина!

---

[1] Двойственный человек *(лат.)*.

Бувар сомневался в существовании причин.

— Из того, что одно явление следует за другим, заключают, что оно вытекает из первого. А вы докажите это.

— Но ведь картина мироздания свидетельствует об определенном намерении, о плане.

— Из чего это следует? Зло создано так же совершенно, как и добро. Червь, развивающийся в голове барана и вызывающий его смерть, с точки зрения анатомии ничуть не хуже самого барана. Всевозможные уродства многочисленнее нормальных явлений. Человеческое тело могло бы быть устроено гораздо лучше. Три четверти поверхности земного шара бесплодны. Луна, небесный светильник, видна далеко не всегда. Ты воображаешь, будто океан предназначен для пароходов, а деревья для отопления наших жилищ?

Пекюше возражал:

— Однако желудок создан для того, чтобы переваривать пищу, ноги — чтобы ходить, глаз — чтобы видеть, хоть и случаются расстройства желудка, поломки конечностей и катаракты. Все создано с определенной целью! Действие проявляется то немедленно, то спустя некоторое время. Все зависит от законов. Следовательно, изначальные причины существуют.

Бувар подумал, что, быть может, у Спинозы почерпнет он убедительные аргументы; он обратился к Дюмушелю с просьбой выслать ему перевод Сессе.

Дюмушель предоставил ему экземпляр, принадлежавший его другу, профессору Варло, сосланному после 2 декабря.

Этика устрашила их своими аксиомами, следствиями и заключениями. Они прочли только места, отчеркнутые карандашом, и уразумели следующее:

«Субстанция есть то, что существует самодовлеюще, благодаря себе, беспричинно, безначально. Субстанция эта — бог.

Один он — пространство, а пространство не имеет границ. Чем ограничить его?

Но хотя оно и бесконечно, оно не является абсолютной бесконечностью, ибо содержит в себе лишь один род совершенства, абсолют содержит их все».

Они часто прерывали чтение, чтобы получше вникнуть в слова философа. Пекюше беспрестанно брал понюшки табаку, а Бувар багровел от умственного напряжения.

— И тебе это интересно?

— Еще бы! Читай дальше!

— «Бог развивается в бесконечность атрибутов, которые каждый по-своему выражают бесконечность его существа. Нам известны из них только два: протяжение и мышление.

Из мышления и протяжения вытекают бесчисленные модусы, в коих содержатся другие.

Тот, кто разом охватил бы все протяжение и все мышление, не обнаружил бы в них ничего относительного, ничего случайного, а только геометрический ряд членов, связанных между собою непреложными законами».

— Вот было бы прекрасно! — заметил Пекюше.

— «Следовательно, не существует свободы ни для человека, ни для бога».

— Нет, ты только послушай! — воскликнул Бувар.

— «Если бы бог обладал волею, имел цель, если бы он действовал ради чего-либо, значит, у него была бы какая-нибудь потребность, значит, он не был бы совершенен. Он не был бы богом.

Итак, наш мир лишь точка в совокупности вещей, а вселенная, для нас непостижимая, есть часть бесконечного множества вселенных, излучающих вокруг нашей бесконечные модификации. Пространство объемлет нашу вселенную, его же объемлет бог, содержащий в мысли своей все возможные вселенные, и мысль его также объемлется его субстанцией».

Им казалось, что они на воздушном шаре несутся во тьме, в лютую стужу, и какой-то нескончаемый вихрь влечет их к бездонной пропасти, а вокруг них только нечто непостижимое, незыблемое, вечное. Это было свыше их сил. Они отказались от Спинозы.

Желая ознакомиться с чем-нибудь попроще, они купили себе учебник философии Генье, предназначенный для школьников.

Автор задается вопросом: какая метода предпочтительнее — онтологическая или психологическая?

Первая была пригодна для общества, пребывающего в младенческом состоянии, когда внимание человека было обращено на внешнюю среду. Теперь же, когда взор его обращен в собственный духовный мир, «вторая метода представляется более научной», и выбор Бувара и Пекюше остановился на последней.

Цель психологии — изучение процессов, происходящих в «недрах личности»; познавать их можно при помощи наблюдения.

— Будем же наблюдать!

В течение двух недель, обычно после завтрака, они исследовали самих себя, надеясь совершить великие открытия, однако не сделали ни одного, и это их очень удивляло.

«Я» поглощено одним явлением, а именно — мыслью. Какова же природа мысли? Предполагали, что предметы отражаются в мозгу, а мозг передает эти образы нашему разуму, который и познает их.

Но если мысль духовна, то как же она может представлять нечто материальное? Отсюда — скептицизм в отношении внешних восприятий. Если же мысль материальна, то ей не дано представлять объекты духовные. Отсюда — скептицизм в отношении внутренних восприятий.

К тому же будем здесь осторожны! Такая гипотеза может привести нас к атеизму.

Ведь образ, будучи чем-то конечным, не может представлять бесконечность.

— Однако,— возразил Бувар,— когда я мыслю о роще, о каком-нибудь человеке или о собаке, я вижу эту рощу, этого человека, эту собаку. Следовательно, мысль представляет их.

Они занялись вопросом о природе идей.

По учению Локка, существует два вида идей: одни рождаются ощущением, другие — мышлением, а Кондильяк все сводит к одним ощущениям.

Но в таком случае мышление лишается какой-либо основы. Оно нуждается в субъекте, в чувствующем существе, и оно бессильно дать нам великие основополагающие истины, как-то: бог, добро и зло, справедливость, красота и т. п., словом, представления, именуемые врожденными, то есть всеобщие и предшествующие фактам и опыту.

— Если бы они были всеобщими, мы были бы наделены ими с младенческих лет.

— Под словом «всеобщие» подразумевается то, что мы предрасположены к ним, и Декарт...

— Твой Декарт все путает! Ведь он утверждает, будто они свойственны даже зародышу, а в другом месте сам признает, что это только подразумевается.

Пекюше удивился.

— Откуда ты это взял?

— У Жерандо.

Бувар тихонько похлопал его по животу.

— Перестань! — сказал Пекюше и, возвращаясь к Кондильяку, продолжал: — Наши мысли вовсе не являются превращениями наших ощущений. Ощущения только

вызывают мысли, приводят их в действие. А чтобы приводить их в действие, нужен двигатель. Материя сама по себе не может создавать движения... Это я вычитал у твоего Вольтера,— добавил Пекюше, отвешивая другу низкий поклон.

Так они переливали из пустого в порожнее, повторяя все те же аргументы; каждый из них презирал мнение другого и в то же время не мог убедить его в своей правоте.

Но философия возвышала их в собственных глазах. Их прежние занятия сельским хозяйством, политикой стали казаться им жалкими.

Музей теперь вызывал у них отвращение. Друзья с радостью распродали бы все эти безделушки. Потом они перешли к другой теме: к душевным способностям.

Таких способностей три — ни больше ни меньше! А именно — способность чувствовать, способность познавать и способность проявлять волю.

В способности чувствовать следует различать два вида: физическую чувствительность и нравственную.

Физические ощущения естественно распадаются на пять разновидностей, поскольку они рождаются пятью органами чувств.

Явления чувствительности нравственной, наоборот, ничем не обязаны плоти. «Что общего между радостью Архимеда, открывающего законы тяжести, и низменным наслаждением Апиция, пожирающего голову кабана?»

Нравственная чувствительность бывает четырех видов, а второй из них — «нравственные желания» — делится на пять разновидностей, четвертый же — «привязанность» — подразделяется на две разновидности, одна из коих — любовь к самому себе, «склонность, конечно, законная, но если она переходит границы, то это уже эгоизм».

Способность познавать заключает в себе восприятия разума, в котором можно обнаружить два основных начала и четыре степени.

Абстракция для умов особого склада чревата подводными камнями.

Память позволяет проникать в прошлое, а предвидение — в будущее.

Воображение скорее способность частная, способность *sui generis* [1].

Все эти потуги доказать чушь, педантичный тон автора, однообразие его приемов: «Мы готовы признать... Мы

[1] Особого рода *(лат.)*.

далеки от мысли... Обратимся к нашему сознанию...», бесконечные восхваления Дегальда-Стюарта, словом, все это пустословие так опротивело им, что они, перемахнув через способность изъявлять волю, обратились к логике.

Она открыла им, что такое анализ, синтез, индукция, дедукция, а также разъяснила основные причины наших заблуждений.

Почти все они происходят от неправильного употребления слов.

«Солнце заходит, погода хмурится, зима приближается» — все это порочные выражения; они могут вызвать представление о личностях, в то время как речь идет о самых простых явлениях! «Я помню такую-то вещь, такую-то аксиому, такую-то истину» — самообман! Все это только идеи, а отнюдь не предметы, оставшиеся во мне; в сущности, следовало бы сказать: «Я помню тот акт моего ума, в силу коего я увидел эту вещь, вывел эту аксиому, установил эту истину».

Так как слово, обозначающее какое-либо действие, не объемлет его во всех модусах, они стали по возможности употреблять абстрактные слова, и вместо того, чтобы сказать: «Пойдем прогуляемся, пора обедать, у меня живот болит»,— они изрекали фразы вроде следующих: «Прогулка была бы весьма полезна, пришло время вводить в организм пищу, я чувствую потребность опорожниться».

Овладев логикой, они подвергли рассмотрению различные критерии истины и, прежде всего, здравый смысл.

Если знание недоступно индивидууму, то почему оно может быть доступно множеству индивидуумов? Если какое-либо заблуждение существует сто тысяч лет, то из этого не следует, что в нем заключается истина! Толпа всегда следует по проторенной дорожке. К прогрессу, наоборот, стремится лишь меньшинство.

Стоит ли доверяться свидетельству чувств? Подчас они обманывают и всегда сообщают лишь об одной видимости. Сущность от них ускользает.

Разум дает больше гарантий, ибо он незыблем и безличен, но, чтобы проявить себя, он должен воплотиться. Тогда разум становится моим разумом; любое правило, если оно ложно, теряет силу. Нет доказательств, что такое-то правило истинно.

Советуют проверить его при помощи ощущений, но они могут только сгустить мрак. Из смутного ощущения выводится ложный закон, который впоследствии помешает правильному восприятию явлений.

Остается мораль. Но это значит низвести бога до уровня полезного, как будто наши потребности являются мерою абсолюта.

Что касается очевидности, которую одни отрицают, другие признают, то она сама служит себе критерием. Это доказал Кузен.

— Теперь не остается ничего иного, кроме откровения,— сказал Бувар.— Но, чтобы верить в него, надо допустить два предварительных знания: знание чувствующего тела и знание воспринявшего интеллекта, допустить ощущение и разум — два свидетельства, исходящих от человека и, следовательно, сомнительных.

Пекюше задумался, скрестив на груди руки.

— Но тогда мы ниэвергнемся в жуткую бездну скептицизма.

Скептицизм, по мнению Бувара, страшит только жалкие умы.

— Благодарю за комплимент,— отозвался Пекюше.— Между тем есть явления неоспоримые. В известной мере можно достичь истины.

— В какой мере? Всегда ли дважды два — четыре? Содержимое всегда ли, в какой-то степени, меньше содержащего? Что значат слова: «приблизительная истина», «частица божества», «долька чего-либо неделимого»?

— Ну, ты просто-напросто софист!

Пекюше обиделся и дулся целых три дня.

За это время они изучали оглавления множества книг. Время от времени Бувар усмехался; наконец он возобновил разговор:

— А ведь трудно не сомневаться. Так, в отношении бога доводы Декарта, Канта и Лейбница различны и друг друга опровергают. Сотворение мира при помощи атомов или при помощи духа все же непостижимо.

Я ощущаю себя одновременно и материей и духом и в то же время не знаю, ни что такое материя, ни что такое дух.

Непроницаемость, прочность, тяжесть кажутся мне такими же загадками, как и моя душа, а сочетание души и тела — тем более.

Чтобы разобраться в этом, Лейбниц выдумал гармонию, Мальбранш — волю божию, Кедворт — посредника, Боссюэ усматривает в этом вечное чудо, а это просто глупость: вечное чудо не может быть чудом.

— Вот именно! — согласился Пекюше.

Оба признались, что устали от философов. Такое мно-

жество систем только сбивает с толку. Метафизика бесполезна. Вполне можно обойтись без нее.

К тому же их материальное положение все ухудшалось. Они должны были Бельжамбу за три бочки вина, за двенадцать килограммов сахара — Ланглуа, сто двадцать франков портному, шестьдесят — сапожнику. Расходы шли своим чередом, а дядя Гуи задерживал платежи.

Они обратились к Мареско с просьбой раздобыть им денег путем продажи Экайской мызы, то ли путем заклада их фермы или посредством продажи дома с условием, что им будет выплачиваться пожизненная рента и предоставлено право пользоваться им. Это не удастся, ответил Мареско, но у него есть план получше, и он их о нем уведомит.

Тут они вспомнили о своем заброшенном саде. Бувар занялся расчисткой буковой аллеи, Пекюше — подрезкой шпалер. Марселю поручили вскопать клумбы.

Спустя четверть часа они бросили работу; один сложил садовый нож, другой бросил секатор, и оба стали мирно прогуливаться: Бувар — под тенью лип, без жилета, выпятив грудь, с голыми руками; Пекюше — вдоль стены, понурившись, заложив руки за спину и из предосторожности повернув козырек картуза назад; так они прогуливались параллельно друг другу, даже не замечая Марселя, который прохлаждался на пороге садовой будки и уплетал ломоть хлеба.

В эти минуты раздумий их посещали кое-какие мысли: боясь позабыть их, они спешили друг к другу; и тут снова начинались метафизические беседы.

Проблемы возникали в связи с дождем и солнцем, в связи с камушком, попавшим в башмак, с цветком, распустившимся в газоне, в связи со всем.

Глядя на горящую свечу, они задавались вопросом: где же находится свет — в предмете или в нашем глазу? Если звезды могут угаснуть задолго до того, как до нас дойдет их сияние, мы, быть может, любуемся несуществующими вещами?

В одном из жилетных карманов они обнаружили забытую папиросу Распая; они раскрошили ее над водой, и камфора закружилась.

Вот как возникает движение в материи! Более мощное движение может зародить жизнь.

Но если бы для создания существ было достаточно одной движущейся материи, они не были бы столь разнообразны. Ведь вначале не существовало ни земли, ни во-

ды, ни человека, ни растений. Что же представляет собою эта первичная материя, которую никто не видел, которая чужда всему земному и в то же время все здесь породила?

Иной раз у них возникала надобность в какой-нибудь книге. Дюмушелю уже надоело их обслуживать, и он перестал им отвечать, между тем тот или иной вопрос не давал им покоя, особенно Пекюше.

Его стремление к истине превращалось в неутолимую жажду.

Взбудораженный речами Бувара, он отказывался от спиритуализма, снова возвращался к нему, чтобы вновь отвергнуть, и, схватившись за голову, восклицал:

— О сомнение, сомнение! Уж лучше небытие!

Бувар понимал несостоятельность материализма, но все же старался придерживаться его, признаваясь, впрочем, что совсем теряет голову.

Они возобновляли рассуждения, опираясь на прочную основу; основа рушилась, идея исчезала, подобно мухе, которую хотят поймать.

Зимними вечерами они беседовали в музее, у камина, глядя на рдеющие уголья. По коридору разгуливал ветер, окна дрожали от его порывов, черные кроны деревьев раскачивались из стороны в сторону, ночной мрак придавал еще бóльшую суровость их мыслям.

Время от времени Бувар уходил в глубь комнаты, потом возвращался. От светильников и сосудов, расставленных вдоль стен, на пол ложились косые тени, нос апостола Петра, повернутого в профиль, вырисовывался на потолке словно чудовищный охотничий рог.

Трудно было передвигаться между расставленными предметами, и Бувар то и дело натыкался на статую апостола. Пекюше она тоже раздражала своими выпученными глазами, отвислой губой и всем обликом, напоминавшим пьянчужку. Они уже давно собирались избавиться от нее, но по лени откладывали это со дня на день.

Как-то вечером, в пылу спора насчет монады, Бувар ушибся об ногу апостола, и раздражение его обрушилось на статую:

— Надоел мне этот болван! Выбросим его вон!

Тащить статую по лестнице было затруднительно. Они распахнули окно и осторожно наклонили ее на подоконник. Пекюше, стоя на коленках, пытался приподнять ее за пятки, а Бувар налегал на плечи. Каменный истукан не трогался с места; в качестве рычага им пришлось воспользоваться алебардой, и они, наконец, уложили его

плашмя. Тут статуя, качнувшись, грохнулась в пустоту, тиарой вперед; последовал глухой удар, а на другой день они нашли ее в старой яме для компостов,— она разбилась на множество обломков.

Час спустя к ним с доброй вестью явился нотариус. Один из местных жителей готов ссудить тысячу экю под заклад их фермы. Они очень обрадовались, а нотариус продолжал:

— Погодите! Лицо это предоставит деньги лишь при условии, что вы продадите ему Экай за полторы тысячи франков. Ссуда может быть выдана хоть сегодня. Деньги у меня в конторе.

Они предпочли бы продать и то и другое. Наконец Бувар ответил:

— Ну что ж... пусть будет по-вашему.

— По рукам! — сказал Мареско.

Он назвал имя покупателя,— это была г-жа Борден.

— Я так и думал! — воскликнул Пекюше.

Самолюбие Бувара было задето; он молчал.

Она ли купит или кто другой — не все ли равно? Главное — выйти из затруднений.

Получив деньги (за Экай будет уплачено позже), они немедленно расплатились по всем счетам и уже возвращались домой, как вдруг возле рынка их остановил дядюшка Гуи.

Он направлялся к ним, чтобы сообщить о случившейся беде. Прошлой ночью ветер с корнем вырвал во дворе двадцать яблонь, повалил винокурню, сорвал крышу сарая. Остальную часть дня они употребили на осмотр разрушений, а весь следующий день ушел на переговоры с плотником, штукатуром и кровельщиком. Починки обойдутся по меньшей мере в тысячу восемьсот франков.

Вечером явился дядя Гуи. Марианна только что сказала ему о продаже мызы. Это лучший участок на ферме, самый доходный, вполне ему подходящий, так как почти не требует обработки. Гуи просил снизить арендную плату.

Они отказались. Дело было передано мировому судье, и тот вынес решение в пользу фермера. Утрата участка, акр которого оценивался в две тысячи франков, причиняла ему убыток в семьдесят франков в год, и он выиграл бы дело и в высших инстанциях.

Состояние их таяло. Что делать? И как дальше жить?

В унынии они уселись за стол. Марсель ничего не смыслил в стряпне, а на этот раз обед оказался еще хуже обычного. Суп был похож на воду, в которой мыли посуду,

от кролика чем-то воняло, бобы были недоварены, тарелки — сальные, и за десертом Бувар, вспылив, пригрозил разбить их о его голову.

— Будем философами,— успокаивал его Пекюше.— Чуточку меньше денег, бабьи плутни, нерасторопность прислуги — все это пустяки. Ты слишком занят материей.

— Что ж поделать, она не дает мне покоя,— возразил Бувар.

— А я ее вообще отрицаю.

Недавно он прочел статью Беркли и потому добавил:

— Я отрицаю пространство, время, протяженность и субстанцию вообще. Истинная субстанция — это ум, познающий качества.

— Допустим,— сказал Бувар,— но если упразднить мир, не останется никаких доказательств существования бога.

Пекюше возмутился и долго кричал; насморк, вызванный йодистым калием, и застарелая лихорадка усиливали его раздражение.

Бувар всполошился и вызвал врача.

Вокорбей прописал апельсиновый сироп с йодом, а немного погодя — ванны с киноварью.

— Зачем? — возразил Пекюше.— Рано или поздно форма распадется. Зато сущность не погибнет.

— Конечно,— согласился врач,— материя неистребима. Однако...

— Нет, нет! Неистребима именно сущность. Тело, находящееся у меня перед глазами, ваше тело, доктор, не дает мне познать вашу личность, это лишь внешняя оболочка или, вернее, маска.

Вокорбей подумал, не помешался ли пациент.

— До свиданья! Лечите свою маску!

Пекюше не угомонился. Он раздобыл введение в гегелеву философию и попробовал втолковать ее Бувару.

— Все, что разумно,— реально. Более того, реальны только идеи. Законы ума — законы вселенной, разум человека тождествен разуму божьему.

Бувар сделал вид, что понимает.

— Следовательно, абсолют — это в одно и то же время и субъект и объект, это единство, в котором сливаются все различия. Таким образом разрешаются все противоречия. Тень дает возможность проявиться свету, холод, смешанный с теплом, создает температуру, организм существует только благодаря своему распаду, всюду сказываются начало разделяющее и начало связующее.

Они находились на пригорке и увидели кюре, шедшего вдоль изгороди, с требником в руке.

Пекюше предложил ему зайти, чтобы в его присутствии закончить изложение системы Гегеля и послушать, что он скажет.

Священник присел рядом с ним, и Пекюше заговорил о христианстве.

— Ни одна религия так убедительно не утвердила истину: «Природа — всего лишь момент идеи».

— Момент идеи! — прошептал ошеломленный кюре.

— Вот именно! Бог, приняв зримую оболочку, обнаружил свою единосущность с нею.

— Это с природой-то? Да что вы!

— Кончиною своей он подтвердил сущность смерти; следовательно, смерть пребывала в нем, составляла и составляет часть бога.

Священник насупился.

— Не богохульствуйте! Он принял страдания ради спасения рода человеческого.

— Ошибаетесь! Смерть рассматривают применительно к индивидууму, и тут она, несомненно, зло; другое дело, если речь идет о вещах. Не отделяйте дух от материи!

— Однако до сотворения мира...

— Никакого сотворения не было. Мир существует извечно. Иначе получилось бы, что некая новая сущность прибавилась к божественной мысли, а это нелепость.

Священник поднялся с места — ему надо было идти по делам.

— Очень рад, что проучил его! — сказал Пекюше.— Еще одно слово! Раз существование мира не что иное, как беспрерывный переход от жизни к смерти и от смерти к жизни, значит, нельзя утверждать, что все есть — наоборот, надо считать, что ничего нет. Но все находится в стадии становления, понимаешь?

— Конечно, понимаю... или, вернее, нет, не понимаю.

Идеализм в конце концов приводил Бувара в отчаяние.

— Хватит с меня! Пресловутое *cogito*[1] мне осточертело. Идеи предметов принимают за сами предметы. То, чего почти не понимают, объясняют посредством слов, которые и вовсе не понятны. Субстанция, протяженность, сила, материя и душа! Все это только абстракции, только воображение. Что касается бога, то даже если он сущест-

[1] Я мыслю *(лат.)*.

вует, невозможно постичь, каков он. Некогда он порождал ветер, молнию, революции. Теперь он проявляет себя меньше. Впрочем, не вижу от него никакой пользы.

— А как же тогда с моралью?

— Ну и наплевать на нее!

«Она действительно лишена основы»,— подумал Пекюше.

Он притих, оказавшись в тупике, к которому привели его собственные предпосылки. Он этого никак не ожидал и был подавлен.

Бувар не верил даже в материю.

Убеждение в том, что ничто не существует, как оно ни прискорбно, все же неоспоримо. Лишь немногие могут проникнуться им. Они почувствовали себя выше окружающих, возгордились, и им захотелось похвастаться своим превосходством; случай вскоре представился.

Как-то утром, отправившись за табаком, они увидели у лавки Ланглуа скопление народа. Люди толпились вокруг фалезского дилижанса; речь шла о некоем Туаше, беглом каторжнике, который уже давно бродил по окрестностям. Возница встретил его у Круа-Верта под конвоем двух жандармов, и шавиньольцы наконец-то вздохнули с облегчением.

Жирбаль и капитан остались на площади, потом туда пришли мировой судья, желавший узнать подробности, и Мареско в бархатном берете и сафьяновых туфлях.

Ланглуа пригласил их почтить его лавочку своим посещением,— там им будет удобнее. Невзирая на покупателей и звон колокольчика, господа продолжали обсуждать злодеяния Туаша.

— Что ж, у него дурные инстинкты, вот и все,— сказал Бувар.

— Их можно преодолеть добродетелью,— возразил нотариус.

— А если не обладаешь добродетелью?

Бувар стал решительно отрицать свободу воли.

— Однако я волен делать, что мне вздумается,— заметил капитан.— Ничто не может помешать мне, например, шевелить ногой.

— В том случае, если у вас есть побуждение шевелить ею.

Капитан долго искал ответа, но так ничего и не придумал. Зато Жирбаль изрек:

— Республиканец, а выступает против свободы! Довольно странно!

— Потеха! — поддакнул Ланглуа.

Бувар задал ему вопрос:

— А почему вы не раздадите ваше имущество бедным?

Лавочник обвел тревожным взглядом свой товар.

— Вот еще! Я не дурак. Оно мне самому пригодится.

— А будь вы святым Винцентом де Поль, так вы поступили бы иначе, потому что у вас был бы его характер. Вы следуете своему характеру. Значит, вы не свободны.

— Это крючкотворство! — в один голос закричали присутствующие.

Бувар не смутился и отвечал, указывая на весы на прилавке:

— Весы будут неподвижны, пока любая из чашек пуста. То же самое и с волею; когда чашки качаются под давлением двух с виду равных тяжестей, они напоминают работу нашего ума, обсуждающего разные доводы, пока, наконец, наиболее веский не перетянет, не предопределит поступка.

— Все это не имеет никакого отношения к Туашу. Что ни говорите, он редкий негодяй,— сказал Жирбаль.

Тут взял слово Пекюше:

— Пороки присущи природе, как бури или наводнения.

Нотариус прервал его и сказал, при каждом слове приподнимаясь на цыпочки:

— Я считаю ваши воззрения совершенно безнравственными. Они открывают дорогу для распущенности, оправдывают виновных, извиняют преступления.

— Совершенно верно,— вмешался Бувар.— Несчастный, удовлетворяющий свои порочные инстинкты, так же прав, как порядочный человек, следующий голосу разума.

— Не защищайте выродков.

— Зачем считать их выродками? Когда родится слепой, слабоумный, убийца,— нам это кажется нарушением порядка, как будто нам известно, что такое порядок, как будто природа действует целесообразно!

— Значит, вы отрицаете провидение?

— Да, отрицаю.

— Загляните в историю,— воскликнул Пекюше.— Вспомните убийства монархов, истребление целых народов, раздоры в семьях, страдания отдельных лиц.

— И в то же время,— добавил Бувар, ибо они подзадоривали друг друга,— провидение заботится о птичках, и по его воле у раков вместо оторванных клешней выра-

стают новые. Что ж, если под провидением вы подразумеваете всем управляющий закон,— согласен! Да и то еще...

— Существуют же некоторые принципы! — сказал нотариус.

— Да что вы мне толкуете! По мнению Кондильяка, наука тем совершеннее, чем меньше она нуждается в принципах! Принципы только подытоживают приобретенные знания и возвращают нас вспять к этим, весьма спорным, знаниям.

— Разве вы занимались, подобно нам, изучением, исследованием тайн метафизики? — продолжал Пекюше.

— Верно, господа, верно!

Общество разошлось.

Но Кулон, отозвав их в сторону, сказал им наставительно, что он, разумеется, не святоша и даже ненавидит иезуитов, однако не заходит так далеко, как они. Нет, нет, так далеко он не заходит. На площади они прошли мимо капитана, который в это время раскуривал трубку и ворчал:

— А все-таки, черт побери, я делаю, что хочу.

Бувар и Пекюше при всяком удобном случае стали провозглашать свои возмутительные парадоксы. Они ставили под вопрос честность мужчин, целомудрие женщин, мудрость правительства, здравый смысл народа, словом, подрывали все основы.

Фуро всполошился и пригрозил, что засадит их за решетку, если они не прекратят таких речей.

Их очевидное превосходство воспринималось как оскорбление. Раз они сторонники столь безнравственных теорий, значит, и сами они безнравственны; теперь о них стали распускать всякие сплетни.

Это пробудило у них пренеприятную способность замечать глупость и возмущаться ею.

Их огорчали мелочи: газетные объявления, наружность какого-нибудь обывателя, нелепое рассуждение, случайно дошедшее до них.

Они прислушивались к тому, что говорят в деревне; мысль, что во всем мире, вплоть до антиподов, существуют такие же Мареско, такие же Фуро, угнетала их, словно их придавило бременем всей Земли.

Они перестали выходить из дома, никого у себя не принимали.

Однажды днем до них донесся разговор Марселя с каким-то господином в широкополой шляпе и темных очках.

То был академик Ларсепер. От него не ускользнуло, что, пока он разговаривал со слугою, в одном из окон приоткрылась штора и кто-то затворил двери. Он пришел, чтобы сделать попытку примирения, и удалился вне себя от злости, поручив Марселю передать хозяевам, что считает их хамами.

Бувар и Пекюше отнеслись к этому совершенно безразлично. Мир терял в их глазах свою значительность, они взирали на него как бы сквозь облако, которое обволакивало их сознание и туманило взор.

Да не иллюзия ли он, не дурной ли сон? Быть может, в конечном счете блага и невзгоды уравновешиваются? Однако благополучие рода человеческого не может служить утешением для отдельной личности.

— Какое мне дело до других! — говорил Пекюше.

Его отчаяние удручало Бувара. Ведь это он довел своего друга до такого состояния, а каждодневные неприятности, причиняемые разрухой в их хозяйстве, еще более омрачали их жизнь.

Они сами себя уговаривали, старались приободриться, принуждали себя работать, но вскоре впадали в еще большую апатию, в глубокое уныние.

После обеда или ужина они с мрачным видом продолжали сидеть за столом, расставив локти, и тяжко вздыхали. Марсель таращил на них глаза, потом отправлялся на кухню и там объедался в одиночестве.

В середине лета они получили приглашение на свадьбу Дюмушеля со вдовой Олимпией-Зюльмой Пуле.

— Да благословит их бог!

Они вспомнили время, когда и сами были счастливы.

Почему они теперь не ходят смотреть на жнецов? Куда канули дни, когда они заглядывали на фермы, выискивая всякие древности? Теперь уже не выпадало на их долю блаженных часов, посвященных виноделию или литературе. От тех дней их отделяла бездна. Случилось нечто непоправимое.

Однажды им захотелось погулять, как в былое время, по полям, уйти подальше, заблудиться. На небе, словно барашки, паслись облака, ветер колыхал овсы, на лужайке журчал ручеек. Вдруг до них донеслось резкое зловоние, и они увидели среди терновника распростертый на камнях труп собаки.

Все четыре ноги ее уже высохли. Она оскалилась, за синеватыми отвислыми губами виднелись нетронутые клыки; на месте живота громоздилась куча землистого цве-

та; казалось, будто она трепещет — так много копошилось в ней червей. Она шевелилась, залитая солнцем, под жужжание мух, среди невыносимого запаха, запаха свирепого и ужасающего.

Бувар нахмурился, на глазах его показались слезы.

Пекюше стоически заметил:

— Наступит день, когда и мы станем такими же.

Мысль о смерти поразила их. Они говорили о ней на обратном пути.

Впрочем, смерти нет. Существа растворяются в росе, в ветерке, в звездах. Становишься как бы частицей древесного сока, сверкания самоцветов, оперенья птиц. Возвращаешь Природе то, что она дала тебе взаймы; Небытие, ожидающее нас в будущем, ничуть не страшнее того, что осталось позади нас.

Они пытались представить себе его в виде беспросветной тьмы, бездонной пропасти, полного исчезновения; все, что угодно, предпочтительнее этого однообразного, нелепого и безнадежного существования.

Им припомнились их неосуществленные желания. Бувару всегда хотелось иметь лошадей, экипажи, роскошный дом, лучшие бургундские вина и прекрасных, благосклонных к нему женщин.

Мечтой Пекюше было овладеть философскими познаниями. Между тем главнейшая проблема — та, что содержит в себе все остальные,— может быть решена в один миг. Когда же это произойдет?

— Лучше покончить с собою немедленно.

— Как хочешь,— согласился Бувар.

Они занялись вопросом о самоубийстве.

Что же дурного в том, чтобы сбросить с себя гнетущее бремя и совершить поступок, никому не приносящий вреда? Если бы такой поступок оскорблял бога, разве нам была бы дана возможность совершить его? Это не малодушие, хотя так обычно считают, а прекрасное дерзновение — насмеяться, даже в ущерб себе, над тем, что люди ценят превыше всего.

Они стали обсуждать различные способы самоубийства.

Яд причиняет сильные страдания. Чтобы зарезаться, необходимо исключительное мужество. При угаре часто получается осечка.

В конце концов Пекюше отнес на чердак два каната, служивших им для гимнастики. Он привязал их к одной из балок, спустил вниз петли и, чтобы добраться до них, под каждую поставил по стулу.

Они решили, что этот способ предпочтительнее.

Их занимала мысль о том, какое впечатление произведет это в округе, что станется с их библиотекой, их бумагами и коллекциями. Мысль о смерти внушала им жалость к самим себе. Однако они не отступались от своего намерения и так много о нем говорили, что в конце концов свыклись с ним.

Вечером двадцать четвертого декабря, между десятью и одиннадцатью, они сидели в музее, размышляя. Одеты они были по-разному: на Буваре поверх вязаного жилета была блуза, а Пекюше уже три месяца ради экономии не расставался с монашеской рясой.

Они очень проголодались (Марсель, ушедший из дому еще на заре, так и не появлялся), поэтому Бувар счел за благо выпить графинчик водки, а Пекюше — чаю.

Поднимая чайник, он выплеснул на паркет немного воды.

— Разиня! — вскричал Бувар.

Заварка показалась ему недостаточно крепкой, и он решил добавить еще две ложки.

— Пить нельзя будет,— сказал Пекюше.

— Вот еще.

Каждый тащил чайницу к себе, и в конце концов поднос свалился со стола; одна из чашек — последняя из прекрасного фарфорового сервиза — разбилась.

Бувар побледнел.

— Продолжай в том же духе! Бей! Не стесняйся!

— Подумаешь! Велика беда!

— Да, именно беда. Чашка досталась мне от отца.

— Незаконного,— добавил Пекюше, хихикнув.

— Ах, ты меня еще и оскорбляешь!

— Нет, просто я тебе надоел, я это отлично вижу, сознайся.

Пекюше охватила дикая ярость, вернее — безумие. Бувара тоже. Они кричали, не слушая друг друга, один взбеленился от голода, другой — от алкоголя. Из груди Пекюше вырывался уже только хрип.

— Это ад какой-то, а не жизнь! Уж лучше смерть! Прощай!

Он взял подсвечник, повернулся, хлопнул дверью.

Оставшись в темноте, Бувар с трудом отворил ее и вслед за другом взбежал на чердак.

Свеча стояла на полу, а Пекюше — на одном из стульев, с веревкой в руках.

Дух подражания увлек Бувара!

— Подожди меня.

И он уже стал карабкаться на второй стул, как вдруг спохватился.

— Погоди!.. Мы не написали завещания!

— А ведь верно!

Сердца у них сжимались от тоски. Они подошли к окошку, чтобы подышать.

Воздух был холодный; на небе, темном, как чернила, сияло множество звезд.

Белизна снега, покрывшего землю, на горизонте растворялась во мгле.

Внизу они заметили множество огоньков,— огоньки приближались, постепенно увеличиваясь, и двигались по направлению к церкви.

Друзья из любопытства отправились туда.

Верующие собирались ко всенощной. Огоньки оказались фонарями. На паперти прихожане стряхивали снег со своих плащей.

Хрипел орган, пахло ладаном. Плошки, развешанные вдоль нефа, образовали три разноцветных светящихся венца, а в глубине, по сторонам дарохранительницы, красным пламенем пылали огромные свечи. Поверх голов и женских чепцов, за певчими, виднелся священник в золоченой ризе; его резкому голосу вторили зычные голоса мужчин, заполнивших амвон, и деревянные своды церкви содрогались от этих мощных звуков. Стены были украшены живописью, изображавшею крестный путь. На амвоне, перед престолом, подвернув ноги и выпрямив ушки, лежал агнец.

От теплого воздуха друзьям стало как-то особенно хорошо, и мысли их, еще недавно столь мрачные, становились кроткими, как затихающие волны.

Они прослушали Евангелие и «Верую», следя за движениями священника. Между тем все вокруг — старики, молодые, бедные женщины в рубище, фермерши в высоких чепцах, здоровенные парни с белокурыми бачками — все молились, охваченные благоговейной радостью, и видели перед собою на соломе, в хлеву, тельце божественного младенца, сверкающее, как солнце. Эта вера окружающих умиляла Бувара вопреки его рассудочности, а Пекюше — вопреки его жестокосердию.

Воцарилась тишина; все спины склонились, зазвонил колокольчик, проблеял ягненок.

Священник вознес дары, подняв их обеими руками как можно выше. Тут грянуло ликующее песнопение, призы-

вавшее весь мир пасть к ногам владыки ангелов. Бувар и Пекюше невольно стали подпевать, и казалось им, что в душе у них занимается заря.

IX

Марсель появился на другой день, в три часа, бледный, с воспаленными глазами, с шишкой на лбу, в рваных штанах; от него разило водкой, он был отвратителен.

Он провел сочельник, как всегда, у своего приятеля, в шести лье от дома, возле Иквиля. Он заикался сильнее обычного, хныкал, проклинал себя, молил о пощаде, словно был повинен в страшном преступлении. Хозяева простили его. Какая-то странная умиротворенность располагала их к снисходительности.

Снег вдруг растаял, и они прогуливались у себя в саду, вдыхая теплый воздух, радуясь жизни.

Только ли случай уберег их от смерти? Бувар был растроган. Пекюше вспомнил свое первое причастие; они были преисполнены благодарности к Силе, к Первопричине, которой были подвластны, и решили заняться душеспасительным чтением.

Евангелие согрело им душу, ослепило, как солнце. Они представляли себе Христа, стоящего на горе с воздетою рукою, а у подножия горы внимающую ему толпу; или на берегу озера, среди апостолов, тянущих сети; потом на осленке, среди возгласов «Осанна!», с волосами, развевающимися от взмахов пальмовых ветвей; наконец, со склоненной головою распятым на кресте, с которого вечно исходит на мир роса. Особенно покорила, особенно умиляла их любовь к смиренным, заступничество за бедных, возвеличенье угнетенных. В этой книге, раскрывающей перед нами небо, нет ничего богословского, хотя она и полна поучений, ни одной догмы, никаких требований, кроме одного — хранить чистоту сердца.

Что же касается чудес, то они не были удивлены ими,— они знали о них с детства. Возвышенный слог апостола Иоанна восхищал Пекюше и помог ему лучше постигнуть *Подражание Христу*.

Здесь уже нет притч, цветов, птичек, а только стенания, сокрушение души о самой себе. Бувар опечалился, перелистывая эти страницы, словно написанные в мрачную пору, в недрах монастыря, между колокольней и гробницей. Наша тленная жизнь предстает тут столь жалкой,

что надо, позабыв о ней, всецело обратиться к богу; оба после всех своих разочарований почувствовали потребность жить простой жизнью, кого-то любить, дать отдых разуму.

Они взялись за Екклесиаста, Исайю, Иеремию.

Но Библия устрашила их своими пророками со львиными голосами, громом в небесах, воплями геенны и богом, развеивающим царства, как ветер развеивает тучи.

Они читали это в воскресенье, когда шла вечерня, и до слуха их доносился колокольный звон.

Однажды они отправились к мессе, потом стали ходить каждую неделю. Это служило им развлечением после скучных будней. Граф де Фаверж с супругой издали поклонились им, и это не прошло незамеченным. Мировой судья сказал им, подмигнув:

— Превосходно! Одобряю.

Теперь все прихожанки стали присылать им просфоры.

Аббат Жефруа нанес им визит, они ответили ему и стали посещать друг друга, но священник никогда не заговаривал о религии.

Такая сдержанность удивляла их, и однажды Пекюше как бы невзначай спросил у него, что надо делать, чтобы обрести веру.

— Прежде всего соблюдайте обряды.

Они стали соблюдать обряды, один — с надеждой, другой — как бы назло, Бувар был убежден, что никогда не станет набожным. Целый месяц он неукоснительно ходил на все службы, но в отличие от Пекюше не желал поститься.

Что это? Гигиеническая мера? Знаем мы, что такое гигиена! Вопрос приличия? Долой приличия! Знак покорности предписаниям церкви? И на них ему наплевать. Словом, он считал зто установление нелепым, фарисейским, противным духу Евангелия.

В прошлые годы они в Страстную пятницу ели то, что им подавала Жермена.

На этот раз Бувар нарочно заказал себе бифштекс. Он уселся за стол, разрезал мясо; Марсель взирал на него с негодованием, а Пекюше тем временем с серьезным видом счищал кожу с ломтика трески.

Бувар замер, держа в одной руке вилку, в другой — нож. Наконец, решившись, он поднес кусок мяса ко рту. Вдруг руки у него затряслись, полное лицо побледнело, голова запрокинулась.

— Тебе дурно?

— Нет! Однако...

Он признался. В силу полученного воспитания (преодолеть это свыше его сил) он не может сегодня есть скоромное, так как боится умереть.

Пекюше, не злоупотребляя своей победой, все же воспользовался ею, чтобы поступать по-своему.

Как-то вечером он вернулся домой просветленный и объявил, что исповедался.

Тут они стали обсуждать значение исповеди.

Бувар признавал исповедь первых христиан, совершавшуюся на людях, нынешняя же чересчур легка. Он, однако, не отрицал того, что подобная самопроверка служит усовершенствованию и содействует нравственности.

Пекюше, стремясь к совершенству, стал выискивать в себе пороки: порывы гордыни у него давно уже стихли, он любил трудиться, и это избавляло его от лености, что же касается чревоугодия, то трудно было бы найти человека более воздержанного. Зато нередко его обуревал гнев.

Он дал себе зарок, что этого больше не будет.

Затем надо выработать в себе добродетели: прежде всего, смирение, то есть следует считать себя не имеющим никаких заслуг, не достойным ни малейшей награды, надо принести свой ум в жертву ближним и ставить себя так низко, чтобы тебя попирали ногами, как дорожную грязь,— от таких качеств он был еще далек.

Недоставало ему и еще одной добродетели — целомудрия. В душе он тосковал по Мели, а пастель, изображавшая даму в платье времен Людовика XV, смущала его своим декольте.

Он убрал ее в шкаф, довел скромность до того, что избегал смотреть на самого себя, и стал спать в кальсонах.

Такая возня вокруг похоти только распаляла ее. Особенно по утрам случалось ему жестоко воевать с нею, как это было и с апостолом Павлом, и со святым Бенедиктом, и со святым Иеронимом, достигшими уже весьма преклонного возраста; им приходилось подвергать себя жестокому бичеванию. Боль есть искупление, лучшее средство, лекарство, дань поклонения Христу. Всякая любовь требует жертв, а есть ли жертва тяжелее плотской!

Ради умерщвления плоти Пекюше отказался от рюмочки вина, которую выпивал после обеда, ограничил себя четырьмя понюшками в день, в холодную погоду ходил без картуза.

Однажды Бувар, подвязывая виноградные лозы, при-

слонил лестницу к стене террасы возле их дома и невольно заглянул в комнату Пекюше.

Друг его, голый до пояса, слегка похлопывал себя по плечам плеткой для выколачивания одежды; потом, все больше распаляясь, он снял штаны, стал сечь себя по ягодицам и, наконец, запыхавшись, рухнул на стул.

Бувар смутился, словно проник в какую-то запретную тайну.

С некоторых пор он стал замечать, что полы у них содержатся чище, на салфетках меньше дырок, пища улучшилась; этими изменениями они были обязаны вмешательству Рены, служанки священника.

Радея о делах кухонных не меньше, чем о делах церковных, сильная, как батрак, и безгранично преданная, хоть и непочтительная, она вмешивалась в домашние дела соседей, не скупилась на советы и вела себя полновластной хозяйкой. Пекюше всецело доверялся ее опытности.

Однажды она привела к нему пухлого человека с узкими, как у китайца, глазами и ястребиным носом. Оказалось, что это Гутман, торговец церковной утварью. Он распаковал под навесом кое-что из своего товара; в коробках лежали кресты, образки, четки всех размеров, подсвечники для молелен, переносные престолы, мишурные цветы, голубые картонные сердца Христовы, рыжебородые Иосифы, фарфоровые голгофы. У Пекюше глаза разбежались. Останавливала его только цена.

Гутман не требовал денег. Он предпочитал меняться и, поднявшись в музей, предложил за старинные железные изделия и все свинцовые вещи целый набор своих товаров.

Бувару они показались отвратительными. Но уговоры Пекюше, настояния Рены и краснобайство торговца в конце концов убедили его. Сообразив, что Бувар податлив, Гутман пожелал получить вдобавок и алебарду; Бувару давно надоело показывать, как с нею обращаться,— он отдал и ее. После окончательного подсчета оказалось, что господа должны продавцу еще сто франков. Дело уладили посредством четырех векселей сроком на три месяца, и друзья были в восторге от выгодной сделки.

Вновь приобретенные вещи они разместили по всем комнатам. Ясли с сеном и собор из пробковой коры стали украшением музея.

На камине в комнате Пекюше появился восковой Иоанн Креститель, вдоль коридора развесили епископские венцы, а у лестницы, под лампадой, на цепочках поставили-

ли статую Пресвятой девы в лазоревой мантии и короне из звезд. Марсель чистил эти великолепные вещи, не представляя себе даже в раю ничего прекраснее.

Какая досада, что они разбили апостола Петра! Как он хорош был бы теперь в вестибюле! Порою Пекюше останавливался перед заброшенной ямой для компостов, из которой торчали тиара, одна сандалия, кусочек уха; вздохнув, он снова принимался трудиться в саду,— теперь он сочетал физическую работу с упражнениями в благочестии и копал землю, нарядившись в монашескую рясу и мысленно сравнивая себя со святым Бруно. Но такой наряд, пожалуй, кощунство. Он отказался от него.

Все же у него появились повадки духовного лица — несомненно, благодаря общению с аббатом. Он перенял у него улыбку, голос и манеру зябко, до запястий, засовывать руки в рукава. Дошло до того, что петушиное пение стало казаться ему несносным, а розы начинали вызывать отвращение; он перестал выходить из дому, а глядя на поля, только хмурился.

Бувар согласился пойти на праздник богородицы. От детей, певших гимны, от букетов сирени, от гирлянд из зелени на него повеяло неувядающей юностью. Бог открывался его сердцу в виде птичьих гнезд, прозрачных ключей, благодатных лучей солнца, зато набожность его друга казалась ему деланной, назойливой.

— Почему ты стонешь за едой?

— Мы должны есть, воздыхая,— ведь именно из-за яств человек утратил невинность,— отвечал Пекюше; эту фразу он вычитал из *Руководства семинариста* — двухтомного сочинения, взятого у Жефруа. Он пил воду из Салетского источника, оставшись наедине, горячо молился и лелеял надежду вступить в братство святого Франциска.

Чтобы обрести стойкость в вере, он решил совершить паломничество к Пресвятой деве.

Выбор святыни затруднял его. Направиться ли к Божьей Матери Фурвьерской, или Шартрской, Амбренской, Марсельской, Орейской? Вполне подходящим местом представлялась Деливрандская Божья Матерь.

— Ты пойдешь со мной!

— У меня будет дурацкий вид,— возразил Бувар.

Впрочем, он может вернуться оттуда верующим; он не возражал бы против этого и в угоду другу согласился сопутствовать ему.

Паломничество должно совершаться пешком. Но пройти сорок три километра трудновато, а дилижансы не со-

действуют созерцательпости, поэтому они решили нанять старый кабриолет, каковой после двенадцати часов пути и доставил их на постоялый двор.

Им отвели комнату с двумя кроватями и двумя комодами, на которых стояли два кувшина с водою в овальных тазиках; хозяин поведал им, что во времена террора помещение это было занято капуцинами. Здесь спрятали Божью Матерь Деливрандскую, притом с такими предосторожностями, что благочестивым монахам удавалось тайно служить здесь мессу.

Пекюше это доставило большое удовольствие, и он вслух прочел пояснение насчет часовни, взятое им на кухне постоялого двора.

Она была заложена в начале II века святым Регнобертом, первым епископом Лизье, или святым Рагнебертом, жившим в VII веке, а быть может, Робертом Великолепным в середине XI века.

В разное время ее сжигали и грабили датчане, норманны и в особенности протестанты.

Около 1112 года древняя статуя была обнаружена в поле бараном, который, колотя копытом по земле, указал место, где она лежала, и на этом месте граф Бодуен воздвигнул алтарь.

Чудеса ее неисчислимы. К ней обратился купец из Байе, попавший в плен к сарацинам: оковы с него спали, и он убежал. Скупец, обнаруживший у себя на чердаке полчище крыс, призвал ее на помощь, и крысы исчезли. Образок, приложенный к ее лику, побудил одного версальского безбожника к раскаянию на смертном одре. Она вернула дар речи сьеру Аделину, который был лишен его за богохульство; при ее поддержке супруги де Бекиль нашли в себе силы жить целомудренно, находясь в браке.

Среди тех, кого она избавила от неизлечимых болезней, называют мадмуазель де Пальфрен, Анну Лирье, Марию Дюшемен, Франсуа Дюфе и госпожу Жюмийяк, урожденную д'Освиль.

Ее посещали выдающиеся лица: Людовик XI, Людовик XIII, две дочери Гастона Орлеанского, кардинал Виземан, Самирри, патриарх Антиохийский, монсеньор Вероль, апостолический викарий в Маньчжурии. А архиепископ де Келен приезжал, дабы воздать ей благодарение за обращение князя Талейрана на путь истины.

— Она и тебя может обратить,— сказал Пекюше.

Бувар, уже лежавший в постели, что-то пробурчал и сразу же заснул.

На другое утро, в шесть часов, они вошли в часовню.

Ее перестраивали; неф был загромождeн досками и полотнами; само здание, выдержанное в стиле рококо, не понравилось Бувару, особенно престол из красного мрамора с коринфскими пилястрами.

Чудотворная статуя, стоявшая в нише слева от клироса, была одета в мантию с блестками. Появился церковный сторож; он подал каждому из них по свече, затем поставил их в подсвечник над балюстрадой, попросил три франка, поклонился и исчез.

Они осмотрели приношения.

Таблички с подписями говорили о благодарности верующих. Обращали на себя внимание две скрещенные шпаги, пожертвованные бывшим студентом Политехнического института, букеты новобрачных, военные медали, серебряные сердца, а в углу, на полу,— целый лес костылей.

Из ризницы вышел священник с дароносицей.

Постояв недолго у подножия престола, он подошел к нему, поднявшись на три ступеньки, и произнес *Oremus, Introit и Kyrie*; прислуживавший мальчик, стоя на коленях, прочитал их, не переводя дыхания.

Молящихся было мало, всего двенадцать — пятнадцать старух. Слышалось шуршание их четок да стук молота, обтесывавшего камни. Пекюше, склонившись над аналоем, повторял: «Аминь». Во время возношения даров он молил божью матерь ниспослать ему твердую, несокрушимую веру.

Сидевший рядом Бувар взял у него молитвенник и стал читать молитвы Пресвятой деве.

«Чистейшая, пренепорочная, достохвальная, всемилостивейшая, всесильная, всеблагая, башня слоновой кости, золотая обитель, врата утренней зари».

Эти славословия, эти безмерные восхваления повлекли его к той, кого славят столь благоговейно.

Он представлял ее себе такой, какою ее изображает церковная живопись,— на гряде облаков, с херувимами, порхающими у ее ног, с божественным младенцем у груди; это источник нежности, к которому обращаются все страждущие на земле, это несравненная женщина, вознесенная на небеса; вышедший из ее лона человек славит ее любвеобилие и помышляет лишь о том, чтобы отдохнуть на ее груди.

Когда месса кончилась, они прошлись вдоль лавочек, ютившихся у стен храма со стороны площади. Здесь были

выставлены образки, кропильницы, позолоченные чаши с чеканкой, черные фигурки Христа из кокосового дерева, четки из слоновой кости; солнце, сверкавшее в стеклах рам, било в глаза, подчеркивало грубость живописи и убожество рисунков. У себя дома Бувар считал такие вещи отвратительными, а здесь относился к ним снисходительнее. Он приобрел синюю фарфоровую статуэтку богоматери. Пекюше купил на память четки и этим ограничился.

Торговцы кричали:

— Сюда! Сюда! За пять франков, за три франка, за шестьдесят сантимов, за два су, не отказывайтесь от богородицы!

Наши паломники бродили, ничем не прельщаясь. Послышались обидные замечания:

— Что же этим чудакам надобно?

— А может быть, они турки!

— Вернее уж, протестанты!

Одна дородная девица дернула Пекюше за сюртук, старик в очках положил ему на плечо руку: все загалдели, потом, бросив свои лавчонки, окружили их и стали приставать еще назойливее и выкрикивать дерзости.

Бувар не выдержал.

— Отвяжитесь от нас, черт бы вас побрал!

Толпа рассеялась.

Только какая-то толстуха некоторое время шла вслед за ними по площади и кричала, что они еще раскаются.

Вернувшись на постоялый двор, они застали там, в кофейной, Гутмана. Он приехал сюда по торговым делам и теперь разговаривал с каким-то субъектом, рассматривавшим разложенные на столе счета.

На его собеседнике была кожаная фуражка, широченные серые брюки; лицо у него было красное, стан гибкий, невзирая на седину, он походил одновременно и на отставного офицера, и на старого актера.

Время от времени у него вырывалось ругательство — тогда Гутман что-то говорил ему вполголоса, тот успокаивался и брался за следующую бумажку.

Бувар, наблюдавший за ним с четверть часа, наконец подошел к нему.

— Барберу, если не ошибаюсь?

— Бувар! — воскликнул человек в фуражке.

Они обнялись.

За последние двадцать лет Барберу переменил немало профессий.

Был издателем газеты, страховым агентом, заведовал устричным садком.

— Я все вам расскажу.

Наконец, он вернулся к первой своей профессии и теперь разъезжает по стране в качестве коммивояжера фирмы, основанной в Бордо, а Гутман, «обслуживающий епархию», помогает ему сбывать вина духовенству.

— Погодите. Я сейчас.

Он снова взялся за счета и тут же подскочил на месте:

— Как? Две тысячи?

— Конечно.

— Нет, дудки!

— Что вы говорите?

— Я говорю, что лично виделся с Эрамбером,— возразил взбешенный Барберу.— В накладной значится четыре тысячи — без дураков!

Антиквар не растерялся.

— Ну что же, документ говорит в вашу пользу. Дальше!

Барберу встал; лицо у него сначала побелело, потом побагровело, и Бувар с Пекюше подумали, что сейчас он задушит Гутмана.

Он опять сел, скрестил на груди руки.

— Ну и прохвост же вы, должен признаться!

— Без оскорблений, господин Барберу, тут есть свидетели. Полегче!

— Я подам на вас в суд.

— Та, та, та!

Гутман сгреб счета, сунул их в карман, приподнял шляпу:

— Честь имею!

И вышел.

Барберу объяснил, в чем дело: под вексель в тысячу франков, сумма которого благодаря ростовщическим уловкам Гутмана удвоилась, он отпустил ему вина на три тысячи франков, так что не только покрыл долг, но дал ему еще тысячу франков барыша. А теперь оказывается, что, наоборот, он должен Гутману три тысячи. Хозяева прогонят его, предъявят ему иск.

— Мерзавец! Разбойник! Жид проклятый! А еще обедает у священников! Впрочем, все, что соприкасается с этой братией...

Он обрушился на духовенство и так стучал кулаком по столу, что статуэтка Бувара чуть не упала.

— Осторожнее! — вскрикнул Бувар.

— А что это такое?

Барберу развернул фигурку.

– На память о паломничестве? Ваша?

Бувар вместо ответа двусмысленно улыбнулся.

— Моя,— сказал Пекюше.

— Вы меня огорчаете,— ответил Барберу,— но я вас просвещу на этот счет, будьте покойны!

Но так как в жизни надо быть философом, а от грусти толку нет, то он предложил друзьям позавтракать.

Они сели за столик.

Барберу был очень любезен, вспоминал доброе старое время, обнял служанку за талию, вздумал смерить живот Бувара. Он вскоре навестит их, привезет им забавную книжку.

Мысль об этом посещении не очень радовала их. Они целый час обсуждали этот вопрос в экипаже, под стук копыт. Потом Пекюше сомкнул глаза. Бувар тоже умолк. В глубине души он склонялся к религии.

Мареско приходил к ним накануне с каким-то важным сообщением. Больше Марсель ничего не знал.

Нотариус мог принять их только три дня спустя и сразу же изложил им суть дела. Г-жа Борден предлагает г-ну Бувару купить их ферму за ренту в семь с половиной тысяч франков.

Она зарилась на нее с юных лет, знала ее вдоль и поперек, все достоинства ее и недостатки; мечта о ферме подтачивала ее, как злокачественная опухоль. Эта славная женщина, как истинная нормандка, превыше всего ценила земельную собственность — не столько потому, что это самое надежное вложение капитала, сколько ради приятного сознания, что ходишь по своей собственной земле. В надежде добиться в конце концов именно этой фермы, она постоянно наводила о ней справки, вела повседневное наблюдение за нею, долго копила деньги и сейчас с нетерпением ждала ответа Бувара.

Он колебался, так как не хотел, чтобы Пекюше когда-нибудь остался без средств; с другой стороны, надо было воспользоваться случаем, который явился следствием их паломничества. Промысел второй раз выказывает им свое благоволение.

Они предложили следующие условия: рента не в семь с половиной, а только в шесть тысяч, но она должна перейти к пережившему. Мареско обратил внимание покупательницы, что один из них слаб здоровьем, а другой по комплекции своей предрасположен к апоплексии, и

г-жа Борден, не совладав с соблазном, подписала договор.

Бувар опечалился: теперь кто-то будет желать его смерти. Это соображение повлекло за собою серьезные мысли, размышления о боге и вечности.

Три дня спустя аббат Жефруа пригласил их на парадный обед, который он раз в год устраивал для своих собратьев.

Обед начался около двух часов, а кончился в одиннадцать вечера.

Пили грушовку, каламбурили. Аббат Прюно тут же сочинил акростих, Бугон показывал карточные фокусы, а молодой викарий Серпе спел чуть-чуть игривый романс. Бувар рассеялся. На другой день он был уже не так мрачен.

Священник часто навещал его. Он представлял ему религию в самых привлекательных красках. К тому же ведь ничем не рискуешь. Вскоре Бувар согласился причаститься. Пекюше приобщится вместе с ним.

Настал торжественный день.

Церковь была полна; в этот день много юношей и девушек причащалось впервые. Обыватели со своими женами заняли все скамьи, а простой народ, стоя, разместился сзади, или на хорах, у входа.

«То, что сейчас совершится, необъяснимо,— думал Бувар,— но для познания некоторых вещей одного разума недостаточно. Многие из числа самых великих людей верили в это. Надо следовать их примеру». Находясь в каком-то оцепенении, он созерцал престол, кадило, светильники; голова у него слегка кружилась, потому что он еще ничего не ел; какая-то странная слабость одолевала его.

Пекюше, размышляя о страстях Христовых, старался отдаться порывам любви. Ему хотелось сложить к стопам Христа свою душу, души других людей и все восторги, увлечения, прозрения святых, все существа, всю вселенную. Хотя он и усердно молился, месса казалась ему слегка растянутой.

Наконец мальчики преклонили колени на первой ступени алтаря, и костюмы их образовали черную ленту, над которой неровной линией возвышались белокурые и темные головки. Их сменили девочки; с головок их, из-под венков, ниспадали вуали; издали их можно было принять за ряд белых облачков, сгрудившихся на клиросе.

Затем наступил черед взрослых.

Первым в ряду оказался Пекюше; он был очень взволнован, и, вероятно, поэтому голова у него тряслась. Свя-

щенник с трудом вложил ему в рот облатку, и он принял ее, закатив глаза.

Бувар, наоборот, так широко раскрыл рот, что язык повис у него на губе, как флаг. Вставая с колен, он толкнул г-жу Борден. Взгляды их встретились. Она улыбалась, а он, сам не зная почему, покраснел.

После г-жи Борден причастились мадмуазель де Фаверж, графиня, ее компаньонка и какой-то господин, которого в Шавиньоле никто не знал.

Последними причастниками были Плакван и учитель Пти, а затем вдруг появился Горжю.

Бородку он сбрил; он сел на свое место, с вызывающим видом скрестив руки на груди.

Кюре обратился с проповедью к мальчикам. Да не совершат они никогда поступка, который совершил Иуда, предавший господа, и пусть всегда будут они облечены в одежду невинности. Пекюше пожалел о том, что невинность его утрачена. Но тут стулья задвигались, матери спешили расцеловать своих детей.

На паперти прихожане обменивались поздравлениями. Некоторые плакали. Графиня де Фаверж, поджидавшая свой экипаж, обернулась к Бувару и Пекюше и представила им своего будущего зятя:

— Барон де Маюро, инженер.

Граф посетовал, что давно не виделся с ними. Он предполагает вернуться на будущей неделе.

— Не забудьте, прошу вас!

Экипаж подали, обитатели графского замка уехали, и толпа разошлась.

Войдя к себе во двор, они увидели в траве пакет. Когда приходил почтальон, дом был на запоре, поэтому он бросил пакет через забор. То была обещанная Барберу книга: *Исследование христианства*, сочинение Луи Эрвье, воспитанника Эколь нормаль. Пекюше ее отшвырнул, Бувар не пожелал с нею ознакомиться.

Ему много раз говорили, что причастие преобразит его: несколько дней он наблюдал, нет ли перемен в его существе. Но он оставался все таким же, и его охватило горестное недоумение.

Как же так? Тело Христово примешивается к нашей плоти и не вызывает в ней никаких перемен! Мысль, управляющая мирами, не озаряет наш разум! Всемогущий обрекает нас на бессилие!

Аббат Жефруа, ободряя его, велел ему обратиться к *Катехизису* аббата Гома.

Благочестие Пекюше, наоборот, разгорелось. Ему хотелось приобщиться за них обоих; расхаживая по коридору, он пел псалмы; на улицах останавливал знакомых, чтобы поспорить и обратить их. Вокорбей расхохотался ему в лицо, Жирбаль пожал плечами, а капитан обозвал его Тартюфом. Теперь все считали, что они заходят слишком далеко.

Отличное обыкновение — рассматривать все явления как символы. Когда гремит гром — представьте себе Страшный суд; при виде безоблачного неба думайте об обители блаженных; гуляя, напоминайте себе, что каждый шаг приближает вас к смерти. Пекюше следовал этой методе. Одеваясь, он думал о телесной оболочке, в которую облеклось второе лицо Троицы, тиканье часов напоминало ему о биении его сердца, укол булавки — о гвоздях распятия. Но сколько бы часов ни простаивал он на коленях, как строго ни постился и как ни напрягал воображение, отрешиться от самого себя ему не удавалось; достичь совершенного созерцания было невозможно.

Он прибегнул к мистическим писателям: святой Терезе, Хуану де ла Крус, Луису Гренадскому, Симполи, а из современных — к монсеньору Шайо. Вместо возвышенных мыслей, которые он надеялся найти в этих сочинениях, он обнаружил нелепости, беспомощный слог, холодные образы и бесчисленные сравнения, почерпнутые на складе надгробных памятников.

Он узнал все же, что существует очищение активное и очищение пассивное, видение внутреннее и видение внешнее, четыре вида молитвы, девять совершенств в области любви, шесть ступеней в смирении и что нанесение душевной раны мало чем отличается от святотатства.

Некоторые пункты смущали его.

Раз плоть проклята, почему же надо благодарить создателя за то, что нам дарована жизнь? Какого соотношения следует придерживаться между страхом, необходимым для спасения, и надеждой, которая столь же необходима? В чем надо видеть знамение благодати? И т. д.

Ответы аббата Жефруа были просты:

— Не мучайте себя. Стремясь углубить любой вопрос, человек оказывается на опасной дорожке.

Катехизис постоянства Гома настолько опротивел Бувару, что он взялся за сочинение Луи Эрвье. Это был краткий курс современной экзегетики, запрещенный правительством. Барберу купил его, так как был республиканцем.

Книга внушила Бувару некоторые сомнения, и прежде всего относительно первородного греха.

— Если бог создал человека грешным, то он не должен был его наказывать; зло существовало еще до грехопадения, раз тогда уже были вулканы, хищные звери. Словом, этот догмат опрокидывает все мои представления о справедливости.

— Что же вам на это сказать? — отвечал кюре.— Это одна из тех истин, которую все принимают, хотя доказать ее невозможно. Мы сами вымещаем на детях прегрешения отцов. Таким образом, и нравы, и законы подтверждают эту волю провидения; она проявляется и в природе.

Бувар покачал головой. Ад тоже вызывал у него сомнение.

— Всякая кара должна быть направлена на исправление виновника, а это невозможно, если наказание будет вечным. Между тем сколько душ осуждено на вечные муки! Подумайте только — все жившие до Христа, евреи, мусульмане, язычники, еретики и дети, умершие до крещения, дети, сотворенные богом, и с какой целью? Чтобы покарать их за грех, которого они не совершали!

— Таково мнение блаженного Августина,— сказал священник,— а святой Фульгенций считает, что проклятие распространяется даже на зародыши. Церковь, правда, не высказалась на этот счет. Все же надо сделать следующее замечание: проклятие налагается не богом, но самим грешником, а так как оскорбление бесконечно, поскольку бог бесконечен, то и кара должна быть вечной. Это все, что вы хотели спросить?

— Объясните мне триединство,— сказал Бувар.

— Охотно. Прибегнем к сравнению: возьмем стороны треугольника, или, вернее, нашу душу, содержащую в себе три начала — бытие, познание и волю. То, что у человека именуется свойством, у бога является лицом. Вот в этом и заключается тайна.

— Но каждая из сторон треугольника сама по себе еще не треугольник; три свойства души не составляют три души, а у вас Троица — это три бога.

— Богохульство!

— В таком случае есть только одно лицо, один бог, субстанция, воспринимаемая трояко.

— Будем верить, не пытаясь понять,— сказал кюре.

— Ну что ж,— сказал Бувар.

Он боялся прослыть безбожником, вызвать неудовольствие в замке.

Теперь они приходили сюда три раза в неделю, зимой, часам к пяти, и согревались за чашкой чая. Граф своим обхождением напоминал «изысканность старого двора»; графиня, толстая и благодушная, обо всем судила весьма здраво. Мадмуазель Иоланда, их дочь, представляла собою «идеал девушки», ангела из модных альбомов, а г-жа де Ноар, их компаньонка, напоминала Пекюше — у нее был такой же заостренный нос.

Когда они впервые входили в гостиную, она за кого-то заступалась.

— Он изменился, уверяю вас. Доказательством тому его подарок.

Этот «кто-то» был Горжю. Он только что преподнес будущим супругам готический аналой. Подарок принесли в гостиную. Он был украшен цветными рельефными гербами обоих семейств. Г-ну де Маюро он, видимо, поправился; г-жа де Ноар сказала, обращаясь к жениху:

— Вы не забудете моего подопечного?

Затем она привела в гостиную двух детей — мальчишку лет двенадцати и его сестренку, которой было, пожалуй, лет десять. Сквозь дырки их рубища виднелось тело, покрасневшее от стужи. На одном были старые туфли, на другой — только одно сабо. Лбы у них были скрыты копнами волос; они дико озирались вокруг, блестя горящими глазами, как испуганные волчата.

Госпожа де Ноар сказала, что они попались ей утром на большой дороге. Плакван не мог сообщить о них никаких сведений.

Спросили, как их зовут.

— Виктор, Викторина.

— Где их отец?

— В тюрьме.

— А до этого чем он занимался?

— Ничем.

— Откуда они родом?

— Из Сен-Пьера.

— Из какого Сен-Пьера?

Вместо ответа малыши твердили, посапывая:

— Не знаю, не знаю.

Мать их умерла, и они побирались.

Госпожа де Ноар стала рассуждать о том, какие бедствия грозят им в будущем, если оставить их на произвол судьбы; она растрогала графиню, задела чувство чести у графа; склонив на свою сторону мадмуазель, она проявила настойчивость и одержала победу. Заботу о них возьмет

на себя жена егеря. Со временем им подыщут работу, а сейчас, поскольку они не умеют ни читать, ни писать, г-жа де Ноар сама будет ааниматься с ними, чтобы подготовить их к урокам катехизиса.

Когда в замок приходил аббат Жефруа, посылали за ребятишками; он спрашивал их, потом давал им наставление, причем, принимая во внимание присутствующих, делал это не без расчета на эффект.

Однажды он расскаааал им о патриархах; уходя из замка вместе с аббатом и с Пекюше, Бувар резко напал на них.

Иаков был склонен к плутням, Давид совершал убийства, Соломон предавался разгулу.

Аббат возразил, что надо смотреть шире. Жертвоприношение Авраама есть образ страстей Христовых, Иаков является одним из образов Мессии так же, как и Иосиф, медный змий, Моисей.

— Вы думаете, именно он сочинил Пятикнижие? — спросил Бувар.

— Да, несомненно.

— А ведь там описывается его смерть. То же замечание можно сделать насчет Иисуса Навина, а что касается Книги Судей, то автор ее предупреждает, что во времена, которые он описывает, у евреев еще не было царей. Следовательно, он писал при царях. Удивляют меня также и пророки.

— Теперь вы начнете отрицать пророков!

— Вовсе нет! Но их распаленному воображению Иегова представлялся в различных обликах — огня, купины, старца, голубя, и сами они были не вполне уверены в откровении, раз требовали все новых знамений.

— Где же это вы почерпнули столь высокоумные мысли?

— У Спинозы.

При этом имени кюре подскочил.

— Вы его читали? — спросил Бувар.

— Избави боже!

— Однако наука...

— Нельзя быть ученым, не будучи христианином.

К науке он относился саркастически.

— Может ваша наука произвести на свет хоть один колос? И, вообще, что мы знаем? — говорил он.

Зато он знал, что мир создан для нас; знал, что архангелы выше ангелов; знал, что тело человека воскреснет в том виде, каким оно было годам к тридцати.

Его пастырская самоуверенность раздражала Бувара, и он, не доверяя Луи Эрвье, обратился с письмом к Варло. А Пекюше, более осведомленный, попросил у Жефруа объяснений насчет Священного писания.

Шесть дней, о которых говорится в Книге Бытия, означают шесть великих эпох. Драгоценные сосуды, похищенные евреями у египтян, означают духовные богатства, ремесла, тайну которых они похитили. Исайя не разделся донага, ибо *nudus* по-латыни означает «обнаженный до пояса»; Вергилий советует именно так обнажаться, когда пашешь, а этот поэт не стал бы предписывать непристойность. Нет ничего необыкновенного в том, что Езекииль пожирал книгу; ведь мы же говорим: «пожирать брошюру, газету».

Но если всюду видеть одни метафоры, то что же станется с фактами? Между тем аббат отстаивал их подлинность.

Такое их истолкование показалось Пекюше нечестным. Он углубился в разыскания и принес статью о противоречиях в Библии.

Исход говорит, что в течение сорока лет жертвоприношения совершались в пустыне, а по Амосу и Иеремии их вообще не совершали. Книги Паралипоменон и Ездры расходятся между собою в исчислении народа. Во Второзаконии Моисей видит господа лицом к лицу, по Исходу же видеть его ему не удалось. Где же в таком случае боговдохновенность?

— Это только лишний повод, чтобы признать ее,— возразил Жефруа, улыбнувшись.— Обманщикам приходится сговариваться друг с другом, правдивым этого не требуется. Если душа наша смущена, прибегнем к помощи церкви. Она всегда непогрешима.

Кому присуща непогрешимость?

Базельский и Констанцский соборы приписывают ее соборам. Но соборы часто противоречат один другому — примером может служить их отношение к Афанасию и Арию; соборы Флорентийский и Латеранский считают непогрешимым папу. Между тем Адриан VI объявил, что папа может ошибаться, как и всякий другой.

Это — крючкотворство, и оно никак не может поколебать незыблемость догматов.

В книге Луи Эрвье приведены случаи их видоизменения: некогда крещение предназначалось только для взрослых, соборование стало таинством лишь в одиннадцатом веке; преосуществление было декретировано в тринадца-

том веке, чистилище признано в пятнадцатом, а непорочное зачатие совсем недавно.

В конце концов Пекюше так запутался, что не знал, что и думать о Христе. Три евангелия изображают его человеком. У апостола Иоанна в одном месте он как бы равен богу, в другом месте того же евангелия он признает себя ниже его.

Аббат возражал, ссылаясь на послание царя Абгара, на действия Пилата и на свидетельство сивилл, «которое в существе своем истинно». Пекюше напоминал, что образ Девы можно найти у галлов, предвестие искупителя — в Китае, Троицу — всюду, крест — на шапке далай-ламы, в Египте — в руках богов; он даже показал аббату гравюру с изображением ниломера, представлявшего собою, по мнению Пекюше, фаллос.

Жефруа тайком обращался за советами к своему другу Прюно, и тот отыскивал ему в литературе требуемые доказательства. Разгорелась ученая война, и Пекюше, подстегиваемый самолюбием, заделался трансценденталистом, мифологом.

Он сравнивал богоматерь с Изидой, евхаристию с хаома персов, Вакха с Моисеем, Ноев ковчег с кораблем Кситура; по его мнению, такие черты сходства доказывают тождество всех религий.

Но не может быть нескольких религий, поскольку есть только один бог. Исчерпав все доводы, человек в сутане восклицал:

— Это тайна!

Что означает это слово? Недостаточность знаний? Отлично! Но если оно означает нечто, в самом определении которого заключено противоречие, то это уже бессмыслица. И теперь Пекюше не оставлял в покое аббата; он настигал его в саду, поджидал возле исповедальни, следовал за ним в ризницу.

Священник придумывал всевозможные уловки, чтобы спастись от него.

Однажды, когда он отправился в Сасето, чтобы причастить кого-то, Пекюше вышел на дорогу, рассчитывая, что аббату не удастся уклониться от разговора.

Это произошло вечером, в конце августа. Алое небо потемнело, набежала огромная туча, ровная внизу, с нагромождением завитков в верхних слоях.

Сначала Пекюше поговорил о вещах безразличных, потом, ввернув как бы ненароком слово «мученик», спросил:

— Сколько их было, по-вашему?

— Миллионов двадцать по крайней мере.

— Ориген говорит, что меньше.

— Ну, знаете ли, Оригену доверяться нельзя.

Пронесся резкий порыв ветра, склонивший траву в оврагах и оба ряда вязов, тянувшиеся до самого горизонта.

Пекюше продолжал:

— К мученикам причислено много галльских епископов, убитых в стычках с варварами, а это уже к делу не относится.

— Уж не собираетесь ли вы защищать императоров?

Пекюше считал, что их оклеветали.

— История фиванского легиона — выдумка. Я не признаю также Симфоросу и ее семь сыновей, Фелицитату и ее семь дочерей, семь анкирских девственниц, приговоренных к изнасилованию несмотря на свой семидесятилетний возраст, и одиннадцать тысяч дев святой Урсулы, из коих одну называют именем, принятым за число *Undecimilla*, не признаю и десять мучеников из Александрии.

— Позвольте... Позвольте... Ведь их упоминают писатели, вполне достойные доверия.

Упало несколько капель дождя. Кюре раскрыл зонтик, и они оказались под его защитой. Пекюше осмелился заметить, что католики создали куда больше мучеников среди евреев, мусульман, протестантов и вольнодумцев, чем в древности римляне.

Священник воскликнул:

— Но ведь только за время от Нерона до Цезаря Гальбы насчитывают десять гонений!

— Ну, а избиение альбигойцев? А Варфоломеевская ночь? А отмена Нантского эдикта?

— Все это, конечно, прискорбные крайности, однако не станете же вы равнять этих пострадавших со святым Стефаном, святым Лаврентием, Киприаном, Поликарпом и множеством миссионеров?

— Простите! Я напомню вам Ипатию, Иеронима Пражского, Яна Гуса, Бруно, Ванини, Ана Дюбура!

Дождь усиливался, и его струи низвергались с такою силою, что отскакивали от земли в виде маленьких белых ракет. Пекюше и Жефруа медленно шли, прижавшись друг к другу, и кюре говорил:

— После чудовищных пыток их бросали в котлы!

— Такие пытки применяла инквизиция и тоже сжигала свои жертвы.

— Знатных женщин помещали в лупанарии.

— А вы думаете, что драгуны Людовика XV вели себя безупречно?

— Примите во внимание, что христиане никогда не злоумышляли против государства!

— Да и гугеноты не злоумышляли!

Ветер гнал, рассеивал дождевые струи. Они барабанили по листьям, текли по краям дороги, а небо, принявшее грязноватый оттенок, сливалось с оголенными, сжатыми полями. Укрыться было негде. Только вдали виднелась пастушья хижина.

Тоненькое пальто Пекюше промокло до нитки. Струйки воды текли у него по спине, забирались в сапоги, в уши, в глаза, несмотря на козырек Аморосова картуза; кюре одной рукой поддерживал полу своей сутаны, открывая ноги, а с треуголки текли ему на плечи потоки воды, словно из воронки соборного желоба.

Им пришлось остановиться; повернувшись спиной к ветру, они стояли друг против друга, живот к животу, держа четырьмя руками вырывавшийся у них зонтик.

Жефруа по-прежнему защищал католиков.

— Разве они распинали ваших протестантов, как был распят святой Симеон, разве они бросали человека на съедение зверям, как то случилось со святым Игнатием, который был растерзан двумя тиграми?

— А разве пустяк, по-вашему, множество женщин, разлученных с мужьями, младенцев, отнятых у матерей? А изгнание бедняков, которым приходилось бродить по снежным равнинам, окруженным пропастями! Ими забивали тюрьмы, а когда они умирали, над ними еще и глумились.

Аббат усмехнулся:

— Позвольте этому не поверить! Зато наши мученики не вызывают сомнений. Святую Бландину раздели донага, обмотали сетью и бросили разъяренному быку. Святая Юлия погибла под ударами. Святому Тараку, святому Пробу и святому Андронику молотом раздробили зубы, разорвали бока железными гребнями, вонзили в руки раскаленные гвозди, содрали с головы кожу.

— Преувеличиваете,— сказал Пекюше.— В те времена смерть мучеников служила поводом для риторики!

— То есть как для риторики?

— Конечно. А я ссылаюсь на историю. В Ирландии католики вспарывали животы беременным женщинам, чтобы завладеть младенцами!

— Вздор!

— И бросить их на съедение свиньям.

— Перестаньте!

— В Бельгии их закапывали живьем!

— Басни!

— Известны их имена!

— И все же,— возразил священник, в негодовании тряся зонтом,— их нельзя считать мучениками. Нет мучеников вне церкви.

— Позвольте. Если заслуга мученика зависит от вероучения, которое он отстаивает, то почему мученичество доказывает превосходство этого вероучения?

Дождь стихал; до самой деревни они не проронили больше ни слова.

Но на пороге церковного дома аббат сказал:

— Мне вас жаль! Искренне жаль!

Пекюше рассказал Бувару о стычке, а часом позже, сидя возле пылающего камина, они читали *Кюре Мелье*. Его тяжеловесные опровержения возмутили Пекюше; потом, подумав, что он, пожалуй, недооценил героев, он перелистал страницы *житий*, посвященные наиболее прославленным мученикам.

Как ревела чернь, когда они выходили на арену! Если же львы и ягуары оказывались чересчур смирными, мученики жестами и криками поощряли их. Обливаясь кровью, страстотерпцы улыбались, обратив взор к небесам; святая Перепетуя стала заплетать косы, чтобы не выдавать своих страданий. Пекюше задумался. Окно было распахнуто, ночь тиха, на небе сияло множество звезд. В душе христианских мучеников, вероятно, происходило нечто такое, о чем мы уже не имеем представления,— ликование, божественный восторг. Пекюше, сосредоточенно размышлявший над этим, в конце концов сказал, что понимает их, что и он поступил бы так же.

— Ты?

— Разумеется.

— Шутки в сторону! Веришь ты или нет?

— Не знаю.

Он зажег свечу. Потом сказал, обратив взор на распятие, висевшее в алькове:

— Сколько несчастных искало у него помощи!

И, помолчав, добавил:

— Его извратили. Виноват в этом Рим, политика Ватикана.

А Бувара церковь восхищала своим великолепием, ему хотелось бы в средние века быть кардиналом.

— Согласись, нурпур был бы мне к лицу.

Картуз Пекюше, положенный поближе к огню, еще не просох. Расправляя его, Пекюше нащупал в подкладке какой-то предмет — из картуза выпал образок святого Иосифа. Они растерялись; случай казался им совершенно необъяснимым.

Госпожа де Ноар стала расспрашивать Пекюше, не чувствует ли он своего рода облегчения, радости, и своими вопросами выдала себя. Однажды, пока он играл на бильярде, она зашила ему в картуз образок.

Несомненно, она была в него влюблена; они могли бы пожениться; она была вдова, но он не догадывался о ее любви, которая, быть может, составила бы счастье его жизни.

Хотя он был более предрасположен к вере, чем Бувар, она все же препоручила его святому Иосифу, великому пособнику в делах обращения неверующих.

Никто лучше ее не знал всевозможных молитв и милостей, которыми они вознаграждаются, действия реликвий, силы святых источников. Цепочка ее часов была когда-то положена на оковы апостола Петра.

Среди ее брелоков блистала золотая жемчужина — копия с той, в которой хранится слеза Христова в алуанской церкви; на мизинце она носила кольцо, в котором были волосы арского священника; она собирала для больных целебные травы, поэтому комната ее напоминала не то ризницу, не то аптеку.

Целыми днями она писала письма, навещала бедных, расторгала незаконные сожительства, распространяла фотографии храма Сердца Христова. Некто посулил прислать ей «тесто мучеников» — смесь из воска пасхальных свечей и человеческого праха, вырытого в катакомбах; снадобье это применяется в безнадежных случаях в виде пилюль или мушек. Она обещала дать его Пекюше.

Его покоробило от такого материализма.

Как-то вечером лакей из замка принес ему целую корзинку брошюр, содержавших благочестивые речи великого Наполеона, меткие словечки кюре, сказанные им на постоялых дворах, рассказы о страшной смерти, постигшей многих нечестивцев. Г-жа де Ноар знала все это наизусть, не считая множества чудес.

Она рассказывала о чудесах нелепейших, бессмысленных, точно бог совершал их только для того, чтобы ошеломить людей. Ее собственная бабушка положила однажды в шкаф сливы, покрыв их салфеткой; через год, когда она

отворила шкаф, слив оказалось тринадцать, и они сами собой разместились на салфетке в виде креста.

— Попробуйте-ка это объяснить!

Так заканчивала она свои россказни, достоверность которых отстаивала с ослиным упрямством; а впрочем, это была славная женщина, весьма благодушного нрава.

Однажды она все же «вышла из себя». Бувар стал оспаривать чудо в Педзиле: ваза, в которой во время революции спрятали облатки для причастия, чудесным образом позолотилась.

— Может быть, на дне вазы образовался желтый налет от сырости?

— Да нет же, говорят вам, нет! Позолота образовалась от прикосновения облаток.

В доказательство она привела свидетельство епископов.

— Они говорят, что это как бы щит... как бы покров над перпиньянской епархией. Да вы спросите у аббата Жефруа!

Бувар не выдержал и, полистав еще раз своего Луи Эрвье, вместе с Пекюше отправился к священнику.

Они застали его за обедом. Рен подала им стулья, потом, по знаку хозяина, достала две рюмки и налила в них «розолио».

Бувар объяснил, зачем они пришли.

Аббат ответил уклончиво:

— Бог всесилен, а чудеса доказывают истинность религии.

— Однако существуют определенные законы.

— Это ничего не значит. Бог нарушает их, чтобы поучать, исправлять.

— Откуда вы знаете, что он их нарушает? — возразил Бувар.— Пока природа следует привычной дорожкой, никто об этом не думает, но стоит случиться чему-нибудь необыкновенному — и мы видим в этом руку божью.

— Возможно, что так оно и есть,— сказал аббат,— но что же можно возразить, когда чудо подтверждается свидетелями?

— Свидетели поверят чему угодно, бывают ведь и лжечудеса!

Священник покраснел.

— Конечно... случается.

— Как отличить их от истинных? А если истинные чудеса, приводимые в доказательство, сами нуждаются в доказательствах, то зачем на них ссылаться?

В разговор вмешалась Рен и наставительно, подражая хозяину, сказала, что нужно послушание.

— Жизнь мимолетна, зато в смерти жизнь вечная.

— Короче говоря,— добавил Бувар, глотая «розолио»,— чудеса былых времен доказаны ничуть не лучше, чем нынешние; одни и те же доводы приводятся в защиту как христианских, так и языческих верований.

Кюре бросил вилку на стол.

— То были выдумки, повторяю еще раз. Нет чудес вне церкви!

«Вот как! — подумал Пекюше.— Тот же аргумент, что и в отношении мучеников: учение опирается на факты, а факты — на учение».

Жефруа осушил стакан воды и продолжал:

— Вы отрицаете чудеса и в то же время в них верите. Двенадцать рыбаков обратили целый мир — вот, по-моему, прекраснейшее чудо!

— Вовсе нет!

Пекюше понимал это иначе.

— Монотеизм идет от евреев, Троица — от индусов, Логос — создание Платона, Матерь-Дева — создание Азии.

Все равно! Жефруа цеплялся за сверхъестественное, не допуская, что христианство имеет с человеческой точки зрения какое-либо основание, хотя и не отрицал наличия у всех народов предпосылок для христианства или для его искажений. Насмешливое безбожие XVIII века он еще допускал, но современная критика с ее холодной логикой приводила его в ярость.

— Я предпочитаю кощунствующего безбожника рассуждающему скептику!

Он взглянул на них вызывающе, как бы прогоняя их.

Пекюше вернулся домой грустный. Он надеялся согласовать веру с разумом.

Бувар дал ему прочесть отрывок из Луи Эрвье:

«Чтобы постичь бездну, разделяющую их, сопоставьте их аксиомы.

Разум говорит нам: часть содержится в целом, а вера отвечает: в силу пресуществления Христос, приобщаясь вместе с апостолами, держал тело свое в руках, а голову во рту.

Разум говорит: человек не ответствен за преступление, содеянное другими, а вера отвечает на это первородным грехом.

Разум говорит: три состоят из трех, а вера утверждает, что три есть одно».

Они перестали ходить к аббату.

В то время шла война в Италии.

Благонамеренные люди трепетали за папу. Проклинали Эммануила. Г-жа де Ноар доходила до того, что желала ему смерти.

Бувар и Пекюше выражали свое возмущение робко. Когда перед ними отворялась дверь гостиной и они мимоходом видели свое отражение в высоких зеркалах, в то время как за окнами тянулись аллеи и на зелени выделялся красный жилет лакея,— им становилось приятно; роскошь этого дома ослепляла их, и они относились снисходительно к тому, что здесь говорилось.

Граф предоставил им все сочинения де Местра. Он излагал его учение в кругу друзей: тут бывали Гюрель, кюре, мировой судья, нотариус и барон, будущий зять графа, приезжавший время от времени в замок на сутки.

— Самое отвратительное — это дух восемьдесят девятого года,— говорил граф.— Начинается с того, что оспаривают бога, затем принимаются критиковать правительство, потом провозглашается свобода. Свобода оскорблений, бунта, разгула или, вернее, грабежа, так что церкви и властям приходится преследовать вольнодумцев, инакомыслящих. Станут, конечно, вопить о гонениях, словно палачи подвергают преступников гонениям. Резюмирую: нет государства без бога. Закон может вызывать уважение, только если он исходит свыше, и сейчас вопрос идет не об итальянцах, а о том, кто одержит верх — революция или папа, сатана или Христос.

Жефруа выражал одобрение односложно, Гюрель — улыбкой, мировой судья — кивками, Бувар и Пекюше обращали взор в потолок; г-жа де Ноар, графиня и Иоланда рукодельничали в пользу бедных, а де Мавро, сидя около невесты, просматривал газеты.

Порою все умолкали, как бы углубившись в решение какого-то вопроса. Наполеон III перестал быть спасителем, больше того — он подавал прискорбный пример, разрешая каменщикам работать в Тюильри по воскресеньям.

«Не следовало бы допускать этого»,— так обыкновенно говорил граф.

О политической экономии, искусстве, литературе, истории, научных теориях — обо всем он судил безапелляционно, как христианин и отец семейства; дай-то бог, чтобы правительство было столь же непреклонно, как граф в своем доме! Только правительство может судить об опасностях, заключающихся в науке; при слишком широком рас-

пространении она порождает в народе пагубные устремления. Народ, бедняга, был куда счастливее, когда знать и духовенство умеряли неограниченную власть короля. Теперь народ эксплуатируют промышленники. Скоро его поработят.

Все сокрушались о гибели старого режима: Гюрель — из подхалимства, Кулон — по невежеству, Мареско — как натура художественная.

Вернувшись домой, Бувар стал ради закалки читать Ламетри, Гольбаха и т. п. Пекюше тоже отдалился от религии, поскольку она стала всего-навсего орудием власти. Де Маюро причащался только в угоду дамам и ходил в церковь ради слуг.

Математик, дилетант, умевший сыграть на рояле вальс, поклонник Тепфера, он отличался скептицизмом хорошего вкуса. Россказни о злоупотреблениях в эпоху феодализма, об инквизиции и иезуитах — все это предрассудки; зато он восхвалял прогресс, хотя и презирал всех, кто не принадлежал к аристократии или не кончил Политехнический институт.

Аббат Жефруа им тоже не нравился. Он верил в колдовство, подшучивал над идолами, утверждал, будто все языки исходят из еврейского; его красноречию недоставало непосредственности; он неизменно упоминал о затравленной лани, о меде и полыни, золоте и свинце, о благоухании, о драгоценных сосудах, а душу христианина постоянно сравнивал с часовым, который должен бросать в лицо греху: «Не пройдешь!»

Чтобы не слышать его поучений, они приходили в замок как можно позже.

Однажды они все-таки застали его там.

Он уже целый час дожидался своих учеников. Вдруг появилась г-жа де Ноар.

— Девочка куда-то пропала. Я привела Виктора. Ах, несчастный!

Она обнаружила у него в кармане серебряный наперсток, пропавший три дня тому назад, и, задыхаясь от слез, стала рассказывать:

— Это еще не все! Не все! Пока я его бранила, он показал мне задницу!

Граф с графиней еще не успели вымолвить слова, как она добавила:

— Впрочем, это моя вина! Простите меня!

Она скрыла, что сироты — дети Туаша, который теперь на каторге.

Как быть?

Если граф выгонит их — они погибнут, и его благодеяние будет истолковано как барская прихоть.

Аббат Жефруа не удивился. Человек грешен от рождения, поэтому, чтобы исправить его, надо его наказывать.

Бувар возражал. Ласка предпочтительнее.

Но граф вновь распространился насчет железной руки, столь же необходимой для детей, как и для народов. У обоих сирот множество пороков: девочка — лгунья, мальчишка — грубиян. Кражу эту, в конце концов, можно бы простить, зато дерзость — ни в коем случае, ибо воспитание должно быть прежде всего школою почтительности.

А потому егерь Сорель должен немедленно выпороть подростка.

Де Маюро надо было переговорить о чем-то с Сорелем, и он взялся передать ему и это поручение. Он достал в передней ружье и позвал Виктора, стоявшего, понурив голову, посреди двора.

— Пойдем,— сказал барон.

Идти к егерю надо было мимо Шавиньоля, поэтому Жефруа, Бувар и Пекюше отправились вместе с ними.

В сотне шагов от замка барон попросил спутников не разговаривать, пока они пойдут вдоль леса.

Местность спускалась к реке, где высились глыбы скал. Под лучами заходящего солнца на воде блестели золотые пятна. Подальше зеленые холмы уже покрывались тенью. Дул резкий ветер.

Вылезшие из нор кролики пощипывали травку.

Раздался выстрел, потом еще и еще; кролики подпрыгивали, разбегались. Виктор кидался на них, стараясь поймать; он был весь потный, запыхался.

— На кого ты похож! — воскликнул барон.

Куртка у мальчишки была изорвана, выпачкана кровью. Бувар не мог видеть крови. Кровопролития он не допускал.

Жефруа возразил:

— Иной раз этого требуют обстоятельства. Если виновный не жертвует своею кровью, нужна кровь другого,— этой истине учит нас искупление.

По мнению Бувара, искупление ни к чему не привело, поскольку почти все люди осуждены на муки, несмотря на жертву, принесенную Христом.

— Но жертву Христос продолжает приносить ежедневно в виде евхаристии.

— Чудо совершается словами священника, как бы ни был он недостоин,— возразил Пекюше.

— В этом и заключается тайна.

Тем временем Виктор не сводил глаз с ружья и даже пытался потрогать его.

— Руки прочь!

Де Маюро свернул на тропинку, уходившую в лес.

Бувар и Пекюше шли вслед за ним рядом со священником, который сказал Бувару:

— Осторожнее, не забывайте *Debetur pueris*[1].

Бувар стал уверять, что преклоняется перед создателем, но возмущен тем, что его превратили в человека. Боятся его мести, стараются прославить его, он наделен всеми добродетелями, дланью, оком, ему приписывают определенный образ действий, пребывание в определенном месте. Отче наш, сущий на небесах! Что все это значит?

Пекюше добавил:

— Вселенная расширилась, теперь земля уже не считается ее центром. Земля вертится среди сонма подобных ей небесных тел. Многие превосходят ее размерами, и это умаление нашей планеты дает нам о боге более возвышенное представление.

Следовательно, религия должна преобразоваться. Рай с его блаженными праведниками, вечно созерцающими, вечно поющими и взирающими с высоты на муки осужденных, представляется чем-то ребяческим. Подумать только, что в основе христианства лежит яблоко!

Кюре рассердился.

— Уж отвергайте само Откровение,— это будет проще.

— Как же, по-вашему, бог мог говорить? — спросил Бувар.

— А вы докажите, что он не говорил,— возражал Жефруа.

— Я спрашиваю: кем это доказано?

— Церковью.

— Ну и доказательство, нечего сказать!

Спор этот наскучил де Маюро, и он на ходу сказал:

— Слушайте кюре — он знает больше вашего.

Бувар и Пекюше знаками сговорились пойти другой дорогой и, дойдя до Круа-Верт, распрощались со спутниками:

— Будьте здоровы!

— Честь имею клапяться,— сказал барон.

Все это, вероятно, будет доложено де Фавержу, и, возможно, последует разрыв. Что поделаешь! Они чувствова-

---

[1] Берегите юношей *(лат.)*.

ли, что аристократы презирают их. Их никогда не приглашают к обеду, они устали от г-жи де Ноар с ее нескончаемыми нравоучениями.

Надо было, однако, возвратить сочинения де Местра, и недели через две они отправились в замок, хотя и предполагали, что их не примут.

Их приняли.

В будуаре собралась вся семья, включая Гюреля и, против обыкновения, Фуро.

Наказание не исправило Виктора. Он отказывался учить катехизис, а Викторина сыпала непристойными выражениями. Короче говоря, решили отдать мальчика в исправительный приют, а девочку поместить в монастырь.

Фуро взял на себя хлопоты; он уже уходил, когда графиня окликнула его.

Поджидали аббата Жефруа, чтобы сообща установить дату венчания; заключение гражданского брака в мэрии должно было произойти гораздо ранее церковного в знак того, что первому не придают ни малейшего значения.

Фуро попытался защитить гражданский брак. Граф и Гюрель наиадали на него. Что значит гражданская формальность в сравнении с таинством! Барон не считал бы себя состоящим в браке, если бы все ограничилось церемонией перед трехцветной лентой мэра.

— Браво! — воскликнул Жефруа, входя.— Ведь брак установлен самим Христом...

Пекюше прервал его:

— В каком евангелии? Во времена апостолов браку придавали так мало значения, что Тертулиан сравнивает его с простым сожительством.

— Оставьте!

— Право же! Брак вовсе не таинство. Таинство должно подтверждаться каким-нибудь знамением. Покажите мне знамение, подтверждающее брак.

Тщетно кюре утверждал, что брак символизирует соединение бога с церковью.

— Вы не понимаете христианства, а закон...

— На законе сказалось влияние христианства, иначе он допускал бы многобрачие,— сказал граф.

Кто-то вставил:

— А что в этом было бы дурного?

Это сказал Бувар, полускрытый за шторой.

— Можно иметь несколько жен, как, например, у патриархов, у мормонов, у мусульман, и тем не менее быть честным человеком!

— Нет, нет! — вскричал священник.— Честность заключается в том, чтобы исполнять свой долг. Наш долг — поклоняться богу. Следовательно, нехристианин не может быть честным.

— Все одинаковы,— возразил Бувар.

Граф, приняв эти слова за выпад против религии, стал восхвалять ее. Она дала свободу рабам.

Бувар привел несколько цитат в доказательство противного.

— Апостол Павел советует рабам подчиняться хозяевам как Христу. Святой Амвросий называет рабство даром божьим.

— Книга Левит, Исход и соборы санкционировали его. Боссюэ считает, что рабство — одно из прав человека. Монсеньор Бувье одобряет его.

Граф возразил, что как-никак христианство содействовало цивилизации.

— Оно содействовало и лености, потому что объявило бедность добродетелью.

— А как же быть с евангельской моралью?

— Сомнительная мораль! Работники последнего часа получают столько же, сколько работники первого. Дают тому, кто уже имеет, и отнимают у неимущего. Что же касается предписания принимать пощечины, не отвечая на них, и давать себя обворовывать, то это только поощряет дерзких, подлых, вороватых.

Страсти разгорелись, когда Пекюше заявил, что, по его мнению, уж лучше буддизм.

Священник расхохотался:

— Буддизм! Ого!

Госпожа де Ноар всплеснула руками:

— Буддизм!

— Буддизм? То есть как буддизм? — повторял граф.

— А вы с ним знакомы? — спросил Пекюше аббата Жефруа, но тот замялся.

— Так знайте же, что буддизм глубже и раньше христианства постиг тщету всего земного. Обряды его величественны, последователи его многочисленнее, чем все христиане вместе взятые, а что касается воплощений, то у Вишну их не одно, а целых девять!

— Все это враки путешественников,— возмутилась г-жа де Ноар.

— Поддержанные франкмасонами,— поддакнул кюре.

Тут все заговорили сразу:

— Ну что ж, продолжайте в том же духе!

— Прекрасно!

— А по-моему, так просто нелепо!

— Быть того не может.

Пекюше довели до того, что он от отчаяния заявил, что перейдет в буддизм.

— Вы оскорбляете христианок,— сказал барон.

Госпожа де Ноар без сил опустилась в кресло. Графиня и Иоланда молчали. Граф таращил глаза. Гюрель дожидался распоряжений. Аббат, чтобы успокоиться, стал читать молитвенник.

Вид его подействовал на де Фавержа умиротворяюще, и он сказал, глядя на двух чудаков:

— Прежде чем хулить Евангелие, особенно когда собственная жизнь небезупречна, надо самим исправиться...

— Исправиться?

— Небезупречна?

— Довольно, господа! Вы должны меня понять!

Граф обратился к Фуро:

— Сорель все знает, ступайте к нему.

Бувар и Пекюше удалились, не простившись.

Дойдя до конца аллеи, все трое дали волю своему негодованию.

— Со мной обращаются как с лакеем,— ворчал Фуро.

Друзья сочувствовали ему, и он, несмотря на воспоминание о геморроидальных шишках, почувствовал к ним нечто вроде расположения.

В поле производились дорожные работы. Человек, руководивший рабочими, подошел к ним: то был Горжю. Разговорились. Он наблюдал за мощением дороги, прокладка которой была одобрена в 1848 году; своей должностью он был обязан де Маюро, инженеру по образованию.

— Тому самому, который женится на мадмуазель де Фаверж! Вы, вероятно, там и были?

— В последний раз,— резко ответил Пекюше.

Горжю прикинулся простачком.

— Поссорились? Да что вы? Неужто?

Если бы они видели выражение его лица, когда пошли дальше, то поняли бы, что он догадывается о причине.

Немного погодя они остановились перед изгородью, за которой виднелись собачьи конуры и домик, крытый красной черепицей.

На пороге стояла Викторина. Поднялся лай. Из домика вышла жена сторожа.

Догадываясь, зачем пришел мэр, она кликнула Виктора.

Все было заранее подготовлено, пожитки детей увязаны в два узла, заколотых булавками.

— Счастливого пути! — сказала она.— Какое счастье избавиться от этой дряни!

А разве они виноваты, что родились от каторжника? Вид у них был самый смирный, и они даже не спрашивали, куда их ведут.

Бувар и Пекюше наблюдали за ними.

Викторина на ходу напевала песенку, слов которой нельзя было разобрать; на руке у нее висел узелок с вещами; она была похожа на модистку, несущую готовый заказ. Порою она оборачивалась, и Пекюше, видя ее белокурые завитки и милую фигурку, сожалел о том, что у него нет такой дочки. Если бы вырастить ее в других условиях, она со временем стала бы очаровательной. Какое счастье следить за тем, как она растет, слышать ее щебетанье, целовать ее, когда вздумается! Чувство умиления, идущее из сердца, увлажнило его взор и стеснило грудь.

Виктор по-солдатски закинул себе узелок на спину. Он посвистывал, бросал камушки в ворон, скакавших по бороздам, отбегал в сторону, чтобы срезать себе тросточку. Фуро подозвал его, а Бувар взял его за руку — ему приятно было чувствовать в своей руке крупные, крепкие мальчишеские пальцы. Бедному проказнику хотелось только одного — свободно развиваться, как развивается цветок на вольном воздухе. А в четырех стенах, от уроков, наказаний и прочих глупостей, он просто зачахнет. Бувара охватили возмущение, жалость, негодование на судьбу — один из тех припадков ярости, когда хочется ниспровергнуть весь государственный строй.

— Скачи, резвись,— сказал он.— Наслаждайся последним днем свободы.

Мальчишка побежал.

Брату и сестре предстояло перепочевать на постоялом дворе, а на рассвете фалезский дилижанс возьмет Виктора, чтобы доставить его в Бобурский исправительный приют. За Викториной придет монахиня из сиротского приюта в Гран-Кане.

Сказав об этом, Фуро погрузился в свои мысли. Но Бувар спросил, во что может обходиться содержание двух таких малышей.

— Ну... пожалуй, франков в триста. А граф дал мне на первое время двадцать пять. Вот скряга!

Фуро никак не мог успокоиться, что в замке столь неуважительно относятся к званию мэра; он молча ускорил шаг.

Бувар прошептал:

— Мне их жаль. Я охотно взял бы их на свое попечение.

— Я тоже,— сказал Пекюше.

Обоим пришла в голову одна и та же мысль.

— Вероятно, тут встретятся какие-нибудь препятствия?

— Никаких,— ответил Фуро.

К тому же он в качестве мэра имеет право доверить сирот, кому найдет нужным. После долгого колебания он сказал:

— Что ж, берите их! Назло графу!

Бувар и Пекюше повели детей к себе.

Дома они застали Марселя на коленях перед мадонной; тот горячо молился. Он запрокинул голову, полузакрыл глаза, оттопырил заячью губу — он был похож на факира в экстазе.

— Вот скотина! — сказал Бувар.

— Чем же? Быть может, он видит такие вещи, что ты ему позавидовал бы, если бы сам мог их видеть. Ведь существуют два совершенно обособленных друг от друга мира. Предмет, о котором размышляешь, не так ценен, как сам процесс мышления. Не все ли равно, во что верить? Главное — верить.

Таковы были возражения Пекюше на замечание Бувара.

X

Они раздобыли труды по педагогике и остановили свой выбор на одной из систем. Надлежало отринуть все метафизические идеи и, придерживаясь экспериментальной методы, следовать за естественным развитием. Можно было не торопиться, так как воспитанникам сначала надо было позабыть то, что они знали.

Хотя дети и отличались выдержкой, Пекюше, как спартанцу, хотелось еще более закалить их, приучить к голоду, жажде, ненастью и к дырявой обуви, чтобы предотвратить простуду. Бувар возражал против этого.

Темная каморка в конце коридора стала их спальней. В ней стояли две раскладные кровати, две кушетки, кувшин с водой; над головой у них было слуховое окошко, по оштукатуренным стенам бегали пауки.

Они часто вспоминали свою старую лачугу, где происходили нескончаемые перепалки.

Как-то ночью отец вернулся домой с окровавленными руками. Немного погодя в лачугу явились жандармы. Затем они ночевали где-то в лесу. Мужчины, занимавшиеся изготовлением сабо, обнимали их мать. Когда она умерла, их увезли на тележке. Им приходилось терпеть побои, они совсем пропадали. Потом в их памяти возникал полевой сторож, г-жа де Ноар, Сорель и вдруг — теперешний дом, куда они попали каким-то чудом и где были счастливы. Зато они огорчились, когда, восемь месяцев спустя, к их удивлению, возобновились уроки. Бувар взял на свое попечение девочку, Пекюше — мальчишку.

Виктор был знаком с буквами, но ему никак не удавалось составить из них слоги. Он путался, вдруг умолкал, и его можно было принять за дурачка. Викторина задавала множество вопросов. Отчего «цыпленок» и «цикорий», «счет» и «щетка» произносятся одинаково, а пишутся поразному? То надо соединять две гласные, то разъединять. Это нечестно. Она возмущалась.

Учителя занимались с детьми в одно и то же время, каждый у себя, а перегородка между комнатами была тонкая, и четыре голоса — высокий, басистый и два пронзительных — сливались в ужасающий гам. Чтобы положить этому конец и вызвать ребятишек на соревнование, было решено, что их надо учить вместе, в музее; приступили к письму.

Ученики, сидя на противоположных концах стола, списывали примеры; однако посадка у них была плохая. Приходилось их выпрямлять, но тогда бумага у них разлеталась, перья ломались, чернила капали на стол.

Иной раз Викторина, смирно просидев минуты три, начинала марать бумагу какими-то каракулями, потом от отчаяния уставлялась в потолок. Виктор вскоре засыпал, развалившись посреди стола.

Быть может, они захворали? Чрезмерное напряжение вредно для юных мозгов.

— Отдохнем,— говорил Бувар.

Нет ничего глупее, как заставлять детей заучивать что-либо наизусть; однако, если не упражнять память, она совсем атрофируется, поэтому они стали вдалбливать им ранние басни Лафонтена. Ребятишки одобряли муравья-скопидома, волка, сожравшего ягненка, льва, забирающего себе всю добычу.

Осмелев, они принялись опустошать сад. Чем бы их развлечь?

Жан-Жак в *Эмиле* советует воспитателю заставлять

ученика самостоятельно мастерить игрушки, незаметно помогая ему при этом. Но Бувару никак не удавалось соорудить обруч, Пекюше — сшить мячик. Они перешли на поучительные игры, стали вырезать из бумаги фигуры. Пекюше демонстрировал им свой микроскоп. Когда горела свеча, Бувар показывал на стене очертания зайчика или свиньи, образованные тенью от его пальцев. Зрителям все это скоро надоело.

В книгах расхваливают в качестве развлечения завтрак на лоне природы, прогулку в лодке; но разве это осуществимо? А Фенелон рекомендует время от времени «невинную беседу». Им не удалось придумать ни одной.

Они вновь обратились к урокам: кубики, полоски, разрезная азбука — детям ничего не нравилось; тогда они прибегли к хитрости.

Виктор был склонен к чревоугодию — ему показывали название какого-нибудь кушанья; вскоре он стал бегло читать поваренную книгу. Викторина отличалась кокетством; ей обещали новое платье, если она сама напишет портпихе. Не прошло и трех недель, как она совершила это чудо. Это значило поощрять их пороки, это метода вредная, однако она принесла плоды.

Теперь они умели читать и писать,— чему же учить их еще? Новая забота!

Девушкам, в отличие от юношей, ученость ни к чему. И все же воспитывают их в большинстве случаев как невежд, их умственный кругозор ограничивается всяким мистическим вздором.

Надо ли обучать их иностранным языкам? «Испанский и итальянский,— утверждает Камбрейский Лебедь,— только способствуют чтению всевозможных зловредных сочинений». Такой довод показался им глупым. Но все же Викторине эти языки не нужны, зато английский находит бóльшее применение. Пекюше стал изучать английскую грамматику; он с серьезным видом показывал, как произносить *th*.

— Смотри, вот так: *the*, *the*,*the!*

Но прежде чем обучать ребенка, следует выяснить, к чему он способен. Это можно узнать при посредстве френологии. Они погрузились в эту науку, потом пожелали проверить ее на себе. У Бувара оказались шишки доброжелательства, воображения, почтительности и любовного пыла, попросту говоря, эротизма.

Височные кости Пекюше говорили о философичности и энтузиазме в сочетании с долей хитрости.

И действительно, характеры у них были именно таковы. Еще более дивились они тому, что и у того и у другого обнаружилась склонность к дружбе; в восторге от этого открытия они растроганно обнялись.

Затем они приступили к исследованию Марселя. Величайшим его пороком, небезызвестным им, была прожорливость. И все же они ужаснулись, когда обнаружили у него над ушною раковиной, на уровне глаза, шишку обжорства. С годами их слуга, чего доброго, уподобится той женщине из Сальпетриер, которая ежедневно съедает восемь фунтов хлеба и поглощает то четырнадцать тарелок похлебки, то шестьдесят чашек кофея. У них на это не хватит средств.

Головы обоих воспитанников не представляли ничего любопытного; друзьям, вероятно, еще недоставало исследовательского опыта. Пополнить свои знания им удалось весьма простым способом.

В базарные дни они отправлялись на площадь, протискивались в гущу крестьян, среди мешков с овсом, корзин с сыром, телят, лошадей,— толкотня ничуть не смущала их; встретив какого-нибудь мальчика, сопровождавшего отца, они просили позволения ощупать его череп с научной целью.

Большинство даже не удостаивало их ответом; другие, решив, что речь идет о какой-нибудь мази от лишаев, обижались и отказывали им; лишь немногие, ко всему равнодушные, соглашались пойти с ними на церковную паперть, где никто не помешает исследованию.

Как-то утром, когда Бувар и Пекюше только что принялись за дело, неожиданно появился священник, и, увидев, чем они занимаются, обрушился на френологию, утверждая, что она ведет к безбожию и фатализму.

Воры, убийцы, прелюбодеи могут теперь в свое оправдание ссылаться на свои шишки.

Бувар возразил, что органы только предрасполагают к тому или иному действию, но отнюдь не принуждают к нему. Если человек носит в себе зерно преступности, это еще не значит, что он непременно станет преступником.

— Впрочем, я восторгаюсь людьми, мыслящими ортодоксально: они отстаивают врожденные идеи и отвергают склонности. Какое противоречие!

Но френология, по словам Жефруа, отрицает всемогущество божье, и заниматься ею под сенью святого храма, возле самого алтаря, непристойно.

— Уходите отсюда! Уходите, уходите!

Они устроились у парикмахера Гано. Чтобы предотвра-

тить колебания, они предлагали родителям ребенка побриться или завиться на их счет.

Как-то в послеобеденное время в парикмахерскую зашел врач,— ему надо было постричься. Садясь в кресло, он в зеркале увидел, как наши френологи ощупывают шишки на головке ребенка.

— Вы занимаетесь такой ерундой? — спросил он.

— Почему ерундой?

Вокорбей презрительно улыбнулся; потом объявил, что в мозгу никаких шишек нет.

Так, например, один человек легко переваривает пищу, которую не переваривает другой. Следует ли предположить в желудке столько желудков, сколько имеется различных вкусов? Между тем за одной работой отдыхаешь от другой, умственное усилие не напрягает одновременно всех способностей, у каждой из них свое определенное место.

— Анатомы таких мест не обнаружили,— заметил Вокорбей.

— Значит, плохо вскрывали,— возразил Пекюше.

— Как так?

— Да очень просто. Они режут слои, не считаясь с соединением частей. (Эту фразу он вычитал из какой-то книги.)

— Что за вздор! — воскликнул доктор.— Череп не лепится по форме мозга,— внешнее — по внутреннему. Галль ошибается. Попробуйте-ка доказать его теорию, взяв наугад трех человек из числа присутствующих.

Первою оказалась крестьянка с большими голубыми глазами.

Пекюше сказал:

— У нее превосходная память.

Муж ее подтвердил этот вывод и сам предложил подвергнуться обследованию.

— Ну, почтенный, ладить с вами нелегко.

Присутствующие подтвердили, что другого такого упрямца не сыскать.

Третьим подопытным стал мальчишка, который находился здесь с бабушкой.

Пекюше заявил, что он, несомненно, обожает музыку.

— Совершенно верно,— подтвердила старушка,— покажи-ка господам, как ты умеешь играть.

Мальчик вынул из кармана сопелку и принялся дудеть.

Тут раздался громкий стук — это доктор, уходя, изо всех сил хлопнул дверью.

Теперь друзья уже больше не сомневались в самих себе и, призвав питомцев, возобновили исследования их черепов.

У Викторины череп был в общем гладкий — знак уравновешенности, зато череп ее брата производил прискорбное впечатление: значительные выпуклости в сосцевидных углах теменных костей указывали на склонность к разрушению, убийству, а выпуклость пониже говорила об алчности, вороватости. Бувар и Пекюше сокрушались по этому поводу целую неделю.

Нужно вникать в точный смысл каждого слова; то, что принято называть драчливостью, подразумевает презрение к смерти. Если человек может совершать убийства, то может также и спасать людей. Стяжательство заключает в себе как ловкость мошенника, так и рвение коммерсанта. Непочтительность идет рука об руку с критическим духом, хитрость — с осмотрительностью. Всякий инстинкт раздваивается, образуя начало хорошее и дурное. Можно свести на нет дурное, развивая хорошее,— при такой методе отчаянный озорник станет не разбойником, а полководцем. У труса останется только осторожность, у скупца — бережливость, у расточителя — щедрость.

Они увлеклись прекрасной мечтой: если воспитание их питомцев пойдет хорошо, они со временем учредят заведение, цель которого будет развивать ум, укрощать своенравие, облагораживать сердце. Они уже поговаривали об открытии подписки и постройке здания.

Триумф у Гано прославил их, и теперь к ним приходили, чтобы посоветоваться и узнать, можно ли рассчитывать на удачу.

Через их руки прошли самые разнообразные черепа: круглые, грушевидные, похожие на сахарные головы, квадратные, вытянутые, сжатые, приплюснутые, с бычьими челюстями, с птичьими носами, со свиными глазками; но такое множество народа мешало парикмахеру работать. Люди задевали локтями стеклянные шкафы с парфюмерией, разбрасывали гребни, разбили рукомойник, и цирюльник выгнал вон всех любителей френологии, попросив Бувара и Пекюше последовать за ними; ультиматум этот они приняли безропотно, ибо черепоскопия уже успела их утомить.

На другой день, проходя мимо палисадника капитана, они заметили самого капитана, беседовавшего с Жирбалем, Кулоном и стражником; тут же был и младший сын стражника Зефирен, одетый в певческий стихарь. Стихарь

был совсем новенький; мальчик разгуливал в нем, прежде чем сдать в ризницу, и все поздравляли его с обновкой.

Желая узнать мнение ученых господ о сыне, Плакван попросил их ощупать подростка.

Кожа у него на лбу казалась натянутой; нос был тонкий, хрящеватый на кончике и чуть вкось нависал над тонкими губами; подбородок был острый, взгляд бегающий, правое плечо выше левого.

— Сними скуфейку,— приказал отец.

Бувар запустил пальцы в светлые, как лен, волосы мальчика, потом то же проделал Пекюше, и они шепотом поделились результатами обследования.

— Явная биофилия! И апробативность. Совестливость отсутствует. К деторождению неспособен.

— Ну как? — спросил сторож.

Пекюше открыл табакерку и взял понюшку.

— Признаться, ничего хорошего,— ответил Бувар.

Плакван покраснел от обиды:

— Как бы то ни было, он будет делать то, что я велю.

— Ну-ну!

— Да ведь я же ему отец, черт побери! Значит, имею полное право...

— До некоторой степени,— возразил Пекюше.

Жирбаль вставил:

— Родительская власть неоспорима.

— А если отец дурак?

— Все равно,— возразил капитан,— это не умаляет его власти.

— В интересах детей,— добавил Кулон.

По мнению Бувара и Пекюше, дети ничем не обязаны тем, кто произвел их на свет, родители же, наоборот, обязаны их кормить, обучать, оберегать и т. д.

Шавиньольцы возмутились, услышав столь безнравственные рассуждения. Плакван был оскорблен, словно ему нанесли личную обиду.

— Посмотрим еще, что выйдет из тех, кого вы подобрали на большой дороге. Эти далеко пойдут. Берегитесь!

— Чего нам беречься? — язвительно спросил Пекюше.

— Да я вас не боюсь.

— И я вас не боюсь.

Кулон вмешался в спор, угомонил сторожа и спровадил его.

Несколько минут помолчали. Потом речь зашла о капитановых георгинах, и тут капитан не отпустил собеседников до тех пор, пока не показал им все цветы.

Бувар и Пекюше отправились домой и шагах в ста перед собою увидели Плаквана; Зефирен шел рядом с отцом и, подняв локоть, защищался от оплеух.

То, что они сейчас слышали, выражало в несколько измененном виде образ мыслей графа, но пример их питомцев докажет, насколько свобода сильнее принуждения. Впрочем, некоторая дисциплина необходима.

Пекюше повесил в музее грифельную доску для всякого рода чертежей и упражнений; они решили завести журнал; записи о поведении детей, занесенные в него вечером, будут на другой день читаться вслух. Все будет делаться по звону колокольчика. По Дюпон де Немуру сначала все будет основываться на отеческих распоряжениях, потом на военных приказах, обращение на «ты» будет запрещено.

Бувар попробовал обучать Викторину арифметике. Иногда оба запутывались в счете, оба потешались над этим, потом девочка целовала его в шею, в то место, где не растет борода, и просила отпустить ее; он не возражал.

Сколько бы ни звонил Пекюше в колокольчик в часы уроков, сколько бы ни отдавал в окно приказов на военный лад, мальчишка не появлялся. Носки у него всегда болтались на лодыжках; даже за столом он ковырял пальцем в носу и не сдерживал газов. Брусе не позволяет наказывать за это, ибо «надо считаться с требованиями охранительного инстинкта».

И он и Викторина изъяснялись на каком-то ужасном языке; они говорили: «ляжь» вместо «ляг», «откудова» вместо «откуда». Но так как детям трудно понять грамматику и они знакомятся с нею, главным образом слыша правильные выражения, то оба воспитателя строго следили за своей речью и иной раз даже уставали от этого.

Насчет географии мнения их расходились. Бувар считал, что логичнее начинать с родных мест, а Пекюше — с общего знакомства с земным шаром.

Вооружившись лейкой и песком, он задумал наглядно представить, что такое река, остров, залив, и даже пожертвовал три грядки под три материка, но страны света никак не умещались в голове Виктора.

Однажды вечером, в январе, Пекюше повел его в открытое поле. По пути он стал расхваливать астрономию: моряки руководствуются ею в плавании, без нее Христофор Колумб не сделал бы своего открытия. Мы многим обязаны Копернику, Галилею и Ньютону.

Стоял крепкий мороз, иссиня-черное небо было усеяно

бесчисленными мерцающими огоньками. Пекюше поднял глаза вверх.

— Что такое? Куда же делась Большая Медведица?

Когда он видел ее последний раз, она была повернута в другую сторону; наконец он отыскал ее, потом показал мальчику Полярную звезду,— она всегда на севере, по ней мы ориентируемся.

На другой день он поставил посреди гостиной кресло и стал вальсировать вокруг него.

— Представь себе, что это кресло — солнце, а я — земля; она ведь тоже вертится.

Виктор глядел на него в полном недоумении.

Потом Пекюше взял апельсин, воткнул в него прутик, долженствовавший изображать полюсы, затем углем провел ободок, чтобы обозначить экватор. Наконец он стал водить апельсином вокруг свечи, обращая внимание ученика на то, что точки на поверхности апельсина освещаются не одновременно, от чего зависит разница в климате, а чтобы объяснить смену времен года, он наклонил апельсин, ибо земля держится не прямо, и этим вызываются явления равноденствия и солнцестояния.

Виктор ничего не понял. Он вообразил, будто земля вертится на длинной булавке и что экватор — это кольцо, сжимающее ее по окружности.

Пекюше показал ему в географическом атласе карту Европы, но мальчик был настолько ослеплен множеством линий и красок, что не мог разобрать никаких надписей. Котловины и горы не совпадали с государствами, политический строй затемнял строй физический. Все это, пожалуй, разъяснится, когда он приступит к изучению истории.

Лучше было бы начать со своей деревни, потом перейти к округу, к департаменту, к провинции. Но поскольку о Шавиньоле ничего не говорится в летописях, приходилось довольствоваться всеобщей историей. А там такое обилие материала, что следует выбирать только самые прекрасные страницы.

Из истории Греции: «Мы будем сражаться в тени»; завистник, осуждающий Аристида на изгнание, и доверие Александра к своему лекарю. Из истории Рима: капитолийские гуси, треножник Сцеволы, бочонок Регула. Для Америки очень существенно ложе из роз Гватимоцина. Что касается Франции, то тут имеется суасонский кубок, дуб святого Людовика, казнь Жанны д'Арк, куриная похлебка беарнца — глаза разбегаются,— не считая «Ко мне, овернцы» и кораблекрушения «Мстителя».

Виктор перепутывал героев, века и страны. Пекюше не утруждал его какими-либо тонкими соображениями, но само множество фактов — истинный лабиринт.

Он ограничился перечнем французских королей. Виктор забывал имена, ибо не знал хронологии. Но раз мнемоника Дюмушеля не пригодилась им самим, могла ли она помочь мальчишке? Вывод: историю можно изучить только посредством усиленного чтения. Так они и поступят.

Умение рисовать полезно при многих обстоятельствах; Пекюше отважился сам преподавать рисование с натуры, приступив прямо к пейзажу.

Книготорговец из Байе выслал ему бумагу, резинок, две папки, карандаши и фиксатив для их произведений, которые будут вставлены в рамки со стеклами и явятся украшением музея.

Встав спозаранку, они отправлялись в путь с ломтем хлеба в кармане; немало времени уходило у них на поиски подходящего ландшафта. Пекюше хотелось одновременно изобразить и то, что лежало у него под ногами, и далекий горизонт, и облака, но неизменно получалось так, что даль подавляла ближний план; река низвергалась прямо с небес, пастух шествовал над стадом, спящая собака, казалось, убегала. В отношении самого себя Пекюше вскоре отказался от этой затеи, памятуя следующее, прочтенное где-то, определение: «Рисунок состоит из трех элементов: линии, фактуры, растушевки и, наконец, завершающего штриха. Но последний доступен только мастеру». Он выправлял линию на рисунке, обрабатывал фактуру, корпел над растушевкой и ждал, когда настанет время нанести завершающий штрих. Но ему так и не удавалось этого дождаться — настолько рисунок был невразумителен.

Сестрица Виктора, такая же лентяйка, зевала над пифагоровой теоремой. Служанка Рен учила ее шить; девочка, вышивая метки на белье, так мило шевелила пальчиками, что Бувару жалко было мучить ее арифметикой. Они займутся этим как-нибудь на днях. Конечно, и арифметика и шитье необходимы в семье, но Пекюше считал, что жестоко воспитывать девочек только в интересах будущего мужа. Не все предназначены для замужества; если хотят, чтобы они в дальнейшем обходились без мужчин, надо обучить их очень многому.

Насчет самых простых вещей можно вдалбливать кое-какие знания: рассказать, например, как образуется вино. Получив объяснение, Виктор и Викторина должны были повторить его. То же произошло с бакалейными товарами,

мебелью, освещением. Но свет отождествлялся в их сознании с лампой, а лампа не имела ничего общего с искрой, высеченной из кремня, с пламенем свечи, с лунным светом.

Однажды Викторина спросила:

— Отчего горит дерево?

Учителя переглянулись в замешательстве: теории горения они не знали.

В другой раз Бувар весь обед, от супа до сыра, разглагольствовал о питательных веществах и забил ребятишкам головы фибрином, казеином, жирами и клейковиной.

Затем Пекюше вздумал объяснить им, как обновляется кровь в организме, и запутался в кровообращении.

Дилемма нелегкая: если исходить из фактов, то даже самый простой из них требует сложных обоснований; если же начинать с принципов, то приходится обращаться к абсолюту, к вере.

Как же быть? Надо сочетать оба вида обучения, теоретическое и практическое, но двоякий путь к единой цели противен любой методе. Ну что ж, пусть!

Чтобы приобщить их к естественной истории, воспитатели попробовали совершить несколько научно-познавательных прогулок.

— Видишь,— говорили они, указывая на осла, лошадь, быка,— у них по четыре ноги, их называют четвероногие. В общем, птицы отличаются перьями, пресмыкающиеся — чешуей, а бабочки относятся к разряду насекомых.

У них имелась сетка для ловли бабочек, и Пекюше, осторожно держа пойманного мотылька, обращал внимание детей на то, что у него четыре крылышка, шесть лапок, два усика и твердый хоботок, чтобы высасывать из цветов нектар.

Он собирал на обочинах полевые цветочки, говорил, как они называются, а если не знал названия — сам его выдумывал, чтобы поддержать свой авторитет. Ведь в ботанике номенклатура — не самое главное.

Он написал на грифельной доске следующую аксиому: у всякого растения имеются листья, чашечка, венчик, прикрывающий завязь, или околоплодник с семенами. Потом он велел детям собирать гербарий и рвать все, что попадается под руку.

Виктор принес ему лютиков, а Викторина — пучок земляничника; тщетно искал он в них околоплодник.

Бувар, не доверявший его познаниям, перерыл всю биб-

лиотеку и в конце концов нашел у Редуте де Дама рисунок ириса, у которого завязь помещается не в венчике, а под лепестками в стебле.

В их саду цвели помареннпк и ландыши; у этих мареновидных вовсе не было чашечки, таким образом, утверждение, начертанное на доске, оказывалось ошибочным.

— Это исключение,— заявил Пекюше.

Но им случайно, в траве, попалась шерардия, и у нее чашечка оказалась на месте.

— Вот тебе на! Уж если сами исключения неверны, так кому же верить?

Однажды во время прогулки они услышали крик павлинов, заглянули поверх забора и поначалу не узнали своей собственной фермы. Рига была покрыта черепичной кровлей, изгороди — новые, дорожки вымощены. Показался дядя Гуи:

— Возможно ли? Кого я вижу?

Как много событий случилось за три года,— между прочим, у него умерла жена! Сам же он был по-прежнему крепок, как дуб.

— Зайдите на минутку.

Было начало апреля; вокруг трех домиков раскинулись бело-розовые ветви цветущих яблонь. На синем небе не было ни облачка; во дворе, на веревках висели простыни, скатерти, салфетки, вертикально прикрепленные деревянными зажимами. Дядюшка Гуи приподнимал их, чтобы можно было пройти, как вдруг они наткнулись на г-жу Борден, простоволосую, в домашней кофте, и Марианну с грудой белья в руках.

— Здравствуйте, господа! Будьте как дома! А я присяду, совсем с ног сбилась.

Фермер предложил выпить по стаканчику.

— Не сейчас,— сказала она,— мне и без того жарко.

Пекюше не отказался и вместе с дядей Гуи, Марианной и Виктором направился к погребку.

Бувар сел на землю возле г-жи Борден.

Ренту он получал исправно, жаловаться ему было не на что, и он уже не сердился на нее.

Лицо ее заливал яркий свет; одна из черных прядей спустилась у нее ниже других, а короткие завитки на затылке пристали к смуглой коже, влажной от испарины. При каждом вздохе груди ее приподнимались. Благоухание трав сливалось с нежным запахом ее крепкого тела, и Бувар почувствовал прилив чувственности, преисполнивший его радостью. Он стал расхваливать ее владения.

Комплименты привели ее в восторг, и она заговорила о своих планах.

Чтобы расширить двор, она намерена срыть насыпь.

Как раз в это время Викторина карабкалась по откосу — она собирала примулы, гиацинты и фиалки, не боясь старой кобылы, которая поблизости пощипывала траву.

— Не правда ли, она мила? — спросил Бувар.

— Еще бы! Маленькие девочки — всегда прелесть!

Вдова вздохнула, и в этом вздохе, казалось, излилось горе целой жизни.

— У вас могла бы быть дочка.

Вдова потупилась.

— Это зависело только от вас.

— Почему?

Он бросил на нее такой взгляд, что она покраснела, словно от грубой ласки, но тут же ответила, обмахиваясь платком:

— Опоздали, дорогой мой.

— Не понимаю.

Не поднимаясь с земли, он стал пододвигаться к ней.

Она долго смотрела на него сверху вниз, потом, устремив на него влажный взгляд и улыбаясь, сказала:

— Это ваша вина.

Простыни, висевшие вокруг, укрывали их, как занавески кровати. Он склонился, облокотившись, и коснулся лицом ее колена.

— Чем же я виноват? Скажите, чем?

Она молчала, а он был в таком состоянии, когда за клятвами дело не станет,— поэтому он стал оправдываться, каялся в безрассудстве, гордыне:

— Простите! Будемте друзьями, как прежде. Хорошо?

Он взял ее руку, она не отнимала ее.

Сильный порыв ветра приподнял простыни, и перед ними оказались два павлина — самец и самка. Самка стояла неподвижно, подогнув ноги и приподняв зад. Самец прогуливался вокруг нее, распустил хвост, пыжился, квохтал, потом вспрыгнул на нее, пригнув перья, которые прикрыли ее, как полог, и обе огромные птицы затрепетали в единых содроганиях.

Бувар почувствовал такой же трепет в ладони г-жи Борден. Она быстро отняла руку. Перед ними стоял Виктор; он смотрел на них, разинув рот и как бы оцепенев; чуть подальше Викторина, раскинувшись на спине на самом солнцепеке, вдыхала аромат собранных ею цветов.

Старая кобыла, испуганная павлинами, метнулась в

сторону, порвала одну из веревок, запуталась в ней и, помчавшись по трем дворам, потащила за собой белье.

На крик взбешенной г-жи Борден прибежала Марианна. Дядюшка Гуи бранил свою кобылу: «Черт бы тебя побрал, старая кляча! Мерзавка! Дура!»; он бил ее ногою в брюхо, колотил ручкой хлыста по ушам.

Бувар возмутился таким обращением с животным.

Крестьянин ответил:

— Имею полное право. Лошадь моя.

Это еще не довод.

Подошедший Пекюше заметил, что и у животных есть права, ибо они наделены душой, как и мы,— если только душа существует.

— Вы нечестивец! — воскликнула г-жа Борден.

Ее приводили в отчаяние три обстоятельства: необходимость перестирать белье, оскорбление, нанесенное ее верованиям, и опасения, что ее только что застали в двусмысленной позе.

— Я думал, вы смелее,— сказал Бувар.

Она внушительно возразила:

— Не люблю озорников.

А Гуи обрушился на них, утверждая, что они искалечили его кобылу,— у нее из ноздрей шла кровь. Он ворчал себе под нос:

— Проклятые! Только и жди от них какой-нибудь пакости! Я как раз собирался ее запрячь.

Приятели удалились, негодуя.

Виктор спросил, за что они рассердились на Гуи.

— Он злоупотребляет силою, а это дурно.

— Почему дурно?

Неужели у детей совершенно нет понятия о справедливости? Может ли это быть?

В тот же вечер Пекюше, вооружившись кое-какими заметками и усадив справа от себя Бувара, а прямо перед собою — питомцев, приступил к курсу нравственности.

Эта наука учит нас управлять своими поступками.

В основе поступков обычно лежит одно из двух побуждений: удовольствие или корысть; но есть еще и третье, самое властное: долг.

Долг бывает двоякого рода:

1. Долг по отношению к нам самим, и состоит он в уходе за телом, в ограждении себя от каких-либо неприятностей. Это дети поняли отлично.

2. Долг по отношению к другим, а это значит всегда быть честным, благожелательным и даже братски-отзыв-

чивым, ибо род человеческий не что иное как единая семья. Зачастую нам бывает приятно то, что вредит окружающим; выгода отличается от добра, ибо добро самодовлеюще. Тут дети ничего не поняли. Вопрос о запретах, диктуемых долгом, он отложил на следующий раз.

При всем том он, по мнению Бувара, не дал определения добра.

— А как, по-твоему, его определить? Его чувствуют.

В таком случае уроки нравственности годны только для людей нравственных, и курс Пекюше дальше не пошел.

Они стали читать детям небольшие рассказы, долженствовавшие внушить им любовь к добродетели. Виктор изнывал от скуки.

Чтобы воздействовать на его воображение, Пекюше повесил в его комнате картинки, изображавшие жизнь добродетельного человека и человека порочного.

Первый из них, Адольф, ласкался к матери, учил немецкий язык, помогал слепому и поступил в Политехнический институт.

А дурной, Эжен, в детстве не слушался отца, затеял драку в кабачке, бил жену, напивался мертвецки пьяным, взломал шкаф, а на последней картинке он был изображен уже на каторге, где некий господин, сопутствуемый юношей, говорил, указывая на него:

— Видишь, сын мой, как пагубно дурное поведение.

Но для детей будущее не существует. Сколько им ни вдалбливали истину: «Труд почетен, богачи порою бывают несчастны»,— они знавали тружеников, отнюдь не пользовавшихся почетом, и вспоминали замок, где людям жилось, по-видимому, недурно.

Муки совести им расписывали с такими преувеличениями, что они чуяли тут какой-то подвох и начинали сомневаться во всем остальном.

Друзья пробовали воспитывать их, воздействуя на их самолюбие, на интерес к общественному мнению, на честолюбие; с этой целью им расхваливали великих деятелей, особенно людей, принесших человечеству пользу, вроде Бельзенса, Франклина, Жакара. Виктор не проявлял ни малейшей охоты им подражать.

Однажды, когда он правильно решил задачку, Бувар пришил к его куртке ленточку, означавшую орден. Виктор щеголял ею, но стоило ему забыть обстоятельства смерти Генриха IV, как Пекюше нахлобучил на него ослиный колпак. Мальчишка принялся реветь по-ослиному, да

так пронзительно и долго, что пришлось избавить его от ослиных ушей.

Сестра его, как и он, гордилась похвалой, зато была совершенно равнодушна к порицанию.

Чтобы развить у них чувствительность, им подарили черного кота, за которым они должны были ухаживать, и выдавали им по два-три су для раздачи нищим. Они находили это несправедливым — деньги они считали своей собственностью.

По желанию воспитателей дети называли Бувара «дядюшкой», а Пекюше — «дружочком», но обращались к ним на «ты», и половина учебного времени обычно проходила в препирательствах.

Викторина изводила Марселя; она залезала ему на спину, дергала за вихры, она подшучивала над его заячьей губой и, передразнивая его, гнусавила, а бедняга так любил ее, что не решался жаловаться. Как-то вечером его хриплый голос раздался непривычно громко. Бувар и Пекюше побежали в кухню. Оба воспитанника уставились на очаг, а Марсель, сложив руки, восклицал:

— Вытащите его! Довольно! Довольно!

Крышка котла взлетела, словно разорвавшаяся бомба. Какая-то сероватая масса подскочила до самого потолка, потом стала дико, с отвратительным криком, вертеться волчком.

Бувар и Пекюше узнали кошку — ободранную, без шерсти,— хвост ее превратился в веревку, глаза готовы были выскочить из орбит — они были молочно-белые, как бы пустые, но все-таки смотрели.

Безобразное животное продолжало выть, бросилось в очаг, исчезло в нем, потом замертво свалилось в золу.

Эту чудовищную жестокость совершил Виктор. Приятели отпрянули, побледнев от изумления и ужаса. На упреки тот отвечал, как стражник, когда ему говорили о сыне, и как фермер, когда речь шла о лошади:

— А что ж тут такого? Ведь она моя.— И говорил он без тени смущения, простодушно, невозмутимо, как существо, утолившее свой инстинкт.

Пол был залит кипятком из котла; на каменных плитах валялись миски, щипцы, подсвечники.

Марсель усердно занялся уборкой кухни; с его помощью хозяева похоронили несчастного кота в саду, возле пагоды.

Потом Бувар и Пекюше долго говорили о Викторе. В нем сказывалась отцовская кровь. Как же быть? Вер-

нуть его де Фавержу или доверить еще кому-нибудь значило бы признать свое бессилие. А может быть, он исправится?

Как бы то ни было, надежды было мало, нежное чувство к нему исчезло. А ведь как приятно было бы иметь возле себя подростка, интересующегося твоими мыслями, наблюдать за его успехами и чувствовать, что со временем он станет тебе другом! Но у Виктора недоставало ума, а сердца и подавно. Пекюше вздохнул, обхватив руками колено.

— И сестра его не лучше,— заметил Бувар.

Он представил себе девочку лет пятнадцати, с нежной душой, веселого нрава, украшающую дом своею юностью и изяществом, и, словно то была его дочь и она вдруг умерла, заплакал.

Потом, пытаясь оправдать Виктора, он сослался на слова Руссо: «Ребенок не несет никакой ответственности, он не может быть ни нравственным, ни безнравственным».

А по мнению Пекюше, их питомцы находятся уже в сознательном возрасте, и они стали обсуждать, как их исправить. Чтобы наказание принесло пользу, говорит Бентам, оно должно соответствовать проступку, которым оно вызвано. Если ребенок разбил стекло в окне, не надо вставлять новое: пусть страдает от холода; если, уже насытившись, он просит еще какого-нибудь кушанья — дайте ему; расстройство желудка не замедлит вызвать у него раскаяние. Если он ленив, пусть сидит без дела: скука заставит его взяться за работу.

Но Виктор не стал бы страдать от холода — организм его мог выдержать любые крайности, а безделье было бы ему только на руку.

Педагоги остановились на противоположной системе оздоровительных наказаний: стали задавать дополнительные уроки — мальчик становился еще ленивее: его лишали сластей — он делался еще бóльшим лакомкой. Может быть, принесет пользу ирония? Однажды он явился к завтраку с грязными руками; Бувар принялся высмеивать его, назвал его щеголем, модником, франтом. Виктор слушал, насупившись, потом вдруг побледнел и швырнул в Бувара тарелкой; потом, взбешенный тем, что промахнулся, бросился на него. Троим мужчинам еле удалось унять его. Он катался по земле, пытался их укусить. Пекюше издали вылил на него графин воды; он сразу утихомирился, но на два дня охрип. Средство оказалось негодным.

Они попробовали другое: при малейшем проявлении

гнева они стали обращаться с ним как с больным, укладывали его в постель; Виктор чувствовал себя в ней отлично и целыми днями распевал. Однажды он обнаружил в библиотеке старый кокосовый орех и уже принялся раскалывать его, как вдруг появился Пекюше:

— Мой орех!

То была памятка о Дюмушеле! Он привез его в Шавиньоль из Парижа; Пекюше в негодовании всплеснул руками. Виктор расхохотался. «Дружок» вышел из себя и дал ему такую затрещину, что тот кувырнулся в угол; затем Пекюше, дрожа от волнения, пошел жаловаться Бувару.

Бувар разбранил его:

— Дурак ты со своим кокосом! От побоев только тупеют, страх озлобляет. Ты сам себя унижаешь.

Пекюше возразил, что в некоторых случаях телесные наказания необходимы. К ним прибегал Песталоцци, а знаменитый Меланхтон признается, что без них ничему бы не научился. Но жестокие наказания могут довести детей до самоубийства — такие случаи упоминаются в литературе. Виктор забаррикадировался в своей комнате. Бувар стал вести с ним переговоры через дверь и, чтобы он отпер ее, посулил пирожок со сливами.

Мальчишка становился все несноснее.

Они вспомнили средство, предложенное епископом Дюпанлу: «Суровый взгляд». Они тщились придать своим лицам свирепое выражение, но никакого эффекта не добились.

— Остается испробовать религию,— сказал Бувар.

Пекюше возмутился. Ведь они исключили ее из своей программы.

Но доводы разума пригодны не для всех случаев. Сердце и воображение требуют иного. Для некоторых душ сверхъестественное необходимо, и они решили отправить детей на уроки катехизиса.

Рен вызвалась провожать их. Она снова стала их навещать и расположила к себе детей ласковым обращением.

Викторина сразу изменилась, стала сдержанной, слащавой, преклоняла колени перед мадонной, восторгалась жертвоприношением Авраама, презрительно усмехалась, когда речь заходила о протестантах.

Она объявила, что ей велено поститься,— они справились; оказалось, что это неправда. В праздник Тела Христова с одной из клумб исчезли ночные фиалки — ими был украшен переносный престол; девочка бессовестно отри-

цала, что сорвала их. В другой раз она стащила у Бувара двадцать су и за всенощной положила их на тарелку пономарю.

Они заключили из этого, что нравственность расходится с религией; если у нее нет дополнительных основ, ее значение второстепенно.

Как-то вечером, когда они обедали, к ним зашел Мареско; при виде его Виктор скрылся.

Нотариус отказался присесть и пояснил, что́ его привело: Виктор поколотил и чуть не убил его сына.

Происхождение маленького Туаша было общеизвестно, вдобавок все его недолюбливали, мальчишки называли его каторжником, а теперь он до того обнаглел, что избил Арнольда Мареско. У милого Арнольда на теле остались следы.

— Мать его в отчаянии, костюм разорван в клочья, нанесен ущерб здоровью! К чему это приведет в дальнейшем?

Нотариус требовал сурового наказания и настаивал на том, чтобы Виктора во избежание новых стычек больше не пускали на уроки катехизиса.

Бувар и Пекюше, хоть и сильно задетые его высокомерным тоном, обещали удовлетворить все его претензии, со всем согласились.

Что побудило Виктора к такому поступку: чувство собственного достоинства или жажда мести? Во всяком случае, он не трус.

Но грубость мальчишки пугала их; музыка смягчает нравы, и Пекюше вздумал обучать его сольфеджио.

Виктор с немалым трудом научился читать ноты и не путать термины адажио, престо и сфорцандо.

Учитель постарался объяснить ему, что такое гамма, полный аккорд, диатоническая гамма, хроматическая и два вида интервалов, именуемых мажором и минором.

Он заставлял его сидеть совершенно прямо, выпятив грудь, опустив плечи и широко раскрыв рот, и, показывая ему пример, издавал фальшивые звуки; голос Виктора с трудом вырывался из гортани — так он сжимал ее; если такт начинался с паузы, мальчик либо вступал преждевременно, либо опаздывал.

Тем не менее Пекюше приступил к двуголосному пению. Он вооружился палочкой, заменявшей ему смычок, и величественно размахивал рукою, словно позади него был пелый оркестр. Однако, занятый одновременно двумя делами, он порою сбивался со счета, а его ошибка влекла за

собою ошибки ученика; невзирая на них, насупившись, напрягши шейные мускулы, они продолжали петь до конца страницы.

Наконец Пекюше сказал Виктору:

— Тебе не блистать в хору.

И на этом обучение музыке закончилось.

К тому же Локк, быть может, и прав: «Музыка вовлекает человека в такие распутные компании, что предпочтительнее заниматься чем-нибудь другим».

Не собираясь сделать из Виктора литератора, они все же подумали, что неплохо было бы ему научиться писать письма. Но тут их остановило такое соображение: эпистолярному стилю научиться нельзя, ибо он является исключительным достоянием женщин.

Затем они решили обогатить его память несколькими литературными отрывками и, затрудняясь в выборе, обратились к помощи сочинения г-жи Кампан. Она рекомендует сцену Элиасена, хоры из *Эсфири*, Жана-Батиста Руссо — целиком.

Все это старовато. А что до романов,— то она их вообще запрещает, потому что они изображают мир в чересчур привлекательном свете.

Впрочем, она разрешает *Клариссу Гарлоу* и *Отца семейства* мисс Опи. А кто такая мисс Опи?

В *Биографиях* Мишо они ее имени не обнаружили. Оставались волшебные сказки.

— Они станут мечтать об алмазных замках,— сказал Пекюше.— Литература развивает ум, зато распаляет страсти.

Именно за страсти Викторину прогнали с уроков катехизиса. Ее застигли в тот момент, когда она целовала сына нотариуса, и Рен отнюдь не шутила: лицо ее, под чепцом с крупными оборками, было вполне серьезно.

Можно ли после такого срама держать в доме эту развратную девчонку?

Бувар и Пекюше обозвали кюре старым дураком. Служанка защищала его, ворча:

— Знаем мы вас! Знаем!

Они дали ей отпор, и она удалилась, сердито тараща глаза.

Викторина и в самом деле питала нежные чувства к Арнольду; он казался ей красавцем: он ходил в бархатной куртке с вышитым воротничком, волосы у него были надушены, и, пока ее не выдал Зефирен, она постоянно приносила ему букеты цветов.

Что за вздор вся эта история,— ведь они еще совсем дети!

Следует ли открыть им тайну деторождения?

— Не вижу в этом ничего дурного,— сказал Бувар.— Философ Базедов объяснял ее своим ученикам, ограничиваясь, правда, только беременностью и родами.

Пекюше придерживался иного мнения. Виктор начинал беспокоить его.

Он подозревал его в дурной привычке. Что ж, вполне возможно. Случается, что даже солидные люди предаются ей всю жизнь; говорят, будто не чужд ей был и герцог Ангулемский.

Он стал так настойчиво расспрашивать своего питомца, что навел того на некоторые мысли, и вскоре все его сомнения рассеялись.

Тут он обозвал его преступником, и с воспитательной целью заставил прочесть сочинение Тиссо. По мнению же Бувара, шедевр этот не столь полезен, сколь опасен. Лучше внушить мальчику какое-нибудь поэтическое чувство: Эме Мартен рассказывает, что некая мать в подобном случае дала своему сыну *Новую Элоизу*, и юноша, желая стать достойным любви, вступил на стезю добродетели.

Но Виктор был не из тех, кто способен мечтать о какой-то Софи. Не лучше ли отвести его к девицам?

У Пекюше публичные женщины вызывали глубокое отвращение.

Бувар считал, что это глупо, и даже заикнулся о специальной поездке в Гавр.

— Ты понимаешь, что говоришь? Если увидят, как мы туда входим...

— Ну так купи ему прибор.

— Бандажист может подумать, что я покупаю для самого себя,— возразил Пекюше.

Следовало бы придумать для мальчишки какое-нибудь увлекательное развлечение вроде охоты, что ли, но тогда придется потратиться на ружье, на собаку. Они предпочли утомлять его ходьбой и стали совершать прогулки по окрестностям.

Они сменяли друг друга, но мальчишка от них удирал; зато сами они так уставали, что вечером у них не хватало сил держать в руках газету.

Дожидаясь Виктора, они беседовали с прохожими и в педагогическом рвении старались внушить им основы гигиены, сокрушались по поводу излишнего расходования воды и неэкономного обращения с навозом, громили пред-

рассудки вроде чучела дрозда на гумне, освященной ветки самшита в хлеву, мешка с червями, который кладут к ногам страдающего лихорадкой.

Дошло до того, что они стали проверять кормилиц и возмущались тем, как ухаживают за младенцами; одни кормят их кашицей, от которой дети хиреют и гибнут; другие еще до шестимесячного возраста пичкают их мясом, и те мрут от несварения, многие утирают их собственной слюной, и все обращаются с ними варварски.

Если они видели над воротами пригвожденную сову, они выходили на ферму и говорили:

— Напрасно вы так поступаете; совы питаются крысами, полевыми мышами; в желудке одного сыча нашли множество личинок гусениц.

Сельские жители хорошо знали их, во-первых, как лекарей, во-вторых, как скупщиков старинной утвари, наконец, как собирателей камушков, и поэтому отвечали:

— Бросьте вы шутки шутить! Хватит с нас ваших чудачеств!

Их уверенность была поколеблена. Ведь воробьи очищают огороды, зато клюют вишни; совы пожирают насекомых, но также и летучих мышей, которые приносят пользу, и если кроты едят слизняков, то вместе с тем они и разворачивают почву. Единственное, в чем они были уверены,— это в том, что надо уничтожить всю дичь, ибо она вредит сельскому хозяйству.

Однажды вечером, гуляя в Фавержском лесу, они оказались возле охотничьего домика и увидели егеря Сореля,— он стоял у обочины с тремя мужчинами и возбужденно размахивал руками.

Один из них был сапожник Дофен, маленький, щупленький, с хмурой физиономией. Второй, папаша Обен, сельский посредник, был одет в поношенный желтый сюртук и синие тиковые брюки. Третий, Эжен, лакей Мареско, выделялся своей бородой, подстриженной, как у судейских.

Сорель показывал им затяжную петлю из медной проволоки на шелковом шнуре, с кирпичом на конце, то есть то, что называется силком; он застал сапожника за установкой этого приспособления.

— Вы свидетели, не правда ли?

Эжен утвердительно кивнул головой, а папаша Обен молвил:

— Раз уж вы так говорите.

Особенно злило Сореля то, что негодяй имел дерзость

расставить западню около его дома в расчете, что никому не придет в голову искать ее тут.

Дофен захныкал:

— Я наступил на нее, я даже норовил ее сломать.

Вечно его обвиняют, все обижают его, несчастный он человек!

Сорель, ни слова не отвечая, вынул из кармана записную книжку, перо и чернильницу, намереваясь составить протокол.

— Нет, зачем же! — сказал Пекюше.

Бувар добавил:

— Отпустите его, он славный малый!

— Славный малый? Браконьер?

— Ну и что же?

Они стали заступаться за браконьеров: как известно, кролики грызут поросль, зайцы приносят вред нивам, один только бекас, пожалуй...

— Оставьте меня в покое.

Егерь писал, стиснув зубы.

— Вот упрямец! — прошептал Бувар.

— Еще слово — и я вызову жандармов.

— Вы грубиян! — крикнул Пекюше.

— А вы не такие уж важные птицы,— отрезал Сорель.

Бувар вышел из себя, обозвал его тупицей, солдафоном, а Эжен твердил:

— Спокойнее! Спокойнее! Надо уважать закон!

Папаша Обен вздыхал, сидя на камнях в трех шагах от них.

Перепалка взбудоражила собак, и все они выскочили из своих конур; за оградой видно было, как они носятся во все стороны и как горят глаза на их черных мордах; поднялся страшный лай.

— Перестаньте морочить мне голову,— вскричал хозяин,— иначе я спущу собак, и у вас от штанов останутся одни лохмотья!

Друзья удалились, но все же они были довольны, что поддержали прогресс, цивилизацию.

На другой день они получили повестки с приглашением явиться в полицию в связи с оскорблениями, нанесенными сторожу; им будет объявлено о взыскании с них проторей и убытков, «не считая штрафа в порядке прокурорского надзора за совершенные правонарушения. Стоимость повестки шесть франков семьдесят пять сантимов. Судебный пристав Тьерслен».

При чем тут прокурорский надзор? У них голова по-

шла кругом; немного успокоившись, они стали готовиться к защите.

В назначенный день Бувар и Пекюше явились в мэрию часом раньше. Ни души; вокруг овального стола, накрытого скатертью, стояли стулья и три кресла; в стене была ниша для печки, а надо всем возвышался стоявший на подставке бюст императора.

Они прошлись по зданию вплоть до чердака, где валялись пожарный насос, несколько знамен, а в уголке, прямо на полу, громоздились другие гипсовые бюсты: великий Наполеон без короны, Людовик XVIII в мундире с эполетами, Карл X, которого легко было узнать по оттопыренной губе, Луи-Филипп с бровями дугой и пирамидообразной прической; покатая крыша касалась его темени. Все было засижено мухами и покрыто слоем пыли. Зрелище это повергло Бувара и Пекюше в уныние. Они вернулись в зал с чувством презрения ко всем правительствам.

Здесь они застали Сореля и стражника; один был с нашивкой на рукаве, другой в кепи. Человек двенадцать присутствующих беседовали между собой; всем им вменялось в вину какое-нибудь нарушение порядка — кто плохо подметал улицу, кто выпускал собак без присмотра, другие ездили в повозках без фонарей или не закрывали трактиры во время мессы.

Наконец появился Кулон, выряженный в черную саржевую мантию и круглую шапочку с бархатной оторочкой. Писарь поместился слева от него, мэр с перевязью — справа. Вскоре приступили к разбирательству иска Сореля к Бувару и Пекюше.

Луи-Марсиаль-Эжен Леневер, служивший лакеем в Шавиньоле (Кальвадос), воспользовался своим положением свидетеля, чтобы выложить все, что он знает относительно множества вещей, не имеющих никакого отношения к делу.

Мастеровой Никола-Юст Обен боялся не угодить Сорелю и повредить господам; ругательства он слышал, но все-таки не совсем в этом уверен; он ссылался на свою глухоту.

Мировой судья велел ему сесть, потом обратился к стражнику:

— Вы настаиваете на своем заявлении?

— Разумеется.

Кулон спросил у обвиняемых, что они могут показать.

Бувар утверждал, что не оскорблял Сореля; заступаясь за браконьера, он только защищал интересы крестьян; он

напомнил о злоупотреблениях в феодальные времена, о разорительных охотах знати.

— Однако нарушение...

— Я протестую! — воскликнул Пекюше.— Словам «нарушение», «проступок», «преступление» — грош цена. Так классифицировать наказуемые действия — значит становиться на путь произвола. Это все равно, что сказать гражданам: «Не беспокойтесь о значении своих поступков, оно определяется только карою, налагаемой властями». Да и вообще Уголовный кодекс представляется мне нелепым, необоснованным.

— Возможно,— заметил Кулон.

Он собрался объявить свое решение, но тут представитель прокурорского надзора Фуро поднялся с места. Сторожу нанесено оскорбление при исполнении им служебных обязанностей. Если перестанут уважать земельную собственность — все погибло.

— Поэтому я призываю господина судью применить высшую меру наказания, предусмотренного в данных обстоятельствах.

Это равнялось десяти франкам, которые полагались Сорелю в возмещение понесенного убытка.

— Браво! — воскликнул Бувар.

Кулон еще не договорил:

— Обвиняемые присуждаются, кроме того, к штрафу в сумме пяти франков как виновные в правонарушении, установленном прокуратурой.

Пекюше обратился к присутствующим:

— Для богатого человека штраф — пустяк, но для бедняка — разорение. А мне на него наплевать.

Он словно издевался над судом.

— Право же, я удивляюсь, как умные люди...— начал было Кулон.

— Закон освобождает вас от необходимости обладать умом,— ответил Пекюше.— Мировой судья исполняет свои обязанности неопределенный срок, судья верховного суда считается способным судить до семидесяти пяти лет, а судья первой инстанции только до семидесяти.

Но тут Фуро сделал знак Плаквану, и тот подошел к ним. Они запротестовали.

— Вот если бы судей назначали по конкурсу!

— Или назначал Государственный совет!

— Или собрание доверенных, после основательного обсуждения!

Плакван подталкивал их к выходу, и они удалились

под улюлюканье остальных обвиняемых, которые надеялись подхалимством снискать расположение судьи.

Чтобы дать выход своему негодованию, друзья вечером отправились к Бельжамбу; в кабачке было уже пусто, ибо солидные посетители обычно расходятся часов в десять. Огонь лампы был приспущен, стены и стойка как бы тонули во мгле; вошла женщина. То была Мели.

Она, видимо, не чувствовала ни малейшей неловкости и, улыбаясь, налила им два бокала. Пекюше стало не по себе, и он поспешил удалиться.

Бувар вскоре снова отправился туда один; он позабавил нескольких обывателей выпадами против мэра и с того вечера стал частенько посещать кабачок.

Полтора месяца спустя с Дофена обвинение было снято за отсутствием улик. Какой срам! Опорочены были те самые свидетели, которым поверили, когда они выступали против Бувара и Пекюше.

Их негодование стало беспредельным, когда им напомнили о необходимости уплатить штраф. Бувар стал поносить казначейство, как учреждение, причиняющее вред собственности.

— Ошибаетесь!— ответил чиновник казначейства.

— Полноте! Оно собирает треть общественных повинностей.

— Хотелось бы, чтобы налоги были менее обременительными, кадастр усовершенствован, чтобы ипотечная система была изменена, а Государственный банк вовсе упразднен, ибо он занимается ростовщичеством.

Жирбаль растерялся, упал в общественном мнении и больше не появлялся.

Между тем Бувар пришелся трактирщику по душе; он привлекал посетителей, а в ожидании завсегдатаев запросто беседовал со служанкой.

Он высказал несколько любопытных мыслей относительно начальной школы. По окончании школы молодежь должна уметь лечить больных, разбираться в научных открытиях, интересоваться искусствами. Непомерные его требования рассорили его с Пти, а капитана он обидел, заявив, что вместо того, чтобы тратить время на муштровку, лучше бы солдаты выращивали овощи.

Когда возник вопрос о свободе торговли, он привел с собою Пекюше. И всю зиму завсегдатаи трактира обменивались негодующими взглядами, презрительными улыбками, бранились, кричали и так стучали кулаком по столу, что подпрыгивали бутылки.

Ланглуа и прочие торговцы отстаивали отечественную коммерцию, прядильщик Удо и ювелир Матье — отечественную промышленность, землевладельцы и фермеры — отечественное сельское хозяйство, причем каждый требовал для себя льгот в ущерб большинству. Речи Бувара и Пекюше настораживали.

В ответ на обвинения в том, что они не соблюдают церковных обрядов, призывают к нивелировке и безнравственности, они выставляли три предложения: заменить все фамилии регистрационными номерами; ввести для французов определенную иерархию, причем для того, чтобы сохранить свой ранг, надо будет время от времени подвергаться испытанию; отменить все наказания и награды, зато ввести во всех деревнях личные листы о поведении, которые затем передавать потомкам.

Их система не встретила сочувствия. Они изложили ее в статье для газеты, издававшейся в Байе, подали докладную записку префекту, петицию в парламент, прошение императору.

Газета их статью не напечатала. Префект не удостоил их ответом. Парламент молчал, и они напрасно ждали пакета из Тюильри.

И чем только занят император? Не иначе как женщинами!

Фуро от имени супрефекта посоветовал им быть сдержаннее.

Плевать им на супрефекта, префекта, советников префектуры, даже на Государственный совет. Господство бюрократов — чудовищное явление, ибо администрация неправильно руководит чиновниками, прибегая к наградам и угрозам. Словом, их присутствие становилось неудобным, и влиятельные лица посоветовали Бельжамбу больше не принимать у себя этих двух чудаков.

Тогда Бувар и Пекюше загорелись мыслью совершить что-нибудь такое, что потрясло бы их сограждан, и не нашли ничего лучшего, как разработать план благоустройства Шавиньоля.

Три четверти домов надо снести, посреди поселка разбить обширную площадь, на пути к Фалезу открыть богадельню, на дороге в Кан построить бойни, а в Паделяваке — пеструю церковь в романском стиле.

Пекюше тушью начертил план, не преминув отметить леса желтым, строения — красным, луга — зеленым; образы идеального Шавиньоля преследовали его даже во сне; он без конца вертелся в постели.

Как-то ночью от этого проснулся Бувар:

— Тебе нехорошо?

Пекюше пролепетал:

— Осман не дает мне покоя.

К этому времени он получил письмо от Дюмушеля — тот спрашивал, во что обходятся морские купанья на нормандском побережье.

— Пошел он к черту со своими купаньями! Есть у нас время заниматься перепиской!

Они обзавелись землемерною цепью, угломером, нивелиром и буссолью, и тут началась иного рода работа.

Они совершали набеги на усадьбы; нередко жители с удивлением наблюдали, как они расставляют вехи.

Бувар и Пекюше спокойно разъясняли, в чем состоят их планы и что из этого получится.

Население стало беспокоиться,— ведь может случиться, что начальство окажется на их стороне.

Иногда их грубо прогоняли.

Виктор взбирался на стены, лазил по чердакам в качестве сигнальщика, старался угодить и даже проявлял некоторый пыл.

Викториною они тоже были довольны.

Гладя белье и водя утюгом по доске, она что-то напевала нежным голоском, охотно занималась хозяйством, сшила Бувару ермолку, а своими вышивками заслужила похвалу Ромиша.

Это был один из тех портных, что ходят по фермам чинить одежду. Он прожил у них две недели.

Он был горбун, глаза у него были красные, но свои телесные недостатки он возмещал веселым нравом. Когда хозяева отлучались из дому, он развлекал Марселя и Викторину разными побасенками, высовывал язык до самого подбородка, подражал кукушке, чревовещал, а вечером, чтобы не тратиться на постоялый двор, отправлялся спать в некарню.

И вот как-то ранним утром Бувар, озябнув, зашел туда за щепками, чтобы развести огонь.

То, что он увидел, ошеломило его.

За старым ларем, на соломенном тюфяке, спали вместе Ромиш и Викторина.

Он обхватил рукою ее стан, а другою, длинной, как у обезьяны, держал ее за колено; глаза его были полузакрыты, с лица еще не сошла сладострастная судорога. Она улыбалась, раскинувшись на спине. Кофта у нее распахнулась и обнажила детские груди, испещренные красными

пятнами — следы ласк горбуна; белокурые волосы разметались; занявшаяся заря бросала на обоих белесый свет.

В первый миг Бувар почувствовал как бы толчок в грудь. Потом от смущения застыл на месте; его одолевали грустные мысли.

— Такая молоденькая! Погибла! Погибла!

Вернувшись в дом, он разбудил Пекюше и сразу все ему выпалил.

— Подумай только! Вот негодяй!

— Теперь уж ничего не поделаешь! Успокойся!

Оба долго вздыхали, сидя один возле другого: Бувар без сюртука, скрестив на груди руки, Пекюше — свесив ноги с постели, в ночном колпаке.

Ромишу в тот день предстояло от них уйти,— он кончил работу. Они расплатились с ним молча и высокомерно.

Но провидение не благоволило к ним.

Вскоре после того Марсель повел их в комнату Виктора и показал в ящике комода двадцатифранковую монету. Мальчишка поручил ему ее разменять.

Откуда она у него? Украл, конечно, во время их инженерных походов. Но, чтобы ее вернуть, надо было знать, чья она, а если станут ее требовать, то могут принять их за сообщников.

В конце концов они позвали Виктора и велели ему открыть ящик; монеты там уже не оказалось. Он делал вид, что не понимает, в чем дело.

Но ведь они только что видели ее, а Марсель никогда не лжет. Эта история так его взволновала, что он все утро протаскал в кармане письмо, адресованное Бувару.

«Милостивый государь!

Боясь, не заболел ли господин Пекюше, обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой...»

— Чья же это подпись?

«Олимпия Дюмушель, урожденная Шарпо».

Они с мужем запрашивали, на каких морских купаниях — в Курселе, Лангрюне или Люке — собирается лучшее общество, наименее шумное, как туда доехать, сколько берут прачки и т. п.

Назойливость Дюмушелей страшно разозлила их; потом от усталости оба погрузились в полное уныние.

Они стали припоминать все свои старания: сколько уроков, предостережений, забот, мучений!

— И подумать только,— говорили они,— ведь мы хотели сделать из нее учительницу, а его еще недавно мечтали устроить десятником!

— Какое разочарование!

— Если она столь развратна, так во всяком случае не из-за чтения.

— А я-то, надеясь воспитать его честным, заставлял его учить биографию Картуша!

— Быть может, они такие оттого, что у них не было семьи, что они не знали материнской ласки?

— Я был им матерью! — возразил Бувар.

— Увы! — продолжал Пекюше.— Бывают натуры, совершенно лишенные нравственного чувства, и тут воспитание не поможет.

— Да, нечего сказать, хорошее дело — воспитание!

Так как сироты не знают никакого ремесла, надо отдать их в услужение, а там, слава богу, можно о них больше не заботиться.

С тех пор «дядюшка» и «дружочек» отправляли их обедать на кухню.

Но вскоре им стало скучно, ум их нуждался в деятельности, существование — в какой-либо цели.

К тому же о чем говорит неудача? То, что не удалось с детьми, может быть, легче осуществить со взрослыми? И они надумали открыть курсы для взрослых.

Надо бы устроить собеседование для ознакомления с их идеями. Для этой цели вполне подходит большой зал постоялого двора.

Бельжамб в качестве помощника мэра сначала испугался, как бы себя не скомпрометировать, и отказал им в помещении; потом, рассчитав, что тут можно заработать, изменил свое решение и послал служанку сообщить, что согласен.

В избытке счастья Бувар расцеловал ее в обе щеки.

Сам мэр отсутствовал; другой его помощник, Мареско, всецело занят своей конторой и собеседованием заниматься не станет. Итак, оно состоится, и глашатай с барабаном объявил о нем, назначив на следующее воскресенье в три часа пополудни.

Лишь накануне они подумали о своих костюмах.

У Пекюше, слава богу, сохранился старый парадный фрак с бархатным воротничком, два белых галстука и черные перчатки. Бувар облачился в синий сюртук, нанковый жилет, касторовые штиблеты, и они прошли по деревне и прибыли в гостиницу «Золотой крест» крайне взволнованные...

ЛЕКСИКОН ПРОПИСНЫХ ИСТИН

Перевод
Т. Ириновой

Vox populi — vox Dei [1].

Народная мудрость

Не подлежит сомнению, что всякая общая мысль, всякая общепризнанная условность — бессмыслица, ибо они — достояние большинства.

Шамфор. «Изречения»

СБОРНИК ТОНКИХ МЫСЛЕЙ

А

Абелар.— Иметь какое-либо представление об его философии или же знать названия его произведений не обязательно.

— Скромно намекнуть, что Фюльбер его изуродовал.

— Могила Элоизы и Абелара; если вам станут доказывать, что она не подлинная, воскликните: «Вы лишаете меня иллюзий!»

Абрикосы.— И в этом году их у нас еще не будет.

Абсент.— Чрезвычайно сильный яд.

— Убил больше солдат, чем зто сделали бедуины.

Автор.— Необходимо «быть знакомым с авторами», нет надобности знать их имена.

Адвокаты.— В Палате слишком много адвокатов.

— Их суждения лживы.

— Об адвокате, не обладающем даром слова, говорят: «Да, но зато он очень сведущ в вопросах права».

Актрисы.— Пагуба наших сыновей.

— Отличаются ужасным сластолюбием, предаются оргиям, поглощают миллионы (кончают жизнь в больнице).

— Виноват! Среди них встречаются превосходные семьянинки!

Алебастр.— Служит для изображения самых красивых частей женского тела.

Алкоголизм.— Причина всех современных болезней.

[1] Глас народа — глас божий *(лат.)*.

Алмазы.— Кончится тем, что их будут изготовлять!
— И подумать только, что это не что иное, как уголь!
— Если бы мы нашли алмаз в его естественном виде, мы бы его не подняли с земли!
Америка.— Прекрасный пример несправедливости: ее открыл Колумб, а названа она по имени Америго Веспуччи.
— Произнести тираду по поводу *self-government* [1].
Амфитеатр.— Знать о нем только по Академии художеств.
Анафема Ватикана.— Издеваться над ней.
Ангел.— Превосходно применяется в любви и в литературе.
Англичане.— Все богаты.
Англичанки.— Следует удивляться, что у них красивые дети.
Антракт.— Всегда слишком длинен.
Апатия.— Одолевает людей в жарких странах.
Арфа.— Порождает небесную гармонию.
— На картинках играющие на арфе изображаются только среди руин или на берегу потока.
— Дает возможность выставить напоказ руки.
Архимед.— Произнося его имя, добавлять: «Эврика» и «Дайте мне точку опоры, и я подниму землю».
— Существует также Архимедов винт; но никто не стремится узнать, что он собой представляет.
Архитекторы.— Постоянно забывают, что в доме должна быть лестница.
— Обычно дураки.
Архитектура.— В архитектуре существует только четыре ордена колонн.
— Само собой разумеется, что в расчет не принимаются египетский, циклопический, ассирийский, индийский, китайский, готический, романский и т. д.
Аспид.— Животное, получившее известность благодаря корзине с винными ягодами, которая была у Клеопатры.
Астрономия.— Прекраспая наука.
— Очень полезна для мореплавания. А поэтому насмехайтесь над астрологией.
Атеист.— Народ, состоящий из атеистов, не смог бы просуществовать.
Аттестат.— Гарантия для семьи и родителей.
— В большинстве случаев бывает хороший.

[1] Самоуправление *(англ.)*.

Базилика.— Пышный синоним церкви; всегда внушительна.

Банкет.— На нем постоянно царит самая искренняя сердечность.

— Оттуда выносят лучшие воспоминания и, расставаясь, обещают друг другу встретиться на следующий год.

— Шутник должен сказать: «Тот злополучный гость на жизненном банкете».

Банкиры.— Богачи, арапы, хищники.

Баньоле.— Местность, которая славится слепыми.

Барин.— Их больше нет.

Бархат.— Бархатная одежда — признак изысканности и богатства.

Башня (в замке).— Вызывает мрачные мысли.

Баядерки.— Все восточные женщины — баядерки.

— Это слово чрезвычайно далеко уносит воображение.

Бедные.— Забота о бедных заменяет все добродетели.

Безбожники.— Метать против них громы и молнии.

Безнравственность.— Кстати сказанное, это слово возвышает того, кто его произносит.

Белье.— Чем меньше показываешь, тем лучше (тем хуже).

Беседа.— Политика и религия должны быть из нее исключены.

Беседка.— Отрадный уголок в саду.

Бесконечно малая величина.— Нечто неизвестное, но имеет отношение к гомеопатии.

Библиотека.— Необходимо иметь у себя дома, особенно когда живешь в деревне.

Библия.— Самая древняя книга в мире.

Бильярд.— Благородная игра.

— Незаменим во время пребывания в деревне.

Биржа.— Барометр общественного мнения.

Биржевики.— Все — воры.

Бискайцы.— Народ, который лучше всех умеет бегать.

Благодарность.— Нет нужды ее высказывать.

Блондинки.— Более пылки, чем брюнетки (см. Брюнетки).

Бог.— Сам Вольтер сказал: «Если бы не было бога, его следовало бы выдумать».

Богатство.— Заменяет все, даже уважение.

Богоубийство.— Возмущаться этим преступлением, хотя оно совершается не часто.

Больной.— Чтобы поднять дух больного, надо смеяться над его недугом и отрицать его страдания.
Борода.— Признак мужественности.
— Слишком густая борода способствует выпадению волос на голове.
— Полезна, так как предохраняет галстуки.
Браконьеры.— Выпущенные на свободу каторжники.
— Виновники всех преступлений, совершающихся в деревне.
— Должны возбуждать неистовую злобу: «Никакой пощады, милостивый государь, никакой пощады!»
Бретонцы.— Честный, но упрямый народ.
Бронза.— Античный металл.
Брюнетки.— Более нылки, чем блондинки (см. Блондинки).
Буддизм.— «Лжерелигия Индии» (определение словаря Буйлье, 1-е изд.).
Бюджет.— Никогда не сохраняет равновесия.
Бюффон.— Когда писал, надевал манжеты.

В

Вагнер.— Издеваться, когда слышишь его имя, и отпускать остроты по поводу музыки будущего.
Вакцина.— Иметь сношение только с теми людьми, которым привита оспа.
Вальс.— Возмущаться им.
Валуны.— Привозятся с моря.
Вареная говядина.— Полезна для здоровья.
— Неотделима от слова суп: сун и вареная говядина.
Введение.— Непристойное слово.
Вдохновение (поэтическое).— Вызывается видом моря, любовью женщины.
Верблюд.— У верблюда два горба, а у дромадера — один. Или так: у верблюда имеется горб, а у дромадера — один горб; никто не знает, что правильнее, все путают.
Верховая езда.— Хорошее упражнение для желающих похудеть; пример: все солдаты-кавалеристы — худые; а также для того, чтобы пополнеть; пример: у всех офицеров-кавалеристов большой живот.
Ветер.— Остерегайтесь сквозняков.
— Ветер неизменно находится в противоречии с температурой: если температура теплая, ветер холодный, и наоборот.

Ветчина.— Всегда из Майнца.
— Опасаться из-за трихин.
Вздох.— Вздыхают при женщинах.
Визирь.— Трепещет при виде веревки.
Ви́на.— Служат темой мужских бесед.
— Лучшее — бордо, так как прописывается врачами.
— Чем вино хуже, тем оно натуральнее.
Вода.— Парижская вода вызывает колики.
— Морская вода поддерживает во время плавания.
— Кельнская вода (одеколон) хорошо пахнет.
Вокзал.— Восторгаться вокзалами и указывать как на образец архитектуры.
Вольные стрелки.— Страшнее неприятеля.
Вольтер.—Прославился своим страшным оскалом.
— Поверхностные знания.
Воображение.— Обычно живое.
— Остерегаться воображения.
— Поносить чужое воображение.
Воспитательницы.— Происходят всегда из хорошей семьи, потерпевшей неудачи.
— Опасны в доме, совращают мужей.
Врожденные идеи.— Вышучивать их.
Всеобщее голосование.— Высшая ступень политической науки.
Вскрытие.— Оскорбляет величие смерти.
Выставки.— Безумие XIX века.

Г

Газеты.— Обойтись без них нельзя, но надо их ругать.
Гайдук.— Думать, что это — евнух.
Гамак.— Принадлежность креолов.
— Необходим в саду.
— Убеждать себя, что в нем лучше, чем в кровати.
Гамен.— Этому слову всегда предшествует — «парижский».
— Неизменно обладает остроумием.
Герилья.—Наносит больше вреда неприятелю, нежели регулярные войска.
Гений.— Не следует им восторгаться, это — невроз.
Генрих III и Генрих IV.— По поводу этих королей не преминуть сказать: «Все Генрихи были несчастны».
Геморрой.— Происходит от сидячего образа жизни, от мягких и жестких сидений.

Гермафродит.— Возбуждает нездоровое любопытство.
— Пытаться увидеть.
Гидра (анархии).— Стараться победить ее.
Гидротерапия.— Исцеляет все болезни, а также является причиной их.
Гимнастика.— Предохраняет от всех болезней; всегда советовать ею заниматься.
— Не следует ею злоупотреблять.
— Истощает детей.
Гиппократ.— Его надо всегда цитировать по-латыни, потому что писал он по-гречески.
Гобелен.— Изумительная работа, на которую необходимо затратить пятьдесят лет.
— Стоя перед гобеленом, воскликнуть: «Это прекраснее живописи!»
— Кто над ним трудится, тот сам не понимает, что он делает.
Гольфстрем.— Знаменитый город в Норвегии, недавно открытый.
Гомер.— Никогда не существовал.
— Знаменит своим смехом: гомерический смех.
Горбуны.— Очень остроумны.
— В большом спросе у похотливых женщин.
Гордиев узел.— Имеет отношение к античному миру.
Горизонт.— Находить прекрасными горизонты в природе и мрачными — политические.
Горничные.— Красивее своих хозяек.
— Знают все тайны хозяек и предают их.
— Обычно их лишают невинности сыновья хозяев.
Горчица.— Портит желудок.
Господарь.— Очень уместно упомянуть в разговоре о «восточном вопросе».
Готика.— Архитектурный стиль, более других действующий на религиозное чувство.
Грамматика.— Обучать детей грамматике с самого раннего возраста как предмету ясному и нетрудному.
Граната.— Из нее делают часы и чернильницы.
Гребень.— Служит причиной выпадения волос.
Грибы.— Их следует покупать только на рынке.
— Есть только те грибы, которые куплены на рынке.
Грим.— Портит кожу.
Грог.— Дурной тон.
Грот сталактитовый.— Там был знаменитый пир, бал или ужин, устроенный вельможей.
— В нем видны «как бы трубы органа».

— Во время Революции там происходило богослужение.
Группа.— Уместна на камине и в политике.
Грыжа.— У всех она есть, но никто об этом не знает.
Гюго (Виктор).— Право, напрасно занимался политикой.
Гяур.— Нечто свирепое, значения его никто не знает; известно только, что имеет отношение к Востоку.

Д

Дагерротип.— Заменит живопись.
Дамаск.— Единственное место, где умеют выделывать сабли.
— Все хорошие клинки из Дамаска.
Движимость.— Бояться за свою движимость.
Дворянство.— Презирать его и завидовать ему.
Дворянчики (сельские).— Питать к ним величайшее презрение.
Девственница.— Употребляется только применительно к Жанне д'Арк с прибавлением «Орлеанская».
Девицы.— Оберегать их от каких бы то ни было книг.
— Произносить это слово робко.
Декарт.— *Cogito ergo sum* [1].
Декорация (театральная).— Это не живопись: достаточно опрокинуть на полотно ведро красок, потом размазать их кистью, а расстояние и освещение создадут иллюзию.
Декорум.— Повышает престиж.
— Действует на воображение масс.
— «Он нужен! Нужен!»
Дела.— Всегда на первом плане.
— Женщина должна избегать говорить о своих делах.
— Самое важное в жизни.
— Дела — это все.
Дельфин.— Носит своих детенышей на спине.
Демосфен.— Произносил речи не иначе как с камешком во рту.
Деньги.— Причина всех зол.
— Заметить: «Auri sacra fames» [2].
Депутат.— Депутат — вершина славы.
— Метать громы и молнии против Палаты депутатов.
— В Палате слишком много болтунов.

---

[1] «Я мыслю — следовательно, я существую» *(лат.)*.
[2] «К злату проклятая страсть» *(лат.)*.

— Депутаты ничего не делают.

Деревня.— Деревенский люд лучше городского; завидуйте его судьбе.

— В деревне разрешается все: заношенные платья, старые шутки и т. п.

Деревушка.— Умилительное слово.

— Весьма уместна в стихах.

Деревянные башмаки.— О богаче, который с трудом скопил состояние, обычно говорят, что он пришел в Париж в деревянных башмаках.

Десерт.— Выражать сожаление, что за десертом больше не поют.

— Добродетельные люди презирают его: «Нет! Нет! Не надо пирожных! Никакого десерта!»

Десять (Совет десяти).— Это было внушительно!

— Совещались в масках.

— До сих пор еще надо трепетать перед ним.

Дети.— При гостях проявлять к ним умилительную нежность.

Детоубийство.— Случаи детоубийства наблюдаются только у простого народа.

Джин.— Название восточного танца.

Джокей-клоб.— Все его члены молодые люди, весельчаки и богачи. Говорить просто «Джокей» — очень шикарно; могут подумать, что ты член этого клуба.

Дидро.— За ним всегда следует д'Аламбер.

Дилетант.— Богатый человек, имеющий абонемент в оперу.

Дилижанс.— Сожалеть о временах дилижанса.

Диоген.— «Я ищу человека».

— «Не заслоняй от меня солнца».

Диплом.— Свидетельствует о знаниях.

— Ничего не доказывает.

Дипломатия.— Прекрасная карьера, но трудна и таинственна.

— Подобает только лицам благородного происхождения.

— Занятие неопределенное, но выше коммерции.

— Дипломат всегда тонок и проницателен.

Директория.— Ее позор.

— «В те времена честь укрывалась в армии».

— В Париже женщины ходили совершенно голыми.

Дичь.— Хороша, только когда она с душком.

Дож.— Венчался с морем.

— Известен только один: Марино Фальери.

Доктор.— Ему всегда предшествует слово «любезный»,

а в мужской откровенной беседе— «сукин сын». «Ах, сукин сын доктор!»
— Все они материалисты.
Доктринеры.— Презирать. За что? Неизвестно.
Должность.— Должности надо всегда просить.
Дольмен.— Имеет отношение к древним французам.
— Камень, служивший друидам для жертвоприношений; больше о нем ничего неизвестно.
— Имеется только в Бретани.
Домино.— Лучше всего играть в домино, когда бываешь под хмельком.
Дортуары.— Всегда обширны и хорошо проветрены.
— Для нравственности учеников предпочтительнее отдельных комнат.
Дротик.— Не хуже ружья, если уметь им пользоваться.
Думать.— Мучительно; обычно приходится думать о покинутом.
Дурак.— Всякий инакомыслящий.
Дуэль.— Метать против нее громы и молнии.
— Не является доказательством храбрости.
— Престиж человека, дравшегося на дуэли.
Дыня.— Прекрасная тема для разговора за столом: «Овощ это или плод?»
У англичан дыня — десертное блюдо, и этому удивляются.
Дыхание.— «Зловонное» дыхание — признак «солидности».

Е

Евнух.— Метать громы и молнии против кастратов Сикстинской капеллы.
Епакта (золотое число).— Имеется в календарях, никто не знает, что это такое.

Ж

Жаба.— Обладает очень опасным ядом.
— Живет среди камней.
Жалость.— Воздерживаться от нее.
Жандармы.— Оплот общества.
Жара.— Невыносима.
— Не пить во время жары.
Жарнак (удар из-за угла).— Возмущаться, хотя удар был вполне законен.
Железные дороги.— Если бы Наполеон имел их в своем распоряжении, он был бы непобедим.

— Восторгаться изобретением их и говорить: «Я, милостивый государь, собственной персоной был сегодня в городе Х., покончил со всеми своими делами, и так далее, и в десять часов вернулся».

Желудок.— Все болезни — от желудка.

Жеребец.— При девочках говорится: очень большая лошадь.

Живопись по стеклу.— Секрет ее утрачен.

Живые языки.— Несчастья Франции происходят оттого, что у нас знают мало языков.

«Жимназ».— Филиал «Французской комедии».

Жирондисты.— Достойны скорее сожаления, нежели порицания.

Жокей.— Жалеть их породу.

З

Завивать, завивка.— Не подобает мужчине.

Завтрак холостяков.— Требует устриц, белого вина и пряных шуток.

Запах (от ног).— Признак здоровья.

Запор.— Все литераторы страдают запором.

— Оказывает влияние на политические убеждения.

Заяц.— Спит с открытыми глазами.

Звезда.— У всякого своя.

Здóрово написано.— Так выражаются дворники о романах, которые печатаются в газетах и которые им нравятся.

Здоровье.— От его избытка возникают болезни.

Зевота.— Надо говорить: «Виноват, это не от скуки, а от желудка».

Земледелие.— Недостаток рабочих рук.

Земледельцы.— Что бы с нами сталось без них?

Зима.— Всегда необыкновенная (см. Лето).

— Полезнее других времен года.

Знание.— Знания не следует допускать.

Змеи.— Ядовиты.

Знаменитость.— Интересоваться малейшими подробностями частной жизни знаменитых людей, чтобы потом иметь возможность всех их поносить.

Зуб глазной.— Опасно вырывать, потому что он сообщается с глазом.

— Когда вырывают зуб, это «удовольствие из средних».

Зубы.— Портятся от сидра, табака, драже, мороженого; портятся у тех, кто спит с открытым ртом, запивает вином суп.

Ивето.— Увидеть Ивето и умереть.
Игра.— Возмущаться этой роковой страстью.
Игрушки.— Должны быть всегда научного характера.
Идеал.— Совершенно бесполезен.
Идеолог.— Все журналисты — идеологи.
Идолопоклонники.— Каннибалы.
Иезуиты.— Замешаны во всех революциях.
— Им нет числа.
— Не говорить о «споре между иезуитами».
Иероглифы.— Древний язык египтян; его изобрели священники, чтобы скрывать свои преступные тайны.
— И подумать только, что находятся люди, которые их понимают!
— В конце концов, может быть, это просто шутка.
Изобретатели.— Умирают обычно в больнице.
— Их открытиями пользуются другие, что́ несправедливо.
Изящество.— Говорить перед каждой статуей, которую осматриваешь: «Не лишено изящества».
Илоты.— Ставить их в пример своему сыну; неизвестно только, где о них узнать.
Иллюзии.— Делать вид, что их было много; сетовать на их утрату.
Имброльо.— Сущность всех театральных пьес.
Императрицы.— Все до одной красавицы.
Импорт.— Червь, подтачивающий торговлю.
Индустрия.— (См. Коммерция).
Инженер.— Лучшая карьера для молодого человека.
— Знает все науки.
Инквизиция.— Преступления ее сильно преувеличены.
Инкогнито.— В обычае у путешествующих принцев.
Иностранный.— Увлечение иностранным — доказательство либерального направления.
— Осуждение всего нефранцузского — доказательство патриотизма.
Иноходец.— Средневековое животное, порода которого исчезла.
Институт.— Все члены Института — старики и носят предохранительные козырьки из зеленой тафты.
Интрига.— Заведет куда угодно.
Ипотека.— Считается в высшей степени шикарным требовать «реформы ипотечного режима».
Ископаемые.— Доказательство потопа.
— Шутка хорошего тона в разговоре об академиках.

Искоренять.— Этот глагол употребляется только по отношению к ересям и мозолям на ногах.
Искусственные зубы.— Третья смена зубов.
— Остерегаться, как бы не проглотить во сне.
Истерия.— Путать с нимфоманией.
Истощение.— Всегда преждевременно.
Италия.— Следует посетить тотчас после свадьбы.
— Очень разочаровывает; не так хороша, как о ней говорят.
Итальянцы.— Все — музыканты и предатели.

К

Кавалерия.— Благороднее пехоты.
Казаки.— Едят свечи.
Канонада.— Влияет на перемену погоды.
Картезианские монахи.— Проводят время в изготовлении шартреза, в ожидании смерти и все повторяют: «Брат! А ведь умереть-то придется!»
Католицизм.— Весьма благотворно повлиял на искусство.
Каторжники.— Выражение лица у них как у висельников.
— Обладают ловкостью рук.
— На каторге встречаются гениальные люди.
Квадратура круга.— Неизвестно, что это такое; но когда о пей говорят, надо пожимать плечами.
Квартира холостяка.— Постоянный беспорядок.
— Всюду разбросаны женские безделушки.
— Запах сигареток.
— Там чего-чего только нет!
Кедр.— Кедр Ботанического сада был привезен в шляпе.
Кипарис.— Растет только на кладбищах.
Кипсек.— Должен находиться в гостиной на столе.
Китайская грамота.— Все непонятное.
Классики.— Каждый считает, что знает их.
Клоун.— С детства развинчен.
Клуб.— Предмет величайшего раздражения для консерваторов.
Книга.— Всякая книга слишком длинна.
Кнут.— Слово, которое вызывает у русских гнев.
Ко́злы.— Составлять ружья в козлы — наиболее трудное дело для солдат Национальной гвардии.
Колбасник.— Анекдот о паштетах из человеческого мяса.

— Все колбасницы красивы.
Колледж.— Лицей.
— Благороднее, чем пансион.
Колокольня (деревенская).— Заставляет сердце биться.
Колонии (наши).— Печалиться, когда заходит о них речь.
Комедия (в стихах).— Не подходит для нашей эпохи.
— Однако надлежит ценить высокую комедию.
Комета.— Смеяться над людьми, которые боялись комет.
Коммерция.— Обсуждать вопрос, что благороднее — коммерция или индустрия.
Комфорт.— Ценное современное изобретение.
Кондитеры.— Все руанцы — кондитеры.
Консерватория.— Необходимо быть абонированным в Консерваторию.
Конский завод.— Вопрос о коневодстве — великолепный предмет для парламентских дебатов.
Конь.— Если бы он знал о своей силе, то не позволил бы вести себя на поводу.
Конина.— Прекрасный сюжет для брошюры, если автор желает сойти за серьезного человека.
Конь скаковой.— Относиться к нему презрительно. На что он годен?
Коньяк.— Чрезвычайно вреден.
— Великолепно действует при некоторых болезнях.
— Добрый стаканчик коньяку никогда не повредит.
— Выпитый натощак, уничтожает глисты.
Копайский бальзам.— Притворяться, что не знаешь, для чего такой употребляется.
Корабль.— Корабли хорошо строят только в Байонне.
Коран.— Книга Магомета, в которой говорится исключительно о женщинах.
Корсет.— Препятствует деторождению.
Коты.— Предатели.
— Отрубать им хвост, чтобы выбить из них дурь.
— Это салонные львы.
Кофе.— Придает остроумия.
— Хорош только гаврский.
— На званых обедах его следует пить стоя.
— Высший шик — пить кофе без сахара; получается впечатление, что ты жил на Востоке.
Кошмар.— Бывает от несварения желудка.
Креол.— Живет в гамаке.

Крестовые походы.— Были благотворны (или только полезны) для венецианской торговли.
Критик.— Всегда выдающийся.
— Считается, что он все знает, обо всем осведомлен, все читал, все видел.
— Если он вам не нравится, зовите его Аристархом (или евнухом).
Кровопускание.— Делать весной.
Кровяная колбаса.— Признак веселья в доме. Необходима в сочельник.
Крокодил.— Подражает детскому крику, чтобы привлечь человека.
Кружок.— Надо всегда состоять членом кружка.
Купол.— Архитектурная форма башни.
— Как он держится? Удивляться, что он держится самостоятельно.
— Привести в пример купол Дома инвалидов и св. Петра в Риме.
Куртизанки.— Неизбежное зло.
— Охраняют наших дочерей и сестер (пока существуют холостяки), а иначе должны быть безжалостно изгнаны.
— Невозможно выйти с женой прогуляться из-за вечного присутствия их на бульварах.
— Обычно это девушки из народа, совращенные богатыми буржуа.
Кухня.— Ресторанная: возбуждает.
— Домашняя: полезна.
— Южная: слишком пряная и с избытком растительного масла.
Кюжас.— Неотделим от Бартоло. Неизвестно, что они написали, но это ничего не значит.
— Говорить каждому, изучающему право: вы с головой ушли в Кюжаса и Бартоло.

Л

Лаборатория.— Необходимо иметь в своих владениях.
Лагуна.— Город на берегу Адриатического моря.
Лаконизм.— Язык, которым больше не пользуются.
Лангуста.— Самка омара.
Ландшафт.— Место, благоприятное для сочинения стихов.
Ланцет.— Носить всегда при себе в кармане, но бояться пользоваться им.

Латынь.— Естественный человеческий язык.
— Портит почерк.
— Польза ее только в том, чтобы уметь прочесть надписи на общественных водоемах.
— Остерегаться латинских цитат: за ними всегда скрывается какая-нибудь нескромность.
Лебедь.— Перед смертью поет.
— Своим крылом может разбить человеку бедро.
— Камбрейский лебедь — это не птица, это был человек, епископ, по имени Фенелон.
— Мантуанский лебедь — это Вергилий.
— Пезарской лебедь — это Россини.
Лев.— Великодушен.
— Играет с шаром.
Левша.— Страшен в фехтовании.
— Более ловок, чем всякий, кто работает правой рукой.
Летаргия.— Известны случаи, длившиеся годами.
Лето.— Всегда необыкновенное.
Лигеры.— Предтечи либерализма во Франции.
Литература.— Занятие праздных.
Литтре.— Смеяться, услышав его имя: «Это тот, кто утверждает, что мы происходим от обезьяны?»
Лихорадка.— Доказывает силу темперамента.
— Причиной ее является пьянство.
Лоб.— Широкий и лысый — признак гениальности.
Лорд.— Богатый англичанин.
Лорнет.— Дерзкий и благородный.
Луна.— Навевает грусть.
— Быть может, обитаема?
Лунатик.— Гуляет ночью по крышам.
Лысина.— Обычно появляется слишком рано, следствие бурной молодости или великих мыслей.
Лягушка.— Сочетается с жабой.

М

Магистратура.— Прекрасная карьера для молодого человека (см. Инженер).
Магия.— Издеваться над ней.
Магнетизм.— Прекрасная тема для разговоров; служит приманкой для женщин.
Мазаринады.— Относиться к ним с презрением; не стоит знать ни одной.
Мажордом.— Встречается ныне лишь за табльдотом.

Майские жуки.— Прекрасный сюжет для маленького сочинения.
— Радикальное истребление их — мечта каждого префекта.
Макадамова мостовая.— Упразднила революцию: не из чего больше строить баррикады.
— Тем не менее крайне неудобна.
Макиавелли.— Не читая, утверждать, что он злодей.
Макиавеллизм.— Слово, которое надо произносить с трепетом.
Мальтус.— «Подлый Мальтус!»
Мамелюки.— Народность древнего Востока (Египет).
Мандолина.— Необходима, если хочешь обольстить испанку.
Марсельцы.— Остряки.
Маска.— Придает остроумия.
Математика.— Сушит сердце.
Матрац.— Чем жестче, тем гигиеничней.
Медаль.— Чеканилась только в старину.
Медицина.— Издеваться над нею, когда чувствуешь себя здоровым.
Медведь.— Зовется обычно Мишкой.
— Рассказать анекдот об инвалиде, который спустился в яму, увидев упавшие туда часы, и был съеден медведем.
Меланхолия.— Признак тонкой души и возвышенного ума.
Мелодрама.— Не столь безнравственна, как драма.
Мельница.— Украшает пейзаж.
Металлургия.— В высшей степени шикарна.
Метаморфозы.— Смеяться над теми временами, когда верили в метаморфозы.
— Придумал их Овидий.
Метать громы и молнии.— Прекрасное выражение.
Метафизика.—Смеяться над ней; это служит доказательством обширного ума.
Метафора.— В стиле всегда избыток метафор.
Метод.— Ничего не дает.
Меха.— Признак богатства.
Механика.—Низшая ступень математики.
Министр.— Высшая степень человеческой славы.
Миссионеры.— Бывают обычно съедены или распяты.
Мозаика.— Секрет ее утрачен.
Мозоль.— Лучше барометра указывает на перемену погоды.

— Очень опасна, если плохо срезана; для примера привести ужасные случаи.

Мокро́та.— Радоваться, когда она отделяется, и удивляться, что человеческий организм может содержать ее в таком большом количестве.

Молодой человек.— Весельчак.

— Должен быть таковым.

— Удивляться, если он не весельчак.

Молоко.— Раскрывает устрицы.

— Притягивает змей.

— От него белеет кожа; парижанки каждое утро принимают молочную ванну.

Море.— Бездонно.

— Образ бесконечности.

— Навевает глубокие мысли.

Мороженое.— Есть его опасно.

Морская болезнь.— Чтобы не страдать от нее, достаточно думать о другом.

Москит.— Опаснее любого лютого зверя.

Мошенник.— Всегда принадлежит к высшему обществу.

Музыка.— Заставляет думать о многих вещах.

— Смягчает нравы. Пример: Марсельеза.

Музыкант.— Свойство истинного музыканта — не сочинять никаких музыкальных произведений, не играть ни на одном инструменте и презирать виртуозов.

Музей.— Версальский: вызывает в памяти великие и славные события отечественной истории.

— Прекрасная идея Луи-Филиппа.

— Лувр: девушки должны его избегать.

— Дюпюитрена: очень полезно показывать молодым людям.

Муравьи.— Прекрасный пример для расточителя.

— Навели на мысль о сберегательных кассах.

Мученики.— Все первые христиане.

Мышьяк.— Находится всюду. Вспомнить г-жу Лафарж.

— Однако некоторые народы употребляют его в пищу.

Мэр деревенский.— Смешон.

Мясники.— Страшны во время революции.

Н

Надпись.— Всегда клинообразна.

Нации.— Необходимо слить в этом слове все народы.

Неразборчивый.— Таковым должен быть рецепт врача; а также — всякая подпись.

Невинность.— Доказательством ее служит бесстрастие.
Негритянки.— Более пылки, чем белые женщины (см. Брюнетки и Блондинки).
Негры.— Удивляться, что у них белая слюна и что они говорят по-французски.
Нектар.— Путать с амброзией.
Немцы.— Мечтательный народ (старо).
Неологизм.— Пагуба для французского языка.
Непромокаемый плащ.— Очень полезная одежда.
— Вреден, так как задерживает испарения.
Нервные болезни.— Постоянное притворство.
Нервный.— Так говорят всякий раз, когда не понимают болезни; это объяснение удовлетворяет слушателя.
Несгораемые шкафы.— Их сложное устройство очень легко разгадать.
Нищенство.— Следовало бы запретить, однако этого не делают.
Нововведение.— Всегда опасно.
Новогодние подарки.— Возмущаться ими.
Нормандцы.— Высмеивать их хлопчатобумажные колпаки.
Нотариусы.— В наше время не доверять им.
Нумизматика.— Относится к возвышенным наукам, внушает глубокое уважение.

О

Оазис.— Гостиница в пустыне.
Обед.— Когда-то обедали в полдень; теперь обедают бог знает как поздно.
— Обед у наших отцов то же, что наш завтрак, а наш завтрак — их обед.
— Поздний обед — это не обед, а ужин.
Образование.— Умей создавать впечатление, что ты получил серьезное образование.
— Народ, чтобы заработать себе на кусок хлеба, в нем не нуждается.
Образы.— В поэзии всегда избыток образов.
Общество.— О его врагах.
— Что способствует его гибели.
Объединение ветвей королевского рода.— Всегда на него надеяться!
Обязанности.— Требовать исполнения обязанностей от других, а самому от них отделываться.

— У других есть обязанности по отношению к нам, но у нас по отношению к другим их нет.

Огонь.— Все очищает.

— Когда слышишь, что кричат «Пожар!», прежде всего следует потерять голову.

Ограда.— Пользоваться этим словом в официальных речах: «Господа! В этой ограде...»

— Прекрасно звучит в речах.

Одалиска.— (См. Баядерка).

Озеро.— Прогулка по озеру должна совершаться в обществе женщины.

Одеон.— Шутить по поводу его отдаленности.

Омега.— Вторая буква греческого алфавита — ведь всегда говорят: альфа и омега.

Омнибус.— В омнибусах никогда не бывает свободных мест.

— Изобретение Людовика XIV.

— «Я, сударь, видывал такие омнибусы, у которых было только три колеса».

Опера (кулисы).— Магометов рай на земле.

Оптимист.— Все равно что глупец.

Орган.— Возносит душу к богу.

Орден Почетного легиона.— Вышучивать его, но добиваться.

— Когда добьешься, говорить, что ты его не просил.

Оригинальное.— Смеяться над всем оригинальным, ненавидеть его, ругать и, если можно, истреблять.

Ориенталист.— Человек, который много путешествовал.

Оркестр.— Изображение общества: каждый играет свою партию, но имеется дирижер.

Орфография.— Верить в нее, как в математику.

Освящение.— Причина радоваться.

Основания.— Оснований лишены все известия.

Основы.— Основы общества суть: собственность, семья, религия и повиновение властям.

— Возмущаться, когда на них нападают.

Отели.— Хороши только в Швейцарии.

Отмораживание.— Признак здоровья; происходит у разгоряченного человека на холоде.

Оффенбах.— Как только услышишь это имя, надо прижать один палец правой руки к другому, чтобы предохранить себя от дурного глаза.

— Истый парижанин.

Охота.— Прекрасное упражнение; надо делать вид, что обожаешь ее.

— Придает пышности монархам.
— Причина исступления магистратуры.
Ошибка.— «Это больше, чем преступление, это — ошибка» (Талейран).
— «Вам уже не придется больше совершать ошибки» (Тьер).
Обе эти фразы должны произноситься с чувством.
Паганини.— Никогда не настраивал скрипки.
— Знаменит длиною своих пальцев.

П

Палладиум.— Древняя крепость.
Палка.— Страшнее шпаги.
Пальма.— Придает особый колорит.
Пальмира.— Египетская царица? Развалины? Неизвестно.
Память.— Сетовать на свою память и даже гордиться ее отсутствием.
— Но краснеть, если вам скажут, что вы не умеете рассуждать.
Парадокс.— Говорится всегда на Бульваре итальянцев, между двумя затяжками.
Пасквиль.— Пасквилей больше не сочиняют.
Педантизм.— Высмеивать, если он не касается легкомысленных вещей.
Педерастия.— Болезнь, которой страдают в известном возрасте все мужчины.
Пейзаж (у художников).— Обычно это блюдо со шпинатом.
Перу.— Страна, где все из золота.
Печатание.— Чудесное изобретение.
— От него больше зла, чем блага.
Печь.— Постоянно дымит.
— Предмет спора в связи с вопросом о топливе.
Пещеры.— Обычное обиталище воров.
— Всегда полны змей.
Пирамида.— Бесполезное сооружение.
Погода.— Вечная тема для разговора.
— Всегда жаловаться на погоду.
Погребение.— По поводу покойника: «Подумать только: ведь я всего неделю тому назад с ним обедал!»
Подпись.— Чем сложнее, тем красивей.
Подушка.— Никогда не пользоваться ею, иначе сгорбишься.

Пожар.— Зрелище, заслуживающее внимания.
Полиция.— Всегда виновата.
Полнота.— Признак богатства и праздности.
Полночь.— Предельный час для пристойных увеселений; все, что делают после полуночи,— безнравственно.
Полоскательница (для рта).— Признак богатого дома.
Понсар.— Единственный поэт, обладавший здравым смыслом.
Попилий.— Изобретатель особого рода круга.
Понюшка табаку.— Подобает кабинетному ученому.
Поражение.— Поражение терпят, и оно бывает иногда настолько полным, что не остается никого, кто мог бы принести о нем весть.
Портрет.— Труднее всего передать улыбку.
Портфель.— Портфель под мышкой придает сходство с министром.
Порядок.— Сколько преступлений совершается ради тебя!
Посиделки.— В деревнях вполне благопристойны.
Послание.— Благороднее, чем письмо.
Пост.— В сущности, не более чем оздоровительная мера.
Потение ног.— Признак здоровья.
Почерк.— Красивый приводит к любым результатам.
— Неразборчивый — доказательство учености; пример: рецепты врачей.
Пошлина.— Ввоз контрабанды.
Поэзия.— Совершенно не нужна, вышла из моды.
Поэт.— Благородный синоним бездельника, мечтателя.
Право.— Неизвестно, что это такое.
Прадон.— Ему нельзя простить, что он был подражателем Расина.
Практика.— Выше теории.
Предание земле.— Часто совершается слишком поспешно; рассказать о мертвецах, пожиравших собственные руки, чтобы утолить голод.
Преданность.— Жалеть, что у некоторых ощущается недостаток преданности.
— В этом отношении мы стоим гораздо ниже собак.
Предместья.— Страшны во время революций.
Приапизм.— Античный культ.
Принципы.— Неоспоримы, священны, независимо от того, каковы они и сколько их всего.
Припарка.— Припарки надлежит делать в ожидании врача.

Причастие.— День первого причастия — лучший день в жизни.

Прованское масло.— Всегда плохого качества; необходимо иметь в Марселе друга, который прислал бы вам бочонок прованского масла.

Прогресс.— Обычно превратно понимается и слишком быстро движется.

Продажа.— Купля и продажа — цель жизни.

Проза.— Легче сочиняется, чем стихи.

Проклятие.— Всегда исходит от отца.

Проповедь.— Любая речь Боссюэ.

Простофиля.— Лучше быть плутом, чем простофилей.

Прыщи.— На лице и в других местах — признак здоровья и чистой крови.

— Ни в коем случае не выводить.

Птица.— Желание быть птицей и сопровождаемое вздохом восклицание: «Крыльев мне, крыльев!» — признаки натуры поэтической.

Пунш.— Уместен на холодной вечеринке.

— Вызывает бред.

— Когда его зажигают, надо погасить свет, и тогда получится настоящая феерия.

Пурпуровый.— Понятие более благородное, чем красный.

— Рассказать анекдот о собаке, которая открыла пурпуровую краску, раскусив раковину.

Пустыня.— Оттуда привозят финики.

Путешествие.— Должно совершаться очень быстро.

Р

Рабочий.— Честен, пока не бунтует.

Радикализм.— Чем более скрытен, тем более опасен.

Развод.— Если бы Наполеон не развелся, он и сейчас был бы на троне.

Разврат.— Причина всех болезней у холостяков.

— Встречается лишь в больших городах.

Ранний.— Раннее вставание — доказательство высокой нравственности.

— Если ложишься в четыре часа утра и встаешь в восемь — значит, ты лентяй; но если идешь спать в девять часов вечера и вылезаешь из постели в пять,— это доказывает, что ты трудолюбив.

Расин.— Повеса!

Распятие.— Уместно в алькове и у гильотины.

Расстрелять.— Благороднее, чем гильотинировать.
— Радость человека, удостоившегося этой милости.
Ревность.— Ужасная страсть.
Религия.— Одна из основ общества.
— Нужна народу, однако не в очень большом количестве.
— «Религия наших отцов» произносить с благоговением.
Ремесла.— Совершенно бесполезны, ибо их заменяют теперь машинами, которые всё вырабатывают гораздо быстрее.
Республиканцы.— Не все республиканцы — воры, но все воры — республиканцы.
Рифма.— Никогда не согласуется со здравым смыслом.
Рог (охотничий).— Очень эффектен в лесах, а вечером на воде.
Рогоносец.— Каждая женщина должна наставлять мужу рога.
Родственники.— Всегда неприятны.
— Скрывать, что у тебя есть бедные родственники.
Романсы.— Исполнитель романсов нравится женщинам.
Романы.— Развращают массы.
— Менее безнравственны, когда печатаются в газетах, а не отдельными изданиями.
— Только исторические романы терпимы, ибо они обучают истории.
— Есть романы, написанные кончиком скальпеля; иные умещаются на кончике иглы.
Романы бульварные.— Причина падения нравов.
— Спорить об их возможной развязке.
— Писать автору, чтобы дать ему тему.
Ронсар.— Смешон со своими греческими и латинскими словами.
Роскошь.— Губит государства.
Рощи.— Навевают мечты.
— Там хорошо сочинять стихи.
— Когда гуляешь осенью, надо сказать: «Деревья в лесах роняют листья» и т. д.
Ртуть.— Убивает болезнь и больного.
Ружье.— Совершенно необходимо в деревне.
Руины.— Навевают мечты и придают поэтичность пейзажу.
Рука.— Управлять Францией должна железная рука.
Руссо.— Думать, что Ж.-Ж. Руссо и Ж.-Б. Руссо — братья, как оба Корнеля.
Рыжие.— См. Блондинки, Брюнетки и Негритянки.

Рысь.— Животное, славящееся своим зрением.
Рябой.— Все рябые женщины похотливы.
Ряса.— Внушает почтение.

С

Сад английский.— Естественнее французского.
Салон (блистать в нем).— Литературный дебют, который продвигает человека.
Самозарождение.— Социалистическая идея.
Самоубийство.— Доказательство трусости.
Сапфический и адонический (звучит как стихи).— Очень эффектно в критической статье.
Сатрап.— Богатый и развратный человек.
Сатурналии.— Праздники во времена Директории.
Сберегательная (касса).— При наличии сберегательных касс слугам удобнее воровать.
Свайные постройки.— Отрицать их существование, ибо нельзя жить под водой.
Светотень.— Неизвестно, что это такое.
Свинья.— Так как внутренности у свиньи «такие же, как у человека», следовало бы пользоваться ими в больницах для изучения анатомии.
Свобода.— О свобода! Сколько преступлений свершается во имя твое!
— Мы пользуемся всеми необходимыми свободами.
Свобода торговли.— Причина всех зол, всех несчастий коммерции.
Св. Елена.— Остров, известный своей скалой.
Св. Варфоломей.— Старая шутка.
Священники.— Живя со своими служанками, имеют от них детей, которых называют племянниками.
— И все-таки среди них есть хорошие люди!
Севилья.— Прославилась своим цирюльником.
Секретный фонд.— Не поддающиеся учету суммы, на которые министры покупают человеческую совесть.
— Возмущаться секретным фондом.
Селезенка.— Когда-то скороходам ее удаляли.
Сельди.— Богатство Голландии.
Семья.— Отзываться о ней почтительно.
Сенека.— Писал на золотом пюпитре.
Сент-Бёв.— В Великую пятницу ел за обедом только мясное.
Сибарит.— Сибаритов ругать.

Сигары.— Местные — «гадость!»
— Хороши только контрабандные.
Сидр.— Портит зубы.
Синий чулок.— Презрительное наименование женщины, тянущейся к знаниям. По этому поводу цитируйте Мольера.
Сирень.— Доставляет удовольствие, потому что предвещает лето.
Сифилис.— Все в той или иной мере заражены им.
Скорбь.— Всегда благородна.
— Подлинная — всегда сдержанна.
Скюдери.— Высмеивать, не зная — мужчина это или женщина.
Слабительное.— Принимается украдкой.
Слава.— Не более чем дым.
Сластолюбие.— Непристойное слово.
Словарь.— Говорить о нем: «Составляется только для невежд».
Словарь рифм.— Пользоваться словарем рифм? Как не стыдно!
Слоновая кость.— Употребляется только в разговоре о зубах.
Слопы.— Отличаются хорошей памятью и обожают солнце.
Смертная казнь.— Порицать женщин, которые ходят па нее смотреть.
Собака.— Создана для того, чтобы спасать жизнь своему хозяину.
— Идеальный друг человека, ибо собака — преданный его раб.
Сомнение.— Хуже отрицания.
Соседи.— Стараться безвозмездно пользоваться их услугами.
Состояние.— Когда вам говорят о большом состоянии, не забудьте спросить: «Да, но прочно ли оно?»
Спальная.— Бывали в старинных замках. Генрих IV одну ночь всегда проводил в спальной.
Спать (слишком много).— От этого бывает тяжелая голова.
Спина.— Удар по спине может вызвать чахотку.
Спираль.— Будущее механики.
Спиритуализм.— Лучшая из философских систем.
Справедливость.— Никогда не надо думать о ней.
Старик.— По поводу наводнения, грозы и т. д. старики обычно говорят, что они не помнят подобного.

Старина (и все, что к ней относится).— Шаблонно, скучно.
Старинные вещи.— Всегда новейшей фабрикации.
Степень бакалавра.— Мечите против нее громы и молнии.
Стертый.— Все старинное стерто, и все, что стерто, старина.
— Твердо помнить об этом, когда покупаешь старинные вещи.
Стоицизм.— Невозможен.
Сторонники Империи.— Все до одного честные, миролюбивые, порядочные люди.
Страус.— Переваривает камни.
Страх.— Окрыляет.
Струна.— Никто не знает силы, какой обладает струна.
— Крепче железа.
Студенты-медики.—Спят возле трупов.
— Бывают и такие, что ими питаются.
Стюарт Мария.— Оплакивать ее судьбу.
Счет.— Всегда слишком велик.
Стыдливость.— Лучшее украшение женщины.
Сыр.— Привести афоризм Брийя-Саварена: «Обед без сыра — все равно что безглазая красавица».
Сырость.— Причина всех болезней.

Т

Табак.— Причина всех болезней спинного мозга.
Талейран (князь).— Вызывает возмущение.
Таможня.— Возмущаться ею и провозить контрабанду.
Тарабарщина.— Способ объясняться с иностранцами.
— Издеваться над иностранцами, которые плохо говорят по-французски.
Тело.— Если бы мы знали, как устроено наше тело, мы не посмели бы сделать ни одного движения.
Тема.— В школе выказывают прилежание, как в решении задач выказывают ум.
— Но в светском обществе следует высмеивать людей, говорящих на серьезные темы.
Терпимости (дом).— Не из тех домов, где высказываемые мнения отличаются терпимостью.
Токарный станок.— Необходимо иметь у себя на чердаке, а в деревне — на случай дождливых дней.
Толпа.— Ей от века свойственны добрые порывы.
Толстяки.— Не нуждаются в умении плавать.

— Приводят в отчаяние палачей, так как их трудно казнить. Пример: Дюбарри.

Трубка.— Не коробит только на морских купаниях.

Туалет (дамский).— Действует на воображение.

У

Ужин (во времена Регентства).— Там было больше остроумия, чем шампанского.

Указ.— Называть «указом» всякий важный декрет: это выводит из себя правительство.

Укротители диких зверей.— Пользуются гнусными способами.

Университет.—*Alma mater.*

Услуга.— Вот что называется оказать услуги:
детям — давать колотушки;
животным — бить;
злодеям — наказывать.

Устрицы.— Их больше не едят! Они слишком дороги!

Утки.— Все утки из Руана.

Ученые.— Издеваться над ними.

— Чтобы быть ученым, нужны только память и усидчивость.

Ф

Фабрика.— Опасное соседство.

Фазан.— Высший шик — подавать фазанов на обед.

Фальшивомонетчики.— Работают в подвалах.

Фаэтон.— Изобретатель одноименного экипажа.

Феникс.— Прекрасное название для страхового общества.

Феодальный замок.— При Филиппе-Августе всегда бывал осажден.

Феодальный строй.— Не иметь точного представления о нем, но метать против него громы и молнии.

Фермеры.— Всегда зажиточны.

Феска.— Необходимая принадлежность кабинетного ученого; придает лицу величественное выражение.

Фехтование.— Учителям фехтования известны разные подвохи.

Фигаро (Свадьба).— Еще одна из причин Революции!

Филипп Орлеанский-Эгалитэ.— Метать против него громы и молнии.

— Еще одна из причин Революции.

— Совершил все преступления нашего злополучного времени.

Философия.— Над ней следует издеваться.

Флаг (национальный).— Заставляет биться сердце.

Форнарина.— Красивая женщина; знать о ней еще что-либо не обязательно.

Фортепиано.— Необходимо в гостиной.

Франкмасонство.— Еще одна из причин Революции.

— Испытания, которым подвергаются вступающие, так страшны, что многие от них умирали.

— Причина семейных раздоров.

— Недоброжелательное отношение к нему со стороны духовенства.

— В чем заключается его тайна?

Французы.— Лучший народ в мире.

Французская академия.— Поносить ее, но стараться, по возможности, туда попасть.

Фреска.— Их больше не делают.

Фрикасе.— Хорошо только в шампанском.

— Его умеют готовить только в деревне.

Фрикасе из кролика.— Приготовляется обычно из кошачьего мяса.

Фронтиспис.— На нем хорошо изображать великих людей.

Фуга.— Никто не знает, что это такое, но надо сознаться, что она очень трудна и скучна.

Фуляр.— Считается признаком хорошего тона — сморкаться в фуляровый платок.

Х

Хирурги.— Жестокосерды; называть их мясниками.

Хлеб.— Никто не подозревает, какая мерзость содержится в хлебе.

Хлопчатая бумага.— Особенно полезна для ушей (вата).

— Одна из социальных основ департамента Нижней Сены.

Холера.— Холеру вызывают дыни.

— От нее можно вылечиться, если пить много чаю с ромом.

Холод.— Полезнее жары.

Холостяки.— Эгоисты и развратники.

— Следовало бы обложить их налогом.

— Готовят себе печальную старость.

Христианство.— Освободило рабов.
Художники.— Все до одного шутники.
— Восхвалять их бескорыстие (старо).
— Удивляться, что они одеты, как все (старо).
— Зарабатывают бешеные деньги, но бросают их на ветер.
— Часто получают приглашения к обеду.
— Художница непременно распутна.

Ц

Цензура.— Полезна, что бы о ней ни говорили.

Ч

Часы.— Хороши только женевские.
— Когда действующее лицо в феерии вынимает часы, это должна быть луковица: неизменная шутка.
Чердак.— Как хорошо чувствуешь себя там в двадцать лет!
Чернильница.— Подносится в подарок врачу.
Черный фрак.— В провинции означает высшую степень торжественности и плохого расположения духа.
Честность.— Присуща главным образом чиновничеству.
Чиновник.— Внушает уважение независимо от исполняемых обязанностей.
Чистка ваксой.— Хороша только собственноручная.
Чихание.— Сказав «будьте здоровы», начать дискуссию о происхождении этого обычая.
Чудовища.— Их больше не существует.

Ш

Шампанское.— Знаменует торжественный обед.
— Делать вид, что терпеть его не можешь, и говорить: «Это не вино».
— Вызывает восторг у «маленьких людей».
— Россия потребляет его в большем количестве, чем Франция.
— Благодаря шампанскому французские идеи распространились по Европе.
— Во времена Регентства только и делали, что пили шампанское.

— Его не пьют, а «опрокидывают».

Ш а р ф.— Поэтично.

Ш а р ы (воздушные).— Кончится тем, что с их помощью полетят на луну.

— Управлять ими еще не научились.

Ш а х м а т ы (игра).— Прообраэ военного искусства.

— Все великие полководцы были в ней сильны.

— Слишком серьезно для игры, слишком легкомысленно для науки.

Ш к о л ы.— Политехническая — мечта всех мамаш (старо).

— В тревожное время — пугало для буржуа, когда он узнает, что Политехническая школа заодно с рабочими (старо).

— Говорить просто «школа» — значит эаставить поверить, что ты в ней учился.

— В Сен-Сире учатся молодые люди благородного происхождения.

— В Медицинской школе — все экзальтированные.

— В Школе правоведения — молодые люди из хороших семей.

Ш л я п а.— Протестовать против их фасона.

Ш п а г а.— Сожалеть о времени, когда их носили.

Ш п и к и.— Все полицейские.

Ш п о р ы.— Очень хороши на сапогах.

Э

Э г о и з м.— Жаловаться на чужой и не замечать своего.

Э к и п а ж.— Наемный удобнее собственного, так как иэбавляет от неприятностей со слугами и лошадьми, которые вечно болеют.

Э к л е к т и э м.— Ругать его, ибо эта философия безнравственна.

Э к о н о м и я.— Ей всегда предшествует «порядок», а это ведет к благосостоянию.

— Рассказать анекдот о Лаффите, поднявшем булавку на дворе банкира Перрего.

Э к о н о м и я п о л и т и ч е с к а я.— Наука без нутра.

Э м а л ь.— Секрет ее утерян.

Э м б р и о н.— Всякое тело, хранящееся в спирту.

Э м и г р а н т ы.— Зарабатывали на жиэнь уроками игры на гитаре и приготовлением салата.

Э м и р.— Из всех эмиров говорят только об Абд-эль-Кадере.

Энтузиазм.— Пробуждается лишь при возвращении праха императора.
Энциклопедия.— Смеяться над ней из презрения, как над старомодным произведением, и даже ругать.
Эпикур.— Презирать.
Эпистолярный стиль.— Стиль, свойственный исключительно женщинам.
Эпоха (современная).— Ругать.
— Жаловаться на отсутствие в ней поэзии.
— Называть ее переходной, эпохой декаданса.
Эрекция (воздвижение).— Говорится только о памятниках.
Эрудиция.— Презирать ее, как признак узости кругозора.
Эспланада.— Имеется только перед Домом инвалидов.
Этажерка.— Необходима в комнате у красивой женщины.
Этимология.— Ее легче всего установить с помощью латыни и немного подумав.
Этрусский.— Все старинные вазы — этрусские.
Эхо.— Указать на него в Пантеоне и у моста Нейи.
Эшафот.— Когда всходишь на него, постараться произнести перед смертью несколько красивых слов.

Ю

Юг (кухня южная).— Обычно с чесноком. Ругать.
Южане.— Все до одного поэты.
Ююба.— Неизвестно, из чего приготовляется.

Я

Ядро.— Газ от ядра ослепляет (удушье).
Яйцо.— Точка отправления для философской диссертации о возникновении существа.
Янсенизм.— Неизвестно, что это такое, но говорить о нем считается высшим шиком.

ПРИМЕЧАНИЯ

«ЛЕГЕНДА О СВ. ЮЛИАНЕ МИЛОСТИВОМ», «ПРОСТАЯ ДУША», «ИРОДИАДА»

Весной 1875 года Флобер, предоставивший все свои средства мужу племянницы Каролины с тем, чтобы помочь ему выпутаться из денежных затруднений, разорился. Утрату ренты Флобер воспринял болезненно прежде всего потому, что видел в материальной независимости основу независимости в искусстве. В сентябре того же года писатель уехал к другу в Бретань, в Конкарно. Здесь и пришло решение написать нечто не столь большое, как «Бувар и Пекюше». «Что касается литературы, то я не верю более в себя, я чувствую, что опустошен, а это отнюдь не утешительное открытие... Пока что примусь за «Легенду о св. Юлиане Милостивом», единственно чтобы чем-нибудь заняться, посмотреть, могу ли я еще придумать хотя бы одну фразу, в чем я очень сомневаюсь. Эта повесть будет совсем короткой, каких-нибудь тридцать страниц».

Замысел «Легенды о св. Юлиане» возник еще в мае 1846 года, когда писатель во время поездки по Нормандии увидел в старинной церкви витраж, изображавший святого коленопреклоненным перед чудесным оленем. Другой витраж, с изображением многих сцен из жизни святого, находился в Руанском соборе. Однако в юные годы свой замысел писателю не удалось осуществить, так же как и в 1856 году, когда по окончании «Боварн» Флобер опять взялся за «Юлиана».

Мысль об этой теме приходит к писателю еще раз летом 1874 года, в Швейцарии, где он перечитывает «Золотую легенду» — сборник житий, составленный в XIII веке,— явно имея в виду будущую повесть. Осенью 1875 года он принимается за «Юлиана» вплотную. Хотя Флобер и не ставит целью археологически точное воспроизведение средневековья, он все же предваряет работу усиленным чтением и сбором материалов. Правда, из многочисленных французских и латинских, прозаических и стихотворных версий легенды о святом Флобер знает только одну — ту, что вошла в «Золотую легенду». Источником подробностей явилась книга о витражах, где дается подробное описание руанской оконницы. Зато сохранились листы выписок, свидетельствующие, с каким тщанием он знакомился со старинными наставлениями по псовой и соколиной охоте.

Пятиадцатого сентября, в Коикарно, Флобер садится за стол. Он собирается написать вещь «страниц на тридцать, не более», и все же исписывает 74 страницы, сперва с одной стороны, испещрив текст помарками до полной неудобочитаемости, затем — с другой. Наконец в феврале, в Париже, повесть закончена и переписана в двух экземплярах.

Однако и сейчас Флобер не собирается возвращаться к «Бувару и Пекюше». У него уже созрел замысел второй повести, навеянный воспоминаниями юности. В Трувиле, в дружественном Флоберам семействе Барбе, Гюстав видел чучело попугая, любимца служанки Леонии, и слышал историю самой служанки. С Леонии слилась Жюли — служанка двоюродной бабки Флобера г-жи Алле, которую можно узнать в г-же Обен. Ряд эпизодов повести — это воспоминания детства Флобера: бык на ферме Жефос, приход фермера из Тука, купания и сбор ракушек в Трувиле. Описание прогулок верхом на осле к скалам Энеквиля имеется в записной книжке Флобера, относящейся еще к началу шестидесятых годов; отсюда оно без изменений перенесено в «Простую душу».

Работа идет обычным для Флобера порядком. Пишется первый сценарий, в котором намечена последовательность событий, в точности соответствующая окончательной редакции повести. Затем идет накопление материалов, по большей части не пригодившихся. И все же начало писания сопряжено с трудностями. «Я никак не могу сдвинуть с места «Историю простой души». Вчера я работал шестнадцать часов, сегодня — весь день и только нынче вечером наконец дописал первую страницу» (г-же Роже де Женетт, 15—18 марта 1876 г.).

В апреле Флобер отправляется на две недели в Нормандию, туда, где он помещает героев своей повести. Нахлынувшие воспоминания способствуют созданию грустной атмосферы вещи, но не ускоряют работу. Флобер исписал и исчеркал сто семь страниц, и опять же сперва с лицевой, потом с оборотной стороны.

Когда Флобер написал первую половину повести, его постигает новое горе: умирает Жорж Санд. А ведь именно она была как бы идеальным адресатом «очень печальной и очень серьезной» повести: «Я начал писать «Простую душу» исключительно ради нее, с единственной целью ей понравиться» (Морису Санду, 29 августа 1877 г.).

В августе «Простая душа» окончена и дважды переписана набело. Теперь Флобер может взяться за третью повесть, задуманную — явно по причине абсолютной противоположности двух женских характеров — еще в мае — июне, во время писания «Простой души»: «Теперь, когда я покончил с Фелисите, появляется Иродиада, и я вижу (так же ясно, как Сену, сверкающую на солнце) поверхность Мертвого моря. Ирод с женою стоят на балконе, откуда открывает-

ся вид на золоченые черепицы храма... Не дождусь минуты, когда засяду писать, надеюсь этой осенью работать со свирепым усердием» (Каролине Комманвиль, 17 августа 1876 г.).

Как в те времена, когда Флобер взялся за «Саламбо» после «Бовари», его прельщает возможность дать себе волю: «Горланство. Напыщенность. Гипербола. Будем неистовы!» (Тургеневу, 14 декабря 1876 г.). И, однако, «неистовству» предшествует тщательнейший сбор материалов: ведь Флобер снова ставит себе задачу «дать живую и ясную картину», то есть обогатить краткий евангельский рассказ археологически точными деталями. Он сидит в Национальной библиотеке, проглатывая том за томом. Лишь 25 октября Флобер сообщает Мопассану: «Через недельку (наконец-то!) я приступаю к «Иродиаде». Заметки окончены, и сейчас я разбираюсь в плане». Эти заметки занимают 57 листов: на первом из них — сценарий повести, далее — выписки из «Иудейских древностей» писавшего по-гречески иудейского историка Иосифа Флавия (I в.), из трудов по археологии, истории, географии, древней Палестины. Особый лист посвящен биографии и характеру Иродиады.

Вновь обратившись к среде и эпохе, где Восток вплотную столкнулся с античным Римом, Флобер не мог избежать сближений с «Саламбо»: «Иродиада» сейчас доведена до середины. Все мои усилия направлены к тому, чтобы эта повесть не была похожа на «Саламбо» (Эдмону Гонкуру, 31 декабря 1876 г.). И все же сходства не удается избегнуть: явный перевес вещного, археологического, описательного элемента над психологическими «общими местами» роднит оба «неистовых» произведения Флобера.

Работа над слогом повести идет особенно трудно. Первая страница переписывается девять раз. Оба черновика — и лицевой и оборотный — испещрены помарками; копия, которая должна стать беловой, вновь правится настолько, что превращается в черновик. Не желая отвлекаться, Флобер удаляется в Круассе и за всю осень и зиму выезжает оттуда лишь однажды. Наконец работа над книгой, задуманной как «книга отдохновения» и потребовавшей восемнадцати месяцев упорного труда, окончена. Флобер пишет титульный лист:

«Т р и п о в е с т и

Простая душа
Легенда о св. Юлиане Милостивом
Иродиада

15 сентября 1875, Конкарно.
3 февраля 1877, Круассе».

«Юлиан» печатается в газете «Бьен пюблик» с 19 по 22 апреля, «Простая душа» — в газете «Монитер юниверсель» с 12 по 19 апреля. 24 апреля «Три повести» выходят отдельной книгой у Шарпантье.

Успех был небывалый для Флобера. Одно за другим приходили письма — и от старых друзей и соратников, и от писателей младшего поколения, сверстников Мопассана, еще за полгода до этого присягнувшего на верность «учителю» в особой статье. «Я прочел только «Простую душу», но это, по выражению маэстро, совершенно, совершенно шедевральио»,— пишет Эдмон Гонкур. «Ты обладаешь великим и могучим талантом»,— вторит ему Леконт де Лиль.

Копия повестей предназначалась Флобером для Тургенева, который вызвался перевести их на русский язык. Вот как описывает историю этого перевода М. Клеман: «В письме к Стасюлевичу от 21/9 марта 1876 года Тургенев писал: «Я забыл вам сказать, что Флобер написал преоригинальную *легенду* («La légende de S-t Julien l'Hospitalier»). Она мне до того понравилась, что я решился ее перевести. Я думаю представить ее вам в «Вестник Европы», но мы еще об этом переговорим».

Стасюлевич, по-видимому, не торопился изъявить свое согласие на помещение «Легенды» в журнале. Тургенев спешил заверить осторожного редактора в полной цензурности легенды Флобера: «Ее можно прочесть в женском пансионе — так она нравственна» (письмо от 4 апреля — 23 марта 1876). К самому переводу Тургенев, занятый работой над «Новью», не приступил, и срок напечатания был отложен... Срок, поставленный Тургеневым для опубликования первой новеллы, приблизился вплотную, а перевод закончен не был (был ли он начат?). Флобер осаждал Тургенева вопросами и напоминаниями, а Тургенев перекладывал вину на Стасюлевича... Тем временем Флобер начал работу над «Иродиадой», и теперь уже Тургенев, желавший поместить в одной книжке журнала перевод всех трех новелл Флобера... стал торопить своего друга: «Простое сердце» не должно быть напечатано одно... Я отдал «Простое сердце» одной русской барышне-писательнице, хорошо владеющей языком... Но тут возникают другие затруднения! Я уезжаю в Петербург (это между нами) 15 февраля и пробуду там месяц. Весьма возможно, что к тому времени вы еще не будете готовы, если же да — то мне останется захватить с собой оригинал, так как у меня не будет времени отделать перевод здесь. Тогда мне надо будет найти для перевода кого-нибудь в Петербурге — что тоже невозможно. Конечный результат: старайтесь кончить «Иродиаду» в первых числах февраля, и тогда мы посмотрим» (письмо Флоберу от 19 декабря 1876 г.). Это письмо проливает свет на ту торопливость, с какой Флобер спешил закончить «Иродизду»... К назначенному Тургеневым сроку Флобер работу кончил,— «Иродиада» была дописана 3 февраля 1877 года.

Освободясь от срочной работы иад «Новью», Тургеиев вплотиую приияался за переводы. Письма его к Стасюлевичу с конца яиваря 1877 года переполиены известиями о ходе работы... В феврале 1877 года ои писал М. М. Стасюлевичу: «Флобер вериулся иа диях из Руаиа (где у иего дом) в Париж и привез другую легеиду — «Иродиаду», которую ои мие прочел и которая меня поразила, как совершеииый cnef-d'oeuvre! Я иепремеиио хочу перевести и ее...»

Первого марта 1877 года Тургеиев кончил перевод «Легеиды о св. Юлиане Милостивом» и выслал его через иесколько дией Стасюлевичу. Работа иад «Иродиадой» заияла у Тургеиева март и половиу апреля месяца. Стасюлевичу ои писал: «Перевод... представил такие трудиости, что, без хвастовства скажу — ие знаю, кто бы лучше меия это сделал» (письмо от 6 апреля — 25 марта 1877 г.). Закончеи перевод «Иродиады» был к 17 апреля.

«Католическая легеида о Юлиаие Милостивом» (так озаглавил Тургеиев свой перевод — и в журиальном тексте, и в издаии 1880 г.) была иапечатаиа в апрельской книжке «Вестиика Европы» за 1877 год, «Иродиада» — в майской. От перевода третьей иовеллы Тургеиев отказался — по причинам, изложеиным в письме к М. М. Стасюлевичу от 1 марта — 17 февраля 1877 года: «Вторую легенду перевести иевозможио (да оиа к тому же и меиее удачна); там одна глуповатая забитая служаика кончает тем, что сосредоточивает свою любовь иа попугае, которого она смешивает с голубем, изображающим Святой Дух... Вы можете себе представить крик цеизуры!!.»

Журиальиой публикации переводов Тургеиев предпослал следующее краткое предисловие (в форме письма редактору): «Любезиейший М. М.! Гюстав Флобер, известиый автор «Мадам Бовари», «Саламбо» и «Сеитимеитальиого воспитания»,— один из самых замечательиых представителей современной фраицузской литературы,— сообщил мие иаписаииые им три рассказа, или «легеиды» («Святой Юлиаи», «Простое сердце» и «Иродиада»), долженствующие появиться в Париже в иачале мая. Пораженный их разиообразными красотами, я перевел две из иих — «Юлиаиа» и «Иродиаду» — с рукописи и предлагаю Вам поместить их в «Вестиике Европы». Легеиды зти, быть может, возбудят некоторое изумление в русских читателях, которые ие того ожидают от человека, провозглашеииого главою фраицузских реалистов и иаследником Бальзака. Но я полагаю, что яркая и в то же время гармоиически стройиая поэзия зтих легеид возьмет свое и победит предубеждеиие читателей. Пусть оии взглянут иа каждую из иих, как иа передаииую прозой поэму, что оиа и есть.

Со своей стороиы я приложил к зтому труду все возможное стараиие и умеиие. Это было именно love's labour — труд любви; пусть ои ие будет потеряиным трудом — love's labour lost. Париж, февраль 1877».

Тургенев включил свои переводы в прижизненное Собрание сочинений (1880 г.), подвергнув их существенной правке.

Несмотря на ряд мелких пропусков, неточностей в переводе и написании имен, на расхождение с окончательным текстом Флобера и отдельные случаи введения в текст объяснительных слов, отсутствующих в оригинале (например, в оригинале упоминается Митра — Тургенев добавляет «персидский бог Митра») — несмотря на все это, перевод Тургенева не утратил и до наших дней своего эстетического значения.

ЛЕГЕНДА О СВ. ЮЛИАНЕ МИЛОСТИВОМ

Стр. 6. *Амалекитяне* — упоминаемое в Библии аравийское племя. *Гарамантийцы* — племя Северной Африки.

Стр. 16. *Греческий огонь* — горючая жидкость, применявшаяся византийцами в морских боях для поджога вражеских судов.

Стр. 17. *Иерусалимские меченосцы.*— Так Тургенев передает название учрежденного во время крестовых походов ордена рыцарей-монахов тамплиеров («храмовников»).

. . . у парфянского «Сурёны-царя». . .— Как нарицательное имя парфянских царей Флобер употребил имя полководца Сурены, разбившего в 53 г. до н. э. войско римского полководца Марка Лициния Красса.

Аквитания — княжество на юге Франции, между Гаронной и Пиренеями.

ПРОСТАЯ ДУША

Стр. 33. *. . .гравюрами Одрана...*— Фамилию Одран носило обширное семейство французских граверов, живописцев и художников гобелена (XVI—XVIII вв.). Наибольшей известностью пользовался гравер Жерар Одран (1640—1703).

Стр. 56. *Эпинальский образок* — дешевый цветной образок; такие образки изготовлялись с 1790 г. в городе Эпинале.

ИРОДИАДА

Стр. 62. *Махэрусская цитадель.*— Находилась на юге Палестины, к востоку от Мертвого моря.

Велариум — тент.

...тетрарх Ирод Антипа...— На рубеже нашей эры Палестиной управляли зависимые от Рима цари. Поскольку они получали

власть лишь над четвертой частью страны, их называли «тетрархами» («четверовластниками»). Ирод Антипа был сыном Ирода Великого, посаженного римлянами на престол в 37 г. до н. э. Выходцы из племени идумеян, Ирод и его потомки были ненавистны иудеям. Ирод Великий усилил эту ненависть покорностью римлянам, расправами с иудейской знатью и насаждением греческих и римских нравов. Против Ирода Великого часто устраивались заговоры; за участие в них Ирод казнил трех из своих четырнадцати сыновей. После смерти Ирод оставил по завещанию власть над Галилеей и Переей (области Палестины) своему седьмому сыну, Антипе; римляне утвердили это завещание.

Антониева башня — форт в Иерусалиме, построенный Иродом Великим и названный им в честь триумвира Марка Антония.

Стр. 63. *Тивериада.*— Была основана Иродом Антипой на берегу Генисаретского озера и названа в честь императора Тиверия (Тиберия).

Иродиада — дочь Аристовула, казненного сына Ирода Великого. Была замужем за своим дядей Иродом Филиппом, от которого имела дочь Саломею, но покинула мужа, чтобы стать женой Антипы. Этот непристойный, с точки зрения иудеев, брак вызвал резкое недовольство в народе. Глашатаем этого недовольства был, по Евангелиям, Иоанн Креститель.

Вителлий Луций — проконсул провинции Сирия, которому подчинена была Иудея. Так как после удачных переговоров с парфянами Вителлий не успел доложить об этом Тиберию и Антипа опередил его в этом, Виттелий возненавидел тетрарха и не спешил оказать ему помощь в войне с арабами (Иосиф Флавий).

Агриппа — родной брат Иродиады. Он был воспитан в Риме и дружен с племянником императора Гаем (Каием) Калигулой. Впоследствии, уже будучи императором, Калигула по доносу Агриппы, обвинявшего Антипу в тайном хранении несметных запасов оружия, лишил тетрарха власти, сослал его вместе с Иродиадой в Галлию, а на его место поставил Агриппу.

Стр. 64. *Самаритяне* — смешанное племя, распространившееся в Палестине во времена Вавилонского пленения евреев. Вернувшиеся из плена евреи отвергли единоверцев-самаритян, и между племенами воцарилась вражда.

Гиркан — последний царь-первосвященник из рода Маккавеев, сбросивших за полтора века перед тем иго сирийских царей из греческой династии Селевкидов. Гиркан разрушил храм на горе *Гаризим* близ Самарии, соперничавший с Иерусалимским храмом.

Стр. 65. *Агриппа посажен в тюрьму.*— «Однажды Агриппа ехал в колеснице с Гаем, и им случилось заговорить о Тиберии. Агриппа пожелал, чтобы тот скорее уступил место Гаю. Эвтихий,

его вольноотпущенник, управляющий колесницей, слышал это. Когда позже Агриппа обвинил его в краже — что было правдой,— Эвтихий, вместо того чтобы защищаться, объявил, что может открыть Тиберию тайну, важную для его безопасности. Так император узнал о речах Агриппы» (Иосиф Флавий. Иудейские древности, XVIII, 7). События эти произошли позже тех, которые описывает Флобер.

Стр. 66. *Не отреклась ли я от собственного сына?* — Ошибка Тургенева, вызванная, возможно, опиской в рукописи Флобера. В оригинале — «от моей дочери» (т. е. Саломеи).

Ессей — член религиозной иудейской секты, проповедовавшей отречение от мира, крайнюю строгость нравов и служение богу не жертвами, но очищением души.

Стр. 67. *Стоик* — представитель одного из влиятельнейших философских течений древнего мира — стоицизма. Стоики, многие из которых вели жизнь бродячих проповедников, учили, что величайшим благом является мудрость, потому что она позволяет стать выше страданий и треволнений мира.

Гегемиас (правильно: Неемия) — придворный персидского царя Артаксеркса (V в. до н. э.); уехал в Палестину, чтобы возглавить евреев, вернувшихся из Вавилонского плена. При Неемии последний из пророков, Малахия, предрек, что вскоре придет воскресший пророк Илия. Воскресшего Илию видели в Иоанне Крестителе.

Стр. 70. *Ликторы* — почетная стража римских должностных лиц. Ликторы несли перед ними знак их власти — пучки прутьев с воткнутым в них топором (фасции).

Стр. 71. *Юноша с толстым животом...*— сын Луция Вителлия Авл Вителлий; в 69 г. Вителлия провозгласили императором, но вскоре он был свергнут Веспасианом.

Яникул — один из семи холмов Рима.

Квестура — вторая ступень в иерархии выборных общественных должностей Рима. Квесторы ведали казной и вели некоторые судебные дела. *Консульство* — высшая ступень этой иерархии. Лицо, бывшее консулом, затем отправлялось обычно в одну из провинций наместником в ранге проконсула.

Клиты — побежденное Вителлием малоазиатское племя.

Стр. 72. *Саддукеи и фарисеи* — две основные религиозно-политические партии среди евреев. Фарисеи стояли за неукоснительное исполнение Моисеевых законов и чтили также устную традицию, которую саддукеи не признавали. Фарисеи были настроены крайне националистически, в то время как саддукеи, по большей части принадлежавшие к жреческой аристократии, были терпимее к эллинистическим влияниям.

Стр. 75. *Фискальные общества* — компании откупщиков, вы-

плачивавшие государству определенные суммы и получавшие право собирать налоги с провинций.

Стр. 77. *Моав* — древнее уже для описываемого времени название области к востоку от Мертвого моря, где находилась Махэрусская крепость.

Стр. 78. *Гиккас* (правильно: киккар) — еврейская денежная и весовая единица, равная греческому таланту (ок. 26 кг. серебра или золота). *Обол* — самая мелкая греческая монета, около 6 коп. серебром.

Ахав — израильский царь (917—895 гг. до н. э.), под влиянием своей жены, финикиянки Иезавели, ввел в Самарии культ финикийских богов. Ахав и Иезавель преследовали обличавшего их пророка Илию.

Стр. 79. *Авессалом* — третий сын царя Давида. Он убил первого сына царя Давида, Амнона (*Аммона*), обесчестившего их сестру Фамарь, а затем, восстав против отца, захватил его гарем. *Иуда*, один из сыновей Иакова, был обманут своей невесткой, которая осталась бездетной вдовой двух его сыновей и хотела во что бы то ни стало иметь потомство. *Лот*, царь Содома, сожженного богом за грехи его жителей, был выведен из города, а затем соблазнен своими дочерьми, которые боялись остаться бездетными.

Стр. 83. *...как пигарговы шеи...*— В оригинале сказано: «как шеи грифов-стервятников».

Симеон из Гиттоя — религиозный проповедник, в тридцатых годах н. э. возглавивший религиозное движение среди самаритян.

Стр. 84. *Гномон* — солнечные часы.

Сарептская вдовица.— По библейскому рассказу, пророк Илия воскресил ее сына.

Стр. 85. *...стих современного поэта...*— Лукреция Кара, поэта-философа, из его поэмы «О природе вещей» (III, 339).

Триклиниум — возвышение в столовой римского дома, где стояли столы и ложа.

Стр. 86. *Филон* (ок. 20 г. до н. э.— 54 г. н. э.) — выдающийся мыслитель, еврей, живший в Александрии и писавший по-гречески. Пытался сочетать учение Платона с библейской религиозной традицией.

Митра — древнеперсидский бог Солнца. Культ Митры как бога-спасителя был широко распространен по всей Римской империи.

Гиерополисский храм — храм женского божества Деркето в сирийском городе Гиерополисе.

Священная горлица Азима.— Ей, как утверждали враждебные самаритянам иудеи, поклонялись в Гаризимском храме.

Мой отец соорудил ваш храм! — Ирод Великий отстроил заново Иерусалимский храм.

Стр. 87. *Маттафия* — иудейский священник. Вместе с сорока двумя иудеями был сожжен по приказу Ирода Великого за то, что пытался сорвать с ограды храма изображение орла, служившее знаменем римского легиона.

Меценат Гай Цильний (между 74 и 64 г. до н. э.— 8 г. н. э.) — друг и сподвижник императора Августа, сплотивший вокруг него величайших поэтов Рима — Вергилия, Горация и др.

Ослиная голова — обычная насмешка римлян над евреями. Считалось, что, если они не имеют и не допускают изображений бога, следовательно, бог этот имеет позорное или смехотворное обличье.

...убило их Вакха... — Согласно мифам, сирийский умирающий и воскресший бог Адонис был убит диким кабаном. Авл отождествляет Адониса с Вакхом.

Виноградная лоза, вычеканенная из золота, весом в пятьсот талантов, была доставлена в Рим после покорения Иерусалима Помпеем в 63 г. до н. э.

Стр. 88. *Антигон* — царь иудейский; был захвачен в 63 г. до н. э. в плен Помпеем и уведен в Рим; затем, освобожденный Юлием Цезарем, он с помощью парфян вновь овладел престолом, но был разбит Иродом Великим при поддержке римлян и казнен Марком Антонием.

Красс Марк Лициний (114—53 гг. до н. э.) — римский государственный деятель и полководец, богатейший человек в Риме. Был разгромлен парфянами в 53 г. до н. э., погиб в сражении, а голова его была доставлена парфянскому царю.

Вар Публий Квинктилий (58 г. до н. э.— 9 г. н. э.) — римский полководец; жестоко подавил одно из восстаний в Иудее, затем был послан в Германию и там погиб, наголову разбитый вождем племени херусков Арминием.

Атриды — цари Аргоса и Микен в Пелопоннесе. Их сокровищница была раскопана в начале семидесятых годов прошлого века Шлиманом.

Стр. 89. *Гингра* — маленькая финикийская флейта.

Мнестер (I в.) — римский мимический актер, столь прославившийся своей красотой и изяществом танца, что Калигула пригрозил казнью всякому нарушителю порядка во время его представлений.

Катаракты Нила — пороги Нила.

Стр. 90. *Аристовул* — брат любимой жены Ирода, Мариамны, уничтоженный им. *Александр* — сын Ирода Великого, казненный отцом по доносу другого сына, *Антипатера* (правильнее: Антипатра), который позже сам составил заговор против отца и был казнен.

Зосима.— Был приставлен стражем к Мариамне, которую Ирод ревновал; заподозрив Зосиму в любовной связи с нею, Ирод казнил его.

Паппас — военачальник Антигона, казненный Иродом.

Иосиф — дядя Ирода Великого и муж его сестры. Когда Ирод отбыл, чтобы оправдаться перед императором в убийстве Аристовула, он поручил Иосифу стеречь Мариамну и убить ее, если сам он не вернется. Иосиф открыл Мариамне тайну этого поручения и по возвращении Ирода поплатился за это жизнью.

БУВАР И ПЕКЮШЕ, ЛЕКСИКОН ПРОПИСНЫХ ИСТИН

Пятнадцати лет от роду Флобер написал и напечатал в небольшом руанском журнале «физиологический очерк» «Урок естественной истории: вид — мелкий служащий», где, пожалуй, впервые высказал свою ненависть к обывательской ограниченности буржуа, у которого на все случаи жизни есть готовые заемные мысли, избитые фразы; некоторые из этих «суждений» юный писатель вложил в уста своего типажа.

А вскоре, очевидно, рождается и сама идея «Лексикона», о котором Флобер пишет Луи Буйе 4 сентября 1850 года как о замысле, давно обсуждавшемся. Собственно, в этом письме содержится в зародыше весь замысел будущей последней книги Флобера: здесь говорится и о предисловии к «Лексикону», и о «неисчерпаемых залежах комического, целых Калифорниях гротеска», которые можно обнаружить в самых серьезных книгах.

В последующие годы писатель не перестает думать о «Лексиконе». Даже во время напряженнейшей работы над «Бовари» он записывает отдельные «прописные истины». Уже в письме к Луизе Коле от 17 декабря 1852 года он определяет свой замысел и приводит образцы «истин». Два года спустя Флобер называет «Лексикон» в числе первых работ, за которые он возьмется по окончании «Бовари». Но накопление прописных истин растянулось на годы; иногда они вкладывались в уста кого-либо из персонажей «Бовари» или «Воспитания чувств». В последние годы листки с «истинами» лежали в особой папке среди выписок для «Бувара и Пекюше».

В начале 1863 года идея предисловия к «Лексикону» окончательно превратилась в замысел романа. В записной книжке этого времени содержится запись: «Две мокрицы... вставить в 3-ю часть л-кон прописных истин». Несколькими страницами дальше стоят имена: «Бувар и Пекюше», а еще через несколько страниц под заглавием «История двух мокриц. Двое мелких служащих» находится первый сценарий, где есть и эскизы портретов двух героев, их встреча на бульваре Бурдон, и отъезд в деревню, и перечень их научных увлечений, и наметка развязки: потерпев неудачу во многих своих начинаниях, «они переписывают все, что угодно... включить подлин-

ные отрывки и типические отрывки — идиотские выдержки из критики всякого рода».

Однако обработка сценария откладывается на долгие годы. Лишь 18 августа 1872 года Флобер сообщает г-же Роже де Женетт, что собирается начать «историю тех двух стариков-переписчиков». В это время у него уже разработан план книги и «общий метод», в котором указано: «Позаботиться, чтобы каждая глава не составляла обособленного целого... Увеличить число связей».

Новый роман требует гигантской подготовки. Каждое новое увлечение героев заставляет Флобера прочесть множество книг по данной специальности. Зимой и ранней весной 1879 года, лежа со сломанной ногой, он проглатывает по тому в день. Им сделано более шестидесяти папок с выписками. Не довольствуясь чтением, Флобер совершает несколько экскурсий по Нормандии: в поисках, где бы поселить героев, затем — на место их геологических «изысканий» в Этрета, куда его сопровождает Мопассан, позже — по всему Кальвадосу, с целью знакомства с древностями, «исследованными» Буваром и Пекюше.

Перегруженность материалом, намечающееся противоречие между темой в духе «философской повести» XVIII века и стремлением Флобера к бытовому правдоподобию внушали опасения друзьям, знакомым с его замыслом. Тургенев писал Флоберу: «Подобный сюжет надо трактовать presto, в духе Свифта или Вольтера... При устном изложении ваш план показался мне очаровательным и забавным, если же вы станете очень распространяться... Впрочем, вам виднее» (Москва, 12 июля — 30 июня 1874 г.). Флобер не понял правоты Тургенева: «Несмотря на все почтение, которое внушает мне ваше критическое чутье... я придерживаюсь совсем иного, нежели вы, мнения о том, как надо браться за этот сюжет. Если разрабатывать его кратко, в сжатой, легкой манере, то получится более или менее остроумная фантазия, но без широты, без правдоподобия, между тем как, развив ее в подробностях, я смогу сделать вид, будто верю в эту историю, и тогда выйдет вещь серьезная и страшная» (июль 1874 г.). Очевидно, мнение Тургенева было известно и Ипполиту Тэну, поскольку именно русскому романисту он высказал в недатированном письме сходные опасения: «Книга, даже выполненная наилучшим образом, не может быть удачной; тот комизм, который он надеется вложить в нее, непременно кажется мертворожденным... Сюжет такого рода может дать новеллу страниц на сто, не более... Во всяком случае, сколько бы тут ни было затрачено таланта, я предвижу крах у публики».

Флобер, знавший о сомнениях друзей, порой сам поддавался таким же сомнениям: «Моя книжища кажется мне все более и более трудной. Можно ли будет ее читать?» (Эмилю Золя, август 1879 г.). Но потом самоослепление брало верх: «...перечел «в тиши кабинета»

три последние главы... это очень хорошо, очень крепко, очень сильно и ничуть не скучно! Вот мое мнение!» (племяннице Каролине, 30 сентября 1879 г.).

Решив взяться за роман в августе 1872 года, Флобер тем не менее откладывает начало писания на лето 1874 года. 6 августа этого года он сообщает племяннице в письме первую фразу книги. Работа идет непрерывно до апреля 1875 года, когда крах Комманвилей выбивает Флобера из колеи и заставляет его взяться за более легкую работу — три повести. Но еще до выхода их отдельной книгой, в начале апреля 1877 года, Флобер снова усиленно работает над романом. Теперь эта работа идет систематически, прерываемая лишь связанными с романом поездками по Нормандии... Весною 1880 года пишется глава о воспитании. 8 мая 1880 года Флобер скоропостижно умирает в Круассе, так и не завершив ее.

Подробный сценарий этой главы дает возможность узнать, чем кончились события в романе. Конференция в «Золотом Кресте» состоялась, вылившись в открытую стычку героев с Фуро. Наутро, когда Бувар и Пекюше обсуждают перспективы развития человечества, приходят мэр с жандармами, чтобы арестовать их. Следом появляются все действующие лица романа, в том числе Горжю, который обвиняет Бувара в растлении Мели и требует выплаты содержания ее будущему ребенку. Фуро хочет увести друзей в тюрьму. Бувару приходится согласиться на выплату содержания Мели и на то, что у них отнимут сирот, которые, впрочем, расстаются с ними без малейшего сожаления. Что же остается им в жизни? «*Переписывать, как прежде...* Они принимаются за дело».

Но что должны были переписывать Бувар и Пекюше? По свидетельству самого Флобера, второй том книги должен был «состоять почти из одних цитат» (г-же Роже де Женетт, 25 января 1880 г.): очевидно, из собранной им «коллекции глупостей». Это подтверждается и развитием идей в романе, и свидетельством друга Флобера Эдмона Лапорта, помогавшего ему в сборе материалов для романа. В составленном Флобером плане второго тома как объект для переписки упоминается и «Лексикон прописных истин».

Наследники Флобера публикуют неоконченное произведение в «Нувель ревю» с 25 декабря 1880 по 1 марта 1882 года. А в марте 1882 года роман выходит отдельным изданием. В 1910 году в Собрании сочинений Флобера вместе с романом впервые печатается «Лексикон прописных истин».

БУВАР И ПЕКЮШЕ

Стр. 97. *Сочинение Тьера* — «История французской революции» в 10-ти томах (1824—1827).

Энциклопедия Роре.— Под этим названием в 1852 г. выходила

серия учебников по всем отраслям знания, выпускавшаяся издателем Никола Роре (1797—1860).

Стр. 100. *Дело об ожерелье королевы* — скандальный судебный процесс (1784—1786 гг.), в котором некая графиня де ла Мот и ее муж обвинялись в том, что они вымогали у кардинала де Рогана якобы для королевы Марии-Антуанетты драгоценное ожерелье и, получив его, присвоили и продали. Остается загадкой, была ли Мария-Антуанетта действительно причастна к делу об ожерелье, в чем ее обвиняли оппозиционно настроенные чиновники парижского парламента (то есть суда).

Процесс Фюальдеса — дело об убийстве наполеоновского судебного чиновника Антуана-Бернардена Фюальдеса (1761—1817) роялистами Бастидом и Жозионом, о котором Фюальдес имел компрометирующие сведения. Процесс наделал много шума и даже стал темой уличной песни.

Стр. 105. *Гей-Люссак* Жозеф-Луи (1778—1850) — выдающийся французский естествоиспытатель, исследователь физики и химии газов.

Стр. 114. *«Сельская усадьба»* — сочинение французского агронома Луи Лиже (1658—1717), вышедшее в 1700 г.

Курс Гаспарена — «Курс сельского хозяйства» (1843—1849), многотомное сочинение агронома Адриана-Этьена-Пьера Гаспарена (1783—1862), который стремился к применению в сельском хозяйстве новейших достижений науки и техники.

Стр. 118. *Пювис* Марк-Антуан (1776—1851) — агроном и политический деятель, автор «Опыта о мергеле» (1828).

Риефель Жюль (1806—1851) — агроном-практик, редактор журнала «Сельское хозяйство Западной Франции». *Риго* Луи-Мишель (1761—1826) — агроном, автор «Записок об удобрении».

...результат, полученный Франклином.— Бенджамен Франклин, желая доказать преимущества удобрения известью, посыпал ею клеверное поле при проезжей дороге близ Вашингтона таким образом, чтобы образовались слова: «Здесь положена известь». На удобренных местах взошел особенно густой и высокий клевер, ясно прорисовав надпись.

Леклерк (Оскар Леклерк-Тонен, 1798—1845) — агроном, профессор Консерватории искусств и ремесел.

Туль Джесро (1680—1740) — английский помещик, во время многочисленных путешествий по Европе изучавший различные способы ведения сельского хозяйства, затем проверявший их на опыте в своем имении и этим разоривший его.

Стр. 119. *Майор Битсон* (1742—1818) — английский путешественник и историк.

Льюк Говард (1772—1864) — английский метеоролог, автор «Опыта об изменении облаков».

Стр. 127. *Буатар* Пьер (1789—1859) — естествоиспытатель и агроном. Самый известный его труд — «Искусство разбивать и украшать сады».

Эрменонвиль — имение, где провел последние годы жизни и умер Жан-Жак Руссо.

Стр. 128. *Риальтский мост.*— Переброшен через Большой канал в Венеции, одна из главных достопримечательностей города.

Стр. 129. *Абд-эль-Кадер* (1808—1883) — вождь алжирцев, в 1832 г. организовавший сопротивление французам, вторгшимся в страну. До 1847 г. вел с ними борьбу, часто успешную, потом был захвачен в плен.

Стр. 135. *Аппер* Никола (1749—1841) — создатель метода консервирования продуктов путем нагревания, предвосхитившего пастеризацию.

Стр. 138. *Реньо* Анри-Виктор (1810—1878) — химик, автор популярных «Начал химии» (1850).

Жирарден Жан-Пьер-Луи (1803—1884) — химик, автор «Сельскохозяйственной химии» (1842).

Стр. 140. *Лот* Александр (1803—1837) — физиолог и анатом, автор «Руководства анатома» (1829).

Модели г-на Озу — анатомические модели, изобретенные и изготавливавшиеся Луи Озу (1797—1880) в городе Сент-Обене.

Стр. 143. *Ришеран* Бальтазар-Антельм (1779—1840) — хирург и физиолог; его «Новые начала физиологии» (1801, переработаны в 1832-м) долгое время считались классическими.

Аделон Никола-Филибер (1782—1862) — физиолог, автор «Трактата о физиологии человека» (1823).

Монтегр Антуан-Франсуа Женен де (1779—1818) — военный врач, автор «Трактата о пищеварении человека» (1814).

Госс Анри-Альбер (1753—1815) — швейцарский физиолог, основоположник изучения профессиональных заболеваний.

Берар Жозеф-Фредерик (1789—1828) — физиолог и философ, один из рьяных защитников идеалистических философских основ физиологии. Возможно, Флобер имеет в виду и другого Берара — Пьера-Оноре (1797—1858), тоже врача и физиолога.

Стр. 144. *Санкториус* (1561—1636) — итальянский врач, автор трактата «Искусство целительного равновесия».

Стр. 146. *Воклен* Луи-Никола (1763—1829) — химик, один из первых авторов работ по химии живых организмов.

Борелли Джованни-Альфонсо (1608—1679) — итальянский естествоиспытатель, в своем трактате «О движении животных» (1680) рассматривал мускульную силу под углом зрения математики и физики.

Кейл Джемс (1673—1719) — шотландский врач и физиолог.

Стр. 147. *Франсуа Распайль* (1794—1878) — политический деятель-республиканец, химик и врач. Его «Учебник здоровья» (1843) переиздавался ежегодно. *Капитальный труд* Распайля — трехтомная «Естественная история здоровья и болезней у растений, у животных вообще и у человека в частности» (1843). Распайль видел причину большинства болезней в паразитах, прежде всего в глистах, а самым действенным лекарством считал камфору, которую предлагал даже курить («сигареты Распайля»). Много выписок из его трудов находилось в «коллекции глупостей» Флобера.

Стр. 148. *Жизненное начало Ван Гельмонта.*— Согласно учению выдающегося фламандского врача и химика Жана-Батиста Ван Гельмонта (1577—1644), особое духовное начало, управляющее всеми процессами в организме.

Витализм — идеалистическое учение в биологии, видевшее причину всех процессов в особой «жизненной силе» (по-латыни — vis vitalis, отсюда название течения).

Броунизм — учение английского врача Джона Брауна (1735—1788), согласно которому все процессы в организме вызываются внутренними и внешними раздражителями, болезнь же есть следствие нарушения их равновесия.

Органицизм — медицинская теория, по которой все болезни проистекают только от повреждения какого-либо органа.

Стр. 150. *Бургаве* Герман (1668—1738) — голландский врач и химик; отстаивал важность объективного медицинского исследования, впервые применил в медицине термометр.

Брусе Франсуа-Жозеф-Виктор (1772—1838) — врач и физиолог, создатель «медицинофизиологической» теории, согласно которой жизнь есть сокращение тканей, вызываемое внешними и внутренними раздражениями, а все болезни, возникающие из-за нарушения равновесия раздражений, суть воспаления.

Стр. 152. *Корнаро* Лодовико (1462—1566) — разрушив здоровье излишествами и тяжело заболев, он в сорок лет выработал для себя особый режим питания (12 унций твердой пищи и 14 унций вина в день) и придерживался его до самой смерти. Дневник наблюдений над собой Корнаро напечатал в 1558 г. под названием «Трактат об умеренной жизни».

Морен Луи (1636—1715) — врач, посвятивший себя лечению бедняков; сам вел жизнь аскета.

Стр. 153. *Трактат Бекереля* — «Элементарный трактат по индивидуальной и общественной гигиене» Луи Альфреда Бекереля (1814—1862). Напечатанный в 1851 г. трактат никак не мог попасть в руки героев в середине сороковых годов, к которым относится действие главы.

Каспер Иоганн Людвиг (1796—1864) — немецкий врач, основоположник медицинской статистики.

Бежен Луи-Жак (1793—1859) — военный врач, разрабатывал проблемы патологической физиологии.

Леви Мишель (1809—1872) — врач, автор «Трактата об общественной и индивидуальной гигиене» (1843).

Стр. 155. «*Эпохи природы*» (1749—1778) — сочинение Бюффона (1707—1788), в котором он пытался нарисовать научную картину происхождения мира.

Стр. 156. «*Гармонии*» *Бернардена де Сен-Пьера.*— Знаменитый автор «Поля и Виргинии» (1737—1814) пробовал свои силы и как натуралист, однако его книги, особенно «Гармонии природы» (1796), полны домыслов и не имеют научного значения.

Деппинг Георг-Бернард (1784—1853) — географ и краевед. Его «Чудеса и красоты французской природы, или Описание всего, что оно являет достопримечательного и любопытного для естественной истории» появились в 1825 г. и в 1845 г. были переизданы в девятый раз.

Стр. 157. «*Письма*» *Бертрана* — труд врача и натуралиста Александра Бертрана (1795—1831) «Письма о катаклизмах на земном шаре» (1824), из которых и заимствованы черты нарисованной ниже картины. Бертран был сторонником теории катастроф, выдвинутой Кювье.

«*Рассуждение о катаклизмах на земном шаре*» Кювье — предисловие к книге великого натуралиста «Трактат об ископаемых скелетах» (1821—1824).

Стр. 161. «*Спутник путешественника-геолога*» (1835) — сочинение геолога Ами Буэ (1794—1881), из текста которого Флобер делает многочисленные заимствования.

Стр. 163. *Омалиус д'Алуа* Жан-Батист (1783—1875) — бельгийский геолог, автор первой геологической карты Франции, составленной по поручению Наполеона.

Стр. 164. *Остров Юлия* возник в 1831 г. близ берегов Сицилии в результате вулканического извержения и просуществовал несколько месяцев. *Монте-Нуово* — вулканическая скала, возникшая в двух километрах от западного берега Италии в 1538 г.

...*о Лиссабоне.*— То есть о страшном Лиссабонском землетрясении 1 ноября 1755 г.

Стр. 166. *Броньяр* Александр (1770—1847) — геолог, сотрудник Кювье, открывший единообразие ископаемых животных внутри одного пласта.

Доктрины Ламарка и Сент-Илера основывались на признании непрерывной эволюции и единства животного мира; теория катастроф Кювье противоречила им.

Стр. 167. *Бональд* Луи-Габриэль-Амбруаз (1754—1840) — католический писатель, учивший, что все знания даны человеку в откровении,

Эли де Бомон (1798—1874) — геолог, автор работ о строении вулканов Везувия и Этны и работ о геологических катаклизмах.

Стр. 168. *Манефон* (III в. до н. э.) — египетский жрец, историк. Его списки египетских царей, разделенных на 30 династий, приводит Иосиф Флавий.

Стр. 169. *...человек произошел от обезьяны.*— Нарочитый анахронизм Флобера. Труд Дарвина «Происхождение человека и половой отбор» вышел только в 1871 г.

Д'Орбиньи Альсид (1802—1857) — геолог и палеонтолог, исследователь Южной Америки, автор «Начального курса палеонтологии и стратиграфической геологии» (1849).

Стр. 173. *Семейство Круамар* — семейство бабки Флобера со стороны матери. Биографы писателя установили родословную этого семейства, восходящую к XVI в.

Герцог Ангулемский Луи-Антуан (1775—1844) — сын Карла X.

Стр. 175. *Де Комон* Арсис (1802—1873) — археолог, основатель Французского археологического общества, автор пятитомного перечня памятников Кальвадоса (1847—1867).

Стр. 176. *Галерон* Жак-Фредерик (1794—1838) — археолог, работавший в Нормандии. Основал музей древностей в Фалезе.

«*Коварная гадалка*» — комедия, высмеивающая один из последних в Европе процессов ведьм, имевший место в Байе. Автор ее — Жан-Франсуа Дютрезор (ум. 1817); полное ее заглавие «Коварная гадалка, или Хитрая колдунья, адски-политически-сатанически-магическая комедия Робера Колдунико, члена Академии тайных искусств, Дьяволикополь, в типографии Альбера Карателли, год хиджры 1182».

Стр. 182. *Тайепье* Ноэль (1540—1589) — монах-кордельер, автор книги о жрецах древних галлов-друидов: «Сословие и республика друидов» (1585), из которой Флобер и черпает приводимые ниже домыслы.

Стр. 183. *Мангон де ла Ланд* (1770—1847) — автор книги «Древности народов Байе» (1832—1835).

Русель Анри Франсуа (1748—1812) — французский врач и естествоиспытатель, автор «Флоры Кальвадоса» (1796—1805).

Стр. 184. *Мартен* Жак (1684—1751) — автор трудов о религии галлов и труда «Объяснение различных необычайных памятников, имеющих касательство к религии самых древних народов» (1739).

Стр. 185. *Артемизия* (IV в. до н. э.) — царица Карии (Малая Азия). Воздвигла в городе Галикарнасе своему мужу Мавзолу пышную гробницу — мавзолей, название которой стало нарицательным.

Стр. 187. *Анкетиль* Луи-Пьер (1723—1806) — автор многократно переиздававшейся «Истории Франции» (1803).

Стр. 188. ...*Меровинги* — основанная королем Хлодвигом (481—511) первая династия государства франков; с середины VII в. их власть пришла в упадок, и короли, правившие до 751 г., получили наименование «ленивых». Государством при них правили майордомы — высшие должностные лица. Один из них, Пипин Короткий, сверг последнего из Меровингов и основал династию Каролингов, названных так по имени Карла Великого, сына Пипина. Каролингов сменила династия Капетингов.

Огюстен Тьерри (1795—1856) — выдающийся французский историк, автор многих работ о средневековой Франции, в частности, «Писем по истории Франции» (1827).

Женуд Антуан-Эжен (1792—1849) — политический деятель и историк, монархист, автор шестнадцатитомной «Истории Франции».

Бюше и *Ру*.— Имеется в виду сорокатомная «Парламентская история Французской революции» (1834—1838) — свод источников, собранных Филиппом-Жозефом Бюше (1796—1865) и Пьером Ру-Лавернем (1802—1874) и снабженных их предисловиями, написанными в духе «христианского социализма».

Стр. 189. *Монгаяр* Гильом-Оноре-Рок де (1772—1825) — историк, автор трудов по истории Франции периода революции и империи.

Прюдом Луи-Мари (1752—1830) — автор памфлетов, написанных в предреволюционную эпоху; в период революции издавал газету «Революсьон де Пари», в 1796—1797 гг. опубликовал многотомную «Всеобщую и беспристрастную историю заблуждений, ошибок и преступлений, совершенных во время Французской революции» и список лиц, казненных во время террора.

Галлуа Шарль-Андре-Гюстав (1789—1851) — публицист и историк, автор «Живописной истории Французской революции» (1830), «Истории Конвента» (1834—1835) и других трудов о революционной эпохе.

Лакретель Жан-Шарль-Доминик (1766—1855) — историк, автор трудов по истории революции, в том числе мемуаров «Десять лет испытаний при революции» (1840).

Верньо Пьер-Виктюрньен (1753—1793) — политический деятель эпохи революции, близкий к жирондистам. После перехода генерала Дюмурье на сторону врага был, как и все жирондисты, обвинен в измене и гильотинирован.

Филипп Эгалите (герцог Луи-Филипп-Жозеф Орлеанский, 1747—1793) — представитель младшей ветви Бурбонов, он стал на сторону революции, принял фамилию Эгалите (равенство), был членом Конвента и Коммуны; несмотря на свою левую позицию, после измены Дюмурье был казнен.

Мемуары госпожи Кампан — «Воспоминания о частной жизни

Марии-Антуанетты», выпущенные в 1822 г. ее камеристкой г-жой Кампан.

Смерть дофина... — После смерти в тюрьме Тампль десятилетнего сына Людовика XVI (май 1795) ходили слухи об его отравлении, не имевшие под собой никакой почвы.

Стр. 190. *Гренель* — пригород Парижа; в замке Гренель находился главный пороховой склад Франции, который взорвался 21 августа 1794 г. Причина взрыва осталась невыясненной.

«Вознеситесь на небо, сын святого Людовика!» — слова, якобы произнесенные в момент казни короля последним исповедником Людовика XVI, аббатом Генри Эджвортом (1745—1807).

Верденские девы — двенадцать женщин, казненных в 1794 г. по приговору революционного трибунала за то, что они приветствовали пруссаков, временно захвативших Верден. Среди «дев» были и престарелые вдовы, и пожилые жены дворян-эмигрантов.

Стр. 191. *Роллен* Шарль (1661—1741) — историк, автор капитальной «Древней истории» (1730—1738) и неоконченной «Римской истории». Благодаря переводу В. К. Тредьяковского эта книга была популярна в России в XVIII — начале XIX в.

Бофор Луи (ум. 1795) — немецкий историк французского происхождения, автор книги «О сомнительных вещах в первые пять веков римской истории» (1738); один из основоположников «гиперкритической школы», отвергавшей почти все традиционные версии.

Кориолан Гай Марций (V в. до н. э.) — римский полководец; изменив римлянам, он привел враждебное войско вольсков под стены Рима, однако, поддавшись на уговоры матери, снял осаду и был убит по приказу вождя вольсков *Аттия Тулла*. *Фабий Пиктор* (III в. до н. э.) — один из первых римских историков; его труды не сохранились. *Дионисий* из Галикарнаса (I в. до н. э.) — греческий историк, автор «Римских древностей».

Гораций Коклес — легендарный римский воин, с двумя друзьями удержавший на мосту через Тибр вражеское войско; затем он разрушил мост, прыгнул в реку и в полном вооружении выплыл к своим. *Дион Кассий* (155—240) — римский историк, автор частично дошедшего до нас свода римской истории.

Ла Мот ле Вайе Франсуа (1588—1672) — автор труда «Суждение о древних и о главнейших греческих и римских историках».

Квинт Курций (I в.) — римский историк, автор «Истории Александра».

Верцингеторикс — вождь галлов, восставших против римского завоевания. Естественно, он бы иначе осветил события, чем разбивший его Цезарь, чьи «Записки о Галльской войне» имеют апологетическую тенденцию.

Сисмонди Жан-Шарль-Леонар (1773—1842) — экономист и историк, автор монументальной «Истории французов» (1821—1844).

Григорий Турский (539—594) — епископ Турский, историк, автор «Истории франков».

Монстреле Энгеран де (1390—1453), *Комин* Филипп де (1447—1511) — авторы исторических хроник, описывавшие современные им события.

Алеви, *Пари* и *Фенегль*.— Флобер заимствует «мнемотехнические глупости» из имевших успех книг «Мнемотехния» Эме Пари (1825), «Умственный рычаг» Алеви и «Новое искусство запоминать» Феиегля (1812).

Стр. 192. *Боссюэ* Жак-Бенинь (1627—1704) — французский мыслитель, писатель и проповедник; прозван «орел из Мо», по имени города, в котором он был епископом. Имеется в виду его «Рассуждение о всемирной истории» (1670), в котором Боссюэ доказывает, что вся история человечества подтверждает существование божественного промысла.

Вико Джамбатиста (1668—1744) — итальянский философ и историк. В своем главном труде «Основания нашей науки об общей природе наций» (1725) доказывал, что история творится людьми, а ее закономерности имеют объективный характер.

Стр. 193. *Велизарий* (505—565) — полководец византийского императора Юстиниана.

Курс Дону — посмертно изданный курс профессора истории в Коллеж де Франс Пьера-Клода-Франсуа Дону (1761—1840).

Павзаний (II в.) — греческий географ, автор «Описания Эллады» — своеобразного путеводителя по Греции.

Стр. 195. *Испанская война* — вторжение французских войск под командованием герцога Ангулемского в Испанию (1823 г.) с целью подавления революции и реставрации королевской власти.

Сен-Сир — местечко под Парижем, где находилось военное училище.

Стр. 196. *Королева Этрурии* — Мария-Луиза, дочь короля Испании Карла IV, посаженная Наполеоном на престол герцогства Тосканского (переименованного в «королевство Этрурия») и низложенная им же (1800—1807 гг.).

Ордонансы — принятые Карлом X 26 июля 1830 г. указы об отмене свободы печати, новом избирательном законе и признании недействительными выборов, давших оппозиции большинство в палате. Ордонансы явились непосредственным поводом Июльской революции, в результате которой Карл X и герцог Ангулемский подписали отречение в пользу внука короля, который, однако, власти не получил.

Дебель Александр-Сезар (1770—1826) — наполеоновский генерал, сражался против войск герцога Ангулемского во время Ста дней, при Реставрации был приговорен к смертной казни, но помилован по ходатайству герцога Ангулемского.

...славнейший из моих предков...— король Генрих IV.

Стр. 200. *Велизарий* (см. примеч. к с. 193) был героем романов второстепеиного писателя, участиика Эициклопедии, Жана-Фраисуа Мармонтеля (1723—1799) и писательиицы Стефаии-Фелисите де Жанлис (1746—1830), а также драмы Этьеиа Жуи (1764—1846), провалившейся в 1825 г.

Нума Помпилий — второй римский царь, герой романа-эпопеи «Нума» (1786) писателя Жаиа-Пьера Флориаиа (1755—1794).

Маршанжи Луи-Антуаи-Фраисуа (1782—1826) — автор миимоисторических сочиненний о средиевековой Франции.

Виконт д'Арленкур Шарль-Виктор (1789—1856) — плодовитый поэт и ромаиист, автор псевдоисторических ромаиов — по сути, памфлетов против Июльской монархии, иаписаиных с роялистских позиций.

Фредерик Сулье (1800—1847) — писатель-ромаитик, автор двух исторических романов, бичующих абсолютизм, феодальиую реакцию, духовенство.

Библиофил Жакоб (псевдоиим Поля Лакруа, 1806—1884) — зиаток древностей и исторический романист.

Вильмен Абель-Франсуа (1790—1870) — французский критик и историк литературы. Имеется в виду его книга «Ласкарис, или Греки в XV столетии» (1825).

«*Всеобщая биография*» — сорокапятитомиый справочник, издававшийся историками братьями Мишо в 1811—1857 гг.

Стр. 202. «*Дельфина*» — роман мадам де Сталь (1800); «*Урика*» — слащавый роман г-жи Дюра (1779—1828) о негритяиской девушке, воспитанной в знатном парижском семействе и умершей от иеразделенной любви (1823).

Ксавье де Местр (1763—1852) — французский писатель, долго проживший в России. «*Путешествие вокруг моей комнаты*» (1795) написаио в форме размышлеиий автора, посажеиного под домашиий арест.

Альфонс Карр (1808—1890) — писатель и памфлетист. «*Под липами*» (1832) — его юношеское произведеиие о любви, измене, убийствах и самоубийствах.

Рикар Огюст (1799—1841) — бульварный романист, автор миогочислеииых «сцеи их жизни простого иарода», к числу которых относится «Извозчик» (1828), «Уличный торговец» (1829) и др.

Стр. 203. «*Отшельник с Шоссе д'Антен*» — под этим иазванием Этьеи де Жуи издал пять томов своих «Очерков современных иравов» (1812—1817), раиее печатавшихся в «Газет де Фраис».

«*Филоктет*» *Лагарпа* (1783) — переработка в духе классицизма одноименной трагедии Софокла, сделанная критиком и драматургом Жаном-Франсуа Лагарпом (1739—1803).

«*Габриель де Вержи*» (1770) — трагедия Пьера-Лорана де Бел-

луа (1727—1775) о рыцаре-крестоносце, убитом в Палестине и завещавшем отвезти его сердце любимой им Габриели.

Дионисий, тиран Сиракузский — герой одноименной трагедии Мармонтеля (1748).

Стр. 204. *Вокансон* Жак (1709—1782) — механик, прославившийся изобретением музыкальных и звучащих автоматов. Его изобретенный для «Клеопатры» аспид шипел и бросался на грудь царицы.

Селимена — героиня «Мизантропа» Мольера.

Пиксерекур Рене-Шарль Гильбер де (1773—1884) — драматург, считающийся «отцом мелодрамы».

Драмы 1830 года — романтические драмы, названные так потому, что в 1830 г. состоялась премьера «Эрнани» Гюго, вылившаяся в манифестацию романтизма.

Пиго-Лебрен Шарль-Антуан-Гильом (1753—1835) — драматург, прозаик и режиссер, автор имевших большой успех романтических и эротических романов.

Стр. 205. «*Роберт-Дьявол*» (1831) — опера Мейербера.

«*Молодой супруг*» (1821) — комедия Александра Дюваля.

Стр. 206. «*Продавец уксуса*» (1797) — драма Себастьяна Мерсье (1740—1814); ее точное название — «Тележка уксусника».

Огни твоих очей... — Бувар и Пекюше разыгрывают финальную сцену второго акта «Эрнани».

Стр. 209. «*Практика театра*» — трактат Франсуа *д'Обиньяка* (1604—1676), филолога и драматурга; в нем автор пытался сформулировать на основе Аристотеля непреложные законы драмы.

Стр. 210. «*Чтобы привлечь меня...*», «*Пусть чувство...*» — Цитаты из «Поэтического искусства» Буало.

Жоффруа Жюльен-Луи (1743—1814) — театральный критик, непримиримый враг Вольтера и энциклопедистов.

Сюблиньи Адриан-Томас (1636—1696) — драматург и театральный критик, автор злой рецензии на «Андромаху» Расина; Расин приписал ее Мольеру и рассорился с ним. Впоследствии Сюблиньи стал приверженцем Расина.

Дюканж Виктор-Анри-Жозеф (1783—1833) — романист и драматург, чья пьеса «Тридцать лет, или Жизнь игрока» (1827) имела шумный успех.

Пикар Луи-Бенуа (1769—1828) — романист, драматург, директор театра Одеон. Написал более пятидесяти пьес и водевилей, многие из которых долго держались в репертуаре.

Стр. 211. «*Музыкантша Фаншон*» — комедия-водевиль Буйи и Пзна, поставленная с огромным успехом в 1800 г.

«*Рыбак Гаспардо*» — пьеса Бушарди (1837).

Массильон Жан-Батист (1663—1742) — знаменитый проповедник, выдающийся оратор.

Стр. 212. *Менаж* Жиль (1613—1692) — автор труда «Наблюдения над французским языком» (1673).

Бугур Доминик (1628—1702) — ученый-иезуит, автор «Сомнений относительно французского языка, представленных господам академикам» (1674).

Шапсаль Шарль-Пьер (1788—1858) — автор классической французской грамматики (в соавторстве с Нозлем, 1828).

Женен Франсуа (1803—1856) — лингвист, автор многих работ по истории французского языка. Флобер использует его статью «О произношении французов в старину» (1856).

Литре Эмиль (1801—1881) — философ, врач и лингвист, автор «Словаря французского языка» (1863—1872) и «Истории французского языка» (1862).

Стр. 213. *Отец Андре* (Ив Мари, 1675—1764) — математик и философ, автор «Трактата о прекрасном».

Стр. 214. *Дроз* Франсуа-Ксавье-Жозеф (1773—1850) — философ, экономист и критик классицистского направления. Флобер имеет в виду его «Этюд о прекрасном искусстве» (1815).

Низар Дезире (1806—1888) — критик и историк римской и французской литературы, выступавший как защитник классицизма.

Блер Хьюг (1718—1800) — эдинбургский священник, автор «Курса риторики и изящной литературы». *Сцена с гарпиями* — сцена в III книге «Энеиды», где полудевы-полуптицы гарпии оскверняют пищу троянцев «изверженьями мерзкими чрева».

Ламот Антуан (1672—1731) — драматург и поэт; в 1714 г. выпустил стихотворный перевод «Илиады», сглаженный и освобожденный от «поэтических вольностей», и предпослал ему «Рассуждение о Гомере», которое имеет в виду Флобер.

Вида Марко Джироламо (1490—1566) — итальянский епископ, поэт, писавший по-латыни, автор стихотворной «Поэтики» (1527).

Лонгин (III в.) — греческий философ и ритор, которому ошибочно приписывался выдающийся памятник античной эстетики «Трактат о возвышенном».

Стр. 215. «*Записки дьявола*» (1837—1838) — роман Фредерика Сулье.

Стр. 216. *Дело Притчарда* — см. примеч. к тому II. В дальнейшем Флобер часто упоминает события, нашедшие отражение в «Воспитании чувств». В комментариях к этому роману читатель и найдет их объяснение.

Катон Марк Порций (I в. до н. э.) — римский политический деятель; будучи убежденным республиканцем, покончил с собой, когда Юлий Цезарь захватил власть.

Стр. 217. *Маркиз де Фудра* (Тома-Луи Огюст, 1800—1872) — автор романов «из светской жизни» и руководства для охотников.

Стр. 218. *Де ла Рошжаклен* Анри-Огюст-Жорж (1805—1867) —

депутат палаты, крайний роялист-легитимист, в 1848 г. примкнувший к республиканцам.

Стр. 230. *Римская экспедиция* — поход французских войск на Рим с целью уничтожения республики и возвращения папе власти над городом.

Кальво Карлос (1824—1906) — аргентинский дипломат и юрист, автор труда «Международное право», написанного много позднее 1849 г.

Мартенс Карл (1790—1863) — сын крупнейшего теоретика международного права, дипломат, разрабатывавший вопросы международного частного права в написанном по-французски труде «Право современных людей в Европе» (1821).

Ватель Эммерих (1714—1767) — немецкий юрист, автор труда «Право людей, или Принцип естественного права, приложенный к поведению и делам наций и монархов» (1758).

Стр. 232. *Великий Максимилиан* — Робеспьер.

Стр. 235. *Солон* (VI в. до н. э.) — афинский поэт и законодатель.

Стр. 236. «*Универ*» — католическая газета, в 1848 г. поддерживавшая республику, а после переворота 2 декабря 1851 г.— Наполеона III.

Фильмер Роберт (1589—1653) — английский политический писатель, монархист, развивавший идею божественности королевской власти в трактате «Патриарх», вызвавшем резкую отповедь Локка.

Стр. 237. *Глафей* Адам-Фридрих (1692—1753) — немецкий юрист, отстаивавший идею «естественных прав» человека.

Отман Франсуа (1524—1590) — французский юрист и историк, автор труда о правах королей Франции.

Жюрье Пьер (1637—1713) — протестантский проповедник, противник Боссюэ; в своих «Пастырских посланиях» полемизировал с Боссюэ, защищая идею суверенитета народа.

Стр. 238. *Лафарель* Феликс (1800—1871) — политический деятель и экономист, автор трудов «Социальный прогресс в пользу низших классов» (1839) и «План реорганизации промышленных классов во Франции» (1842).

Стр. 239. *Буонаротти* Филиппо-Микеле (1761—1837) — стойкий революционер, якобинец; после Термидора стал участником заговора Бабефа и больше десяти лет провел в тюрьмах.

Стр. 251. *Руководство Амороса* по гимнастике занимало 2 тома Энциклопедии Роре. Автор — испанский министр, полковник, маркиз Франсиско Аморос (1769—1848), бросивший политическую карьеру ради страстно любимой им гимнастики и учредивший в Париже гимнастическую школу.

Стр. 253. *Фекан* — крепость на берегу Ла-Манша, взятая в

1594 г. у войск Лиги с помощью веревочных лестниц, по которым осаждавшие взобрались на господствующий над крепостью утес.

Стр. 256. *Шеврель* Мишель-Эжен (1786—1869) — химик, изобретатель стеариновой свечи. Когда в 1852—1853 гг. в моду вошел спиритизм, Шеврель написал для Академии доклад «о вертящихся столах».

Стр. 256—257. *Сегуен*, *Монтакабер* — авторы нашумевших в пору спиритических увлечений книг о «магнетизме».

Стр. 259. *Месмеров чан* — большой сосуд, вокруг которого Месмер рассаживал пациентов и который якобы аккумулировал «магнетическую энергию».

Стр. 260. *Пюисегюр* Арман-Мари-Жак (1751—1825) — аристократ, ставший учеником Месмера и продолжавший его исследования. Он отказался от чана и открыл современные методы гипноза.

Стр. 262. *Album graecum* — составная часть собачьего кала, которой приписывались целебные свойства.

Стр. 263. *Делёз* Жан-Филипп-Франсуа (1753—1835) — врач, изучавший гипноз и написавший «Защиту магнетизма» (1819).

Бертран (см. примеч. к с. 157) — пытался дать естественнонаучное объяснение явлений сомнамбулизма и магнетизма.

Морен Жан (1705—1764) — физик, изучавший «животное электричество» и объяснявший его наличием «странные явления жизни».

Жюль Клоке (1790—1883) — хирург, близкий друг Флобера.

Казот Жак (1719—1792) — французский писатель, автор «готического романа» «Влюбленный дьявол». Лагарп создал легенду о том, что во время ужина Казот предсказал гостям, жаждавшим политических перемен, их судьбу во время революции, которая началась два года спустя.

Стр. 265. *Аллан-Кардек* Ипполит (1803—1869) — основатель парижского спиритического общества, автор многих шарлатанских книг.

Сведенборг Эммануил (1688—1772) — шведский мистик, автор нескольких книг, в которых описал свои видения.

Стр. 266. *Од* — естественная сила, которая, по учению немецкого естествоиспытателя Карла Рейхенбаха (1788—1869), является основой наших ощущений.

Стр. 267. *Дюпоте* Жан (1796—1881) — последователь Месмера; произвел в 1826 г. ряд опытов, которые заставили Академию медицины создать комиссию для их проверки, и написал несколько книг в защиту теории магнетизма.

Стр. 271. *Жуффруа* Теодор (1796—1842) — французский философ; пропагандировал взгляды философов-шотландцев (Рида, Стюарта), утверждавших истинность чувственного опыта и здравого смысла.

Дамирон Жан-Филибер (1794—1862) — историк философии, автор учебника.

Стр. 276. *Апиций* — знаменитый гастроном времеи Августа; его имя стало нарицательным.

Стр. 278. *Кедворт* Рауль (1617—1688) — английский богослов и философ. Его «*посредник*» — особая субстанция, через которую осуществляется связь бога с миром и души с телом.

Стр. 302. «*Исследование христианства*»... *Луи Эрвье.*— Исследователи Флобера не могли обнаружить этой книги.

Гом Жан-Жозеф (1802—1879) — священник и религиозный писатель. Его «Катехизис постоянства, или Изложение веры от начала мира до наших дней» (1852) имел две редакции — полную, в 8-ми томах, и сокращениую.

Стр. 307. *Вергилий советует.*— Имеется в виду строка из поэмы о земледелии «Георгики» (I, 299): «Голым паши и сей нагишом».

Стр. 308. *Корабль Кситура* — намек на вавилонский миф о потопе, близкий к библейскому. Сведения о его герое, спасшемся от потопа царе Кситуре, сохранились в фрагментах из сочинеиия греческого историка Александра Полигистора.

Стр. 309. *Фиванский легион*, набранный из христиан Фиваиды, был умерщвлен по приказу императора Максимиана (ок. 300 г.) за то, что отказался принести жертву богам. *Симфороса* (II в.) — христианка-римлянка, подвергнутая по приказу императора Адриана пыткам в храме Геркулеса, а затем утопленная в Тибре. На следующий день были казнеиы семь ее сыновей. *Святая Урсула* — царевна из Британии; отправилась в паломиичество в сопровождеиии одиннадцати тысяч дев и вместе с ними была убита гуинами на месте нынешнего Кельиа.

Ипатия (IV—V вв.) — дочь философа Феона, отличалась красотой и красноречием. Отказом принять христиаиство вызвала ненависть епископа Кирилла; по его наущепию александрийская чернь побила ее камнями.

Иероним Пражский (1360—1416) — последователь Яна Гуса, проповедиик его идей, сожженный иикзизицией.

Ванини Лучилло (1585—1619) — философ-паитеист, был сожжен в Тулузе по обвинению в магии и безбожии.

Ан Дюбур (1521—1559) — член парижского парламеита, выступивший в защиту протестантов и обвинивший в распутстве короля Генриха II и его двор. Был задушен, а тело его сожжено.

Стр. 310. *Святой Симеон* (I—II вв.) — епископ Иерусалимский, распятый в возрасте 120 лет.

Игнатий — епископ Аитиохийский, затравленный в римском цирке зверями в 107 г.

Стр. 311. «*Кюре Мелье*» — сочииение коммуниста-утописта и атеиста кюре Жаиа Мелье, оставлениое им в виде завещания и

содержащее резкую критику религии и существующего порядка. Было издано сперва Вольтером, а затем Гольбахом под названием «Катехизис кюре Мелье» (1772).

Стр. 312. *Арский священник* — Жан-Мари Вианне (1786—1859), кюре в местечке Ар; завоевал широкую известность своей благотворительностью и в 1925 г. был канонизирован.

Стр. 316. *Тепфер* Рудольф (1799—1846) — швейцарский писатель-юморист и рисовальщик, иллюстрировавший собственные новеллы шаржами.

Стр. 320. *Святой Амвросий* (IV в.) — епископ Медиоланский (Миланский), один из выдающихся христианских писателей и поэтов.

Монсеньор Бувье Жан-Батист (1783—1834) — епископ Манский, автор нескольких богословских сочинений.

Стр. 325. *Камбрейский Лебедь* — Фенелон.

Стр. 326. *Сальпетриер* — неврологическая клиника в Париже.

Стр. 330. *Дюпон де Немур* Пьер-Самюэль (1739—1817) — французский экономист и философ, пытавшийся в своем сочинении «Философия вселенной» (1795) создать проект общества, построенного на законе всеобщей любви.

Стр. 334. *Редуте де Дам* Пьер-Жозеф (1759—1840) — художник-акварелист, прославившийся изображением цветов.

Стр. 337. *Бельзенс* Анри-Франсуа-Ксавье (1671—1755) — Марсельский епископ, прославившийся своим мужеством и самоотверженностью во время эпидемии чумы в 1720—1721 гг.

Стр. 339. *Бентам* Иеремия (1748—1832) — английский философ-моралист, основоположник утилитаризма. Флобер имеет в виду его сочинение «Теория наказаний и наград» (1818).

Стр. 340. *Песталоцци* Иоганн-Генрих (1746—1827) — швейцарский педагог; развивал в своих трудах педагогические идеи Руссо.

Меланхтон (Филипп Шварцерд, 1497—1560) — немецкий гуманист, один из основоположников теологии протестантизма.

Дюпанлу Феликс-Антуан-Филибер (1802—1878) — епископ Орлеанский, воспитатель детей Луи-Филиппа, автор трудов по педагогике, ярый сторонник подчинения школы церкви.

Стр. 342. *Сцена Элиасена* — из «Гофолии» Расина. «*Эсфирь*» — трагедия Расина (1689).

Жан-Батист Руссо (1671—1741) — поэт-лирик классицистского направления, автор «Кантат» и «Псалмов».

«*Кларисса Гарлоу*» (1747—1748) — сентиментальный роман английского писателя Семюэла Ричардсона (1689—1761).

Стр. 343. *Базедов* Иоганн-Бернард (1723—1790) — немецкий педагог, создатель воспитательного заведения «Филантропия».

Тиссо Симон-Андре (1728—1797) — швейцарский врач.

Эме Мартен (1786—1847) — популяризатор науки и педагог.

Стр. 350. *Осман* Жорж-Эжен (1809—1871) — префект Парижа; провел с 1853 по 1870 г. генеральную реконструкцию центра города.

Стр. 352. *Картуш* (Луи-Доминик Бургиньон, 1693—1721) — знаменитый вор, которому приписывалось множество похождений.

ЛЕКСИКОН ПРОПИСНЫХ ИСТИН

Стр. 354. *Абелар* Пьер (1079—1142) — философ-схоласт, выдающийся проповедник. Тайно женился на своей ученице Элоизе, за что ее дядя, каноник Фюльбер, оскопил его.

Стр. 356. «*Тот злополучный гость...*» — Цитата из стихотворения Никола-Жозефа Жильбера (1751—1780) «Прощание с жизнью», написанного им за несколько лет до смерти.

Стр. 360. *Auri sacra fames.*— В е р г и л и й. Энеида, III, 57.

Стр. 361. *Совет десяти* — высшее тайное судилище Венецианской республики.

Диоген (IV в. до н. э.) — греческий философ, представитель школы киников, учивших, что высшее благо — это умение довольствоваться необходимым. «*Я ищу человека*» — ответ Диогена прохожему, встретившему его идущим днем с фонарем. «*Не заслоняй от меня солнца*» — слова, сказанные Диогеном Александру Македонскому, который пообещал исполнить любое желание философа.

Стр. 362. *Кастраты Сикстинской капеллы* — оскопленные певцы, исполнявшие партии высоких голосов в хоре Сикстинской капеллы в Ватикане.

Епакта — число дней, составляющих разницу между солнечным и лунным годом.

Жарнак Ги — французский офицер, дравшийся на дуэли в 1547 г. в присутствии короля и всего двора и неожиданным ударом шпаги ранивший побеждавшего его противника.

Стр. 364. *Илоты* — рабы в древней Спарте.

Имбролью — запутанная интрига.

Стр. 366. *Копайский бальзам* — лекарство от гонорреи.

Стр. 367. *Аристарх* (II в. до н. э.) — греческий филолог и критик, исследователь Гомера. Шутка заключается в том, что его имя названо вместо ставшего нарицательным для критика-хулителя имени Зоила, также греческого филолога александрийской эпохи.

Стр. 368. *Мазаринады* — памфлеты, написанные участниками Фронды против кардинала Мазарини.

Стр. 370. *Дюпюитрена музей* — анатомический музей в Париже, основанный на средства, завещанные хирургом Дюпюитреном (1777—1835).

Стр. 371. *Ветви королевского рода* — Бурбоны и Орлеанский дом.

Стр. 373. *Палладиум* — статуя Паллады; пока она находилась в Трое, ахейцы не могли взять город. Нарицательное аначение — «надежный оплот».

Пальмира — древний город в Сирии.

Стр. 374. *Понсар* Франсуа (1814—1867) — второстепенный драматург, которого романтики упрекали в холодности, вялости и называли «главой школы здравого смысла».

Попилий Гай (II в. до н. э.) — римский консул. Был отправлен послом к сирийскому царю Антиоху с тем, чтобы передать ему требование сената. Царь медлил с ответом. Тогда Попилий очертил вокруг себя на песке круг и сказал, что не выйдет из него, пока не получит ответа. После этого Антиох согласился исполнить требования Рима.

Прадон Никола (1632—1698) — драматург, считавшийся соперником Расина и подражавший ему.

Стр. 378. *Скюдери* Мадлена (1607—1701) — поэтесса и писательница, автор романа «Артамен, или Великий Кир» (1650); *Жорж* (1601—1667) — ее брат, драматург и поэт.

Стр. 379. *Брийя-Саварен* Антельм (1755—1826) — знаменитый гастроном, автор «Физиологии вкуса».

Стр. 380. *Указ* — Флобер употребляет адесь русское слово.

Стр. 381. *Форнарина* — возлюбленная Рафаэля, модель многих его картин.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕГЕНДА О СВ. ЮЛИАНЕ МИЛОСТИВОМ. *Перевод И. С. Тургенева* 5

ПРОСТАЯ ДУША. *Перевод Е. Любимовой* 31

ИРОДИАДА. *Перевод И. С. Тургенева* 61

БУВАР И ПЕКЮШЕ. *Перевод М. В. Вахтеровой* . . 93

ЛЕКСИКОН ПРОПИСНЫХ ИСТИН. *Перевод Т. Ириновой* 353

Примечания *С. Ошерова* 385

Флобер Г.

Ф 73 Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 3. Легенда о св. Юлиане Милостивом; Простая душа; Иродиада; Бувар и Пекюше; Лексикон прописных истин. Пер. с фр. /Примеч. С. Ошерова; Худож. Ю. Алексеева.— М.: Худож. лит., 1984.— 415 с.

В третий том Собрания сочинений Гюстава Флобера вошли три повести: «Легенда о св. Юлиане Милостивом», «Простая душа», «Иродиада», роман «Бувар и Пекюше» и «Лексикон прописных истин».

Ф $\frac{4703000000\text{-}150}{028\ (01)\text{-}84}$ **подписное**

ББК 84.4Фр
И (Фр)

ФЛОБЕР ГЮСТАВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ

Том 3

Редактор
Р. Родина

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор
Л. Вецкувене

Корректоры
Г. Киселева, О. Наренкова

ИБ № 2985

Сдано в набор 06.06.83. Подписано в печать 05.01.84. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 21,84. Усл. кр.-отт. 21,84. Уч.-изд. л. 24,09. Тираж 200 000 экз. Изд. № VI-1267. Заказ № 1857. Цена 2 р. 30 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Новобасманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28

ГЮСТАВ ФЛОБЕР

3